Чарльз Диккенс

ЧАРЛЬЗ
ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией
А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

ТОРГОВЫЙ ДОМ ДОМБИ И СЫН

ТОРГОВЛЯ
ОПТОМ, В РОЗНИЦУ И НА ЭКСПОРТ

Роман

(Главы XXXI—LXII)

Перевод с английского

А. В. КРИВЦОВОЙ

Поселково - Во...тынская
СЕЛЬСКАЯ
БИБ...

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1959

CHARLES DICKENS

DEALINGS WITH THE FIRM OF DOMBEY AND SON

WHOLESALE, RETAIL AND FOR EXPORTATION

Ch. XXXI-LXII

1848

Иллюстрации
«ФИЗА» (Х. Н. БРАУНА)

Восьмое, пересмотренное издание перевода

ГЛАВА XXXI

Свадьба

Рассвет с его бесстрастным, пустым ликом, дрожа, подкрадывается к церкви, под которою покоится прах маленького Поля и его матери, и заглядывает в окна. Холодно и темно. Ночь еще припадает к каменным плитам и хмурится, мрачная и тяжелая, в углах и закоулках здания. Часы на колокольне, вознесенные над домами, вынырнув из несметных волн в потоке времени, который набегает и разбивается о вечный берег, сереют подобно каменному маяку, стерегущему морской прилив; но поначалу рассвет может только украдкой заглянуть в церковь и убедиться, что ночь еще там.

Беспомощно скользя вокруг церкви и засматривая в окна, рассвет стонет и плачет о своем кратковременном владычестве, и слезы его струятся по оконному стеклу, а деревья у церковной ограды, сострадая ему, склоняют головы и ломают бесчисленные свои руки. Ночь, бледнея перед рассветом, незаметно покидает церковь, но медлит в склепах и опускается на гробы. И вот приходит день, придавая блеск часам на колокольне, окрашивая шпиц в красный цвет, осушая слезы рассвета и заглушая его сетованья; а устрашенный рассвет, следуя за ночью и вытесняя ее из последнего ее убежища, сам забивается в склепы и испуганно прячется среди мертвецов, пока не вернется отдохнувшая ночь и не прогонит его оттуда.

Мыши, которые занимались молитвенниками усерднее, чем их владельцы, и маленькими зубками нанесли подушкам бо̀льший ущерб, чем люди — коленями, прячут свои блестящие глаза в норках и в страхе жмутся друг к другу, когда с гулом отворяется церковная дверь. Ибо в то утро бидл, человек, облеченный властью, приходит рано вместе с пономарем; и миссис Миф, маленькая прислужница, страдающая одышкой, усохшая старая леди, бедно одетая и не нагулявшая ни на дюйм жира, тоже здесь; она ждала бидла около получаса у церковных ворот, как и полагается ей по ее положению.

Кислая физиономия у миссис Миф, увядший чепец и вдобавок душа, жаждущая шестипенсовиков и шиллингов. Привычка заманивать на скамьи случайных посетителей придает миссис Миф таинственный вид, а во взгляде ее есть какая-то скрытность, словно ей ведомо местечко более удобное, но она не уверена в получении мзды. Нет такого человека, который бы именовался мистером Мифом, вот уже двадцать лет как нет его, и миссис Миф предпочитает, чтобы о нем не упоминали. Кажется, он плохо отзывался о бесплатных местах, и хотя миссис Миф надеется, что он попал в рай, однако не берется это утверждать.

Сегодня утром миссис Миф очень суетится у церковных дверей, выколачивая и вытряхивая напрестольную пелену, ковер и подушки; и многое может порассказать миссис Миф о предстоящей свадьбе. Миссис Миф говорили, будто новая обстановка и ремонт дома стоили никак не меньше пяти тысяч фунтов, и миссис Миф слыхала от надежнейших людей, что у леди нет и шести пенсов за душой. Далее миссис Миф помнит хорошо, словно это случилось вчера, похороны первой жены, и затем крестины, и затем снова похороны; и миссис Миф замечает, что, мол, кстати нужно вымыть мылом эту табличку до прибытия свадебного поезда. Мистер Саундс, бидл, который, греясь на солнце, сидит все это время на ступенях церкви (и редко делает он что-нибудь другое, разве что в холодную погоду присаживается к камину), одобряет речи миссис Миф и осведомляется, слыхала ли миссис Миф о том, что леди отличается изумительной красотой. Так как миссис Миф получила такие же сведения,

мистер Саундс, бидл, человек, хотя и ортодоксальный и дородный, но все еще почитатель женской красоты, замечает слащаво: «Да, она хоть куда!», каковое определение могло бы показаться миссис Миф чересчур энергическим, если бы его изрек не мистер Саундс, бидл, а кто-нибудь другой.

Тем временем в доме мистера Домби — великое волнение и суматоха, главным образом среди женщин, из коих ни одна не смыкала глаз с четырех часов утра, и все были одеты к шести. Мистер Таулинсон удостаивается больше, чем когда-либо, внимания горничной, а за завтраком кухарка говорит, что за одной свадьбой последуют еще несколько, чему горничная отказывается верить, полагая, что это неправда. Мистер Таулинсон не высказывает своего мнения по этому вопросу, будучи несколько огорчен появлением иностранца с бакенбардами (сам мистер Таулинсон не носит бакенбардов), которого наняли сопровождать счастливую чету в Париж и который занят сейчас размещением вещей в новой карете. Касательно этой особы мистер Таулинсон заявляет, что никогда еще не видывал добра от иностранцев, и, будучи обвинен всеми леди в приверженности к предрассудкам, говорит: «Посмотрите на Бонапарта, который ими командовал, и вспомните, из-за чего только он не дрался!» После сего горничная заявляет, что это истинная правда.

Кондитер усердно работает в мрачной комнате на Брук-стрит, а очень рослые молодые люди прилежно смотрят на него. От одного из рослых молодых людей уже пахнет хересом, и глаза его обнаруживают склонность останавливаться и взирать на предмет, не видя его. Рослый молодой человек сознает свою слабость и сообщает товарищу, что это происходит от «упражнения». Рослый молодой человек хотел сказать — от возбуждения, но речь его туманна.

Люди, звонящие в колокольчики, пронюхали о свадьбе; также и оркестр мясников и духовой оркестр. Первые упражняются на задворках около Бэтл-Бридж; мясники через своего начальника завязывают сношения с мистером Таулинсоном, с которым уславливаются о цене, предлагая ему откупиться от них; а духовой оркестр, в лице искусного тромбона, прячется за углом, подстерегая

какого-нибудь предателя-торговца, чтобы выведать у него за взятку место и час завтрака. Нетерпение и возбуждение распространяются еще дальше и захватывают все более широкие круги. Из Болс-Понд мистер Перч доставляет миссис Перч провести денек со слугами мистера Домби и вместе с ними поглазеть украдкой на свадьбу. В квартире мистера Тутса мистер Тутс наряжается так, будто он по меньшей мере жених: он намерен созерцать церемонию во всем ее великолепии из укромного уголка галереи и провести туда Петуха. Ибо мистер Тутс принял отчаянное решение показать Петуху Флоренс и заявить откровенно: «Ну, Петух, больше я не хочу вас обманывать! Друг, о котором я не раз вам говорил, это я сам. Мисс Домби — предмет моей страсти. Каково ваше мнение, Петух, при таком положении дел и что вы мне теперь посоветуете?» Тем временем в кухне мистера Тутса Петух, которого ждет такой сюрприз, погружает свой клюв в кружку крепкого пива и склевывает двухфунтовый бифштекс. На площади Принцессы мисс Токс проснулась и хлопочет: она тоже, несмотря на глубокую свою скорбь, решила сунуть шиллинг в руку миссис Миф и из какого-нибудь укромного уголка посмотреть на церемонию, в которой есть для нее жестокое очарование. Во владениях Деревянного Мичмана — оживление: капитан Катль в своих парадных сапогах и рубашке с огромным воротничком сидит за завтраком, слушая, как по его приказу Роб Точильщик читает ему свадебную службу, чтобы капитан мог хорошенько уразуметь суть торжества, на котором собирается присутствовать; с этой целью капитан время от времени степенно предписывает своему капеллану «изменить курс», «отмахать этот параграф еще раз» или держаться своих прямых обязанностей, а амини оставить ему, капитану. И аминь он провозглашает звучно и с удовлетворением, как только Роб Точильщик делает паузу.

В дополнение ко всему этому двадцать нянек на одной только улице мистера Домби обещали показать свадьбу двадцати выводкам маленьких женщин, чей инстинктивный интерес к брачной церемонии пробуждается еще в колыбели. Право же, у мистера Саундса, бидла, есть основание чувствовать себя исполняющим служебный

долг, когда он сидит на церковных ступенях и греет свою дородную фигуру на солнце в ожидании часа, назначенного для церемонии. Право же, миссис Миф не без причины набрасывается на злополучную девочку-карлицу с младенцем-великаном, заглядывающую с паперти в церковь, и прогоняет ее с негодованием.

Кузен Финикс приехал из-за границы со специальной целью присутствовать при бракосочетании. Сорок лет назад кузен Финикс был великосветским повесой; но, судя по фигуре и обхождению, он все еще так моложав и так подтянут, что люди, мало его знающие, изумляются, когда обнаруживают предательские морщины на лице его лордства и гусиные лапки у глаз и впервые замечают, что, проходя по комнате, он несколько уклоняется в сторону от прямой линии, ведущей к цели. Но кузен Финикс, встающий примерно в половине восьмого утра, совсем не похож на кузена Финикса, уже вставшего; и вид у него действительно очень неважный, пока его бреют в отеле Лонга на Бонд-стрит.

Мистер Домби выходит из своей уборной, вызывая суматоху среди женщин на лестнице; громко шурша юбками, они разбегаются в разные стороны — все, кроме миссис Перч, которая, будучи в интересном положении (впрочем, в нем она пребывает всегда), не отличается проворством и принуждена встретиться с ним и, делая реверанс, готова провалиться сквозь землю от смущения,— небо да отвратит все дурные последствия от дома Перчей! Мистер Домби отправляется в гостиную ждать назначенного часа. Великолепен новый синий фрак мистера Домби, светло-коричневые панталоны и сиреневый жилет; и в доме ходит слух, что волосы у мистера Домби тщательно завиты.

Двойной стук в дверь возвещает о прибытии майора, который великолепен: в петлице у него целый куст герани, а волосы завиты круто и туго, как умеет это делать туземец.

— Домби,— говорит майор, протягивая обе руки,— как поживаете?

— А как вы поживаете, майор? — говорит мистер Домби.

— Клянусь, сэр,— говорит майор,— Джой Б. чув-

ствует себя сегодня так,— и тут он с силой ударяет себя в грудь,— чувствует себя сегодня так, сэр, что, черт возьми, Домби, он не прочь устроить двойную свадьбу и жениться на матери!

Мистер Домби улыбается, но даже для него эта улыбка бледна, ибо мистер Домби собирается породниться с матерью, а при таких обстоятельствах подшучивать над ней не следует.

— Домби,— говорит майор, заметив это,— желаю вам счастья! Поздравляю вас, Домби! Ей-богу, сэр, в такой день вам можно позавидовать больше, чем кому бы то ни было в Англии!

И снова мистер Домби соглашается сдержанно, потому что он собирается оказать великую честь леди, и несомненно *ей* можно позавидовать больше, чем кому бы то ни было.

— Что касается Эдит Грейнджер, сэр,— продолжает майор,— то во всей Европе не найдется женщины, которая бы не согласилась и не пожелала — разрешите майору Бегстоку, сэр, добавить — и не пожелала отрезать себе уши, и с серьгами в придачу, чтобы занять место Эдит Грейнджер.

— Вы очень любезны, майор,— говорит мистер Домби.

— Домби,— возражает майор,— вы это знаете! Давайте обойдемся без ложной скромности. Вы это знаете! Знаете вы это или не знаете, Домби? — говорит майор чуть ли не с гневом.

— О, право, майор...

— Проклятье, сэр! — перебивает майор.— Известен вам этот факт или не известен? Домби! Друг ли вам старый Джо? Находимся ли мы, Домби, в тех простых, близких отношениях, какие позволяют человеку — прямому, старому Джозефу Б., сэр,— говорить откровенно? Или же я должен отступить, Домби, держаться на расстоянии и соблюдать условности?

— Дорогой майор Бегсток,— с удовлетворенным видом говорит мистер Домби,— вы даже разгорячились.

— Клянусь, сэр,— говорит майор,— я разгорячился! Джозеф Б. не отрицает этого, Домби. Он разгорячен! Такой день, как сегодня, сэр, пробуждает все благородные чувства, какие еще сохранились в старой, гнусной, потер-

той, поношенной, жалкой оболочке Дж. Б. И вот что я вам скажу, Домби: в такой момент человек должен выложить все, что у него на душе, или пусть наденут ему намордник. И Джозеф Бегсток говорит вам в лицо, Домби, то же, что говорит он за вашей спиной у себя в клубе: на него не надеть намордника, если речь идет о Поле Домби. Черт возьми, сэр,— заключает майор с большою твердостью,— что же вы на это скажете?

— Майор,— отвечает мистер Домби,— уверяю вас, я вам крайне признателен. У меня не было намерения ставить преграды вашему слишком пристрастному расположению ко мне.

— Отнюдь не слишком пристрастному, сэр! — восклицает холерический майор.— Домби, я это отрицаю!

— В таком случае — вашему расположению ко мне,— продолжает мистер Домби.— И в такой момент, как этот, я не могу забыть, чем я ему обязан.

— Домби,— говорит майор, делая соответствующий жест,— вот рука Джозефа Бегстока, простого, старого Джоя Б., сэр, если это вам больше по вкусу! Вот рука, о которой его королевское высочество, покойный герцог Йоркский, соизволил сказать, сэр, обращаясь к его королевскому высочеству, герцогу Кентскому, что это рука Джоша, грубого, непреклонного и, быть может, смышленого старого бродяги. Домби, пусть этот день будет счастливейшим в вашей жизни! Да благословит вас бог!

Входит мистер Каркер, тоже великолепный и улыбающийся,— настоящий свадебный гость. Он едва решается выпустить руку мистера Домби — так горячи его поздравления; и в то же время он так сердечно трясет руку майора, что вздрагивание его рук передается также и его голосу, который плавно струился сквозь зубы.

— Даже погода благоприятствует,— говорит мистер Каркер.— Удивительно солнечный и теплый день! Надеюсь, я не опоздал?

— Минута в минуту, сэр,— говорит майор.

— Я в восторге,— говорит мистер Каркер.— Я боялся, как бы на несколько секунд не опоздать к назначенному часу, потому что меня задержала вереница повозок. И я осмелился заехать на Брук-стрит,— эти слова были обращены к мистеру Домби,— чтобы оставить несколько ред-

ких цветов для миссис Домби. Человек в моем положении, удостоенный чести быть приглашенным сюда, гордится возможностью принести дань уважения в знак своей вассальной зависимости. И так как миссис Домби несомненно засыпана драгоценными и прекрасными вещами,— тут он бросает странный взгляд на своего патрона,— я льщу себя надеждой, что мое приношение будет принято благосклонно именно благодаря тому, что оно столь скромно.

— Я уверен,— снисходительно отвечает мистер Домби,— что будущая миссис Домби оценит ваше внимание, Каркер.

— А если ей предстоит стать миссис Домби, сэр, сегодня утром,— говорит майор, поставив на стол свою кофейную чашку и взглянув на часы,— нам давно пора ехать!

И мистер Домби, майор Бегсток и мистер Каркер в ландо едут в церковь. Мистер Саундс, бидл, давно уже поднялся со ступеней и стоит с треуголкой в руке. Миссис Миф приседает и предлагает подождать в ризнице. Мистер Домби предпочитает остаться в церкви. Когда он бросает взгляд на орга̀н, мисс Токс на галерее прячется за пухлую ногу херувима, украшающего памятник и раздувшего щеки, как юный бог ветра. Капитан Катль, наоборот, встает и машет крючком в знак приветствия и поощрения. Мистер Тутс, прикрывая рот рукой, сообщает Петуху, что джентльмен, стоящий посредине, тот, что в светло-коричневых панталонах,— отец его дамы сердца. Петух хрипло шепчет мистеру Тутсу, что он никогда еще не видывал такого накрахмаленного парня, но что с помощью науки он может согнуть его вдвое, одним ударом в жилет.

Мистер Саундс и миссис Миф, стоя неподалеку, созерцают мистера Домби, но вот раздается стук подъезжающего экипажа, и мистер Саундс выходит, а миссис Миф, встретив взгляд мистера Домби, оторвавшийся от самонадеянного маньяка наверху, который приветствует его с такой учтивостью,— миссис Миф приседает и сообщает ему, что, кажется, приехала его «добрая леди». Затем слышатся шаги и шепот в дверях, и добрая леди входит горделивой поступью.

Страдания прошлой ночи не оставили на ее лице ни малейшего следа; в ней нет ничего от той женщины, которая, преклонив колени, опустила пылающую голову на подушку спящей девушки (эта девушка, кроткая и прелестная, находится тут же рядом — разительный контраст с нею самой, полной пренебрежения и гордыни). Вот она стоит здесь, спокойная, статная, непостижимая, сверкающая и величественная в расцвете красоты и, однако, презирающая и попирающая то восхищение, какое она внушает.

Наступает пауза, мистер Саундс идет неслышно в ризницу за священником и клерком. Тогда миссис Скьютон обращается к мистеру Домби, выражаясь более отчетливо и вразумительно, чем ей свойственно, и в то же время придвигаясь ближе к Эдит.

— Дорогой мой Домби,— говорит добрая мамаша,— боюсь, что мне все-таки придется расстаться с милой Флоренс и согласиться, чтобы она вернулась домой, как она и предполагала. После той утраты, какая ждет меня сегодня, мой дорогой Домби, я чувствую, что у меня не хватит бодрости даже для нее.

— Не лучше ли ей остаться с вами? — возражает жених.

— Не думаю, дорогой Домби. Нет, не думаю. Мне лучше побыть одной. К тому же моя милая Эдит будет по возвращении ее естественной и постоянной руководительницей, и, пожалуй, лучше мне не посягать на ее права. Она может почувствовать ревность. Не так ли, милая Эдит?

С этими словами нежная мамаша сжимает руку дочери — быть может, настойчиво желая привлечь ее внимание.

— Если говорить серьезно, мой дорогой Домби,— продолжает она,— я хочу отпустить нашу милую девочку и не заражать ее своим унынием. Мы только что уладили это дело. Она прекрасно все понимает, дорогой Домби. Эдит, дорогая моя, она прекрасно понимает.

Снова добрая мать сжимает руку дочери. Мистер Домби воздерживается от возражений, ибо появляются священник и клерк, а миссис Миф и мистер Саундс, бидл, указывают присутствующим их места перед алтарем.

— Кто отдает эту женщину в жены этому мужчине?

Кузен Финикс. Он приехал из Баден-Бадена специально с этой целью. «Черт возьми! — говорит кузен Финикс,— добродушное создание, этот кузен Финикс.— Уж если мы заполучили в семью богача из Сити, надлежит оказать ему какое-то внимание; нужно хоть что-нибудь для него сделать».

— Я отдаю эту женщину в жены этому мужчине,— изрекает кузен Финикс.

Сначала кузен Финикс, вознамерившийся двигаться по прямой линии, но свернувший в сторону по вине своих непокорных ног, отдает в жены «этому мужчине» отнюдь не ту женщину, какую нужно, а именно — подружку, дальнюю родственницу семейства, довольно знатного происхождения и моложе миссис Скьютон на десять лет, но миссис Миф, в своем увядшем чепце, ловко поворачивает кузена Финикса и подкатывает его, словно на колесиках, прямо к «доброй леди», которую кузен Финикс и отдает в жены «этому мужчине».

И обещают ли они пред лицом неба...?

Да, они обещают: мистер Домби говорит, что он обещает. А что говорит Эдит? Она тоже обещает.

Итак, они клянутся отныне в счастье и несчастье, в богатстве и бедности, в болезни и здоровье любить и лелеять друг друга, пока смерть их не разлучит. Брак заключен.

Твердым, четким почерком новобрачная записывает свою фамилию в книгу, когда они приходят в ризницу.

— Мало кто из леди пишет здесь свою фамилию так, как написала эта добрая леди,— говорит миссис Миф, приседая; взглянуть в такую минуту на миссис Миф — значит увидеть, как ныряет ее увядший чепец. Мистер Саундс, бидл, считает, что подпись хоть куда и достойна того, кто подписался, однако он хранит это мнение про себя.

Флоренс тоже расписывается, но не вызывает похвал, потому что рука у нее дрожит. Расписываются все; последним — кузен Финикс, который помещает свое благородное имя не туда, куда нужно, и вносит себя в список родившихся в это самое утро.

Затем майор очень галантно целует новобрачную и выполняет это правило военной тактики по отношению ко всем леди, несмотря на то, что миссис Скьютон чрезвычайно неподатлива и пронзительно взвизгивает в храме. Его примеру следуют кузен Финикс и даже мистер Домби. Наконец мистер Каркер, сверкая белыми зубами, приближается к Эдит с таким видом, как будто собирается ее укусить, а не отведать сладость ее уст.

Румянец на гордом лице и загоревшиеся глаза, быть может, должны были остановить его, но не остановили, потому что он целует ее, как и все остальные, и желает ей всяческих благ.

— Если пожелания,— говорит он тихо,— не являются излишними при таком союзе.

— Благодарю вас, сэр,— отвечает она, презрительно скривив губы и тяжело дыша.

Но чувствует ли еще Эдит, как в тот вечер, когда мистер Домби должен был явиться и предложить ей союз, что Каркер прекрасно ее понимает и читает ее мысли, чувствует ли она, что это его знание унижает ее больше, чем чье бы то ни было иное? Не потому ли ее высокомерие тает перед его улыбкой, словно снег в крепко стиснутом кулаке, а ее повелительный взгляд избегает его взгляда и она опускает глаза?

— Я горжусь,— говорит мистер Каркер, раболепно склоняя голову, в то время как его глаза и зубы разоблачают фальшь этого раболепия,— я горжусь тем, что мое смиренное приношение удостоилось прикосновения руки миссис Домби и столь почетного места в этот радостный день.

Хотя она отвечает поклоном, но при этом делает мимолетное движение, как будто хочет смять цветы, которые держит в руке, и бросить их с презрением. Но она продевает руку под руку своего мужа, который стоит рядом, беседуя с майором, и снова она надменна, невозмутима и безмолвна.

Экипажи опять стоят у дверей церкви. Мистер Домби под руку с женой проходит мимо двадцати выводков маленьких женщин, которые расположились на ступенях, и каждая из них запоминает до мельчайших подробностей фасон и цвет ее платья и впоследствии воспроизводит его

для своей куклы, вечно выходящей замуж. Клеопатра и кузен Финикс садятся в тот же экипаж. Майор подсаживает во второй экипаж Флоренс и подружку, которую чуть было не отдали по ошибке в жены, и затем садится сам, а за ним следует мистер Каркер. Лошади гарцуют и рвутся вперед; кучера и лакеи щеголяют развевающимися лентами, цветами и новыми ливреями. Они отъезжают и с грохотом мчатся по улицам; и когда они проносятся мимо, тысячи голов поворачиваются, чтобы взглянуть им вслед, и тысячи здравомыслящих моралистов, досадуя, что сегодня не их собственная свадьба, утешаются, размышляя, сколь мало думают эти люди о том, что такое счастье скоро кончается.

Когда наступает тишина, мисс Токс появляется из-за ноги херувима и медленно спускается с галереи. Глаза у мисс Токс красные, а носовой платок влажный. Она ранена, но не ожесточена, и она надеется, что они будут счастливы. Она признается себе самой, что новобрачная красива, а ее собственные прелести кажутся бледными и увядшими; но статная фигура мистера Домби в сиреневом жилете и светло-коричневых панталонах стоит у нее перед глазами, и мисс Токс снова плачет под своей вуалью, возвращаясь домой на площадь Принцессы. Капитан Катль набожно, хриплым голосом провозглашавший все амини и ответы, чувствует, что религиозные упражнения пошли ему на пользу, и в умиротворенном расположении духа шествует по церкви с глянцевитой шляпой в руке и читает надпись на табличке маленького Поля. Галантный мистер Тутс в сопровождении Петуха покидает церковь, жестоко терзаемый любовью. Петух все еще не может придумать план завоевания Флоренс, но первоначальная его идея овладела им, и он считает, что правильный шаг в этом направлении — заставить мистера Домби согнуться вдвое. Слуги мистера Домби выходят из потайных уголков и намереваются мчаться на Брук-стрит, но их задерживают симптомы недомогания, обнаруженные миссис Перч, которая умоляет дать ей стакан воды и внушает окружающим серьезные опасения; вскоре миссис Перч становится лучше, и ее уносят, а миссис Миф и мистер Саундс, бидл, усаживаются на ступени, чтобы подсчитать, что̀ принесла им эта церемония, и потолко-

вать о ней, покуда пономарь звонит в колокола, возвещая о похоронах.

Но вот экипажи подъезжают к резиденции новобрачной, и музыканты, услаждающие слух звоном колокольчиков, поднимают трезвон, и гремит оркестр, и мистер Перч, сей образец супружеского счастья, приветствует свою жену поцелуем. Народ валит гурьбой, и собирается толпа зевак, в то время как мистер Домби, ведя за руку миссис Домби, торжественно вступает в палаты Финиксов. Остальные гости выходят из экипажей и следуют за ним. Но почему мистер Каркер, пробиваясь сквозь толпу к парадной двери, думает о старухе, которая в то утро, в роще, кричала ему вслед? И почему Флоренс, входя в дом, с дрожью думает о том, как она заблудилась в детстве, и о лице Доброй миссис Браун?

Снова раздаются поздравления с этим счастливейшим днем, и прибывают новые гости, хотя их и немного; но вот они покидают гостиную и садятся за стол в мрачной коричневой столовой, которой ни один кондитер не в силах придать веселый вид, как бы ни украшал он истощенных негров цветами и причудливыми бантами.

Однако повар прекрасно справился со своим делом и сервировал великолепный завтрак. Мистер и миссис Чик присоединились к компании в числе прочих гостей. Миссис Чик в восторге от того, что Эдит от природы «настоящая Домби», и она беседует приветливо и конфиденциально с миссис Скьютон; с души последней скатилось тяжкое бремя, и она пьет шампанское. Очень рослый молодой человек, страдавший с утра от возбуждения, чувствует себя лучше; но им овладело смутное раскаяние; он ненавидит другого очень рослого молодого человека, насильно вырывает у него блюда и испытывает мрачное наслаждение, досаждая гостям. Гости хладнокровны и невозмутимы и не оскорбляют чрезмерным оживлением черные гербы на портретах, взирающих со стен. Кузен Финикс и майор — самые веселые в этом обществе, но у мистера Каркера находятся улыбки для всех сидящих за столом. Он приберегает особую улыбку для новобрачной, которая редко, очень редко ее замечает.

Когда завтрак окончен и слуги выходят из комнаты, кузен Финикс встает; удивительно моложавый у него вид,



когда белые манжеты почти целиком закрывают ему кисти рук (они довольно костлявые), а щеки разрумянились от шампанского.

— Клянусь честью,— говорит кузен Финикс,— хотя это и не принято в доме свободного от общественных обязанностей джентльмена, однако я прошу у вас разрешения провозгласить то, что обычно называют э... собственно говоря... тостом.

Майор очень хрипло выражает свое одобрение. Мистер Каркер, перегнувшись через стол к кузену Финиксу, улыбается и кивает множество раз.

— Э... собственно говоря, это не э...— Кузен Финикс после такого вступления безнадежно умолкает.

— Слушайте, слушайте! — говорит майор внушительным тоном.

Мистер Каркер тихонько хлопает в ладоши и, снова перегнувшись через стол, улыбается и кивает еще более энергически, чем раньше, словно его особенно поразило это последнее замечание и он желает выразить, какую пользу оно ему принесло.

— Это такое событие,— говорит кузен Финикс,— когда, собственно говоря, можно, не нарушая приличий, слегка отступить от обычаев повседневной жизни. И хотя я никогда не был оратором и, когда был в палате общин и имел честь поддерживать предложение, я, собственно говоря, слег на две недели, огорченный неудачей... .

Майор и мистер Каркер в таком восторге от этого биографического штриха, что кузен Финикс смеется и, обращаясь непосредственно к ним, продолжает:

— Собственно говоря, тогда я был чертовски болен... все-таки, знаете ли, я чувствую, что на мне лежит долг. А когда на англичанине лежит долг, он, по моему мнению, обязан исполнить его как можно лучше. Итак, сегодня наша семья имела удовольствие соединиться в лице моей прелестной и безупречной родственницы, собственно говоря, здесь присутствующей...

Тут раздаются аплодисменты.

— Присутствующей,— повторяет кузен Финикс, чувствуя, что это изящное выражение заслуживает быть повторенным,— с тем, кто... то есть с человеком, на которого перст презрения никогда не может... собственно

говоря, с моим почтенным другом Домби, если он мне разрешит называть его так.

Кузен Финикс кланяется мистеру Домби; мистер Домби торжественно отвечает поклоном; все более или менее удовлетворены и растроганы этим прочувствованным обращением — обращением необычайным, а быть может, и беспримерным.

— У меня не было столь желательной возможности,— продолжает кузен Финикс,— ближе познакомиться с моим другом Домби и изучить те качества, которые делают честь как его уму, так, собственно говоря, и сердцу; ибо я имел несчастье находиться,— как мы, бывало, говорили в мое время в палате общин, когда не принято было ссылаться на палату лордов и когда порядок парламентских заседаний соблюдался, быть может, лучше, чем соблюдается теперь,— имел несчастье находиться,— продолжает кузен Финикс, помедлив с большим лукавством, чтобы выпалить затем свою шутку,— собственно говоря, совсем в другом месте! *

С майором делаются судороги от смеха, и он с трудом приходит в себя.

— Но я достаточно знаю моего друга Домби,— продолжает кузен Финикс более серьезным тоном, как будто он вдруг стал и солиднее и мудрее,— чтобы знать, что, собственно говоря, он является тем, кого можно выразительно называть э... купцом... британским купцом... и э... и человеком. И хотя я в течение многих лет проживал за границей (мне бы доставило большое удовольствие принять моего друга Домби и всех здесь присутствующих в Баден-Бадене и, воспользовавшись случаем, представить их великому герцогу), тем не менее — льщу себя надеждой — я достаточно знаю мою прелестную и безупречную родственницу, чтобы знать, что она обладает всеми данными, обеспечивающими счастье мужа, и что ее брак с моим другом Домби является браком по любви и взаимному расположению.

Многочисленные улыбки и кивки мистера Каркера.

— Посему,— говорит кузен Финикс,— я поздравляю семью, членом коей являюсь, с таким приобретением, как мой друг Домби. Я поздравляю моего друга Домби со вступлением в брак с моей прелестной и безупречной

родственницей, обладающей всеми данными, какие обеспечивают счастье мужа, и беру на себя смелость предложить всем вам, собственно говоря, поздравить по случаю такого события и друга моего Домби и мою прелестную и безупречную родственницу.

Речь кузена Финикса встречена громкими аплодисментами, и мистер Домби выражает благодарность от имени своего и миссис Домби. Вскоре после этого Дж. Б. предлагает выпить за здоровье миссис Скьютон. После этого завтрак тянется как-то вяло, оскверненные гербы отомщены, и Эдит выходит, чтобы переодеться в дорожное платье.

Тем временем все слуги завтракали внизу. Шампанское уже не считается у них достойным упоминания, а на жареных кур, пироги и салат из омаров нет спроса. Очень рослый молодой человек воспрял духом и снова толкует об «упражнении». Взоры его товарища начинают соревноваться с его собственным взором, и он тоже устремляет взгляд на предметы, не отдавая себе в том отчета. Лица у всех леди раскраснелись, в особенности лицо миссис Перч, которая ликует и сияет и столь высоко вознесена над земными заботами, что, если бы попросили ее сейчас проводить путника в Болс-Понд, где ютятся ее собственные заботы, ей стоило бы некоторого труда припомнить дорогу. Мистер Таулинсон предложил выпить за здоровье счастливой четы, на что седовласый дворецкий отозвался очень любезно и с волнением, ибо он готов поверить, что в самом деле является старым слугой семьи и обязан быть растроганным такими переменами. Вся компания, а в особенности леди, находится в очень игривом расположении духа. Кухарка мистера Домби, которая обычно руководит собранием, заявила, что после этого немыслимо сразу же взяться за дела, и почему бы не пойти всей компанией в театр? Все (включая миссис Перч) выразили согласие, даже туземец, который свирепеет от вина и своими вращающимися белками пугает леди (в особенности миссис Перч). Один из очень рослых молодых людей предложил даже отправиться после спектакля на бал, и это никому (включая миссис Перч) не представляется неосуществимым. Завязался спор между горничной и мистером Таулинсоном: опираясь на старую поговорку, она

утверждает, что браки заключаются на небесах, он отводит им другое место; он предполагает, будто ее слова основаны на том, что она помышляет о своем собственном замужестве; она говорит, что, во всяком случае, господь сохранит ее от опасности выйти замуж за *него*. Желая положить конец этим язвительным замечаниям, седовласый дворецкий встает и предлагает выпить за здоровье мистера Таулинсона, ибо знать его — значит уважать, а уважать его — значит пожелать ему счастья в жизни с его избранницей, кто бы она ни была (при этом седовласый дворецкий взирает на горничную). Мистер Таулинсон отвечает благодарственной, преисполненной чувства речью, заключительная часть коей обращена против иностранцев; он говорит, что, быть может, они могут снискать иной раз расположение людей слабохарактерных и непостоянных, которых легко провести, но он всею душою уповает на то, что никогда больше не услышит о каком бы то ни было иностранце, наживающемся на путешествующих в каретах. При этом взор мистера Таулинсона столь суров и столь выразителен, что горничной грозит истерический припадок, но тут она и все остальные, взбудораженные известием об отъезде новобрачной, спешат наверх, чтобы присутствовать при ее отбытии.

Карета у двери; новобрачная спускается в холл, где ее ждет мистер Домби. Флоренс, также готовая к отъезду, стоит на лестнице, а мисс Нипер, занимавшая промежуточный пост между гостиной и кухней, собирается сопровождать ее. Как только появляется Эдит, Флоренс спешит ей навстречу, чтобы попрощаться.

Неужели Эдит холодно и потому она дрожит? Неужели в прикосновении Флоренс есть что-то странное или болезненное и потому эта красивая женщина отступает и съеживается, как будто не может вынести этого прикосновения? Неужели нужно так торопиться с отъездом, и потому Эдит, махнув рукой, сбегает по ступеням и уезжает?

Когда замирает стук колес, миссис Скьютон, подавленная материнскими чувствами, опускается в позе Клеопатры на свою софу и проливает слезы. Майор, встав из-за стола вместе с остальными гостями, старается ее утешить, но она и слышать не хочет об утешении, и майор

откланивается. Откланивается кузен Финикс, и откланивается мистер Каркер. Все гости разъезжаются. Оставшись одна, Клеопатра чувствует легкое головокружение, вызванное сильным волнением, и погружается в сон.

Головокружение распространяется также и в подвальном этаже. У рослого молодого человека, так скоро пришедшего в возбуждение, голова как будто приклеилась к столу в буфетной, и ее нельзя от стола оторвать. Резкая перемена произошла в расположении духа миссис Перч, которая впадает в уныние из-за мистера Перча и поверяет кухарке свое подозрение, что теперь он не так сильно привязан к дому, как в ту пору, когда их семья состояла только из девяти человек. У мистера Таулинсона звон в ушах, и большое колесо без конца вертится в голове. А горничная выражает сожаление, что желать себе смерти считается грехом.

К тому же здесь, в нижнем этаже, возникает ложное представление о времени; все полагают, что сейчас по крайней мере десять часов вечера, тогда как нет и трех часов дня. Смутное сознание совершенного преступления преследует всю компанию; и каждый втайне считает другого соучастником, от которого лучше бы держаться подальше. Ни мужчины, ни женщины не смеют заикнуться о предполагавшемся посещении театра. Того, кто легкомысленно вздумал бы воскресить идею бала, осмеяли бы как идиота.

Миссис Скьютон спит в продолжение двух часов, и в кухне дремота еще не рассеялась. Гербы в столовой взирают со стен на крошки, грязные тарелки, пролитое вино, полурастаявшее мороженое, на недопитые бокалы с вином, выдохшимся и бесцветным, на остатки омаров, куриные косточки и задумчивое желе, постепенно превращающееся в тепловатый клейкий суп. К этому времени свадебное торжество утратило свою первоначальную пышность почти в такой же мере, как и завтрак. Слуги мистера Домби столь нравоучительно рассуждают о свадьбе и чувствуют такое раскаяние, сидя у себя дома за ранним чаем, что примерно к восьми часам погружаются в глубокую сосредоточенность; а мистер Перч, явившийся в это время из Сити, бодрый и веселый, в белом жилете и с забавной песенкой на устах, собирающийся скоротать

вечерок и приготовившийся к самым легкомысленным развлечениям, озадачен холодным приемом и жалким состоянием миссис Перч и убеждается в том, что на нем лежит приятная обязанность отвезти эту леди домой в первом же омнибусе.

Наступает ночь. Флоренс, побродив по комнатам прекрасного дома, идет к себе в спальню, где благодаря заботам Эдит ее окружают роскошь и уют; сняв нарядное платье, она надевает простое траурное, в память дорогого Поля, и садится за книгу, а подле нее Диоген, растянувшись на полу, щурится и моргает. Но сегодня Флоренс не может читать. Дом кажется странным и незнакомым, и в нем гулко раздается эхо. На душе у нее тоскливо; причины она не знает, но ей тяжело. Флоренс закрывает книгу, а неуклюжий Диоген, приняв это за сигнал, немедленно кладет лапы ей на колени и трется ушами об ее ласкающие руки. Но вскоре Флоренс уже не видит его ясно, потому что перед глазами у нее какой-то туман, и в нем сияют, подобно ангелам, покойный брат и покойная мать. И Уолтер, бедный, скитающийся, потерпевший крушение мальчик, о, где он?

Майор не знает; это несомненно. И ему нет дела до этого. Майор, весь день задыхавшийся и дремавший, поздно пообедал у себя в клубе, а теперь сидит за пинтой вина и доводит чуть ли не до безумия скромного молодого человека с румяным лицом за соседним столиком (он с радостью заплатил бы большие деньги, чтобы только встать и уйти, но не может этого сделать),— доводит чуть ли не до безумия рассказами о Бегстоке, сэр, на свадьбе Домби и о чертовски аристократическом друге старого Джо, лорде Финиксе. В это время лорд Финикс, которому следовало быть в отеле Лонга и мирно лежать в постели, сидит за карточным столом, куда привели его, быть может вопреки его желанию, капризные, непокорные ноги.

Ночь, словно великан, занимает всю церковь от каменных плит до крыши и царит здесь в часы безмолвия. Бледный рассвет снова заглядывает украдкой в окна и, уступая место дню, видит, как ночь уходит в склепы, и следует за ней, выгоняет ее оттуда и прячется среди мертвецов. Робкие мыши снова жмутся друг к другу,

когда с грохотом отворяются большие двери и входят мистер Саундс и миссис Миф, двигаясь по кругу своей повседневной жизни, нерушимому, как обручальное кольцо. Снова треуголка и увядший чепец виднеются на заднем плане в час свадьбы; и снова этот мужчина берет в жены эту женщину, и эта женщина берет в мужья этого мужчину, давая торжественный обет:

«Хранить и беречь друг друга отныне в счастье и несчастье, в богатстве и бедности, в болезни и здоровье, любить и лелеять, пока смерть их не разлучит».

Эти самые слова повторяет мистер Каркер, въезжая верхом в город и выбирая дорогу почище, и рот у него растягивается до ушей.

ГЛАВА XXXII

Деревянный Мичман разбивается вдребезги

Честный капитан Катль, проведя несколько недель в своем укрепленном убежище, отнюдь не намерен был отказываться от благоразумных мер предосторожности, принятых для защиты от неожиданного нападения, потому только, что враг не является. Капитан считал, что теперешнее его благополучие слишком велико и чудесно, чтобы длиться долго; он знал, что редко флюгер остается неподвижным, когда дует попутный ветер. Слишком хорошо знакомый с решительным и неустрашимым нравом миссис Мак-Стинджер, он не сомневался в том, что эта героическая женщина поставила себе целью отыскать его и захватить в плен. Трепеща под тяжестью этих соображений, капитан Катль жил очень замкнуто и уединенно; выходил обычно в сумерках, да и тогда отваживался бродить только по самым глухим улицам, вовсе не покидал дома по воскресеньям и как в стенах, так и за стенами своего убежища избегал шляпок, словно их носили разъяренные львы.

Капитану и в голову не приходило, что можно оказать сопротивление миссис Мак-Стинджер в случае, если она набросится на него во время прогулки. Он чувствовал, что этого нельзя сделать. Он уже видел себя, кроткого и

безропотного, помещенным в наемную карету и водворенным на старую квартиру. Он предвидел, что, раз попав в эту тюрьму, он — погибший человек; прощай его шляпа; миссис Мак-Стинджер стережет его и день и ночь; упреки сыплются на его голову в присутствии младенцев; он внушает подозрение и недоверие — людоед в глазах детей и разоблаченный предатель в глазах их матери.

Всякий раз как эта мрачная картина рисовалась воображению капитана, он покрывался обильным потом и впадал в уныние. Обычно это бывало по вечерам, незадолго до того часа, когда он крадучись выходил из дому подышать воздухом и прогуляться. Понимая, какой опасности он подвергается, капитан в такие минуты прощался с Робом торжественно, как и подобает человеку, который, быть может, никогда не вернется, увещевал его на случай, если он (капитан) на время скроется из виду, идти по стезе добродетели и хорошенько чистить медные инструменты.

Но не желая окончательно складывать оружие и стараясь обеспечить себе, если дело обернется плохо, возможность поддерживать общение с внешним миром, капитан Катль вскоре набрел на счастливую мысль обучить Роба Точильщика какому-нибудь тайному сигналу, дабы сей подчиненный мог в час бедствия дать знать командиру о своем присутствии и преданности. После долгого раздумья капитан принял решение и научил его насвистывать морскую песенку «Эх, веселей, веселей!», а когда Роб Точильщик достиг той степени совершенства в исполнении ее, на какую только может рассчитывать сухопутный житель, капитан запечатлел в его памяти следующие таинственные наставления:

— Ну, приятель, держись крепче! Если меня когда-нибудь захватят...

— Захватят, капитан? — перебил Роб, широко раскрывая свои круглые глаза.

— Да! — мрачно сказал капитан Катль.— Если я когда-нибудь выйду из дому, намереваясь вернуться к ужину, и не появлюсь на расстоянии оклика, то через двадцать четыре часа после моего исчезновения ступай на Бриг-Плейс и насвистывай эту вот песенку около моей старой пристани, но так, понимаешь ли, как будто ты это

делаешь без всякого умысла, как будто тебя занесло туда случайно. Если я тебе отвечу тою же песенкой, ты, приятель, отчаливай и возвращайся через двадцать четыре часа; если я отвечу другой песенкой, уклонись от прямого курса и держись на расстоянии, пока я не подам нового сигнала. Понял приказ?

— От чего я должен уклониться, капитан? — осведомился Роб.— От мостовой?

— Нечего сказать, смышленый парень! — воскликнул капитан, взирая на него сурово.— Родного языка не понимает! Тогда ты отойди в сторонку, а потом вернись,— понятно теперь?

— Да, капитан,— сказал Роб.

— Отлично, приятель,— смягчившись, сказал капитан.— Так и сделай!

Чтобы Роб хорошенько это усвоил, капитан Катль по вечерам, закрыв лавку, удостаивал иногда прорепетировать с ним всю сцену: уходил для этой цели в гостиную, как бы в жилище воображаемой миссис Мак-Стинджер, и внимательно следил за поведением своего союзника в глазок, просверленный им в стене. Роб Точильщик во время испытания исполнял свой долг так исправно и ловко, что капитан в знак своего удовлетворения подарил ему в разное время семь шестипенсовиков; и постепенно в сердце его поселилось спокойствие человека, приготовившегося к худшему и принявшему все разумные меры предосторожности против безжалостного рока.

Однако капитан не искушал судьбы и склонен был рисковать ничуть не больше, чем раньше. Полагая, что правила хорошего тона предписывают ему, как другу семьи, присутствовать на свадьбе мистера Домби (о ней он узнал от мистера Перча) и с галереи показать сему джентльмену свою любезную и довольную физиономию, он отправился в церковь в наемном кабриолете, в котором оба окна были подняты; быть может, страшась миссис Мак-Стинджер, он не отважился бы и на этот подвиг, если бы упомянутая леди не посещала богослужений преподобного Мельхиседека, вследствие чего ее присутствие в англиканской церкви казалось в высшей степени невероятным.

Капитан благополучно вернулся домой, и новая его жизнь продолжала течь заведенным порядком; неприятель

не доставлял ему более прямых поводов к тревоге, чем ежедневное появление дамских шляпок на улице. Но другие заботы начали удручать капитана. О корабле Уолтера все еще не поступало никаких сведений. Не было никаких известий о старом Соле Джилсе. Флоренс даже не знала об исчезновении старика, а капитан Катль не решался ей сказать. В самом деле, с тех пор как надежда на спасение великодушного, красивого, отважного юноши, которого он по-своему, грубовато, любил с раннего его детства, начала угасать и угасала со дня на день,— капитан с тоской гнал от себя мысль о разговоре с Флоренс. Если бы честный капитан мог принести ей добрые вести, он не побоялся бы войти в заново отремонтированный и великолепно меблированный дом — хотя этот дом, в связи с виденной им в церкви леди, внушал ему ужас — и явился бы к Флоренс. Но тёмные тучи заволокли их общие надежды, сгущаясь с каждым часом, и капитан чувствовал, что может оказаться для нее источником новых бед и огорчений, а потому визита к Флоренс он страшился не меньше, чем самой миссис Мак-Стинджер.

Был холодный, темный, осенний вечер, и капитан Катль велел затопить камин в маленькой гостиной, теперь больше, чем когда-либо, походившей на каюту. Лил дождь, и дул сильный ветер; пройдя через открытую всем ветрам спальню своего старого друга, капитан поднялся на крышу дома узнать, какова погода, и сердце у него замерло, когда он увидел, как ненастно и безнадежно вокруг. Нельзя сказать, чтобы он связывал эту погоду с судьбой бедного Уолтера или сомневался в том, что, если провидение обрекло мальчика на гибель и кораблекрушение, это совершилось уже давно; но под тяжестью какого-то внешнего воздействия, которое ничего общего не имело с предметом его размышлений, капитан Катль пал духом, и надежды его поблекли, как не раз случалось и не раз будет случаться даже с людьми более мудрыми, чем он.

Обратив лицо навстречу резкому ветру и косому дождю, капитан Катль смотрел на тяжелые облака, быстро проносившиеся над нагромождением крыш, и тщетно искал картины более отрадной. И вокруг него зрелище было не лучше. В многочисленных ящиках из-под чая и разных коробках слышалось у его ног воркованье голу-

бей Роба Точильщика, похожее на жалобный стон поднимающегося бриза. Расшатанный флюгер — Мичман с подзорной трубой у глаза, когда-то видимый с улицы, но давно уже заслоненный кирпичной стеной,— скрипел и жаловался на своем заржавленном стержне, когда порыв ветра заставлял его вертеться и вел с ним злую игру. На грубом синем жилете капитана холодные дождевые капли трепетали как стальные бусины; и он, согнувшись, едва мог устоять на ногах под напором жестокого северо-западного ветра, который налетал на него с твердым намерением опрокинуть за парапет и швырнуть вниз на мостовую. Если в этот вечер еще была жива какая-то Надежда,— размышлял капитан, придерживая шляпу,— она, разумеется, сидела дома и не показывалась на улице; и капитан, грустно покачивая головой, пошел ее разыскивать.

Капитан Катль медленно спустился в маленькую гостиную и, усевшись в свое кресло, стал искать ее в камине; но там ее не было, хотя огонь ярко пылал. Он достал табакерку и трубку и, расположившись покурить, стал искать ее в чашечке трубки и в кольцах дыма, срывавшихся с его губ; но и там не было даже крупинки ржавчины с якоря Надежды. Он попробовал налить себе стакан грогу; но грустная истина скрывалась на дне этого колодца, и он не мог допить стакан. Несколько раз он прошелся по лавке и поискал Надежду среди инструментов; но, несмотря на все его сопротивление, они упрямо определяли путь пропавшего судна, который обрывался на дне пустынного моря.

По-прежнему бушевал ветер, и дождь по-прежнему стучал в закрытые ставни, когда капитан остановился перед Деревянным Мичманом и, вытирая своим рукавом мундир маленького офицера, задумался о том, сколько лет прожил на свете Мичман и как мало перемен — почти никаких — происходило за это время с экипажем его судна; как эти перемены налетели все вместе, в один день, и как они всё смели. Маленькое общество в задней гостиной распалось и рассеялось по свету. Некому было слушать «Красотку Пэг», даже если бы кто-нибудь и мог ее спеть, но такого человека не было; ибо капитан был так же твердо убежден в том, что никто, кроме него, не может

исполнить эту балладу, как и в том, что при настоящем положении дел он не отважится на такую попытку. Не видно было в доме веселого лица Уольра — тут капитан на секунду отвел свой рукав от мундира Мичмана и вытер им собственную щеку; знакомый парик и пуговицы Соля Джилса стали видением прошлого; с Ричардом Виттингтоном было покончено; и все планы и проекты, связанные с Мичманом, неслись по воле волн без мачты и руля.

Капитан с удрученной физиономией стоял в задумчивости, старательно вытирая Мичмана, столько же из нежности к нему, старому знакомому, сколько и по рассеянности, как вдруг стук в дверь магазина заставил испуганно вздрогнуть Роба Точильщика, который, сидя на прилавке, не спускал круглых глаз с лица капитана и в пятисотый раз задавал себе вопрос, неужели тот совершил убийство и теперь его беспрерывно терзают угрызения совести, и он вечно думает о бегстве.

— Что это? — тихо спросил капитан Катль.

— Кто-то стучит, капитан,— ответил Роб Точильщик.

Капитан с пристыженным и виноватым видом тотчас прокрался на цыпочках в маленькую гостиную и заперся там. Роб, открыв дверь, готовился переговорить с посетителем на пороге, если бы посетитель явился в образе женщины; но так как он принадлежал к мужскому полу, а приказ, данный Робу, относился только к женщинам, Роб распахнул дверь и позволил гостю войти, что тот и поспешил сделать, спасаясь от ливня.

— Берджесу и К° придется поработать,— сказал посетитель, сочувственно посматривая через плечо на свои собственные ноги, очень мокрые и забрызганные грязью.— О, как поживаете, мистер Джилс?

Приветствие относилось к капитану, который вышел из задней гостиной, явно и очень неискусно притворясь, будто заглянул сюда случайно.

— Благодарю вас,— продолжал джентльмен, не делая паузы,— я себя чувствую прекрасно, очень вам признателен. Меня зовут Тутс, *мистер* Тутс.

Капитан, припомнив, что видел этого молодого джентльмена на свадьбе, поклонился. Мистер Тутс ответил хихиканием; и, будучи, по своему обыкновению, смущен, стал тяжело дышать, долго пожимал руку капи-

тану, а затем, за неимением иных ресурсов, набросился на Роба Точильщика и в высшей степени приветливо и сердечно пожал ему руку.

— Послушайте! Я бы хотел сказать вам словечко, мистер Джилс, если вы разрешите,— сказал, наконец, Тутс, обнаруживая изумительное присутствие духа.— Послушайте! Мисс Д.О.М. ...знаете ли!

Капитан столь же важно и таинственно указал своим крючком в сторону маленькой гостиной, куда и последовал за ним мистер Тутс.

— О, прошу прощения,— сказал мистер Тутс, засматривая в лицо капитану и усаживаясь в кресло у камина, которое капитан придвинул для него.— Быть может, вы случайно знаете Петуха, мистер Джилс?

— Петуха? — спросил капитан.

— Бойцового Петуха,— сказал мистер Тутс.

Когда капитан отрицательно покачал головой, мистер Тутс пояснил, что упомянутое лицо является знаменитой особой, которая покрыла славой себя и свою страну в состязании с Красавчиком Шропширом Первым; но это сообщение, казалось, мало что разъяснило капитану.

— Дело в том, что он стоит на улице, вот и все,— сказал мистер Тутс.— Но это не имеет никакого значения; быть может, он не очень промокнет.

— Я сию минуту распоряжусь, чтобы его впустили,— сказал капитан.

— Ну, если уж вы *так* добры, что разрешаете ему посидеть в лавке с вашим молодым человеком,— хихикая, сказал мистер Тутс,— то я очень рад, потому что он, знаете ли, обидчив, а сырая погода скверно отражается на его выносливости. Я сам позову его, мистер Джилс.

С этими словами мистер Тутс, подойдя к наружной двери, свистнул особым образом в темноту, после чего появился джентльмен-стоик в мохнатом белом пальто и шляпе с прямыми полями, очень коротко остриженный, со сломанным носом и обширным пространством за обоими ушами, бесплодным и лишенным растительности.

— Садитесь, Петух,— сказал мистер Тутс.

Покладистый Петух выплюнул несколько соломинок, которыми угощался, и положил в рот новую порцию из запаса, хранившегося в руке.

— Не найдется ли здесь чего-нибудь покрепче промочить горло? — сказал Петух, ни к кому в частности не обращаясь.— Эта дождливая погода — скверная штука для того, кого кормит собственное здоровье.

Капитан Катль подал рюмку рому, а Петух, запрокинув голову, влил его в себя, как в бочку, провозгласив предварительно лаконический тост: «За здоровье всех присутствующих!» Когда же мистер Тутс и капитан вернулись в гостиную и вновь уселись у камина, мистер Тутс заговорил:

— Мистер Джилс...

— Стоп! — сказал капитан.— Меня зовут Катль.

Мистер Тутс как будто крайне смутился, а капитан степенно продолжал:

— Зовут меня капитан Катль, и родина моя — Англия, здесь мое местожительство, и благословенна всякая тварь. Из Иова *,— добавил капитан, отсылая к первоисточнику.

— О! А скажите, не могу ли я увидеть мистера Джилса? — спросил мистер Тутс.— Дело в том, что...

— Если бы вы, молодой джентльмен, могли увидеть Соля Джилса,— внушительно сказал капитан, опуская свою тяжелую руку на колено мистера Тутса,— увидеть старого Соля, запомните это, вы были бы для меня более желанны, чем попутный ветер для корабля, попавшего в штиль. А почему вы не можете увидеть Соля Джилса? — продолжал капитан, угадав по выражению лица мистера Тутса, какое глубокое впечатление производит он на этого джентльмена.— Потому что он невидим.

Мистер Тутс, встревоженный, собирался ответить, что это не имеет ровно никакого значения. Но спохватился и сказал:

— Господи, помилуй!

— Этот самый человек,— сказал капитан,— особым документом оставил на мое попечение вот это все, но хотя для меня он был почти что брат названый, я знаю не больше, чем вы, о том, куда он ушел и зачем он ушел: либо он разыскивает своего племянника, либо мозги у него не в порядке. Однажды утром, на рассвете,— продолжал капитан,— он прыгнул за борт, и никто не услышал плеска, никто не заметил ряби. Я искал этого чело-

века повсюду и с того дня ни разу не видел его и не слышал и ничего о нем не ведаю.

— Ах, боже мой, но мисс Домби не знает...— начал мистер Тутс.

— А зачем, спрошу я вас, как доброго человека,— сказал капитан, понижая голос,— зачем ей знать? Зачем давать ей знать, пока нет в этом необходимости? Она, это милое создание, привязалась к старому Солю Джилсу, чувствовала к нему такое расположение, такую нежность, такую... Что толку говорить об этом? Вы ее знаете.

— Надеюсь, что знаю,— хихикнул мистер Тутс, чувствуя, как лицо его залилось румянцем.

— И вы пришли сюда от нее? — спросил капитан.

— Полагаю, что так,— хихикнул мистер Тутс.

— В таком случае мне остается только заметить,— сказал капитан,— что вы знакомы с ангелом и ангел вас зафрахтовал.

Мистер Тутс тотчас схватил капитана за руку и попросил, чтобы тот удостоил его своей дружбы.

— Клянусь честью,— очень серьезно сказал мистер Тутс,— я буду вам крайне признателен, если вы познакомитесь со мной ближе. Мне бы очень хотелось хорошенько узнать вас, капитан. Право же, мне нужен друг. Маленький Домби был моим другом в заведении доктора Блимбера и теперь остался бы им, будь он жив. Петух,— пугливым шепотом продолжал мистер Тутс,— очень неплох... превосходен в своем роде... может быть, самый ловкий человек в мире; на все руки мастер; все так говорят... но я не знаю... мне этого мало... Да, капитан, она — ангел! Если есть где-нибудь на свете ангел, то это мисс Домби. Я всегда это говорил. И, право же, знаете ли,— сказал мистер Тутс,— я буду вам крайне признателен, если вы согласитесь поддерживать знакомство со мной.

Капитан Катль принял это предложение учтиво, но отнюдь не связывая себя обещанием; он заметил только: «Ладно, приятель. Посмотрим, посмотрим»,— и напомнил мистеру Тутсу о непосредственной цели его посещения, осведомившись, чему обязан этим визитом.

— Дело в том,— отвечал мистер Тутс,— что я пришел к вам от молодой женщины. Не от мисс Домби, а, знаете ли, от Сьюзен.

Капитан кивнул головой с глубокомысленным видом, свидетельствующим о том, что к этой молодой женщине он относится с большим уважением.

— И я вам расскажу, как это случилось,— сказал мистер Тутс.— Я, знаете ли, захожу иногда навестить мисс Домби. Специально я туда, знаете ли, не хожу, но мне очень часто приходится бывать в тех краях, и если уж я попаду туда, ну, я и... я и загляну.

— Натурально,— заметил капитан.

— Вот именно,— подтвердил мистер Тутс.— И сегодня я заглянул. Клянусь честью, вряд ли можно представить себе, каким ангелом была сегодня мисс Домби.

Капитан ответил энергическим кивком, давая понять, что кое-кому это, быть может, и нелегко представить, но, во всяком случае, не ему.

— Когда я уходил,— сказал мистер Тутс,— молодая женщина в высшей степени неожиданно увела меня в буфетную.

Капитану как будто не понравился такой образ действий, и, откинувшись на спинку стула, он устремил на мистера Тутса недоверчивый, если не угрожающий взгляд.

— Там она достала эту газету,— сказал мистер Тутс.— Она сообщила мне, что весь день прятала ее от мисс Домби, потому что тут что-то такое напечатано о ком-то, кого знали она и Домби; а потом она прочла мне это место. Отлично. Потом она сказала... подождите минутку... что же это она сказала?

Мистер Тутс, пытаясь сосредоточить все силы своего ума на этом вопросе, случайно встретил взгляд капитана и был до такой степени сбит с толку суровым его выражением, что ему стоило мучительного труда вернуться к предмету разговора.

— О! — сказал мистер Тутс после долгого раздумья.— О! Да! Она сказала, что едва ли это может оказаться неверным и что ей нельзя выйти из дому, не вызвав подозрений у мисс Домби, и не могу ли я заглянуть к мистеру Соломону Джилсу, мастеру судовых инструментов на этой улице, который тому лицу приходится

дядей, и спросить его, верит ли он сообщению и не слыхал ли еще чего-нибудь в Сити. Она сказала, что если он не в силах будет говорить со мной, то капитан Катль несомненно поговорит. Кстати! — воскликнул мистер Тутс, пораженный неожиданным открытием.— Знаете ли, ведь это вас она имела в виду!

Капитан посмотрел на газету, которую мистер Тутс держал в руке, и дыхание его стало частым и прерывистым.

— А пришел я так поздно,— продолжал мистер Тутс,— потому что сначала отправился в Финчли за курослепом для птички мисс Домби — там растет самый лучший курослеп. Но оттуда я пошел прямо сюда. Вероятно, вы видели эту газету?

Капитан, который воздерживался от чтения газет, опасаясь обнаружить объявление о самом себе, помещенное миссис Мак-Стинджер, покачал головой.

— Прочесть вам эту заметку? — осведомился мистер Тутс.

Так как капитан кивнул утвердительно, мистер Тутс стал читать следующее сообщение морского департамента.

— «Саутгемптон. С барка «Вызов» (капитан Генри Джеймс), прибывшего сегодня в порт с грузом сахара, кофе и рома, сообщают, что на шестой день по отплытии с Ямайки в обратный путь, когда судно попало в штиль на»... ну, знаете, на такой-то широте,— сказал мистер Тутс, сделав неудачную попытку одолеть цифры и споткнувшись на них.

— Ну! — крикнул капитан, ударив кулаком по столу.— Вперед, приятель!

— ...Широте,— повторил мистер Тутс, бросив испуганный взгляд на капитана,— и такой-то долготе... «вахтенный, за полчаса до заката солнца, заметил на расстоянии мили плывущие по воде обломки судна. Так как погода стояла ясная, а барк не подвигался, была спущена шлюпка и отдан приказ осмотреть упомянутые обломки, причем оказалось, что это были части рангоута и такелажа английского брига водоизмещением около пятисот тонн, а также кусок кормы, на котором еще можно было легко разобрать буквы «Сын и Н...». Ни одного трупа на обломках не найдено. Судовой журнал «Вызова»

отмечает, что, так как ночью подул бриз, обломки потерпевшего крушение судна скрылись из виду. Не может быть никаких сомнений в том, что различные предположения касательно судьбы пропавшего судна «Сын и Наследник», порт Лондон, направление Барбадос, теперь окончательно отпадают: оно было разбито во время последнего урагана, и все бывшие на борту погибли».

Капитан Катль, подобно всем людям, и не подозревал о том, сколь глубоки, несмотря на уныние, его надежды, пока не почувствовал полного их крушения. Во время чтения этой заметки и минуты две спустя он сидел ошеломленный, устремив взгляд на скромного мистера Тутса; потом, внезапно поднявшись и надев свою глянцевитую шляпу, которую в честь гостя положил на стол, капитан повернулся к нему спиной и опустил голову на каминную полку.

— Ох, клянусь честью! — воскликнул мистер Тутс, чье мягкое сердце было тронуто неожиданной скорбью капитана.— Какое ужасное место этот мир! Тут всегда кто-нибудь умирает или делает что-то несуразное. Знай я это прежде, я бы никогда так не стремился вступить во владение своим имуществом. Я никогда не видывал такого мира. Он гораздо хуже блимберовского.

Капитан Катль, не меняя позы, сделал знак мистеру Тутсу, чтобы тот не обращал на него внимания; вскоре он повернулся, глянцевитая шляпа была надвинута на уши, он проводил рукой по своему обветренному лицу и разглаживал его.

— Уольр, мой дорогой мальчик,— сказал капитан,— прощай. Уольр, дитя мое, мой мальчик и мужчина, я любил тебя! Он не был моей плотью и кровью,— продолжал капитан, глядя на огонь,— детей у меня нет, но то, что чувствует отец, теряя сына, чувствую я, теряя Уольра. А почему? — спросил капитан.— Потому что это не одна, а целая дюжина потерь. Где тот маленький школьник с румяным лицом и кудрявыми волосами, который приходил сюда каждую неделю и был весел, как песенка, в этой самой гостиной? Утонул вместе с Уольром. Где тот бодрый юноша, который не знал ни усталости, ни уныния и загорался и краснел так, что любо было на него смотреть, когда мы подшучивали над ним, говоря об

Отраде Сердца? Утонул вместе с Уольром. Где тот мужчина с горячим сердцем, который не мог допустить, чтобы старик приуныл хотя бы на минуту, а о себе совсем не заботился? Утонул вместе с Уольром. Это не один Уольр. Дюжину Уольров я знал и любил, все они обнимали его за шею, когда он шел ко дну, а теперь обнимают меня!

Мистер Тутс сидел молча и складывал на колене газету, пока в руках у него не остался маленький тугой квадратик.

— А Соль Джилс! — продолжал капитан, глядя на огонь.— Бедный старый Соль Джилс, потерявший племянника, что сталось с *вами*? Вас он оставил на мое попечение; последние слова его были: «Позаботьтесь о дяде!» Что заставило *вас,* Соль, пойти и сказать «прощай» Нэду Катлю? И что занести мне о вас в мой отчет, на который он смотрит сверху? Соль Джилс, Соль Джилс! — сказал капитан, медленно покачивая головой.— Попадется вам эта газета где-нибудь далеко от родного дома, и не найдется подле вас никого, кто бы знал Уольра, и некому будет слово сказать. И вы перемените курс и пойдете ко дну!

Испустив тяжелый вздох, капитан повернулся к мистеру Тутсу и, очнувшись, обратил внимание на этого джентльмена.

— Приятель,— сказал капитан,— вы должны честно сообщить молодой женщине, что это роковое известие слишком достоверно. Таких вещей, знаете ли, не выдумывают. Это занесено в судовой журнал, а судовой журнал — самая правдивая книга, какую только может написать человек. Завтра утром,— сказал капитан,— я пойду наводить справки, но ничего хорошего из этого не выйдет. Не может выйти. Если вы заглянете ко мне до полудня, я вам расскажу, что мне удалось узнать; а молодой женщине передайте от капитана Катля, что все кончено. Кончено!

И капитан, сняв крючком глянцевитую шляпу, вынул из нее носовой платок, с отчаянием вытер свою седую голову и в глубокой тоске снова швырнул платок в шляпу.

— О! Уверяю вас,— сказал мистер Тутс,— право же, я страшно огорчен. Честное слово, огорчен, хотя я и не был знаком с заинтересованной стороной. Как вы думае-

те, мисс Домби будет очень расстроена, капитан Джилс — то есть мистер Катль?

— Ну, еще бы, господь с вами! — отозвался капитан, как бы сожалея о наивности мистера Тутса.— Когда она была вот такой крошкой, они любили друг друга, как два голубка.

— В самом деле? — спросил мистер Тутс, и физиономия его заметно вытянулась.

— Они были созданы друг для друга,— горестно сказал капитан.— Но какое это имеет теперь значение?

— Клянусь честью! — воскликнул мистер Тутс, выпаливая слова вперемежку со смущенным хихиканием и всхлипываниями.— Теперь я огорчен еще больше, чем раньше. Знаете ли, капитан Джилс, я... я буквально обожаю мисс Домби; я... я просто болен от любви к ней! — Та порывистость, с какою это признание вырвалось у злополучного мистера Тутса, свидетельствовала о силе его чувства.— Но какой был бы толк от такого моего отношения к ней, если бы я не сочувствовал искренне ее страданиям, какова бы ни была их причина? Моя любовь, знаете ли, не эгоистическая,— объяснил мистер Тутс, воспылав доверием после того, как стал свидетелем мягкосердечия капитана.— Со мной дело обстоит так, капитан Джилс: если бы я попал под лошадь, или... или если бы меня растоптали, или... или сбросили с какого-нибудь очень высокого места... или что-нибудь в этом роде... ради мисс Домби — для меня это было бы величайшим счастьем!

Все это мистер Тутс говорил, понизив голос, чтобы речь его не достигла ревнивого слуха Петуха, врага нежных эмоций; и это усилие, равно как и пылкое чувство, заставило его покраснеть до ушей, а глазам капитана Катля предстало столь трогательное зрелище бескорыстной любви, что добрый капитан сострадательно похлопал мистера Тутса по спине и посоветовал не падать духом.

— Благодарю вас, капитан Джилс,— сказал мистер Тутс,— очень любезно с вашей стороны говорить мне это, когда у вас самого такое горе. Я вам очень признателен. Как я уже сказал, мне очень нужен друг, и я был бы рад знакомству с вами. Хотя я очень богат,— энергически произнес мистер Тутс,— но вы и не подозреваете,



какое я жалкое создание. Глупые людишки, видя меня с Петухом и другими известными особами, считают меня, знаете ли, счастливым. Но я несчастен. Я страдаю по мисс Домби, капитан Джилс. У меня нет аппетита. Мой портной не доставляет мне никакого удовольствия. Оставаясь один, я часто плачу. Уверяю вас, мне будет очень приятно прийти сюда еще раз, и еще пятьдесят раз.

С этими словами мистер Тутс пожал руку капитану и, справившись со своим волнением,— насколько это было возможно за такой короткий срок,— чтобы укрыться от проницательных взоров Петуха, вышел в лавку, где находился этот прославленный джентльмен. Петух, который склонен был ревниво оберегать свои права, смотрел на капитана Катля отнюдь не благосклонно, пока тот прощался с мистером Тутсом; однако он последовал за своим патроном, не проявляя больше никаких признаков недоброжелательства и оставив капитана, удрученного скорбью, а Роба Точильщика восхищенного тем, что он удостоился чести созерцать в течение почти получаса победителя Красавчика Шропшира Первого.

Роб давно уже спал крепким сном, а капитан все еще сидел, глядя на огонь; и давно уже угас этот огонь, а капитан все сидел, не спуская глаз с ржавых прутьев, и в голове у него теснились безнадежные мысли об Уолтере и старом Соле. В открытой всем ветрам спальне под крышей он также не нашел успокоения; и утром капитан встал с постели печальный и не отдохнувший.

Как только открылись конторы в Сити, капитан отправился в торговый дом «Домби и Сын». Но окна Мичмана не открывались в то утро. Роб Точильщик по распоряжению капитана оставил ставни закрытыми, и дом был похож на дом смерти.

Случилось так, что мистер Каркер входил в контору в тот момент, когда капитан Катль подошел к двери. Молча и чинно ответив на приветствие заведующего, капитан Катль дерзнул последовать за ним в его кабинет.

— Ну-с, капитан Катль,— сказал мистер Каркер, принимая обычную свою позу у камина и не снимая шляпы,— плохо дело.

— Вы уже получили известие, которое было напечатано во вчерашней газете, сэр? — спросил капитан.

— Да,— сказал мистер Каркер,— мы получили. Это точные сведения. Страховщики терпят значительные убытки. Мы очень сожалеем. Ничего не поделаешь! Такова жизнь!

Мистер Каркер приводил в порядок ногти перочинным ножом и улыбался капитану, который стоял у двери и смотрел на него.

— Мне чрезвычайно жаль бедного Гэя,— сказал Каркер,— и жаль экипаж. Как мне известно, на борту находился кое-кто из лучших наших служащих. Всегда так бывает. К тому же много семейных. Утешительно думать, что у бедного Гэя не было семьи, капитан Катль!

Капитан стоял, потирая подбородок и не спуская глаз с заведующего. Заведующий бросил взгляд на нераспечатанные письма, лежавшие на столе, и взял газету.

— Не могу ли я чем-нибудь вам служить, капитан Катль? — спросил он, отрываясь от газеты, улыбаясь и выразительно посматривая на дверь.

— Я бы хотел, чтобы вы разрешили одно недоумение, сэр, которое не дает мне покоя,— отозвался капитан.

— Да? — воскликнул заведующий.— Что же это за недоумение? Позвольте мне, капитан Катль, вас поторопить. Я очень занят.

— Послушайте, сэр,— сказал капитан, приблизившись к нему на шаг,— перед тем, как мой друг Уольр отправился в это злополучное плавание...

— Ну, ну, капитан Катль,— с улыбкой перебил заведующий,— не говорите таким тоном о злополучном плавании. Мы здесь, любезный, никакого отношения к злополучным плаваниям не имеем. Должно быть, вы раненько пропустили сегодня свой первый стаканчик, капитан, если забываете о том, что всякое путешествие, как морское, так и сухопутное, сопряжено с риском. Неужели вас тревожит предположение, что этот молодой... как его там зовут... погублен штормом, который поднялся против него тут, в этой конторе? Стыдитесь, капитан! Сон и содовая вода — вот наилучшее средство против такой тревоги.

— Мой мальчик,— медленно промолвил капитан,— для меня вы почти мальчик, так что мне незачем извиняться за случайно сорвавшееся слово,— если вам достав-

ляют удовольствие такие шутки, значит вы не тот джентльмен, за которого я вас принимал, а если вы не тот джентльмен, за которого я вас принимал, то, стало быть, у меня, пожалуй, есть основания беспокоиться. Дело обстоит так, мистер Каркер: перед тем как бедный мальчик, выполняя полученный приказ, отправился в путь, он мне сказал, что это путешествие, как ему точно известно, ничего общего не имеет с его личной выгодой или повышением по службе. Я считал, что он ошибается, и так и сказал ему, а затем пришел сюда, главный ваш начальник отсутствовал, и я задал вам с подобающей учтивостью два-три вопроса для собственного успокоения. На эти вопросы вы ответили — ответили откровенно. Теперь, когда все кончено и нужно претерпеть то, чего нельзя изменить — а вы, как человек ученый, перелистайте книгу и, найдя это место, отметьте его,— теперь я бы почувствовал успокоение, услыхав еще раз, что я не ошибся и исполнил свой долг, когда скрыл от старика слова Уольра, и что, в самом деле, дул попутный ветер, когда он развернул паруса, держа курс на Барбадосскую гавань. Мистер Каркер,— продолжал капитан с присущим ему добродушием,— когда я был здесь в последний раз, мы с вами очень весело беседовали. Если я не так весел сегодня из-за этого бедного мальчика и если я погорячился, вызвав у вас замечания, которых лучше не слышать, то зовут меня Эдуард Катль, и я прошу у вас прощения.

— Капитан Катль,— с величайшей учтивостью отвечал заведующий,— я вынужден просить вас об одном одолжении.

— О каком именно, сэр? — осведомился капитан.

— Будьте так любезны, потрудитесь выйти,— сказал заведующий, указывая рукой на дверь,— и можете произносить свои несуразные речи где-нибудь в другом месте.

Все шишки на лице капитана побелели от изумления и негодования; даже красный ободок на лбу побледнел, как бледнеет радуга среди сгущающихся облаков.

— Вот что я вам скажу, капитан Катль,— продолжал заведующий, грозя указательным пальцем и показывая ему все зубы, но по-прежнему любезно улыбаясь,— я был слишком снисходителен к вам, когда вы явились сюда в

первый раз. Вы принадлежите к категории людей лукавых и дерзких. Желая спасти молодого... как его там зовут... которому грозила опасность вылететь отсюда, я оказал вам снисхождение — однажды, и только однажды. А теперь ступайте, мой друг!

Капитан был буквально пригвожден к полу и утратил дар речи.

— Ступайте,— сказал добродушно заведующий, подобрав фалды фрака и широко расставив ноги на каминном коврике,— как и подобает разумному человеку, и не принуждайте нас указывать вам на дверь или прибегать к иным крутым мерам. Будь мистер Домби сейчас здесь, вам, капитан, пожалуй, пришлось бы удалиться с бо̀льшим позором. Я же только говорю — ступайте!

Капитан, прижав свою тяжелую руку к груди, словно желая облегчить себе глубокий вздох, осмотрел мистера Каркера с ног до головы, а затем окинул взглядом маленькую комнату, как бы не совсем понимая, где и в каком обществе он находится.

— Вы хитры, капитан Катль,— развязно продолжал мистер Каркер с непринужденной откровенностью светского человека, который слишком хорошо знает свет, чтобы тревожиться из-за проступков, его лично не касающихся,— однако и вас можно раскусить — вас и вашего отсутствующего друга, капитан. Кстати, что вы сделали с вашим отсутствующим другом?

Снова капитан прижал руку к груди. Еще раз испустив глубокий вздох, он наказал себе: «Держись крепче!» — но шепотом.

— Вы занимаетесь милыми заговорами, устраиваете милые совещания, назначаете милые свидания, принимаете милых гостей, не так ли, капитан? — спросил Каркер, насупив брови, но по-прежнему скаля зубы.— Но это уже дерзость — являться затем сюда! Это не вяжется с вашим благоразумием! Вы, заговорщики, беглецы, должны быть более рассудительны. Сделайте мне такое одолжение, ступайте!

— Приятель! — задыхаясь, выговорил капитан приглушенным и дрожащим голосом, судорожно сжимая свой тяжелый кулак.— Многое хотелось бы мне вам сказать, но я и сам не знаю, где запрятаны у меня сейчас слова.

Для меня мой молодой друг Уольр утонул только вчера вечером, и это сбивает меня с толку. Но мы с вами еще сойдемся борт о борт, приятель,— сказал капитан, поднимая свой крючок,— если будем живы!

— Неосмотрительно это будет с вашей стороны, любезный, если сойдемся,— с тою же откровенностью отозвался заведующий,— ибо предупреждаю вас, вы можете не сомневаться в том, что я вас поймаю и уличу. Я не притязаю на то, чтобы быть более нравственным, чем ближние мои, любезный капитан, но доверием этой фирмы или кого-либо из членов фирмы злоупотреблять не следует, равно как не следует его подрывать, пока у меня есть глаза и уши. Прощайте! — сказал мистер Каркер, кивнув головой.

Капитан Катль, посмотрев на него пристально (мистер Каркер не менее пристально посмотрел на капитана), вышел из конторы, а мистер Каркер остался стоять перед камином, широко расставив ноги, любезный и безмятежный, как будто душа его была так же незапятнана, как и его чистое, белое белье и гладкая, нежная кожа.

Проходя мимо, капитан бросил взгляд на конторку, за которой, как было ему известно, сидел когда-то бедный Уолтер; теперь за ней занимался другой юноша едва ли не с таким же свежим и веселым лицом, какое было у Уолтера в тот день, когда они откупорили в маленькой гостиной предпоследнюю бутылку знаменитой старой мадеры. Вызванное таким образом воспоминание послужило на пользу капитану; в разгар гнева оно растрогало его и заставило прослезиться.

Когда капитан вернулся во владения Деревянного Мичмана и уселся в углу темной лавки, негодование его, как бы ни было оно велико, не могло одержать верх над горем. Казалось, гнев не просто оскорблял память об умершем, но, настигнутый смертью, угасал перед лицом ее. Все оставшиеся в живых негодяи и лжецы теряли всякое значение по сравнению с честностью и правдивостью одного умершего друга.

В таком расположении духа честный капитан, кроме потери Уолтера, мог уяснить себе только одно: вместе с Уолтером едва ли не весь мир капитана Катля пошел ко

дну. Если он упрекал себя — и очень жестоко — за потворство невинной лжи Уолтера, то достаточно много думал он и о мистере Каркере, которого никакие моря не могли вернуть, и о мистере Домби, который, как понял он теперь, находился за пределами человеческого оклика, и об Отраде Сердца, с которой нельзя было ему теперь встречаться, и о «Красотке Пэг», этой крепко сколоченной из тикового дерева и хорошо снаряженной балладе, которая налетела на скалу и разбилась в рифмованные щепки. Капитан, сидя в темной лавке, размышлял об этом уже не помня о нанесенном ему оскорблении, и с такой тоскою созерцал пол, будто перед ним и в самом деле проплывали все эти обломки.

Однако капитан не забывал о том, чтобы по мере своих сил прилично и благопристойно почтить память бедного Уолтера. Очнувшись и разбудив Роба Точильщика (который в искусственном полумраке крепко заснул), капитан вышел из дому со своим слугой, следовавшим за ним по пятам, и с ключом от входной двери, хранившимся в кармане, и отправился в один из магазинов готового платья, коими изобилует восточная часть Лондона, где тотчас купил два траурных костюма — один для Роба Точильщика, на редкость узкий, и один для самого себя, на редкость просторный. Затем он приобрел для Роба некое подобие шляпы, заслуживающей особого восхищения своей соразмерностью, удобной и пригодной как для моряка, так и для грузчика угля; этакая шляпа, обычно называемая зюйдвесткой, являлась новинкой в лавке мастера судовых инструментов. В эти одеяния, которые, по словам продавца, пришлись как раз впору,— что можно было объяснить лишь исключительно благоприятным стечением обстоятельств и фасоном, какого не запомнят старожилы,— капитан и Точильщик облеклись немедленно, явив собой зрелище, приводившее в изумление всех, кто его созерцал.

В таком преображенном виде капитан принял мистера Тутса.

— Я застигнут врасплох, приятель,— сказал капитан,— и могу только подтвердить дурные вести. Передайте молодой женщине, чтобы она осторожно довела их до сведения молодой леди, и пусть они обе никогда боль-

ше обо мне не вспоминают — не забудьте сказать об этом,— хотя я буду думать о них по ночам, когда на море бушует ураган и волны вздымаются, как горы, а вы, братец, перелистайте вашего доктора Уотса * и, когда отыщете это место, отметьте его.

Капитан отложил до более подходящего момента разрешение вопроса о дружбе, предложенной ему мистером Тутсом. По правде говоря, капитан Катль впал в такое уныние, что в тот день готов был отказаться от мер предосторожности, принятых против неожиданного нашествия миссис Мак-Стинджер, примириться со своей судьбой и — что бы ни случилось — оставаться невозмутимым. Однако с наступлением вечера он слегка оправился и долго рассказывал об Уолтере Робу Точильщику, не забывая время от времени похваливать внимание и преданность Роба. Роб, не краснея, выслушивал горячие похвалы капитана, сидел, тараща на него глаза, старался сочувственно хныкать, притворялся добродетельным и (как и подобает юному шпиону) запоминал каждое слово, подавая надежды сделаться со временем ловким обманщиком.

Роб улегся и быстро заснул, а капитан снял нагар со свечи, надел очки — занявшись торговлей инструментами, он счел нужным носить очки, хотя глаза у него были как у ястреба,— и развернул молитвенник на отпевании. И вот так, читая шепотом в маленькой гостиной и время от времени останавливаясь, чтобы утереть слезы, капитан честно и простодушно предал тело Уолтера пучине.

ГЛАВА XXXIII

Контрасты

Бросим взгляд на два дома; они не стоят бок о бок, они разделены большим расстоянием, хотя оба находятся неподалеку от великой столицы — Лондона.

Первый расположен в зеленой и лесистой местности близ Норвуда. Это небольшой дом; он не притязает на величину, но построен прекрасно и отделан со вкусом.

Лужайка, мягкий, отлогий склон, цветник, купы деревьев, среди которых видны грациозные ясени и ивы, оранжерея, летняя веранда с душистыми ползучими растениями, обвивающими колонны, простота наружной отделки, благоустроенные службы (все это — в небольших размерах, отвечающих нуждам простого коттеджа) наводят на мысль об изысканном комфорте, какой, вероятно, можно найти только во дворце. Это наблюдение соответствует действительности, ибо внутреннее убранство дома отличается изяществом и роскошью. Яркие цвета, превосходно подобранные, поражают глаз на каждом шагу — в мебели (ее размеры удивительно гармонируют с видом и величиной комнат), на стенах, на полу,— окрашивая и смягчая свет, врывающийся в окна и застекленные двери. Здесь есть также несколько прекрасных гравюр и картин; в причудливых закоулках и нишах много книг, а на столах игры, азартные или требующие мастерства,— фантастические шахматные фигуры, кости, трик-трак, карты и, наконец, бильярд.

И, однако, несмотря на все это богатство и комфорт, в воздухе чувствуется что-то нездоровое. Не потому ли, что ковры и подушки слишком мягки, слишком заглушают шум и те, кто здесь ходит или отдыхает, делают все как бы украдкой? Не потому ли, что гравюры и картины не увековечивают высоких мыслей или деяний, не отображают природы в поэтических пейзажах, замках и хижинах, а являют собою лишь сочетания линий и красок? Не потому ли, что книги выносят все свои богатства на переплет и, если судить по большинству заглавий, они под стать гравюрам и картинам? Не потому ли, что изобилию и красоте дома то и дело противоречит преувеличенное смирение, чуть заметно проглядывающее, которое фальшиво так же, как и лицо на слишком правдиво написанном портрете, висящем на стене, либо как его оригинал, восседающий в кресле за завтраком под этим портретом? Или, быть может, потому, что оригинал — хозяин дома,— вдыхая ежедневно этот воздух, незаметно распространяет свое влияние на все, что его окружает?

В кресле сидит мистер Каркер-заведующий. Пестрый попугай в блестящей клетке на столе теребит клювом про-

волоку и прогуливается вниз головой по куполу, сотрясая свое жилище и испуская пронзительные крики; но мистер Каркер не обращает внимания на птицу и с задумчивой улыбкой смотрит на картину, висящую на противоположной стене.

— Да, просто удивительное случайное сходство,— говорит он.

Быть может, это Юнона, может быть, жена Потифара или полная презрения нимфа — торговцы называли ее то так, то этак, в зависимости от спроса на рынке. На картине изображена женщина, замечательно красивая, которая, повернувшись спиной к зрителю, но обратив к нему лицо, бросает на него горделивый взгляд.

Она похожа на Эдит.

Небрежно махнув рукой в сторону картины — что это: угроза? нет, но нечто, похожее на угрозу; знак торжества? нет, но что-то похожее на торжество; воздушный поцелуй, дерзко сорвавшийся с уст? нет, но это похоже и на поцелуй,— он снова приступает к завтраку и окликает рассерженную птицу, которая, забравшись в подвешенный в клетке позолоченный обруч, напоминающий огромное обручальное кольцо, раскачивается для собственного увеселения.

Второй дом находится также за Лондоном, но в другом направлении, неподалеку от Великой северной дороги, некогда оживленной, а теперь забытой и покинутой всеми, кроме путников, бредущих пешком. Это бедный домишко, меблированный скудно, почти нищенски, но очень чистый; а простые цветы, посаженные у крыльца, и узкий палисадник свидетельствуют о старании его украсить. Местность, где он расположен, так же мало похожа на деревню со всеми ее преимуществами, как и на город. Это не город и не деревня. Первый, подобно великану в дорожных сапогах, перешагнул через нее и опустил свою кирпично-известковую подошву далеко впереди; но на пространстве, которое перешагнул великан, расположилась какая-то гнилая деревушка, а не город; здесь, среди немногочисленных высоких труб, день и ночь извергающих дым, и среди кирпичных заводов и проселков, где скошена трава, где повалились заборы, где растет пыльная крапива, где еще сохранилась местами живая

изгородь и куда еще заглядывает иной раз птицелов, хотя и клянется, что больше сюда не заглянет,— здесь находится этот второй дом.

В нем живет та, что покинула первый дом из любви к отверженному брату. С ней ушел из того дома дух искупления и отошел от хозяина единственный его ангел-хранитель; но хотя его привязанность к ней угасла после этого неблагородного и оскорбительного, по его мнению, поступка и хотя он в свою очередь окончательно ее покинул, память о ней еще жива даже в его душе. Пусть свидетельствует об этом ее цветник, куда он никогда не заходит, но который содержится, несмотря на все переделки, стоившие немало хозяину дома, в таком виде, будто она покинула его только вчера.

Хэриет Каркер изменилась с тех пор, и на ее красоту упала тень более тяжелая, чем та, какую может без посторонней помощи набросить Время, как бы ни было оно всемогуще,— тень тревоги, печали и ежедневной борьбы за жалкое существование. Но красота еще сохранилась; красота кроткая, тихая, скромная, которую нужно отыскивать, ибо она не умеет выставлять себя напоказ; если бы умела — она была бы иной.

Да. Эта хрупкая, маленькая, терпеливая женщина, одетая в чистенькое платье из простой материи и не замечательная ничем, кроме скучных, домашних добродетелей, столь мало общего имеющих с обычным представлением о героизме и величии, если только их луч не озаряет жизнь великих мира сего,— а тогда эти добродетели можно отыскать на небесах, сияющие, как созвездие,— эта хрупкая, маленькая, терпеливая женщина, опирающаяся на человека еще не старого, но изможденного и седого,— его сестра, которая одна пришла к нему, покрывшему себя позором, вложила свою руку в его и с кротким спокойствием и решимостью бодро повела его по каменистой тропе.

— Еще рано, Джон,— говорит она.— Почему ты уходишь так рано?

— Всего на несколько минут раньше, чем обычно, Хэриет. Раз у меня есть время, мне бы хотелось — такая уж причуда — пройти мимо того дома, где я с ним расстался.

— Жаль, что я его не знала и ни разу не видела, Джон.

— И это к лучшему, дорогая моя, если вспомнить о его участи.

— Но я бы не могла сожалеть о нем больше, даже если бы и знала его. Разве твоя скорбь не моя? Но если бы я его знала, может быть, ты, говоря о нем, считал бы, что я разделяю твои чувства больше, чем теперь.

— Милая моя сестра! Разве я не уверен в том, что нет такой печали или радости, которую ты не разделяла бы со мной?

— Надеюсь, что уверен, Джон, потому что так оно и есть!

— Разве могла бы ты стать мне милее или ближе, чем сейчас? — сказал ее брат.— Мне кажется, что ты его знала, Хэриет, и разделяла мои чувства к нему.

Она обвила его шею рукой, опиравшейся на его плечо, и ответила нерешительно:

— Нет, не вполне.

— Да, ты права,— сказал он.— Ты думаешь, что я не причинил бы ему вреда, если бы позволил себе ближе познакомиться с ним?

— Думаю? Нет, не думаю, а знаю.

— Богу известно, что умышленно я бы не причинил ему зла,— отозвался он, грустно покачивая головой.— Но его репутация была слишком дорога мне, чтобы я рисковал повредить ей своею дружбой. Согласна ты с этим или не согласна, дорогая моя?..

— Я не согласна,— спокойно сказала она.

— Тем не менее это правда, Хэриет, и у меня легче становится на душе, когда я, вспоминая его, думаю о том, что в ту пору меня огорчало.— Он оборвал свою печальную фразу, улыбнулся ей и сказал: — До свидания.

— До свидания, дорогой Джон! Вечером, в обычное время и на прежнем месте, я тебя встречу, как всегда, когда ты будешь возвращаться домой. До свидания.

Милое лицо, которое она обратила к брату, чтобы его поцеловать, было для него родиной, жизнью, вселенной, и вместе с тем источником его возмездия и скорби. Облако, которое он видел на этом лице, хотя и светлое и безмятежное, как сияющие облака на закате солнца, а

также постоянство ее и преданность и принесенные ею в жертву довольство, радость и надежды были для него горькими плодами совершенного им преступления, вечно зрелыми и свежими.

Она стояла у двери, сжав руки, и смотрела ему вслед, пока он шел мимо дома по грязному и неровному участку, который прежде (совсем недавно) был веселой лужайкой, а теперь превратился в пустырь, где поднимались среди мусора недостроенные жалкие домишки, беспорядочно разбросанные, как будто они были посеяны здесь неискусной рукой. Каждый раз, когда он оглядывался — он оглянулся раза два,— ее милое лицо согревало его сердце, как светлый луч. Но когда он побрел дальше и уже не видел ее, у нее на глазах выступили слезы.

Она недолго мешкала в раздумье у двери. Нужно было исполнять повседневные обязанности, приниматься за повседневную работу — ибо эти заурядные люди, в которых нет ничего героического, часто работают не покладая рук,— и Хэриет вскоре занялась своими домашними делами. Когда с ними было покончено и жалкий домик вычищен и приведен в порядок, она с озабоченным видом пересчитала деньги — их было мало — и задумчиво вышла из дому купить провизию к обеду, придумывая, как бы сэкономить. Да, неприглядна жизнь таких смиренных людей, которые не только не кажутся героями своим лакеям и служанкам, но и не имеют ни лакеев, ни служанок, перед кем можно было бы покрасоваться своим геройством!

Пока она отсутствовала и никого не было в доме, к нему приблизился, но не с той стороны, куда ушел брат, джентльмен, быть может, уже не первой молодости, однако здоровый, цветущий и статный, с веселым ясным лицом, приятным и добродушным. Брови у него были еще черные, черными были и волосы, но седина уже заметно их посеребрила и красиво оттеняла широкий чистый лоб и честные глаза.

Постучав в дверь и не получив ответа, джентльмен сел на скамейку на крылечке и стал ждать. Ловкое движение пальцев, которыми он барабанил по скамье, напевая и отбивая такт, как будто обличало в нем музыканта,

а необычайное удовольствие, какое он испытывал, напевая что-то очень медлительное и тягучее, лишенное определенного мотива, казалось, обличало в нем глубокого знатока музыки.

Джентльмен еще развивал музыкальную тему, которая все кружилась, и кружилась, и кружилась вокруг себя самой, подобно штопору, который крутят на столе, и отнюдь не приближалась к концу, когда показалась Хэриет. Увидав ее, он поднялся и остался стоять со шляпой в руке.

— Вы опять пришли, сэр! — сказала она, запинаясь.

— Я осмелился это сделать,— ответил он.— Не можете ли вы уделить мне пять минут?

После недолгих колебаний она открыла дверь и впустила его в маленькую гостиную. Джентльмен уселся там напротив нее, придвинул свой стул к столу и сказал голосом, вполне соответствовавшим его внешности, и с обаятельным простодушием:

— Мисс Хэриет, вы не можете быть гордой. В тот день, когда я зашел сюда, вы дали мне понять, что вы горды. Простите, если я скажу, что я смотрел вам в лицо, когда вы это говорили, и оно противоречило вашим словам. И снова я смотрю вам в лицо,— добавил он, ласково коснувшись ее руки,— и оно противоречит им все больше и больше.

Она была слегка смущена и взволнована и ничего не могла ответить.

— Ваше лицо — зеркало правдивости и кротости,— сказал посетитель.— Простите, что я доверился ему и вернулся.

Тон, каким были сказаны эти слова, делал их совершенно непохожими на комплимент. Тон был такой чистосердечный, серьезный, сдержанный и искренний, что она наклонила голову, как будто хотела и поблагодарить его и признать его искренность.

— Разница лет,— сказал джентльмен,— и честность моих намерений дают, полагаю я, право говорить откровенно. И я это делаю; потому-то вы и видите меня вторично.

— Бывает особая гордость, сэр,— помолчав, отозвалась она,— или то, что может быть принято за гордость,

но в действительности это просто чувство долга. Надеюсь, всякая другая гордость мне чужда.

— А гордость собой? — спросил он.

— И гордость собой.

— Но... простите...— нерешительно начал джентльмен.— А что вы скажете о вашем брате Джоне?

— Я горжусь его любовью,— сказала Хэриет, глядя в упор на своего гостя и мгновенно меняя тон; хотя он оставался по-прежнему сдержанным и спокойным, но была в нем глубокая, страстная серьезность, благодаря которой даже дрожащий голос свидетельствовал о ее твердости.— И горжусь им! Сэр, вы, который каким-то образом узнали историю его жизни и повторили ее мне, когда были здесь в последний раз...

— Только для того, чтобы завоевать ваше доверие,— перебил джентльмен.— Ради бога, не подумайте...

— Я уверена,— сказала она,— что вы заговорили о ней с добрым и похвальным намерением. В этом я совершенно уверена.

— Благодарю вас,— отозвался гость, быстро пожав ей руку.— Я вам очень признателен. Уверяю вас, вы отдаете мне должное. Вы начали говорить, что я, знающий историю жизни Джона Каркера...

— Вы можете обвинить меня в гордыне,— продолжала она,— когда я говорю, что горжусь им. Да, горжусь. Вам известно, что было время, когда я им не гордилась — не могла гордиться,— но время это прошло. Унижение в течение многих лет, безропотное искупление вины, искреннее раскаяние, мучительное сожаление, страдания, которые, как мне известно, причиняет ему даже моя любовь, так как он считает, что я заплатила за нее дорогой ценой, хотя богу известно, что я была бы совершенно счастлива, если бы только он перестал горевать!.. О сэр, после всего, что я видела, умоляю вас, если вы будете облечены властью и кто-нибудь провинится перед вами, никогда, ни за какую провинность не налагайте кары, которую нельзя отменить, пока есть бог на небе, заставляющий изменяться сердца, им созданные.

— Ваш брат стал другим человеком,— сочувственно отозвался джентльмен.— Уверяю вас, что я в этом не сомневаюсь.

— Он был другим человеком, когда совершил преступление,— сказала Хэриет.— Он другой человек сейчас и стал самим собой, поверьте мне, сэр!

— Но мы живем по-прежнему,— сказал посетитель, рассеянно потерев лоб рукой и задумчиво барабаня пальцами по столу,— по-прежнему, не отступая от заведенного порядка, изо дня в день, и не можем ни заметить, ни проследить этих перемен. Они... они относятся к метафизике. Нам... нам не хватает для них досуга. У нас... у нас не хватает мужества. Этому не обучают в школах и колледжах, и мы не знаем, как за это взяться. Одним словом, мы чертовски деловые люди,— сказал джентльмен, подходя к окну и снова возвращаясь и усаживаясь с видом чрезвычайно недовольным и раздосадованным.

— Право же,— продолжал джентльмен, опять потерев себе лоб и барабаня пальцами по столу,— у меня есть основания полагать, что такая однообразная жизнь, изо дня в день, может примирить человека с чем угодно. Ничего не видишь, ничего не слышишь, ничего не знаешь; это факт. Мы принимаем все, как нечто само собой разумеющееся, так и живем, и в конце концов все, что мы делаем — хорошее, дурное или никакое,— мы делаем по привычке. Только на привычку я и могу сослаться, когда придется мне оправдываться на смертном одре перед своею совестью. «Привычка,— скажу я.— Я был глух, нем, слеп и неспособен на миллион вещей по привычке».— «Действительно, это очень деловое объяснение, мистер такой-то,— скажет Совесть,— но здесь оно не поможет!»

Джентльмен встал, снова подошел к окну и вернулся, не на шутку взволнованный, хотя это волнение и выражалось своеобразно.

— Мисс Хэриет,— сказал он, садясь на стул,— я бы хотел, чтобы вы разрешили мне быть вам полезным. Посмотрите на меня: вид у меня должен быть честный, ибо я знаю, что сейчас я честен. Не так ли?

— Да,— с улыбкой ответила она.

— Я верю всему, что вы сказали,— продолжал он.— Я горько упрекаю себя за то, что двенадцать лет я мог знать и видеть это и знать и видеть вас, и, однако, не знал и не видел. Вряд ли мне толком известно, как я

вообще пришел сюда — я, раб не только моих собственных привычек, но привычек других людей! Но теперь, когда я все-таки пришел, разрешите мне сделать что-нибудь для вас. Я прошу со всею честностью и уважением. Вы удивительным образом пробуждаете во мне и то и другое. Разрешите мне что-нибудь сделать.

— Мы ни в чем не нуждаемся, сэр.

— Вряд ли,— возразил джентльмен.— Думаю, что это не совсем так. Есть кое-какие маленькие радости, которые могли бы скрасить вашу жизнь и его. И его! — повторил он, полагая, что произвел на нее впечатление.— Я по привычке своей думал, что для него ничего нельзя сделать; что все решено и покончено; словом — вовсе об этом не думал. Теперь я рассуждаю иначе. Разрешите мне сделать что-нибудь для него. Да и вам,— добавил посетитель с заботливой нежностью,— следует хорошенько следить за своим здоровьем ради него, а я опасаюсь, что оно пошатнулось.

— Кто бы вы ни были, сэр,— отозвалась Хэриет, подняв на него глаза,— я вам глубоко благодарна. Я чувствую, что вы хотите сделать нам добро и никаких других целей не преследуете. Но мы уже много лет ведем такую жизнь, и отнять у брата хоть частицу того, что сделало его таким дорогим для меня и доказало его благородную решимость, умалить в какой-то мере его заслугу, заключающуюся в том, что он в одиночестве, без всякой помощи, никому неведомый и всеми забытый, заглаживает свою вину,— значило бы лишить утешения и его и меня, когда для каждого из нас пробьет тот час, о котором вы только что говорили. Эти слезы выражают мою благодарность вам лучше, чем любые слова. Прошу вас, верьте этому!

Джентльмен был растроган и поднес к губам протянутую ему руку так, как мог бы любящий отец поцеловать руку примерной дочери, но с бо́льшим благоговением.

— Если настанет день,— сказала Хэриет,— когда он будет отчасти восстановлен в том положении, которого лишился...

— Восстановлен? — с живостью воскликнул джентльмен.— Как можно на это надеяться! В чьей власти его

восстановить? Разумеется, я не ошибаюсь, полагая, что завоевание им бесценного сокровища, благословения всей его жизни, является одной из причин вражды к нему его брата.

— Вы касаетесь предмета, о котором никогда не бывает речи между нами. Даже между нами,— сказала Хэриет.

— Прошу прощения,— сказал гость.— Мне бы следовало это знать. Умоляю вас, забудьте об этих неуместных словах. А теперь я не смею больше настаивать, ибо я не уверен, вправе ли я это делать,— хотя, бог знает, быть может, даже это сомнение тоже является одной из привычек,— добавил джентльмен, снова с безнадежным видом потирая лоб.— Разрешите же мне, человеку чужому и в то же время не чужому, просить вас о двух одолжениях.

— О каких? — осведомилась она.

— Если по какой-нибудь причине вы измените свое решение, позвольте мне быть вашей правой рукой. Тогда я назову вам свое имя; сейчас это бесполезно, да и вообще имя мое негромкое.

— Выбор друзей у нас не так велик, чтобы мне приходилось раздумывать,— ответила она со слабой улыбкой.— Я могу это обещать.

— Разрешите мне также иногда, ну, скажем, по понедельникам, в девять утра,— еще одна привычка, должно быть, я деловой человек,— сказал джентльмен, обнаруживая странное желание попенять за это самому себе,— разрешите мне проходить мимо вашего дома, чтобы увидеть вас в дверях или в окне. Я не прошу позволения заходить к вам, хотя в этот час вашего брата нет дома. Я хочу только знать для собственного успокоения, что вы здоровы, и, не навязываясь вам, напоминать своей особой, что у вас есть друг — немолодой друг, который уже начал седеть и скоро будет совсем седым, друг, всегда готовый вам служить.

Милое лицо доверчиво обратилось к нему. Оно давало согласие.

— Я полагаю, как и в прошлый раз,— вставая, сказал джентльмен,— что вы не намерены сообщить о моем визите Джону Каркеру из боязни, как бы он не был огор-

чен тем, что мне известна его история. Я этому рад, потому что это выходит из обычной колеи и... опять привычка! — воскликнул джентльмен, нетерпеливо оборвав фразу.— Как будто нет лучшего пути, чем обычная колея!

С этими словами он повернулся к двери, вышел со шляпой в руке на крылечко и попрощался с Хэриет с тем безграничным уважением и непритворным участием, какие не даются никаким воспитанием, внушают самое глубокое доверие и могут излиться только из чистого сердца.

Много полузабытых чувств пробудило это посещение в душе сестры. Так давно ни один гость не переступал порога их дома, так давно ни один сочувственный голос не звучал печальною музыкой в ее ушах, что лицо незнакомца в течение многих часов стояло у нее перед глазами, когда она сидела с шитьем у окна; и ей казалось, что она снова и снова слышит его слова. Он коснулся той струны, от прикосновения к которой вся жизнь ее раскрывалась; и если она переставала думать о нем на короткое время, то лишь потому, что образ его заслоняли другие образы, связанные с одним воспоминанием, на котором зиждилась вся эта жизнь.

Размышляя и работая, то принуждая себя подолгу заниматься шитьем, то рассеянно опуская работу на колени, чтобы отдаться потоку мыслей, Хэриет Каркер не заметила, как пролетели часы. Небо, ясное и чистое утром, постепенно затянулось тучами; подул резкий ветер; полил дождь, и густой туман, спустившись на далекий город, скрыл его из виду.

В такие дни она часто посматривала с состраданием на путников, которые брели в Лондон по большой дороге мимо ее дома, брели со стертыми ногами и усталые, пугливо глядя на огромный город впереди, как бы предчувствуя, что там их нищета будет лишь каплей в море или песчинкой на морском берегу; они шли дрожа, съежившись под беспощадным ветром, и казалось, будто сами стихии их отвергают. День за днем плелись эти странники, но всегда, как ей казалось, в одном направлении — всегда по дороге к городу. Поглощенные его необъятностью, к которой их словно притягивали какие-то злые чары, они никогда не возвращались. Добыча для больниц,

кладбищ, тюрем, реки, лихорадки, безумия, порока и смерти! Они шли навстречу чудовищу, ревущему вдали, и погибали.

Выл пронизывающий ветер, шел дождь, и мрачно хмурился день, когда Хэриет, оторвав взгляд от работы, которою долго занималась с неослабным упорством, увидела одного из этих путников.

Женщина. Одинокая женщина лет тридцати, высокая, статная, красивая, в нищенской одежде; грязь, подобранная на многих проселочных дорогах во всякую погоду — пыль, мел, глина, песок,— облепила под проливным дождем ее серый плащ; она была без шляпы, и ее пышные черные волосы были защищены от дождя только рваным носовым платком, концы которого, вместе с прядями волос развеваясь на ветру, падали ей на глаза, и она должна была часто останавливаться, чтобы откинуть их назад и бросить взгляд на дорогу.

Как раз в такой миг ее заметила Хэриет. Подняв обе руки к загоревшему лбу и проведя ими по щекам, женщина отстранила мешавшие ей пряди и открыла лицо, отличавшееся красотой смелой и презрительной; в нем было дерзкое и порочное равнодушие к чему-то более важному, чем погода, небрежное безразличие ко всему, что послало на ее непокрытую голову небо и земля; и это выражение, и нищета ее, и одиночество тронули сердце Хэриет, ее ближней. Она задумалась о том, что было извращено и опошлено не только в наружности, но и в душе этой женщины; о скромной прелести ума, огрубевшего и ожесточившегося не менее, чем тонкие и нежные черты; о многих дарах творца, подхваченных вихрем, так же как эти всклоченные волосы; о загубленной красоте под хлещущим ветром и надвигающейся ночью.

Размышляя об этом, она не отвернулась с брезгливым негодованием — слишком многие из сострадательных и мягких женщин делают это слишком часто,— но пожалела ее.

Ее падшая сестра шла, глядя прямо перед собой, стараясь пронизать острым взором туман, которым был окутан город, и непрестанно посматривая по сторонам с недоумевающим и неуверенным видом человека, незнакомого с местностью. Хотя походка ее была твердая и

решительная, она устала и после недолгих колебаний присела на кучу камней, не пытаясь укрыться от дождя.

Она сидела как раз напротив дома. Опустив на мгновение голову на обе руки, она снова подняла ее, и глаза ее встретились с глазами Хэриет.

В одну секунду Хэриет очутилась у двери; женщина, повинуясь зову, встала и медленно приблизилась к ней, но вид у нее был не очень дружелюбный.

— Почему вы отдыхаете под дождем? — мягко спросила Хэриет.

— Потому что мне больше негде отдохнуть,— последовал ответ.

— Но тут поблизости можно найти кров. Вот здесь,— указала она на крылечко,— лучше, чем там, где вы были. Отдохните здесь.

Женщина посмотрела на нее недоверчиво и удивленно, но ничем не проявляя своей благодарности; она уселась и сняла стоптанный башмак, чтобы вытряхнуть забившиеся в него мелкие камешки и пыль; нога была рассечена и окровавлена.

Когда Хэриет вскрикнула от жалости, женщина с презрительной и недоверчивой улыбкой подняла на нее глаза.

— Какое значение имеет израненная нога для такой, как я? — сказала она.— И какое значение имеет моя израненная нога для такой, как вы?

— Войдите в дом и обмойте ее,— кротко сказала Хэриет,— а я вам дам чем перевязать.

Женщина схватила ее руку, притянула к себе и, прижав к своим глазам, заплакала. Не так, как плачут женщины, но как плачет мужчина, случайно поддавшийся слабости,— прерывисто дыша и стараясь оправиться, что свидетельствовало о том, как несвойственно было ей такое волнение.

Она позволила ввести себя в дом и, по-видимому, скорее из благодарности, чем из жалости позаботиться о себе, обмыла и перевязала натруженную ногу. Потом Хэриет уделила ей часть своего скудного обеда, и когда та поела, впрочем очень немного, Хэриет попросила ее перед уходом (так как женщина намеревалась идти дальше) высушить платье у камина. И снова скорее из благодарности, чем из заботливого отношения к самой

себе, она села перед камином, сняла платок с головы и, распустив свои густые мокрые волосы, спускавшиеся ниже талии, стала сушить их, вытирая ладонями и глядя на огонь.

— Вероятно, вы думаете о том, что когда-то я была красива,— сказала она, неожиданно подняв голову.— Думаю, что была; да, конечно, была. Смотрите!

Грубо, обеими руками она приподняла свои волосы, вцепившись в них так, будто хотела вырвать их с корнем, потом снова их опустила и закинула за плечо, словно это был клубок змей.

— Вы чужая в этих краях? — спросила Хэриет.

— Чужая,— отозвалась она, останавливаясь после каждой короткой фразы и глядя на огонь.— Да. Вот уже десять или двенадцать лет как чужая. У меня не было календаря там, где я жила. Десять или двенадцать лет. Я не узнаю этой местности. Она очень изменилась с той поры, как я отсюда уехала.

— Вы были далеко отсюда?

— Очень далеко. Нужно месяцы плыть по морю, и все-таки будет еще далеко. Я была там, куда ссылают каторжников,— добавила она, глядя в упор на свою собеседницу.— Я сама была одной из них.

— Бог да поможет вам и да простит вас! — последовал кроткий ответ.

— Ах, бог да поможет мне и да простит меня! — отозвалась та, кивая головой и не спуская глаз с огня.— Если бы люди помогали кое-кому из нас чуточку больше, быть может, и бог поскорее простил бы всех нас.

Но ее растрогал серьезный тон и милое лицо, в котором было столько нежности и никакого осуждения, и она добавила не так резко:

— Должно быть, мы с вами ровесницы. Если я старше вас, то не больше, чем на год, на два. О, подумайте об этом!

Она раскинула руки, словно самый вид ее должен был показать, как пала она нравственно, и, уронив их, понурила голову.

— Нет такого проступка, который нельзя было бы загладить. Никогда не поздно исправиться,— сказала Хэриет.— Вы раскаиваетесь...

— Нет! — возразила та.— Я не раскаиваюсь. Не могу раскаиваться. Я не из такой породы. Почему я должна раскаиваться, когда все живут, как ни в чем не бывало? Мне говорят о раскаянии. А кто раскаивается в том зле, какое причинили мне?

Она встала, повязала голову платком и повернулась к выходу.

— Куда вы идете? — спросила Хэриет.

— Туда! — ответила она, указывая рукой.— В Лондон.

— Есть у вас там какое-нибудь пристанище?

— Кажется, у меня есть мать. Она заслуживает называться матерью не больше, чем ее жилище — пристанищем,— ответила та с горьким смехом.

— Возьмите! — воскликнула Хэриет, сунув ей в руку деньги.— Старайтесь не сбиться с пути. Здесь очень мало, но, быть может, на один день это отвратит от вас беду.

— Вы замужем? — тихо спросила та, взяв деньги.

— Нет. Я живу здесь с братом. Мы мало что можем уделить бедным, иначе я дала бы вам больше.

— Вы позволите мне поцеловать вас?

Задав этот вопрос, женщина, принявшая от нее милостыню, не видя на лице ее ни гнева, ни отвращения, наклонилась к ней и прижалась губами к ее щеке. Снова она схватила ее руку и прикрыла ею свои глаза; потом она ушла.

Ушла в надвигающуюся ночь, навстречу воющему ветру и хлещущему дождю, направляясь к окутанному туманом городу, туда, где мерцали неясные огни; и ее черные волосы и концы небрежно повязанного платка развевались вокруг ее смелого лица.

ГЛАВА XXXIV

Другие мать и дочь

В безобразной и мрачной комнате старуха, тоже безобразная и мрачная, прислушивалась к ветру и дождю и, скорчившись, грелась у жалкого огня. Предаваясь этому последнему занятию с большим тщанием, чем первому,

она не меняла позы; только тогда, когда случайные дождевые капли падали, шипя, на тлеющую золу, она поднимала голову, вновь обращая внимание на свист ветра и шум дождя, а потом постепенно опускала ее все ниже, ниже и ниже, погружаясь в унылые размышления; ночные шумы сливались для нее в однообразный гул, напоминающий гул моря, когда он едва-едва достигает слуха того, кто сидит в раздумье на берегу.

В комнате света не было, кроме отблеска, падавшего от очага. Время от времени, злобно вспыхивая, словно глаза дремлющего свирепого зверя, огонь озарял предметы, отнюдь не нуждавшиеся в лучшем освещении. Куча тряпья, куча костей, жалкая постель, два-три искалеченных стула, или, вернее, табурета, грязные стены и еще более грязный потолок — вот все, на что падал дрожащий отблеск. Когда старуха, чья гигантская и искаженная тень виднелась на стене и на потолке, сидела вот так, сгорбившись над расшатанными кирпичами, замыкавшими огонь, разложенный в сыром очаге — печки здесь не было,— казалось, будто она, перед некиим алтарем ведьмы, ждет счастливого предзнаменования. И если бы ее шамкающий рот и дрожащий подбородок не двигались слишком часто и быстро по сравнению с неторопливым мерцанием пламени, можно было подумать, что это только иллюзия, порожденная светом, который, разгораясь и угасая, падал на лицо, такое же неподвижное, как тело.

Если бы Флоренс оказалась в этой комнате и взглянула на ту, которая, скорчившись у камина, отбрасывала тень на стену и потолок, она с первого же взгляда узнала бы Добрую миссис Браун, несмотря на то, что, быть может, детское ее воспоминание об этой ужасной старухе отражало истину столь же искаженно и несоразмерно, как тень на стене. Но Флоренс здесь не было, и Добрая миссис Браун оставалась неузнанной и сидела, никем не примеченная, устремив взгляд на огонь.

Встрепенувшись от шипенья более громкого, чем обычно — струйки дождевой воды проникли в дымоход,— старуха нетерпеливо подняла голову и снова стала прислушиваться. На этот раз она не опустила головы, потому что кто-то толкнул дверь и чьи-то шаги послышались в комнате.

— Кто это? — оглянувшись, спросила она.

— Я принесла вам вести,— раздался в ответ женский голос.

— Вести? Откуда?

— Из чужих стран.

— Из-за океана? — вскочив, крикнула старуха.

— Да, из-за океана.

Старуха торопливо сгребла в кучу горящие угли и подошла вплотную к своей гостье, которая закрыла за собой дверь и остановилась посреди комнаты; опустив руку на ее промокший плащ, старуха повернула женщину так, чтобы свет падал прямо на нее. Она обманулась в своих ожиданиях, каковы бы они ни были, потому что выпустила из рук плащ и сердито вскрикнула от досады и огорчения.

— В чем дело? — спросила гостья.

— О-о! О-о! — подняв голову, отчаянно завыла старуха.

— В чем дело? — повторила гостья.

— Это не моя дочка! — воскликнула старуха, всплескивая руками и заламывая их над головой.— Где моя Элис? Где моя красавица дочь? Они ее уморили!

— Они еще не уморили ее, если ваша фамилия Марвуд,— сказала гостья.

— Значит, ты видела мою дочку? — вскричала старуха.— Она написала мне?

— Она сказала, что вы не умеете читать,— ответила та.

— Не умею! — ломая руки, воскликнула старуха.

— У вас здесь нет свечи? — спросила гостья, окидывая взглядом комнату.

Старуха, шамкая, тряся головой, бормоча что-то о своей красавице дочке, достала свечу из шкафа, стоявшего в углу, и, сунув ее дрожащей рукой в камин, зажгла не без труда и поставила на стол. Грязный фитиль сначала горел тускло, утопая в оплывающем сале; когда же мутные и ослабевшие глаза старухи смогли что-то разглядеть при этом свете, гостья уже сидела, скрестив руки и опустив глаза, а платок, которым была повязана ее голова, лежал подле нее на столе.

— Значит, она, моя дочка Элис, велела что-то мне

передать? — прошамкала старуха, подождав несколько секунд.— Что она говорила?

— Глядите,— сказала гостья.

Старуха повторила это слово испуганно, недоверчиво и, заслонив глаза от света, поглядела на говорившую, окинула взором комнату и снова поглядела на женщину.

— Элис сказала: «Пусть мать поглядит еще раз»,— и женщина устремила на нее пристальный взгляд.

Снова старуха окинула взором комнату, посмотрела на гостью и еще раз окинула взором комнату. Торопливо схватив свечу и поднявшись с места, она поднесла ее к лицу гостьи, громко вскрикнула и, поставив свечу, бросилась на шею пришедшей.

— Это моя дочка! Это моя Элис! Это моя красавица дочь, она жива и вернулась! — визжала старуха, раскачиваясь и прижимаясь к груди дочери, холодно отвечавшей на ее объятия.— Это моя дочка! Это моя Элис! Это моя красавица дочь, она жива и вернулась! — взвизгнула она снова, упав перед ней на колени, обхватив ее ноги, прижимаясь к ним головой и по-прежнему раскачиваясь из стороны в сторону с каким-то неистовством.

— Да, матушка,— отозвалась Элис, наклоняясь, чтобы поцеловать ее, но даже в этот момент стараясь освободиться из ее объятий.— Наконец-то я здесь! Пустите, матушка, пустите! Встаньте и сядьте на стул. Что толку валяться на полу?

— Она вернулась еще более жестокой, чем ушла! — воскликнула мать, глядя ей в лицо и все еще цепляясь за ее колени.— Ей нет до меня дела! После стольких лет и всех моих мучений!

— Ну что же, матушка! — сказала Элис, встряхивая свои рваные юбки, чтобы избавиться от старухи.— Можно посмотреть на это и с другой стороны. Годы прошли и для меня так же, как для вас, и мучилась я так же, как и вы. Встаньте! Встаньте!

Мать поднялась с колен, заплакала, стала ломать руки и, стоя поодаль, не спускала с нее глаз. Потом она снова взяла свечу и, обойдя вокруг дочери, осмотрела ее с головы до ног, тихонько хныча. Затем поставила свечу,

опустилась на стул и, похлопывая в ладоши, словно в такт тягучей песне, раскачиваясь из стороны в сторону, продолжала хныкать и причитать.

Элис встала, сняла мокрый плащ и положила его в сторону. Потом снова села, скрестила руки и, глядя на огонь, молча, с презрительной миной слушала невнятные сетования своей старой матери.

— Неужели вы надеялись, матушка, что я вернусь такою же молодой, какой уехала? — сказала она наконец, бросив взгляд на старуху.— Неужели воображали, что жизнь, которую вела я в чужих краях, красит человека? Право же, можно это подумать, слушая вас!

— Не в этом дело! — воскликнула мать.— *Она* знает!

— Так в чем же дело? — отозвалась дочь.— Лучше бы вы поскорей успокоились, матушка, ведь уйти мне легче, чем прийти.

— Вы только послушайте ее! — вскричала старуха.— После всех этих лет она грозит опять меня покинуть в ту самую минуту, когда только что вернулась!

— Повторяю вам, матушка, годы прошли и для меня так же, как для вас,— сказала Элис.— Вернулась еще более жестокой? Конечно, вернулась еще более жестокой. А вы чего ждали?

— Более жестокой ко мне! К собственной матери! — воскликнула старуха.

— Не знаю, кто первый ожесточил мое сердце, если не моя дорогая мать,— отозвалась та; она сидела, скрестив руки, сдвинув брови и сжав губы, как будто решила во что бы то ни стало задушить в себе все добрые чувства.— Выслушайте несколько слов, матушка. Если сейчас мы поймем друг друга, может быть, у нас не будет больше ссор. Я ушла девушкой, а вернулась женщиной. Не очень-то я старалась выполнять свой долг, прежде чем ушла отсюда, и — будьте уверены — такою же я вернулась. Но вы-то помнили о своем долге по отношению ко мне?

— Я? — вскричала старуха.— По отношению к родной дочке? Долг матери по отношению к ее собственному ребенку?

— Это звучит странно, не правда ли? — отозвалась дочь, холодно обратив к ней свое строгое, презрительное,

дерзкое и прекрасное лицо.— Но за те годы, какие я провела в одиночестве, я иногда об этом думала, пока не привыкла к этой мысли. В общем, я слыхала немало разговоров о долге; но всегда речь шла о моем долге по отношению к другим. Иной раз — от нечего делать — я задавала себе вопрос, неужели ни у кого не было долга по отношению ко мне.

Мать шамкала, жевала губами, трясла головой, но неизвестно, было ли это выражением гнева, раскаяния, отрицания или же телесной немощью.

— Была девочка, которую звали Элис Марвуд,— со смехом сказала дочь, оглядывая себя с жестокой насмешкой,— рожденная и воспитанная в нищете, никому на свете не нужная. Никто ее не учил, никто не пришел ей на помощь, никто о ней не заботился.

— Никто! — повторила мать, указывая на себя и ударяя себя в грудь.

— Единственная забота, какую она видела,— продолжала дочь,— заключалась в том, что иногда ее били, морили голодом и ругали; а без таких забот она, может быть, кончила бы не так скверно. Она жила в таких вот домах, как этот, и на улицах с такими же жалкими детьми, как она сама; и, несмотря на такое детство, она стала красавицей. Тем хуже для нее! Лучше бы ее всю жизнь травили и терзали за уродство!

— Продолжай, продолжай! — воскликнула мать.

— Я продолжаю,— отозвалась дочь.— Была девушка, которую звали Элис Марвуд. Она была хороша собой. Ее слишком поздно стали учить, и учили дурно. О ней слишком заботились, ее слишком муштровали, ей слишком помогали, за ней слишком следили. Вы ее очень любили — в ту пору вы были обеспечены. То, что случилось с этой девушкой, случается каждый год с тысячами. Это было только падение, и для него она родилась.

— После всех этих лет! — захныкала старуха.— Вот с чего начинает моя дочка!

— Она скоро кончит,— сказала дочь.— Была преступница, которую звали Элис Марвуд, еще молодая, но уже покинутая и отверженная. И ее судили и вынесли приговор. Ах, боже мой, как рассуждали об этом джентльмены в суде! И как внушительно говорил судья о ее дол-

ге и о том, что она употребила во зло дары природы, как будто он не знал лучше других, что эти дары были для нее проклятьем! И как поучительно он толковал о сильной руке закона! Да, не очень-то сильной оказалась эта рука, чтобы спасти ее, когда она была невинной и беспомощной жалкой малюткой! И как это все было торжественно и благочестиво! Будьте уверены, я часто думала об этом с тех пор.

Она крепче скрестила на груди руки и рассмеялась таким смехом, по сравнению с которым вой старухи показался музыкой.

— Итак, Элис Марвуд сослали за океан, матушка,— продолжала она,— и отправили обучаться долгу туда, где в двадцать раз меньше помнят о долге и где в двадцать раз больше зла, порока и бесчестья, чем здесь. И Элис Марвуд вернулась женщиной. Такой женщиной, какой надлежало ей стать после всего этого. В свое время опять раздадутся, по всей вероятности, торжественные и красивые речи, опять появится сильная рука, и тогда настанет конец Элис Марвуд. Но джентльменам нечего бояться, что они останутся без работы! Сотни жалких детей, мальчиков и девочек, подрастают на любой из тех улиц, где живут эти джентльмены, и потому они будут делать свое дело, пока не сколотят себе состояние.

Старуха оперлась локтями на стол и, прикрыв лицо обеими руками, притворилась очень огорченной, или, быть может, в самом деле была огорчена.

— Ну вот! Я кончила, матушка,— сказала дочь, тряхнув головой, как бы желая прекратить этот разговор.— Я сказала достаточно. Что бы мы с вами ни делали, но о долге мы больше говорить не будем. Думаю, что у вас детство было такое же, как у меня. Тем хуже для нас обеих. Я не хочу обвинять вас и не хочу защищать себя; зачем мне это? С этим покончено давным-давно. Но теперь я женщина, не девочка, и нам с вами незачем выставлять напоказ свою жизнь, как это сделали те джентльмены в суде. *Нам* она хорошо известна.

Лицо и фигура этой падшей, опозоренной женщины отличались той красотой, какую даже в минуты самые для нее невыгодные не мог бы не заметить и невнима-

тельный зритель. Когда она погрузилась в молчание, лицо ее, прежде искаженное волнением, стало спокойным, а в темных глазах, устремленных на огонь, угасло вызывающее выражение, уступив место блеску, смягченному чем-то похожим на скорбь; потускневшее сияние падшего ангела озарило на мгновение ее нищету и усталость.

Мать, следившая за ней молча, осмелилась потихоньку протянуть к ней через стол иссохшую руку и, убедившись, что дочь не отстранилась, коснулась ее лица и погладила по голове. Почувствовав, кажется, что эти ласки старухи были искренни, Элис не шевелилась; и та, осторожно приблизившись к дочери, заплела ей волосы, сняла с нее мокрые башмаки, если только можно было назвать их башмаками, накинула ей на плечи какую-то сухую тряпку и смиренно суетилась вокруг нее, постепенно узнавая прежние ее черты и выражение лица и бормоча себе что-то под нос.

— Я вижу, вы очень бедны, матушка,— сказала Элис, которая сидела так довольно долго и, наконец, окинула взглядом комнату.

— Ужасно бедна, милочка,— ответила старуха.

Она восхищалась дочерью и боялась ее. Быть может, ее восхищение, каким бы оно ни было, зародилось давно, когда в разгар унизительной борьбы за жизнь она впервые заметила красоту дочери. Быть может, ее страх имел какое-то отношение к тому прошлому, о котором она только что слышала. Во всяком случае, она стояла покорно и почтительно перед дочерью и жалобно понурила голову, словно умоляя избавить ее от новых упреков.

— Чем вы жили?

— Милостыней, дорогая моя.

— И воровством?

— Иногда. Элли... понемножку. Я стара и пуглива. Иной раз, милочка, я отнимала какую-нибудь мелочь у детей, но не часто. Я бродила по окрестностям, милая, и кое-что знаю. Я следила.

— Следили? — повторила дочь, взглянув на нее.

— Я выслеживала одну семью,— сказала мать еще более смиренно и покорно.

— Какую семью?

— Тише, милочка! Не сердись на меня. Я это делала из любви к тебе. В память о моей бедной дочке за океаном!

Она заискивающе протянула руку, потом прижала ее к губам.

— Много лет назад, милочка,— продолжала она, робко посматривая на внимательное и строгое лицо, обращенное к ней,— я встретила случайно его маленькую дочку.

— Чью дочку?

— Не его, Элис, милая. Не смотри на меня так. Не его! Ты ведь знаешь, у него нет детей.

— Так чью же? — спросила дочь.— Вы сказали — «его».

— Тише, Эли! Ты меня пугаешь, милочка. Мистера Домби — всего только мистера Домби. С тех пор, дорогая, я их часто видела. Я видела *его*.

Произнеся это последнее слово, старуха съежилась и попятилась, словно испугалась, что дочь ее ударит. Но хотя лицо дочери было обращено к ней и горело безумным гневом, она сидела неподвижно и только все крепче и крепче прижимала руки к груди, словно хотела их удержать, чтобы не причинить вреда себе или другим в слепом порыве бешенства, внезапно овладевшего ею.

— А он-то и не подозревал, кто я такая! — сказала старуха, грозя кулаком.

— Ему никакого дела до этого не было! — сквозь зубы пробормотала дочь.

— Но встретились мы лицом к лицу,— сказала старуха.— Я говорила с ним, и он говорил со мной. Я сидела и смотрела ему вслед, когда он шел по длинной аллее; и с каждым его шагом я проклинала его душу и тело.

— Это не помешает ему благоденствовать,— презрительно отозвалась дочь.

— Да, он благоденствует,— сказала мать.

Она замолчала потому, что лицо сидевшей перед ней дочери было искажено неистовой злобой. Казалось, грудь ее готова разорваться от ярости. Усилия, которые она делала, чтобы сдержать ее и обуздать, были не менее страшны, чем сама ярость, и не менее красноречиво сви-

детельствовали о необузданном нраве этой женщины. Но ее усилия увенчались успехом, и, помолчав, она спросила:

— Он женат?

— Нет, милочка,— сказала мать.

— Собирается жениться?

— Нет, милочка, насколько мне известно. Но его хозяин и друг женился. О, мы можем пожелать ему счастья! Мы можем им всем пожелать счастья! — вскричала старуха в сильном возбуждении.— Нам всем эта женитьба принесет счастье. Попомни мои слова.

Дочь смотрела на нее и ждала объяснения.

— Но ты промокла и устала, тебе хочется есть и пить,— сказала мать, ковыляя к шкафу.— А здесь мало что найдется, и тут тоже,— она опустила руку в карман и выложила на стол несколько полупенсовиков,— да, тут тоже. Элис, милочка, у тебя нет денег?

Алчное, хитрое, напряженное выражение, появившееся на лице у старухи, когда она задавала этот вопрос и следила за тем, как дочь достает из-за пазухи недавно полученный подарок, бросило свет на отношения между матерью и дочерью едва ли менее яркий, чем слова, сказанные раньше дочерью.

— Это все? — спросила мать.

— Больше у меня ничего нет. И этого бы не было, если бы мне не подали милостыню.

— Если бы не подали милостыню, дорогая? — повторила старуха, жадно склоняясь над столом, чтобы посмотреть на деньги, как будто не доверяя дочери, которая все еще держала их в руке.— Гм! Шесть и шесть — двенадцать, и шесть — восемнадцать... так... Нужно потратить их, и потратить расчетливо. Пойду куплю чего-нибудь поесть и выпить.

С бо́льшим проворством, чем можно было ожидать от нее, судя по виду — ибо старость и нищета сделали ее не менее дряхлой, чем уродливой,— она завязала дрожащими руками ленты старой шляпки и завернулась в изодранную шаль, все с тою же алчностью глядя на деньги в руке дочери.

— Какое счастье принесет нам эта женитьба, матушка? — спросила дочь.— Вы мне так и не сказали.

— Счастье для нас в том,— ответила та, дрожащими пальцами оправляя шаль,— что любви там вовсе нет, моя милочка, но зато много гордости и ненависти. Счастье в том, что между ними нелады и борьба, и им грозит опасность — опасность, Элис!

— Какая опасность?

— Я видела то, что видела! Я знаю то, что знаю! — захихикала мать.— Пусть кое-кто смотрит в оба! Пусть кое-кто остерегается. Моя дочка, быть может, еще попадет в хорошее общество.

Затем, видя, что дочь, смотревшая на нее серьезно и недоумевающе, невольно сжала руку, в которой были деньги, старуха засуетилась, чтобы поскорее их получить, и торопливо добавила:

— Ну я пойду куплю чего-нибудь. Пойду куплю чего-нибудь.

Пока она стояла с протянутой рукой перед дочерью, та, взглянув еще раз на деньги, поцеловала их, прежде чем с ними расстаться.

— Как, Эли! Ты их целуешь? — хихикнула старуха.— Вот это похоже на меня! Я это часто делаю. О, они нам приносят столько добра! — И она прижала к обвисшей груди потускневшие полупенсовики.— Столько всякого добра они нам приносят, жаль только, что не текут к нам потоком!

— Я их целую сейчас, матушка,— сказала дочь,— вряд ли я когда-нибудь делала это раньше,— ради той, которая мне их дала.

— Ради той, которая их дала, милочка? — повторила старуха, чьи тусклые глаза вспыхнули, когда она взяла деньги.— Я тоже их целую ради того, кто дает, если это может заставить его раскошелиться. Но я пойду истрачу их, милочка. Я сейчас вернусь.

— Вы, кажется, сказали, что много знаете, матушка,— заметила дочь, провожая ее взглядом до двери.— Вы стали мудрой с тех пор, как мы расстались.

— Знаю! — прокаркала старуха, отступая на шаг от двери.— Я знаю больше, чем ты думаешь. Я знаю больше, чем *он* думает, милочка, и об этом я тебе скоро расскажу. Я все о нем знаю.

Дочь недоверчиво улыбнулась.

— Я знаю его брата, Элис,— сказала старуха, вытянув шею со злорадством поистине страшным,— который мог бы очутиться там, где была ты,— за кражу. Он живет со своей сестрой на Северной дороге, за городом.

— Где?

— На Северной дороге, за городом, милочка. Если хочешь, можешь увидеть их дом. Похвастаться нечем, хотя у того, другого,— дом отменный... Нет, нет! — воскликнула старуха, качая головой и смеясь, потому что ее дочь вскочила со стула.— Не сейчас! Это слишком далеко; это у придорожного столба, где свалены в кучу камни... Завтра, милочка, если погода будет хорошая и тебе захочется посмотреть. Но я пойду истрачу...

— Стойте! — Дочь бросилась к ней с бешенством, снова вспыхнувшим, как огонь.— Сестра — красивая чертовка с каштановыми волосами?

Старуха, удивленная и испуганная, кивнула головой.

— В ее лице есть что-то от него! Это красный дом, стоит в стороне. Перед дверью зеленое крылечко.

Снова старуха кивнула.

— На котором я сегодня сидела! Отдайте назад деньги.

— Элис! Милочка!

— Отдайте деньги, не то вам не поздоровится!

С этими словами она вырвала деньги из рук старухи и, совершенно равнодушная к ее жалобам и мольбам, надела плащ и стремительно выбежала из дому.

Мать, прихрамывая, последовала за ней, стараясь не отставать и уговаривая ее, но эти уговоры производили на нее не больше впечатления, чем ветер, дождь и мрак, окутавший их. Упрямо и злобно стремясь к своей цели, равнодушная ко всему остальному, дочь не обращала внимания на непогоду и расстояние, как будто забыв об усталости и пройденном пути, и спешила к дому, где ей была оказана помощь. После четверти часа ходьбы старуха, выбившись из сил и запыхавшись, осмелилась уцепиться рукой за ее юбку; но на бо̀льшее она не отважилась, и они молча шли под дождем и во тьме. Если у матери изредка срывалась жалоба, она сейчас же ее заглушала, опасаясь, что дочь убежит и бросит ее здесь одну; а дочь не нарушала молчания.

Был двенадцатый час ночи, когда они оставили позади городские улицы и вышли на те пустыри, среди которых находился дом. Мрак здесь был еще гуще, город раскинулся вдали, призрачный и хмурый; холодный ветер завывал на просторе; все вокруг было черно, дико, пустынно.

— Вот подходящее место для меня! — сказала дочь, останавливаясь, чтобы оглянуться.— Я уже подумала об этом, когда была здесь сегодня.

— Элис, милочка! — воскликнула мать, тихонько дергая ее за юбку.— Элис!

— Ну, что еще, матушка?

— Не отдавай денег, милая. Пожалуйста, не отдавай. Мы не можем это делать. Нам надо поужинать, милочка. Деньги — это деньги, кто бы их ни дал. Скажи им все, что хочешь, но деньги оставь себе.

— Смотрите! — сказала в ответ дочь.— Вот дом, о котором я говорила. Это он?

Старуха утвердительно кивнула головой, и, пройдя еще несколько шагов, они подошли к запертой двери. Комната, где Элис сушила платье, была освещена пламенем камина и свечой; и когда она постучала в дверь, из этой комнаты вышел Джон Каркер.

Он удивился, увидав таких посетителей в столь поздний час, и спросил Элис, что ей нужно.

— Мне нужна ваша сестра,— сказала она.— Женщина, которая дала мне сегодня деньги.

На громкий ее голос вышла Хэриет.

— О! — воскликнула Элис.— Вы здесь! Вы меня помните?

— Да,— с недоумением ответила та.

Лицо, которое днем было смиренно обращено к ней, дышало теперь такой неукротимой ненавистью и презрением и рука, несколько часов назад мягко касавшаяся ее плеча, сжалась в кулак с такою злобой, что Хэриет, ища защиты, прижалась к брату.

— Как могла я говорить с вами и вас не узнать! Как могла я приблизиться к вам и не почувствовать по жару в моей крови, чья кровь течет в ваших жилах! — воскликнула Элис, угрожающе взмахнув рукой.

— Что вы хотите сказать? Что я сделала?

— Что вы сделали? — отозвалась та.— Вы посадили меня к своему очагу. Вы накормили меня и дали мне денег. Вы из жалости подарили мне свое сострадание! Вы, на чье имя я плюю!

Старуха со злорадством, делавшим ее безобразное лицо поистине страшным, погрозила брату и сестре своею иссохшей рукой в подтверждение слов дочери, но в то же время снова дернула ее за юбку, умоляя оставить у себя деньги.

— Если я уронила слезу на вашу руку, пусть она ее иссушит! Если я сказала вам ласковое слово, пусть оно вас оглушит! Если я прикоснулась к вам губами, пусть это прикосновение будет для вас ядом! Проклятье на этот дом, где мне дали приют! Горе и позор на вашу голову! Да погибнут все ваши близкие!

Произнеся эти слова, она бросила на землю деньги и отшвырнула их ногой.

— Я втаптываю их в грязь! Я бы их не взяла, даже если бы они открывали мне путь к небу! О, лучше бы окровавленная нога, из-за которой я пришла сюда сегодня, сгнила прежде, чем привела меня в ваш дом!

Хэриет, бледная и дрожащая, удерживала брата и не перебивала ее.

— А вышло так, что в первый час моего возвращения меня пожалели и простили вы, носящая это имя! Вышло так, что вы обошлись со мной, как милая, добрая леди! Я вас поблагодарю, когда буду умирать. Я помолюсь за вас и за весь ваш род, можете быть в этом уверены!

Злобно взмахнув рукой, как будто окропляя ненавистью землю и обрекая на гибель тех, кто перед ней стоял, она бросила взгляд на черное небо и ушла в ненастную ночь.

Мать, тщетно дергавшая ее за юбку и с неутолимой алчностью смотревшая на лежащие у порога деньги, которые, казалось, поглощали все ее внимание, готова была слоняться вокруг, пока угаснут в доме огни, а потом ощупью искать деньги в грязи, надеясь вновь ими завладеть. Но дочь увлекла ее за собой, и они немедленно отправились в обратный путь; дорогой старуха не переставала хныкать, оплакивала потерю и горько сетовала, поскольку хватало у нее храбрости, на свою не признаю-



щую долга красавицу дочь, которая оставила ее без ужина в первый же вечер после своего возвращения.

И спать она легла без ужина, если не считать каких-то жалких объедков; и эти объедки она, бормоча, пережевывала, сидя над угасающими углями, когда ее дочь, не признающая долга, давно уже спала.

Не являются ли пороки этой жалкой матери и жалкой дочери всего лишь самой низшей ступенью социальных пороков, столь обычных иной раз среди тех, кто стоит высоко? В этом шарообразном мире, в коем одни круги включены в другие, нужно ли нам совершать утомительное путешествие с верхней ступени на самую нижнюю, чтобы в конце концов убедиться в том, что они находятся по соседству, что крайности соприкасаются и что конец нашего путешествия совпадает с исходной его точкой? Отдавая должное разнице в материале и окраске, неужели образец такой ткани нельзя найти среди людей высшего круга?

Ответьте, Эдит Домби! И вы, Клеопатра, лучшая из матерей, дайте нам послушать ваши объяснения!

ГЛАВА XXXV

Счастливая чета

Темное пятно на улице исчезло. Дом мистера Домби, если и остается еще брешью среди других домов, то только потому, что в своем великолепии не может с ними соперничать и высокомерно их раздвигает. Пословица говорит, что дом есть дом, как бы ни был он неказист. Если она остается справедливой в обратном смысле и дом есть дом, как бы ни был он величествен, то какой алтарь воздвигнут здесь домашним богам!

Сегодня вечером огни сверкают в окнах, красноватый отблеск камина тепло и весело ложится на портьеры и мягкие ковры, обед готов, стол изящно накрыт, но только на четыре персоны, а буфет загроможден столовым серебром. В первый раз после недавних переделок дом приготовили для торжественной встречи хозяев, и счастливую чету ждут с минуты на минуту.

Судя по тому интересу и волнению, какие он возбуждает у домочадцев, этот вечер возвращения домой немногим уступает свадебному утру. Миссис Перч пьет чай в кухне; она обошла весь дом, определила, почем плачено за ярд шелка и камчатного полотна, и исчерпала все попавшие и не попавшие в словарь междометия, выражающие восторг и изумление. Старший обойщик, оставив под стулом в вестибюле свою шляпу, а в ней носовой платок — от них сильно пахнет лаком,— шныряет по дому, посматривая вверх на карнизы и вниз на мягкие ковры, и время от времени в припадке восторга вынимает из кармана линейку и вдруг начинает с неизъяснимым чувством обмерять дорогие вещи. Кухарка очень весела и говорит — дайте только ей таких хозяев, которые принимали бы много гостей (а она готова побиться с вами об заклад на шесть пенсов, что теперь так и будет); она отличается бойким нравом и отличалась им с детства и не возражает против того, чтобы все это знали; такое заявление исторгает из груди миссис Перч тихий отклик, выражающий сочувствие и одобрение. Горничная может лишь надеяться, что они будут счастливы, но брак — лотерея, и чем больше она думает о браке, тем больше ценит независимость и благополучие одинокой жизни. Мистер Таулинсон мрачен и угрюм и говорит, что таково и его мнение, и дайте ему только войну, войну с французами! Ибо этот молодой человек придерживается того мнения, что каждый иностранец — француз, каковым и должен быть по законам природы.

Как только раздается стук колес, все умолкают, о чем бы они ни говорили, и прислушиваются; и не раз поднималась суматоха и слышался крик: «Приехали!» Но они еще не приехали, и кухарка начинает оплакивать обед, который уже дважды снимала с плиты, а старший обойщик все еще шныряет по комнатам, и ничто не нарушает его блаженной мечтательности.

Флоренс готова к встрече с отцом и со своей новой мамой. Вряд ли она знает, радостью или болью вызвано волнение, какое теснит ей грудь. Но трепещущее сердце заставляет кровь приливать к щекам и придает блеск глазам; а в кухне шепчут друг другу на ухо,— говоря о ней, они всегда понижают голос,— о том, как красива сегодня

мисс Флоренс и какой милой молодой леди стала она, бедняжка! Следует пауза; а затем кухарка, чувствуя, что ждут ее мнения, как председательницы, спрашивает недоумевающе, неужели... и умолкает. Горничная также выражает недоумение, равно как и миссис Перч, которая обладает счастливой способностью недоумевать, когда другие недоумевают, хотя бы ей и не была известна причина собственного недоумения. Мистер Таулинсон, который пользуется случаем заразить леди своею мрачностью, говорит: «Поживем — увидим». Ему бы хотелось, чтобы кое-кто благополучно из этого выпутался. Тогда кухарка испускает вздох и шепчет: «Ах, это странный мир, поистине странный!» А когда эти слова облетели вокруг стола, добавляет внушительно: «Но какие бы ни произошли перемены, Том, они не могут повредить мисс Флоренс». Ответ мистера Таулинсона, чреватый зловещим смыслом, гласит: «О, неужели не могут?» И, понимая, что простой смертный вряд ли способен пророчествовать более ясно или более вразумительно, он погружается в молчание.

Миссис Скьютон, приготовившись встретить с распростертыми объятиями свою возлюбленную дочь и дорогого зятя, надела приличествующий случаю девический наряд с короткими рукавами. Однако в настоящую минуту зрелые ее прелести цветут в тени ее собственных апартаментов, откуда она не выходила с тех пор, как завладела ими несколько часов назад, и где она быстро начинает проявлять признаки раздражения из-за того, что обед запаздывает. С другой стороны, горничная, которой бы надлежало быть скелетом, тогда как на самом деле это цветущая девица, находится в приятнейшем расположении духа, полагая выплату жалования раз в три месяца обеспеченной лучше, чем когда бы то ни было, и предвидя, что стол и помещение будут значительно улучшены.

Но где же счастливая чета, которую ждет этот славный дом? Быть может, пар, прилив, ветер и лошади умеряют скорость, чтобы полюбоваться таким счастьем? Может быть, рой амуров и граций, порхая вокруг них, препятствует их продвижению? Или, быть может, столько разбросано цветов вдоль их счастливой тропы, что они с

трудом подвигаются вперед среди роз без терний и благоуханного шиповника?

Наконец-то приехали! Слышен стук колес, он приближается, и карета останавливается у подъезда. Ненавистный иностранец оглушительно стучит в дверь, предваряя появление мистера Таулинсона и слуг, бросившихся ее открыть; и мистер Домби и его молодая жена выходят из экипажа и идут рука об руку в дом.

— Моя ненаглядная Эдит! — раздается взволнованный голос на площадке лестницы.— Мой дорогой Домби! — И короткие рукава обвиваются вокруг счастливой четы, заключая в объятия каждого из супругов по очереди.

Флоренс также спустилась в холл, но не смела подойти со своим робким приветствием, пока не улягутся восторги этого более близкого и более дорогого существа. Но Эдит увидела ее на пороге; небрежно поцеловав в щеку свою чувствительную родительницу и отделавшись от нее, она поспешила к Флоренс и обняла ее.

— Здравствуй, Флоренс,— сказал мистер Домби, протягивая руку.

Когда Флоренс, дрожа, подносила ее к губам, она встретила его взгляд. Взгляд был холодный и сухой, но у нее забилось сердце, когда ей показалось, что в его глазах отразился интерес к ней, какого он никогда еще не проявлял. В них было даже легкое удивление — приятное удивление, вызванное встречей с нею. Больше она не смела смотреть на него, но чувствовала, что он взглянул на нее еще раз и не менее благосклонно. О, какой радостный трепет охватил ее даже при этом слабом и ни на чем не основанном подтверждении ее надежды, что с помощью новой красивой мамы ей удастся завоевать его сердце!

— Полагаю, вы недолго будете переодеваться, миссис Домби? — спросил мистер Домби.

— Я сейчас буду готова.

— Пусть подают обед через четверть часа.

С этими словами мистер Домби чинно удалился в свои комнаты, а миссис Домби поднялась наверх в свои. Миссис Скьютон и Флоренс отправились в гостиную, где эта превосходная мать сочла своим долгом уронить несколько слезинок, якобы исторгнутых у нее счастьем дочери; и эти

слезинки она все еще с большою осторожностью осушала уголком обшитого кружевами носового платка, когда вошел ее зять.

— Ну, как понравился вам, дорогой Домби, этот очаровательнейший из городов, Париж? — спросила она, подавляя свое волнение.

— Там было холодно,— ответил мистер Домби.

— Конечно, весело, как всегда! — сказала миссис Скьютон.

— Не особенно. Город показался мне скучным,— заметил мистер Домби.

— Фи, дорогой мой Домби! Скучным! — Это было сказано лукаво.

— Такое впечатление он произвел на меня, сударыня,— степенно и учтиво сказал мистер Домби.— Полагаю, миссис Домби также нашла его скучным. Она упомянула об этом раза два.

— Ах, капризница! — воскликнула миссис Скьютон, подшучивая над своей дорогой дочерью, которая только что появилась в дверях.— Какие это еретические вещи говоришь ты о Париже?

Эдит со скучающим видом подняла брови; пройдя мимо распахнутых двустворчатых дверей, за которыми открывалась анфилада комнат, прекрасно и заново отделанных, она едва взглянула на них и села рядом с Флоренс.

— Дорогой Домби,— сказала миссис Скьютон,— эти люди чудесно выполнили все, о чем мы им говорили! Право же, они превратили дом в настоящий дворец.

— Дом красив,— сказал мистер Домби, осматриваясь вокруг.— Я распорядился, чтобы перед расходами не останавливались. Полагаю, сделано все, что могли сделать деньги.

— А чего они не могут сделать, дорогой Домби? — заметила Клеопатра.

— Они могущественны, сударыня,— сказал мистер Домби.

Он со свойственной ему величественностью бросил взгляд на жену, но та не сказала ни слова.

— Надеюсь, миссис Домби,— подчеркнуто обратился он к ней после минутного молчания,— эти перемены заслуживают вашего одобрения?

— Дом красив, насколько он может быть красивым,— отозвалась она с высокомерным равнодушием.— Конечно, таким он должен быть. И, полагаю, таков он и есть.

Пренебрежительное выражение было свойственно этому надменному лицу и, казалось, никогда его не покидало; но презрение, отражавшееся на нем, когда бы ни упомянули о восторге, почтении и уважении, вызываемых богатством мистера Домби,— как бы ни было мимолетно и случайно упоминание,— было совсем иным и новым чувством, по напряжению своему ничего общего не имевшим с обычным презрением. Неизвестно, подозревал ли об этом мистер Домби, окутанный своим величием, но ему представлялось уже немало случаев прозреть; это могло совершиться и сейчас благодаря темным глазам, которые остановились на нем, после того как быстро и презрительно скользнули по окружающей обстановке, служившей к его прославлению. Он мог бы прочесть в этом одном взгляде, что, какова бы ни была власть богатства, оно не завоюет ему, даже если возрастет в десять тысяч раз, ни одного ласкового, признательного взора этой непокорной женщины, с ним связанной, но всем своим существом восстающей против него. Он мог бы прочесть в этом одном взгляде, что она гнушается этим богатством именно из-за тех низменных, корыстных чувств, какие оно в ней вызывает, хотя она и притязает на величайшую власть, им даруемую, как на нечто полагающееся ей по праву в результате торговой сделки,— притязает на гнусное и недостойное вознаграждение за то, что она стала его женой. Он мог прочесть в нем, что, хотя она и подставляет свою грудь под стрелы собственного презрения и гордыни, самое невинное упоминание о власти его богатства унижает ее сызнова, заставляет еще ниже падать в собственных глазах и довершает ее внутреннее опустошение.

Но вот доложили, что обед подан, и мистер Домби повел Клеопатру; Эдит и его дочь следовали за ними. Быстро пройдя мимо расставленной на буфете золотой и серебряной посуды, как будто это была куча мусору, и не удостоив взглядом окружающей ее роскоши, она впервые заняла свое место за столом своего супруга и сидела как статуя.

Мистер Домби, который и сам очень походил на статую, без всякого недовольства видел, что его красивая жена бесстрастна, надменна и холодна. Манеры ее всегда отличались изяществом и грацией, а ее поведение было ему приятно и отвечало его вкусу. С обычным достоинством возглавляя стол и отнюдь не излучая на жену свою собственную теплоту и веселость, он с холодным удовлетворением исполнял обязанности хозяина дома; и этот первый по возвращении обед — хотя в кухне его не считали многообещающим началом — прошел в столовой вполне пристойно и сдержанно.

Вскоре после чая миссис Скьютон, которая притворилась подавленной и утомленной радостным волнением, вызванным созерцанием возлюбленной дочери, соединившейся со своим избранником, но которой — есть основания это предполагать — семейный вечер показался скучноватым, ибо она целый час беспрерывно зевала, прикрывшись веером,— миссис Скьютон пошла спать. Эдит также удалилась молча и больше не появлялась. И случилось так, что Флоренс, побывав наверху, чтобы потолковать с Диогеном, а затем вернувшись со своей рабочей корзинкой в гостиную, не застала там никого, кроме отца, шагавшего взад и вперед по мрачной и великолепной комнате.

— Простите, папа. Мне уйти? — тихо спросила Флоренс, нерешительно останавливаясь в дверях.

— Нет,— ответил мистер Домби, оглянувшись через плечо.— Ты можешь входить сюда, когда угодно, Флоренс. Это не мой кабинет.

Флоренс вошла и села со своей работой к стоявшему в стороне столику, очутившись впервые в жизни — впервые на своей памяти, начиная с младенческих лет и вплоть до этого часа,— наедине с отцом, как с собеседником. Она, природой данная ему собеседница, его единственное дитя, которое в одинокой своей жизни и скорби познало боль истерзанного сердца! Его дочь, которая, несмотря на отвергнутую свою любовь, каждый вечер, молясь богу, шептала его имя, со слезами призывая на него благословение, падавшее тяжелее, чем проклятье! Дочь, молившая о том, чтобы умереть молодой — только бы умереть в его объятиях! Дочь, неизменно отвечавшая на

мучительное пренебрежение, холодность и неприязнь терпеливой, нетребовательной любовью, оправдывая его и защищая, как светлый его ангел!

Она дрожала, и глаза ее были затуманены. Его фигура как будто становилась выше и росла перед ее глазами, когда он шагал по комнате; то она видела ее смутной и расплывчатой, то снова ясной и отчетливой; то начинало ей казаться, что все это уже происходило, точь-в-точь так же, как сейчас, сотни лет назад. Она рвалась к нему и в то же время содрогалась при его приближении. Неестественное чувство у ребенка, не ведающего зла! Чудовищная рука направляла острый плуг, который провел в ее кроткой душе борозду для посева таких семян!

Стараясь не огорчать и не оскорблять его своим горем, Флоренс сдерживалась и спокойно сидела за работой. Пройдясь еще несколько раз по комнате, он прекратил свою прогулку и, усевшись в кресло, стоявшее в темном углу, накрыл лицо носовым платком и расположился вздремнуть.

Для Флоренс достаточно было уже того, что она может сидеть здесь рядом с ним, время от времени посматривая на его кресло, следя за ним мысленно, когда лицо ее склонялось над работой, и грустно радуясь тому, что он *может* дремать при ней и его не смущает ее присутствие, которого он раньше не выносил.

О чем бы она стала размышлять, если бы узнала, что он упорно смотрит на нее, платок на его лице, случайно или умышленно, положен так, чтобы он мог видеть ее, и глаза его ни на секунду не отрываются от ее лица! А когда она смотрела в его сторону, в затененный угол, ее выразительные глаза, и без слов говорившие более страстно и патетически, чем все ораторы в мире, в немом призыве бросавшие ему тяжкий упрек, встречались с его глазами, не ведая об этом. Когда же она снова склоняла голову к работе, он дышал свободнее, но продолжал смотреть на нее с тем же вниманием — на ее белый лоб, ниспадающие волосы и занятые работой руки — и, раз взглянув, казалось, уже не в силах был отвести взор.

О чем же думал он в это время? С какими чувствами устремлял он украдкой внимательный взгляд на неведо-

мую ему дочь? Читал ли он укор в этом тихом облике и кротких глазах? Начал ли признавать ее права, которыми он пренебрег, тронула ли, наконец, эта мысль его сердце и пробудила ли в нем сознание жестокой его несправедливости?

Бывают минуты смирения в жизни самых суровых и черствых людей, хотя такие люди большей частью хорошо хранят свою тайну. Вид дочери в расцвете красоты, незаметно для него ставшей почти взрослой, мог стать причиною такой минуты даже в его жизни, исполненной гордыни. Мимолетная мысль о том, что счастливый домашний очаг был тут, у него под рукой... гений, охраняющий семейное благополучие, склонялся к его ногам... а он, одержимый своим упорным, мрачным высокомерием, не заметил его, ушел и погубил себя... быть может, породила это состояние. Простые красноречивые слова, звучавшие внятно (хотя он не сознавал, что читает их в ее немом взгляде): «Во имя умирающих, за которыми я ухаживала, во имя страдальческого детства, во имя нашей встречи в этом мрачном доме в полночь, во имя вопля, исторгнутого из моего истерзанного сердца, о отец, обратись ко мне и найди прибежище в моей любви, пока еще не поздно!» — могли продлить такую минуту. Эта мысль могла быть связана с более низменными и незначительными, как, например, с мыслью о том, что новые привязанности заняли в его душе место умершего мальчика и теперь он может простить той, кто отняла у него любовь сына. Даже простого соображения, что она может служить украшением среди всех украшений и роскоши, его окружающих, пожалуй, было бы достаточно. Но чем дольше он смотрел на нее, тем больше смягчался. В то время, как он смотрел, она сливалась с образом ребенка, которого он любил, и он уже не мог отделить их друг от друга. Он смотрел и на секунду увидел ее в более ярком и ясном свете, не соперницей, склонявшейся над подушкой ребенка — чудовищная мысль! — но добрым гением дома, охраняющим и его самого в тот момент, когда, опустив голову на руку, он сидел у кроватки маленького Поля. Он чувствовал желание заговорить с ней и подозвать ее. Слова: «Флоренс, подойди ко мне!» — готовы были сорваться с его губ,— медленно и с трудом, столь были они

ему чужды,— но их удержали и заглушили шаги на лестнице.

Это была его жена. Она заменила вечерний туалет широким пеньюаром и распустила волосы, падавшие ей на плечи. Но не эта перемена в ней поразила его.

— Флоренс, дорогая,— сказала она,— я вас всюду искала.

Усевшись рядом с Флоренс, она наклонилась и поцеловала ее руку. Он едва мог узнать свою жену — так она изменилась. Дело было не только в том, что ее улыбка была ему незнакома, хотя и улыбку Эдит он никогда не видел; но ее манеры, тон, сияющие глаза, мягкость и доверчивость, и обаятельное желание понравиться, проявлявшееся во всем... это была не Эдит.

— Тише, дорогая мама. Папа спит.

А вот теперь это была Эдит. Она посмотрела в ту сторону, где он сидел, и он прекрасно узнал это лицо и взгляд.

— Я и не подозревала, что вы можете быть здесь, Флоренс.

Снова как изменилась, как смягчилась она в одну секунду!

— Я нарочно ушла отсюда рано,— продолжала Эдит,— чтобы посидеть и поговорить с вами наверху. Но, войдя в вашу комнату, я увидела, что моя птичка улетела, и с тех пор я все время ждала ее возвращения.

Если бы Флоренс и в самом деле была птичкой, Эдит не могла бы нежнее и ласковее прижать ее к своей груди.

— Пойдемте, дорогая!

— Когда папа проснется, не покажется ли ему странным, что я ушла? — нерешительно сказала Флоренс.

— А как вы думаете, Флоренс? — спросила Эдит, глядя ей в глаза.

Флоренс опустила голову, встала и взяла свою рабочую корзинку. Эдит продела ее руку под свою, и они вышли из комнаты, как сестры. Даже походка ее была иной и незнакомой ему,— подумал мистер Домби, проводив ее взглядом до двери.

В тот вечер он так долго сидел в своем темном углу, что церковные часы, отмечая время, били три раза, прежде чем он пошевельнулся. И взгляд его упорно не

отрывался от того места, где сидела Флоренс. В комнате становилось темнее по мере того, как догорали и гасли свечи; но тень, омрачавшая лицо мистера Домби, была темнее всех ночных теней; так она и осталась на его лице.

Флоренс и Эдит, сидя у камина в уединенной комнате, где умер маленький Поль, долго вели беседу. Диоген, находившийся тут же, сначала возражал против присутствия Эдит, но потом, уступая желанию своей хозяйки, дал свое согласие, хотя и не переставал протестующе ворчать. Однако, выползая потихоньку из передней, куда в негодовании удалился, он вскоре как будто уразумел, что с наилучшими намерениями совершил одну из тех ошибок, каких не могут иной раз избежать самые примерные собаки. Словно извиняясь, он уселся между ними перед самым камином и сидел с высунутым языком и глупейшей мордой, прислушиваясь к разговору.

Разговор сначала шел о книгах и любимых занятиях Флоренс и о том, как она коротала время со дня свадьбы. Эта последняя тема дала ей повод заговорить о том, что было очень близко ее сердцу, и она сказала со слезами на глазах:

— О мама, за это время меня постигло большое несчастье!

— Вас — большое несчастье, Флоренс?

— Да. Бедный Уолтер утонул.

Флоренс закрыла лицо руками и горько заплакала. Многих слез, пролитых тайком, стоила ей гибель Уолтера, и все-таки она начинала плакать каждый раз, когда думала или говорила о нем.

— Но объясните мне, дорогая,— сказала Эдит, успокаивая ее,— кто такой Уолтер? Кем он был для вас?

— Он был моим братом, мама. Когда умер милый Поль, мы обещали друг другу быть братом и сестрой. Я знала его давно — с раннего детства. Он знал Поля, который был очень к нему привязан; Поль сказал, чуть ли не за минуту до смерти: «Позаботьтесь об Уолтере, милый папа! Я его любил!» Уолтера привели повидаться с ним, и он был тогда здесь — в этой комнате.

— И он позаботился об Уолтере? — суровым тоном осведомилась Эдит.

— Папа? Он послал его за океан. По пути туда он утонул во время кораблекрушения,— всхлипывая, сказала Флоренс.

— Ему известно, что Уолтер умер? — спросила Эдит.

— Не знаю, мама. Не могу узнать. Милая мама! — воскликнула Флоренс, прижимаясь к ней словно с мольбой о помощи и спрятав лицо у нее на груди.— Я знаю, вы заметили...

— Тише! Молчите, Флоренс! — Эдит так сильно побледнела и говорила с таким жаром, что незачем ей было закрывать Флоренс рот рукой, чтобы та замолчала.— Сначала расскажите мне все об Уолтере; я хочу знать эту историю с начала до конца.

Флоренс рассказала и эту историю и все связанное с ней, вплоть до дружбы с мистером Тутсом, говоря о котором, она, несмотря на свое горе, невольно улыбалась сквозь слезы, хотя была ему глубоко благодарна. Когда она закончила свой рассказ, выслушанный Эдит с напряженным вниманием, и когда наступило молчание, Эдит спросила:

— Что же я заметила?

— Вы заметили, что я,— выговорила Флоренс с тою же немою мольбой и так же, как раньше, быстро спрятав лицо у нее на груди,— что я нелюбимая дочь, мама! Я никогда не была любимой. Я никогда не знала, как ею стать. Я не нашла пути, и некому мне было его показать. О, позвольте мне поучиться у вас, как мне стать близкой папе! Научите меня вы, которая так хорошо это знает! — И, прильнув к ней, шепча прерывистые пылкие слова благодарности и любви, Флоренс после открытия своей грустной тайны плакала долго, но уже не так горестно, как раньше, в объятиях новой матери.

Бледная, с побелевшими губами, с лицом, сначала исказившимся, а потом благодаря усилиям воли застывшим в горделивой своей красоте, как мертвая маска, Эдит смотрела на плачущую девушку и один раз поцеловала ее. Потихоньку освободившись из объятий Флоренс и отстранив ее, величавая и неподвижная, как мраморное изваяние, она заговорила, и голос ее звучал все глуше, только этим и выдавая ее волнение:

— Флоренс, вы меня не знаете! Боже вас сохрани учиться чему-нибудь у меня!

— Не учиться у вас? — с изумлением переспросила Флоренс.

— Да избавит бог, чтобы я стала учить вас, как нужно любить или быть любимой! — сказала Эдит.— Лучше, если бы вы могли меня научить, но теперь слишком поздно. Вы мне дороги, Флоренс. Я не думала, что кто-нибудь может стать мне так дорог, как стали вы за такое короткое время.

Заметив, что Флоренс хочет что-то сказать, она ее остановила жестом и продолжала:

— Я всегда буду вашим верным другом. Я буду воспитывать вас если и не так хорошо, то с бо̀льшей любовью, чем кто бы то ни было во всем мире. Вы можете довериться мне — я это знаю, дорогая, и я это говорю,— можете довериться мне со всею преданностью вашего чистого сердца. Есть множество женщин, на которых он мог бы жениться,— женщин лучше меня, Флоренс. Но из тех, кто мог бы войти в этот дом в качестве его жены, нет ни одной, чье сердце любило бы вас более горячо.

— Я это знаю, дорогая мама! — воскликнула Флоренс.— С первого же дня, с того счастливого дня я это знала!

— Счастливого дня! — Эдит, казалось, невольно повторила эти слова и продолжала: — Хотя никакой заслуги с моей стороны нет, потому что я мало о вас думала до той поры, пока вас не увидела, но пусть ваше доверие и любовь будут незаслуженной наградой мне. В первую ночь моего пребывания в этом доме мне захотелось — так будет лучше всего — сказать вам об этом в первый и последний раз.

Флоренс, сама не зная почему, чуть ли не со страхом ждала, что за этим последует, но не спускала глаз с прекрасного лица, обращенного к ней.

— Никогда не пытайтесь найти во мне то, чего здесь нет,— сказала Эдит, прижимая руку к сердцу.— Никогда, если это в ваших силах, Флоренс, не отрекайтесь от меня, из-за того, что здесь — пустота. Постепенно вы узнаете меня лучше, и настанет время, когда вы будете знать меня так же, как я себя знаю. И тогда будьте по мере сил

снисходительны ко мне и не отравляйте горечью единственное светлое воспоминание, которое мне останется.

Слезы, выступившие на глазах, устремленных на Флоренс, доказывали, что спокойное лицо было лишь прекрасной маской; но она сохранила эту маску и продолжала:

— Я заметила то, о чем вы говорили, и знаю, что вы не ошибаетесь. Но верьте мне — если не сейчас, то скоро вы этому поверите,— нет в мире никого, кто был бы менее, чем я, способен это уладить или помочь вам, Флоренс. Никогда не спрашивайте меня, почему это так, и больше никогда не говорите со мной об этом и о моем муже. Тут между нами должна быть пропасть. Будем хранить мертвое молчание.

Некоторое время она сидела молча; Флоренс едва осмеливалась дышать, а смутные и неясные проблески истины со всеми вытекающими отсюда последствиями представлялись ее испуганному воображению. Как только Эдит замолчала, ее напряженное неподвижное лицо стало спокойней и мягче, каким оно бывало обычно, когда она оставалась наедине с Флоренс. Когда произошла эта перемена, Эдит закрыла лицо руками; потом она встала, с нежным поцелуем пожелала Флоренс спокойной ночи и вышла быстро и не оглядываясь.

Но когда Флоренс лежала в постели, а комната освещалась только отблеском, падавшим от камина, Эдит вернулась и, сказав, что не может уснуть, а в своей гостиной чувствует себя одинокой, придвинула стул к камину и стала смотреть на тлеющие угли. Флоренс тоже смотрела на них с кровати, пока и они, и благородное лицо, осененное распущенными волосами, и задумчивые глаза, в которых отражался догорающий огонь, не стали туманными и расплывчатыми и, наконец, исчезли.

Но и во сне Флоренс сохранила смутное представление о том, что произошло так недавно. Это служило канвой ее снов и преследовало ее, вызывая страх. Ей снилось, что она ищет отца в пустынных местах и идет по его стопам, поднимаясь на страшные крутизны и спускаясь в глубокие подземелья и пещеры; ей поручено нечто такое, что должно избавить его от великих страда-

ний — она не знает, что именно и почему,— но ей никак не удается достигнуть цели и освободить его. Потом она увидела его мертвым на этой самой кровати, в этой самой комнате, узнала, что он никогда, до последней минуты, не любил ее, и, горько рыдая, упала на его холодную грудь. Затем открылись дали, заструилась река, и жалобный знакомый голос воскликнул: «Она течет, Флой! Она никогда не останавливается! Она увлекает за собой!» И она увидела брата, простирающего к ней руки, а рядом с ним стоял кто-то похожий на Уолтера, удивительно спокойный и неподвижный. В каждом сновиденье Эдит появлялась и исчезала, неся ей то радость, то печаль, и, наконец, они остались вдвоем у края темной могилы; Эдит указывала вниз, а она посмотрела и увидела — кого? — другую Эдит, лежащую на дне.

В ужасе она вскрикнула и, как ей показалось, проснулась. Нежный голос как будто шепнул ей на ухо: «Флоренс, милая Флоренс, это только сон!» И, протянув руки, она ответила на ласку своей новой мамы, которая вышла потом из комнаты при свете серого утра. Флоренс тотчас села в постели, недоумевая, случилось ли это наяву или нет; но уверена она была только в том, что настало серое утро, что почерневшая зола лежит на каминной решетке и что она одна в комнате.

Так прошла ночь по возвращении счастливой четы.

ГЛАВА XXXVI

Празднование новоселья

Прошло много дней, походивших один на другой; разница была лишь в том, что принимали многочисленных гостей и отдавали визиты, что миссис Скьютон устраивала в своих собственных апартаментах маленькие утренние приемы, на которых частенько появлялся майор Бегсток, и что Флоренс больше не поймала ни одного взгляда, обращенного на нее отцом, хотя видела его ежедневно. И редко беседовала она со своей новой мамой, которая была властной и надменной со всеми в доме, кроме

нее,— этого Флоренс не могла не заметить; хотя она всегда посылала за Флоренс или приходила к ней, вернувшись домой после визитов, и, как бы ни было поздно, всегда заглядывала к ней в комнату перед сном, но, оставаясь с ней вдвоем, часто сидела подолгу молчаливая и задумчивая.

Флоренс, столько надежд возлагавшая на этот брак, иногда невольно сравнивала блестящий дом с прежним, поблекшим и мрачным, чье место он занял, и задавала себе вопрос, когда же этот дом можно будет назвать домашним очагом; ибо втайне она все время опасалась, что никто не чувствовал себя здесь дома, хотя все было устроено великолепно и жизнь была налажена. Часами размышляя днем и ночью и горько оплакивая погибшую надежду, Флоренс нередко вспоминала энергическое уверение своей новой мамы, что нет в мире никого, кто был бы менее, чем она, способен научить Флоренс, как завоевать сердце отца. И вскоре Флоренс начала думать — правильнее было бы сказать: решила думать,— что новая ее мать знает, как мало надежды смягчить или победить нерасположение отца, и из чувства сострадания запретила говорить на эту тему. Лишенная эгоизма — и в поступках своих и в грезах,— Флоренс предпочитала терпеть боль от этой новой раны, только бы заглушить слабое предчувствие истины, и даже ее мимолетные мысли об отце были окрашены нежностью. Что же касается домашнего очага, она надеялась, что все разрешится благополучно, когда новая жизнь войдет в колею, а о себе она думала мало и еще меньше жалела себя.

Раз никто из членов новой семьи не чувствовал себя по-настоящему дома в своем кругу, то было решено, что миссис Домби должна почувствовать себя дома хотя бы на людях. С целью отпраздновать недавнюю свадьбу и закрепить связи с обществом мистер Домби и миссис Скьютон задумали ряд увеселений; для начала было решено, что в такой-то вечер мистер и миссис Домби дадут у себя обед большому и пестрому обществу.

Мистер Домби составил список различных восточных магнатов *, коих надлежало пригласить от его имени на этот пир; к его списку миссис Скьютон, действуя от лица своей дочери, проявлявшей к этой затее высокомерное

безразличие, приложила западный список, куда был включен кузен Финикс, еще не вернувшийся в Баден-Баден к большому ущербу для движимого своего имущества, и разнообразные мотыльки разных видов и возрастов, которые в разное время порхали вокруг ее прекрасной дочери или ее самой, не причиняя серьезного вреда своим крылышкам. Флоренс была включена в число приглашенных к обеду по приказанию Эдит, вызванному минутным колебанием и замешательством миссис Скьютон. И Флоренс, быстро и инстинктивно чувствующая все, что хоть сколько-нибудь раздражало ее отца, молча принимала участие в празднестве.

Празднество открыл мистер Домби в необычайно высоком и тугом воротничке, неустанно прогуливавшийся по гостиной, пока не пробил час, назначенный для обеда; минута в минуту появился и был встречен одним только мистером Домби директор Ост-Индской компании, чудовищно богатый господин в жилете, который, казалось, был сооружен из пригодной для этой цели сосновой доски простым плотником, а в действительности рожден искусством портного и сшит из материи, называемой нанкой. Следующим этапом празднества явилось распоряжение мистера Домби засвидетельствовать его почтение миссис Домби, точно указав, который теперь час; а вслед за этим выяснилось, что директор Ост-Индской компании не в силах поддерживать разговор, и так как мистер Домби был не из тех, кто мог бы его оживить, гость таращил глаза на огонь в камине, пока не явился избавитель в образе миссис Скьютон, которую директор, удачно начав вечер, принял за миссис Домби, и приветствовал с энтузиазмом.

Вторым прибыл директор банка; если верить молве, он в состоянии был купить что угодно — даже человеческую природу, если бы пришло ему в голову повлиять таким образом на биржу,— но оказался он человеком замечательно скромным на словах, чуть ли не хваставшим своей скромностью; в разговоре он упомянул о своем «домишке» в Кингстоне на Темзе и о том, что почти совестится предложить там постель и отбивную котлету мистеру Домби, если тот пожелает его навестить. Что же касается леди, сказал он, то человеку, который ведет тихую жизнь,

не подобает навязываться с приглашениями, но если миссис Скьютон и ее дочь, миссис Домби, будут когда-нибудь в тех краях и окажут ему честь взглянуть на чахлый кустарник, на жалкий маленький цветник, на скромное подражание ананасной теплице и на две-три затеи в таком же роде и без всяких претензий,— он сочтет это посещение за большую честь. Выдерживая до конца свою роль, этот джентльмен был одет очень просто — лоскуток батиста вместо галстука, большие башмаки, фрак слишком для него просторный и брюки слишком тесные; а когда миссис Скьютон заговорила об опере, он сказал, что бывает там очень редко, так как это ему не по средствам. Казалось, такой ответ чрезвычайно порадовал и развеселил его; засунув руки в карманы, он с сияющей улыбкой взирал на своих слушателей, и величайшее удовлетворение светилось в его глазах.

Появилась миссис Домби, прекрасная и гордая, с таким презрением и вызовом смотревшая на всех, как будто брачный венец на ее голове был гирляндой из стальных игл, надетой с целью принудить ее к уступке, на которую она не согласится, хотя бы ей грозила смерть. С ней была Флоренс. Когда они вошли вместе, лицо мистера Домби вновь омрачила тень, набежавшая на него в день возвращения, но это осталось незамеченным: ибо Флоренс не смела поднять на него глаза, а равнодушие Эдит было слишком величественно, чтобы она обращала на него внимание.

Быстро съезжались многочисленные гости. Еще директора, председатели компаний, пожилые леди с грузом на голове — парадным головным убором, кузен Финикс, майор Бегсток, приятельницы миссис Скьютон с таким же ярким румянцем, как у нее, и с очень драгоценными ожерельями на очень увядших шеях. Среди них — юная шестидесятипятилетняя леди, удивительно легко одетая, если судить по ее спине и плечам, и говорившая с приятным сюсюканьем; веки этой дамы требовали от нее больших усилий, чтобы не опускаться, а манеры отличались той неизъяснимой прелестью, которую столь часто связывают с легкомысленной юностью. Так как большинство гостей из списка мистера Домби было расположено молчать, а большинство гостей из списка миссис Домби расположено

болтать и взаимных симпатий между ними не наблюдалось, то гости из списка миссис Домби в силу магнетического соглашения заключили союз против гостей из списка мистера Домби, которые, уныло слоняясь по комнатам или прячась по углам, сталкивались с вновь прибывшими, оказывались в ловушке, отделенные от мира каким-нибудь диваном, а когда распахивались двери, получали удары по голове,— словом, терпели всяческие неудобства.

Когда доложили, что обед подан, мистер Домби повел старую леди, которая походила на малиновую бархатную подушечку для булавок, набитую банковыми билетами, и могла сойти за подлинную старую леди с Трэднидлстрит * — так была она богата и такой казалась непокладистой; кузен Финикс предложил руку миссис Домби; майор Бегсток предложил руку миссис Скьютон; юная особа с открытыми плечами была пожалована в качестве гасильника директору Ост-Индской компании; а прочие леди были оставлены в гостиной для обозрения прочим джентльменам, пока горсть храбрецов не вызвалась проводить их вниз, и эти смельчаки со своими пленницами загородили вход в столовую, отрезав путь семерым робким гостям, застрявшим в неприветливом холле. Когда все уже вошли и расселись, появился со сконфуженной улыбкой один из этих робких гостей, совершенно беспомощный и оставленный без присмотра, и в сопровождении дворецкого дважды обошел вокруг стола, прежде чем удалось отыскать его место, которое в конце концов оказалось по левую руку от миссис Домби, после чего робкий гость больше уже не поднимал головы.

Огромную столовую, где за сверкающим столом восседали гости, склоняясь над сверкающими ложками, ножами, вилками и тарелками, можно было принять за представленную в увеличенном виде землю Тома Тидлера *, где дети подбирают золото и серебро. Мистер Домби в роли Тидлера был великолепен; а длинное блюдо из драгоценного замороженного металла, отделявшее его от миссис Домби, украшенное замороженными купидонами, которые протягивали им обоим цветы, лишенные аромата, наводило на мысль об аллегории.

Кузен Финикс был в ударе и казался изумительно моложавым. Но, находясь в веселом расположении духа, он порою бывал легкомыслен — память иной раз изменяла ему так же, как и ноги,— и в тот вечер он заставил общество содрогнуться. Случилось это так: юная леди с открытой спиной поймала в свои сети директора Ост-Индской компании, чтобы с его помощью занять за столом место рядом с кузеном Финиксом, к которому она питала нежные чувства; в благодарность за эту добрую услугу она немедленно отвернулась от директора, который, будучи заслонен с другой стороны мрачной, черной бархатной шляпой, венчавшей костлявую и бессловесную особу женского пола с веером, предался унынию и замкнулся в себе. Кузен Финикс и юная леди были очень оживлены и веселы, и юная леди так громко смеялась, слушая рассказ кузена Финикса, что майор Бегсток от имени миссис Скьютон (они сидели визави, ближе к другому концу стола) попросил разрешения осведомиться, нельзя ли сделать этот рассказ всеобщим достоянием.

— Ах, клянусь жизнью,— сказал Финикс,— ничего особенного, право же, не стоит повторять. Собственно говоря, это только маленький анекдот Джека Адамса. Полагаю, мой друг Домби (внимание всех присутствующих было сосредоточено на кузене Финиксе) припоминает Джека Адамса, Джека Адамса, не Джо — Джо звали его брата. Джек... маленький Джек... косил и слегка заикался... Он представлял какое-то боро *. В бытность мою в парламенте мы называли его Адамс-Постельная грелка, так как он был временным заместителем одного юнца, еще не достигшего совершеннолетия *. Быть может, мой друг Домби знал этого человека?

Мистер Домби, который имел столько же шансов лично знать Гая Фокса, дал отрицательный ответ. Но один из семи робких гостей внезапно отличился, заявив, что *он* его знал, и прибавил: «Всегда носил гессенские сапоги!» *

— Совершенно верно,— проговорил кузен Финикс, наклоняясь вперед, чтобы разглядеть робкого гостя, и посылая ему на другой конец стола ободряющую улыбку.— Это был Джек. А Джо носил...

— Сапоги с отворотами! — воскликнул робкий гость, с каждой секундой повышаясь в общественном мнении.

— Конечно, вы были с ними знакомы? — осведомился кузен Финикс.

— Я знал их обоих,— ответил робкий гость, после чего мистер Домби тотчас же с ним чокнулся.

— Чертовски славный малый, этот Джек! — сказал кузен Финикс, снова наклоняясь вперед и улыбаясь.

— Превосходный,— согласился робкий гость, которому успех придал храбрости.— Один из лучших людей, каких я знал!

— Несомненно вы уже слышали эту историю? — спросил кузен Финикс.

— Не берусь судить,— ответил расхрабрившийся робкий гость,— пока не услышу рассказ вашего лордства.

С этими словами он откинулся на спинку стула и с улыбкой уставился в потолок, как будто знал наизусть эту историю и заранее потешался.

— Собственно говоря, никакой истории тут нет,— сказал кузен Финикс, улыбаясь всем сидящим за столом, и игриво покачивая головой,— и нет нужды в предисловиях. Но это свидетельствует об изысканном остроумии Джека. Дело в том, что Джек был приглашен на свадьбу... которая, если не ошибаюсь, имела место в Беркшире?

— В Шропшире,— сказал расхрабрившийся робкий гость, видя, что обращаются к нему.

— Вот как? Прекрасно! Собственно говоря, этот случай мог иметь место в любом «шире» *,— сказал кузен Финикс.— Итак, мой друг, приглашенный на эту свадьбу в Любомшире,— уместную остроту он отметил приятной улыбкой,— отправляется в путь. Точь-в-точь как кое-кто из нас, имея честь быть приглашенным на свадьбу моей прелестной и безупречной родственницы и моего друга Домби, не ждал вторичного приглашения и был чертовски рад присутствовать на столь интересном празднестве... Итак, он — Джек — отправляется в путь. Но этот брак был, собственно говоря, союзом необычайно красивой девушки с человеком, к которому она не питала никакой любви, но за которого согласилась выйти замуж, потому что он был богат, очень богат. Когда Джек вернулся после свадьбы, один знакомый, встретив его в

кулуарах палаты общин, говорит: «Ну что, Джек, как поживает неудачно подобранная пара?» — «Неудачно подобранная? — отвечает Джек.— Ничуть не бывало! Это совершенно честная и добропорядочная сделка. *Она* по всем правилам куплена, а *он* — за это вы можете поручиться — по всем правилам продан!»

Но пока кузен Финикс от всей души веселился, дойдя до кульминационной точки своего рассказа, дрожь, пробежавшая, подобно электрической искре, вокруг стола, заставила его умолкнуть. Единственная тема, благодаря коей завязался в тот вечер общий разговор, ни у кого не вызвала улыбки. Наступило глубокое молчание. И злополучный робкий гость, который знал об этой истории не больше, чем неродившийся ребенок, с великим унынием прочел во всех взорах, что виновником зла почитают его.

Лицо мистера Домби было не из тех, что изменяются; приняв в тот день величественную осанку, хозяин дома никак не откликнулся на этот рассказ и только произнес торжественно среди воцарившейся тишины: «Очень хорошо». Эдит бросила быстрый взгляд на Флоренс, но, в общем, оставалась бесстрастной и равнодушной.

Проходя через различные стадии, отмеченные изысканными яствами и винами, неизбежным золотом и серебром, лакомыми дарами земли, воздуха, огня и воды, горами фруктов и этим излишним на банкете мистера Домби угощением — мороженым, обед медленно приближался к концу; последние его стадии сопровождались громкой музыкой — беспрестанными двойными ударами в дверь, которые возвещали прибытие гостей, на чью долю приходился только запах пиршества. Когда миссис Домби встала из-за стола, стоило посмотреть, как ее супруг с негнущейся шеей и высоко поднятой головой придерживал открытую дверь перед выходившими леди; и стоило посмотреть, как она быстро прошла мимо под руку с его дочерью.

Мистер Домби имел внушительный вид, торжественно восседая перед графинами; директор Ост-Индской компании имел жалкий вид, сидя в одиночестве у опустевшего конца стола; майор имел вид воинственный, повествуя о герцоге Йоркском шестерым из семи робких людей

(тщеславный робкий гость был окончательно уничтожен); директор банка имел очень скромный вид, когда с помощью десертных ножей чертил для группы поклонников план своей маленькой ананасной теплицы; а кузен Финикс имел вид задумчивый, когда разглаживал свои длинные манжеты и украдкой поправлял парик. Но все это продолжалось недолго, так как вскоре появился кофе, а затем все покинули столовую.

Толпа в парадных комнатах наверху увеличивалась с каждой минутой; но по-прежнему список гостей мистера Домби обнаруживал прирожденную неспособность слиться со списком миссис Домби, и сразу можно было определить, кто в каком списке значится. Единственным исключением из этого правила был, пожалуй, мистер Каркер; улыбаясь всему обществу и присоединившись к кружку, собравшемуся около миссис Домби, он наблюдал за ней, за кружком, за своим начальником, за Клеопатрой, майором, Флоренс и всеми присутствующими и чувствовал себя легко и свободно с обеими категориями гостей, а сам, в сущности, не принадлежал ни к той, ни к другой.

Флоренс он внушал такой страх, что его присутствие в комнате было для нее кошмаром. Ей никак не удавалось избавиться от этого кошмара, потому что взгляд ее время от времени обращался в сторону мистера Каркера помимо ее воли, как будто неприязнь и недоверие были притягательной силой, которой она не могла противостоять. Однако мысли ее были заняты другим: сидя в стороне — не потому, что ею не восхищались или не искали ее общества, но по свойственной ей скромности,— она чувствовала, какую незначительную роль играет ее отец во всем происходящем; она с тоскою видела, что ему как будто не по себе, что его просто не замечали, когда он медлил у двери, встречая тех гостей, которым хотел оказать особое внимание, и знакомил их со своей женой, которая принимала их с холодным высокомерием, но не проявляла ни малейшего интереса или желания понравиться и после церемонии представления уже не разжимала губ, нисколько не заботясь о том, чтобы выполнить его желание и приветствовать его гостей. Тем сильнее было замешательство и



мучение Флоренс, что Эдит, поступавшая таким образом, к ней самой относилась ласково и с нежным вниманием, и Флоренс готова была упрекать себя в неблагодарности только потому, что замечала все происходившее у нее на глазах.

Счастлива была бы Флоренс, если бы осмелилась хоть взглядом выразить участие отцу; и счастлива была Флоренс, не ведая истинной причины его беспокойства. Но боясь показать, что его затруднительное положение ей известно, и тем навлечь на себя его неудовольствие, и разрываясь между привязанностью к нему и чувством горячей признательности к Эдит, она не решалась поднять на них глаза. Страдая за них обоих, она в этой толпе невольно подумала о том, что, пожалуй, для них было бы лучше, если бы никогда не раздавался здесь этот гул голосов и топот ног, если бы прежняя скука и запустение не уступили места новшествам и блеску, если бы заброшенная девочка не обрела друга в Эдит, а продолжала жить в уединении, забытая и никому не внушающая жалости.

У миссис Чик мелькали мысли, сходные с этими, но они не так спокойно созревали в ее голове. С самого начала эта славная матрона была оскорблена тем, что не получила приглашения на обед. Несколько оправившись от такого удара, она не пожалела денег, намереваясь явиться к миссис Домби вечером в ослепительном виде, который поразил бы чувства этой леди, а миссис Скьютон заставил бы согнуться под тяжестью унижения.

— Но мною занимаются ничуть не больше, чем Флоренс,— сказала миссис Чик мистеру Чику.— Кто обращает на меня хоть какое-нибудь внимание? Никто!

— Никто, дорогая моя,— согласился мистер Чик, который сидел у стенки рядом с миссис Чик и даже здесь утешался тем, что тихонько насвистывал.

— Разве похоже на то, что здесь сколько-нибудь нуждаются во мне? — сверкая глазами, воскликнула миссис Чик.

— Нет, дорогая моя, по моему мнению, не похоже,— сказал мистер Чик.

— Поль сошел с ума! — сказала миссис Чик.

Мистер Чик засвистел.

— Если ты не чудовище, каким я иной раз тебя считаю,— чистосердечно заявила миссис Чик,— то ты мог бы, сидя здесь, не мурлыкать своих песенок. В силах ли кто бы то ни было, имеющий хотя бы отдаленное сходство с мужчиной, видеть эту разодетую тещу Поля, кокетничающую с майором Бегстоком, присутствием которого мы обязаны, как и многими другими приятными вещами, твоей Лукреции Токс...

— *Моей* Лукреции Токс, моя дорогая? — переспросил изумленный мистер Чик.

— Да! — весьма сурово отвечала миссис Чик.— Твоей Лукреции Токс! Итак, я спрашиваю, как можно видеть эту тещу Поля, и эту надменную жену Поля, и эти непристойные старые пугала с оголенными спинами и плечами, и вообще весь этот прием — видеть и в то же время насвистывать! — На последнем слове миссис Чик сделала презрительное ударение, заставившее мистера Чика вздрогнуть.— Это остается для меня, благодарение богу, тайной!

Мистер Чик подобрал губы так, что уже невозможно было ни мурлыкать, ни свистеть, и принял глубокомысленный вид.

— Но, надеюсь, мне известно, чего я вправе ждать,— продолжала миссис Чик, задыхаясь от негодования,— хотя Поль забыл о моих правах. Я как член семьи не намерена сидеть здесь, если на меня не обращают внимания. Я — пока еще не пыль под ногами миссис Домби, пока еще нет! — сказала миссис Чик таким тоном, как будто ждала, что это случится примерно послезавтра.— Я уеду! Я не стану говорить (как бы я там ни думала), что все это было затеяно с единственною целью унизить меня и оскорбить. Я просто уеду! Мое отсутствие пройдет незамеченным!

С этими словами миссис Чик величественно встала и взяла под руку мистера Чика, который вышел с ней из комнаты после получасового пребывания на заднем плане. И нужно отдать должное проницательности миссис Чик — ее отсутствие прошло совершенно незамеченным.

Но среди приглашенных негодовала не только она; ибо гости из списка мистера Домби (все еще попадавшие

в затруднительное положение) дружно негодовали против гостей из списка миссис Домби, которые смотрели на них в монокль и вслух недоумевали, что это за люди; тогда как гости из списка миссис Домби жаловались на усталость, а юная особа с открытыми плечами, потеряв кавалера в лице веселого юноши, кузена Финикса (который уехал после обеда), призналась по секрету тридцати — сорока друзьям, что скучает смертельно. Все старые леди с грузом на голове имели основания быть недовольными миссис Домби; а директора и председатели компаний сошлись во мнении, что если уж Домби должен был жениться, то лучше бы он женился на особе, более подходящей ему по возрасту, не такой красивой и более богатой. Эта категория джентльменов высказала уверенность, что Домби поддался слабости и ему еще предстоит раскаяться. Вряд ли хоть один гость, за исключением робких гостей, не считал, что мистер или миссис Домби отнеслись к нему с пренебрежением или обидели его; было обнаружено, например, что бессловесная особа женского пола в черной бархатной шляпе лишилась дара речи только потому, что леди в малиновом бархате повели к столу раньше, чем ее. Даже у робких гостей характер испортился — либо от злоупотребления лимонадом, либо от того, что и на них повлияло общее настроение; и они обменивались друг с другом саркастическими шутками и шепотом выражали свое осуждение на лестницах и в закоулках. Общее неудовольствие и замешательство столь широко распространилось, что лакеи, собравшиеся в холле, чувствовали его не меньше, чем гости наверху. Даже слуги с факелами, ожидавшие перед домом, заразились этой болезнью и сравнивали празднество с похоронами, на которых не слышно плача и никто из присутствующих не упомянут в завещании.

Наконец разошлись все гости, а также и слуги с факелами, и улица, столь долго запруженная экипажами, опустела; и при догорающих свечах никого не видно было в комнатах, кроме мистера Домби и мистера Каркера, беседовавших поодаль, и миссис Домби и ее матери. Первая сидела на диване, вторая возлежала в позе Клеопатры, ожидая прибытия своей горничной. Когда мистер Домби закончил разговор с Каркером, последний

приблизился с подобострастным видом, чтобы попрощаться.

— Надеюсь,— сказал он,— утомление, вызванное этим очаровательным вечером, не отразится завтра на миссис Домби.

— Миссис Домби,— подойдя, сказал мистер Домби,— в достаточной мере избегала утомления, чтобы избавить вас от всякого беспокойства по этому поводу. К сожалению, я должен сказать, миссис Домби, мне бы хотелось, чтобы в такой день, как сегодня, вы менее усердно остерегались утомления.

Она бросила на него высокомерный взгляд и, считая ниже своего достоинства смотреть на него, молча отвернулась.

— Я сожалею, сударыня,— продолжал мистер Домби,— что вы не сочли своим долгом...

Она снова посмотрела на него.

— ...своим долгом, сударыня,— продолжал мистер Домби,— оказать моим друзьям больше внимания. Кое-кто из тех, кем вам угодно было, миссис Домби, столь явно пренебречь сегодня, уверяю вас, делает вам честь своим посещением.

— Вам известно, что мы здесь не одни? — отозвалась она, глядя на него пристально.

— Нет! Каркер! Прошу вас, останьтесь. Я настаиваю, чтобы вы остались! — воскликнул мистер Домби, помешав этому джентльмену бесшумно удалиться.— Как вы знаете, сударыня, мистер Каркер пользуется моим доверием. Предмет, о котором я говорю, известен ему не хуже, чем мне. Разрешите довести до вашего сведения, миссис Домби, что, по моему мнению, эти богатые, влиятельные лица оказывают честь *мне*! — И мистер Домби выпрямился, словно воздал им сейчас величайшие почести.

— Я вас спрашиваю,— повторила она, не спуская с него презрительного взгляда,— известно ли вам, что мы здесь не одни, сэр?

— Я должен просить,— выступив вперед, сказал мистер Каркер,— я должен умолять и настаивать, чтобы меня отпустили. Как бы ни была незначительна и маловажна эта размолвка...

Тут миссис Скьютон, которая не спускала глаз с лица дочери, перебила его.

— Милая моя Эдит,— сказала она,— и дорогой мой Домби, наш превосходный друг мистер Каркер, ибо я, право же, должна назвать его так...

Мистер Каркер прошептал:

— Слишком много чести.

— ...воспользовался теми самыми словами, которые готовы были сорваться у меня с языка, и я бог весть сколько времени умирала от желания произнести их при первом удобном случае. Незначительная и маловажная! Милая моя Эдит и дорогой мой Домби, неужели мы не знаем, что любая размолвка между вами... Нет, Флауэрс, не сейчас.

Флауэрс, горничная, при виде джентльменов поспешила удалиться.

— ...Что любая размолвка между вами,— продолжала миссис Скьютон,— которые живут душа в душу и связаны чудеснейшими узами чувства, *должна быть* незначительной и маловажной? Какие слова могут выразить это лучше? Никакие! Поэтому я с радостью пользуюсь этим ничтожным случаем, этим пустяшным случаем, в котором так полно обнаружилась Природа, и ваши индивидуальные качества, и все такое, что вызывает слезы у матери,— пользуюсь для того, чтобы сказать, что я не придаю происшедшему ни малейшего значения и вижу в этом только развитие низменных элементов Души! И в отличие от большинства тещ (какое отвратительное слово, дорогой Домби!), которые, как я слыхала, существуют в этом, боюсь, слишком искусственном мире, я в подобных случаях не подумаю вмешиваться в ваши дела и в конце концов не могу особенно огорчаться из-за таких маленьких вспышек факела этого... как его там зовут... не купидон, а другое очаровательное создание.

Говоря это, добрая мать смотрела на обоих своих детей зорким взглядом, который, быть может, выражал твердое и хорошо обдуманное намерение, таившееся за бессвязными словами. Намерение это заключалось в том, чтобы предусмотрительно отойти в сторонку, не слышать в будущем бряцания их цепи и укрыться за притворной

и наивной верой в их взаимную любовь и преданность друг другу.

— Я указал миссис Домби,— величественно промолвил мистер Домби,— что именно в ее поведении в самом начале нашей супружеской жизни вызывает мое неудовольствие и что, настаиваю я, должно быть исправлено. Каркер,— он кивнул головой, отпуская его,— спокойной ночи!

Мистер Каркер поклонился надменной молодой жене, чьи сверкающие глаза были устремлены на мужа, и, направляясь к двери, задержался у ложа Клеопатры, чтобы со смиренным и восторженным почтением поцеловать руку, которую она милостиво ему протянула.

Если бы его красивая жена разразилась упреками, изменилась в лице или хотя бы одним словом нарушила свое упорное молчание теперь, когда они остались вдвоем (ибо Клеопатра удалилась со всею поспешностью), мистер Домби мог бы выступить в защиту своих прав. Но перед этим напряженным, уничтожающим презрением, с каким она, посмотрев на него, опустила глаза, словно считала его недостойным и слишком ничтожным, чтобы ему возражать,— перед безграничным пренебрежением и высокомерием, с каким она сидела в тот миг, перед холодной, неумолимой решимостью, с какою она как будто давила его и отшвыривала,— он был беспомощен. И он оставил ее во всем величии ее красоты, дышавшей презрением к нему.

Был ли он настолько малодушен, что умышленно подкараулил ее час спустя на старой лестнице, там, где видел когда-то Флоренс в лунном свете, с трудом поднимавшуюся по ступеням, с маленьким Полем на руках? Или он случайно очутился здесь в темноте и, подняв глаза, увидел, как она выходит со свечой из той комнаты, где спала Флоренс, и снова заметил, как изменилось это лицо, которое *он* не мог смягчить?

Но оно не могло измениться так, как изменилось его лицо. В великой своей гордыне и гневе он не знал о той тени, которая упала на его лицо, в темном углу, в вечер их возвращения, и с тех пор появлялась часто, и омрачала его сейчас, когда он смотрел наверх.

ГЛАВА XXXVII

Несколько предостережений

На следующий день Флоренс, Эдит и миссис Скьютон сидели вместе, а у подъезда ждала карета, чтобы везти их на прогулку. Ибо теперь у Клеопатры снова была своя галера, а за обедом Уитерс, уже не изнуренный, в куртке с подбитою ватой грудью и в штанах военного покроя, стоял за ее креслом, которое было уже не на колесах, и больше не бодался. В эти дни волосы Уитерса лоснились от помады, он носил лайковые перчатки, и от него пахло одеколоном.

Они собрались в комнате Клеопатры. Змея древнего Нила * (да не будет это принято за оскорбление) покоилась на софе, маленькими глотками попивая свой утренний шоколад в три часа дня, а Флауэрс, горничная, пристегивала ей девственные рукавчики и оборочки и совершала над ней церемонию домашнего коронования, водружая на голову бархатную шляпку персикового цвета; искусственные розы на ней покачивались необычайно эффектно, когда параличное дрожание заигрывало с ними подобно легкому ветерку.

— Кажется, я немножко нервна сегодня утром, Флауэрс,— сказала миссис Скьютон.— У меня руки дрожат.

— Вчера вы были душою общества, сударыня,— отозвалась Флауэрс,— а сегодня вам приходится за это расплачиваться.

Эдит, которая поманила Флоренс к окну и смотрела на улицу, стоя спиной к своей почтенной матери, занимавшейся туалетом, вдруг отшатнулась от окна, словно сверкнула молния.

— Дорогое мое дитя,— томно воскликнула Клеопатра,— неужели и ты нервна?! Не говори мне, милая Эдит, что ты, всегда такая сдержанная, тоже становишься мученицей, как твоя мать с ее несчастной натурой! Уитерс, кто-то стучит.

— Визитная карточка, сударыня,— сказал Уитерс, подавая ее миссис Домби.

— Я уезжаю,— сказала та, не взглянув на карточку.

— Дорогая моя,— промолвила миссис Скьютон, растягивая слова,— как странно давать такой ответ, даже не узнав, кто пришел. Подайте сюда, Уитерс. Ах, боже мой, милочка, да ведь это мистер Каркер! Такой рассудительный человек!

— Я уезжаю,— повторила Эдит таким повелительным тоном, что Уитерс, подойдя к двери, строго сказал ожидавшему слуге: «Миссис Домби уезжает. Ступайте»,— и захлопнул перед ним дверь.

Но через несколько минут слуга вернулся и шепнул что-то Уитерсу, который снова, и не очень охотно, предстал перед миссис Домби.

— Простите, сударыня, мистер Каркер свидетельствует свое почтение и просит, если можно, уделить ему одну минуту для делового разговора, сударыня.

— Право же, дорогая моя,— сказала миссис Скьютон самым нежным голосом, ибо выражение лица дочери не предвещало добра,— если ты разрешишь мне высказать мое мнение, я бы посоветовала...

— Просите его сюда,— сказала Эдит.

Когда Уитерс пошел исполнять приказание, она добавила, бросив хмурый взгляд на мать:

— Раз он приходит по вашему совету, пусть войдет в вашу комнату.

— Могу я... не уйти ли мне? — быстро спросила Флоренс.

Эдит утвердительно кивнула головой, но, направляясь к двери, Флоренс встретила входящего гостя. С тою же неприятной фамильярностью и снисходительностью, с какою он говорил всегда, обратился он к ней и теперь, заговорив самым вкрадчивым тоном; он выразил надежду, что она здорова... об этом незачем было спрашивать, достаточно взглянуть на ее лицо, чтобы получить ответ... он едва имел честь узнать ее вчера вечером, так она изменилась... Он придерживал дверь, когда она уходила, и втайне сознавая свою власть над нею, с испугом отшатнувшейся от него, не смог до конца скрыть это чувство, несмотря на всю свою почтительность и учтивость.

Затем он склонился на секунду над любезно протянутой рукой миссис Скьютон и, наконец, поклонился Эдит. Холодно, не глядя на него, она ответила на его привет-

ствие и, не садясь сама и не приглашая его сесть, ждала, чтобы он заговорил.

Хотя она и опиралась на свою гордость и власть и призвала на помощь свой непреклонный дух, однако ее прежняя уверенность в том, что с первого же дня знакомства этот человек знал ее и ее мать с худшей стороны, что каждое перенесенное ею унижение было таким же явным для него, как и для нее, что он читал ее жизнь, словно какую-то гнусную книгу, и перелистывал перед нею страницы, бросая быстрые взгляды и меняя интонации, чего никто другой заметить не мог,— все это ослабляло ее и подрывало ее силы. Когда она гордо стояла перед ним и ее властное лицо требовало от него смирения, ее презрительно сжатые губы отвергали его, грудь тяжело вздымалась от возмущения его присутствием, а темные ресницы угрюмо опускались, скрывая блеск глаз, чтобы ни один луч не упал на него, когда он глядел на нее покорно, с умоляющим, обиженным видом, но всецело подчиняясь ее воле,— она в глубине души сознавала, что в действительности победа и торжество на его стороне и он прекрасно это знает.

— Я позволил себе добиваться чести увидеть вас,— начал мистер Каркер,— и я осмелился указать, что пришел по делу, потому что...

— Быть может, мистер Домби поручил вам передать мне какое-нибудь порицание? — спросила Эдит.— Мистер Домби оказывает вам такое необычайное доверие, сэр, что вряд ли вы меня удивите сообщением, что именно в этом и заключается ваше дело.

— У меня нет никакого поручения к леди, которая украшает своим блеском его имя,— сказал мистер Каркер.— Но я в своих собственных интересах умоляю эту леди быть справедливой к смиренному слуге, взывающему к ней о справедливости... к простому подчиненному мистера Домби... к человеку, который занимает скромное положение... и подумать о том, что вчера вечером я был совершенно беспомощен и не мог уклониться, когда меня заставили быть свидетелем весьма мучительных объяснений.

— Дорогая моя Эдит,— тихим голосом промолвила Клеопатра, опуская лорнет,— право же, это очаровател-

но со стороны мистера... как его там зовут. И в этом столько сердца!

— Ибо я осмеливаюсь,— продолжал мистер Каркер, с почтительной признательностью обращаясь к миссис Скьютон,— я осмеливаюсь назвать это мучительными объяснениями, хотя таковыми они были только для меня, который имел несчастье при этом присутствовать. Столь незначительная размолвка между патронами — между теми, кто питает друг к другу бескорыстную любовь и готов принести себя в жертву,— это ничто. Как выразилась вчера вечером весьма правильно и с таким чувством сама миссис Скьютон, это — ничто.

Эдит не могла смотреть на него, но через несколько секунд она спросила:

— А ваше дело, сэр...

— Эдит, милая моя,— сказала миссис Скьютон,— мистер Каркер все время стоит. Дорогой мистер Каркер, прошу вас, присядьте.

Он ничего не ответил матери, но не спускал глаз с надменной дочери, словно от нее одной ждал приглашения и решил его добиться. Эдит вопреки своему желанию села и легким движением руки предложила ему сесть. Ничего более холодного, более высокомерного и дерзкого не могло быть, чем этот жест, выражающий неуважение и сознание собственного превосходства, но Эдит боролась даже против такой уступки, и она была вырвана у нее. Этого было достаточно! Мистер Каркер сел.

— Разрешите ли вы мне, сударыня,— начал Каркер, ослепляя миссис Скьютон белизною своих зубов,— разрешите ли вы, обладая таким глубоким пониманием и такою чувствительностью, сообщить кое-что миссис Домби и предоставить ей право передать это вам, ее лучшему и искреннейшему другу... ближайшему после мистера Домби?

Миссис Скьютон хотела удалиться, но Эдит остановила ее. Эдит остановила бы и его и с негодованием приказала бы ему говорить открыто или замолчать, если бы он не сказал, понизив голос:

— Мисс Флоренс... молодая леди, которая только что вышла из комнаты...

Эдит позволила ему продолжать. Теперь она смотрела на него. Когда он наклонялся с величайшей деликат-

ностью и уважением, приближаясь к ней и со смиренной улыбкой показывая свои зубы, выстроившиеся в боевом порядке, ей хотелось убить его на месте.

— Положение мисс Флоренс,— снова начал он,— было печальным. Я затрудняюсь говорить об этом с вами, так как ваша привязанность к ее отцу, естественно, заставляет вас чутко и ревниво прислушиваться к каждому слову, которое имеет к нему отношение.— Его речь всегда была вкрадчивой, но невозможно описать ту вкрадчивость, с какою он произнес эти слова и произносил другие, сходные с ними по смыслу.— Но могу ли я, как человек, который также, хотя и по-иному, предан мистеру Домби и неизменно восхищался и восхищается характером мистера Домби, могу ли я сказать, не оскорбляя ваших чувств супруги, что на мисс Флоренс, к несчастью, не обращал внимания... ее отец? Могу ли я сказать — ее отец?

Эдит ответила:

— Мне это известно.

— Вам это известно! — повторил мистер Каркер, по-видимому, с глубочайшим облегчением.— Это снимает у меня тяжесть с сердца. Могу ли я надеяться, что вам известен источник этого невнимания, каковое объясняется гордостью мистера Домби, вернее — его характером?

— Вы можете не останавливаться на этом, сэр,— заметила она,— и поскорее перейти к тому, что вы хотели сказать.

— Конечно, сударыня, я понимаю,— ответил мистер Каркер,— верьте мне, я прекрасно понимаю, что в ваших глазах мистер Домби не нуждается ни в каком оправдании. Но прошу вас судить о моем сердце по вашему сердцу, и вы мне простите мой интерес к мистеру Домби, даже если этот чрезмерный интерес иногда заводит меня слишком далеко.

Какою мукой для ее гордого сердца было сидеть здесь с ним, лицом к лицу, и слушать, как он снова и снова напоминает ей о лживой клятве перед алтарем и навязывает ее, словно чашу с недопитым тошнотворным напитком, а она не могла признаться, что этот напиток внушает ей отвращение, и не могла оттолкнуть его! Как терзали ее стыд, раскаяние и гнев, когда, находясь перед

ним во всеоружии своей красоты, она знала, что, в сущности, лежит у его ног!

— Мисс Флоренс,— продолжал Каркер,— оставленная на попечение — если можно это назвать попечением — слуг и наемных людей, во всех отношениях стоящих ниже ее, естественно, нуждалась с детских лет в руководстве и указаниях и, не имея этого, поступала неосмотрительно и до известной степени забыла о своем положении. Было у нее увлечение некиим Уолтером, простым малым, который, к счастью, теперь умер. И с сожалением должен сказать, что она поддерживала весьма нежелательные сношения с какими-то моряками каботажного плавания, отнюдь не пользующимися хорошей репутацией, и со старым бежавшим банкротом.

— Я слыхала обо всем этом, сэр,— сказала Эдит, бросив на него презрительный взгляд,— и мне известно, что вы искажаете факты. Вы можете этого не знать. Надеюсь, что так оно и есть.

— Простите,— сказал мистер Каркер,— думаю, что никто не знает их лучше, чем я. Вашу великодушную и пылкую натуру, сударыня,— ту натуру, которая так благородно и настойчиво оправдывает вашего любимого и уважаемого мужа и которая его осчастливила, как он того заслуживает,— я должен почитать, должен уважать ее и склоняться перед нею. Но что касается фактов,— а ради них-то я и осмелился добиваться вашего внимания,— то у меня не может быть никаких сомнений, ибо, исполняя свой долг в качестве поверенного мистера Домби — смею сказать, в качестве его друга,— я установил их неоспоримо. Во исполнение этого долга, глубоко озабоченный, как вы можете это понять, всем, что имеет отношение к мистеру Домби, побуждаемый, если хотите (ибо боюсь, что я у вас в немилости) более низкими мотивами — желанием доказать свое усердие и снискать большее расположение, я долго расследовал эти факты и сам и с помощью лиц, заслуживающих доверия, и имею многочисленные и неопровержимые доказательства.

Она бросила взгляд только на его рот, но в каждом зубе увидела орудие зла.

— Простите, сударыня,— продолжал он,— если в своем замешательстве я осмеливаюсь просить у вас со-

вета и хочу сообразовать свои действия с вашими желаниями. Если не ошибаюсь, я заметил, что вы очень интересуетесь мисс Флоренс.

Было ли в ней хоть что-нибудь, чего бы он не заметил и не знал? Униженная и в то же время возмущенная этой мыслью, она закусила дрожащую губу, чтобы сохранить спокойствие, и в ответ холодно кивнула головой.

— Этот интерес, сударыня, столь трогательно доказывающий, что вам дорого все касающееся мистера Домби, заставляет меня колебаться и мешает ознакомить его с этими фактами, которых он еще не знает. Если разрешите мне сделать признание, моя верность ему настолько поколебалась, что вам достаточно хотя бы только намекнуть о своем желании, чтобы я умолчал о них.

Эдит быстро подняла голову и, отпрянув, устремила на него мрачный взгляд. Он ответил самой вкрадчивой и почтительной улыбкой и продолжал:

— Вы говорите, что я представляю их в искаженном виде. Боюсь, что нет! Боюсь, что нет! Но допустим, что это так. Беспокойство, какое я последнее время испытываю, вызвано следующим: то обстоятельство, что мисс Флоренс, при всей своей невинности и доверчивости, бывала в подобном обществе, будет иметь решающее значение для мистера Домби, уже восстановленного против нее, и побудит его предпринять шаги (я знаю, что он уже подумывал об этом) к тому, чтобы расстаться с нею и удалить ее из своего дома. Сударыня, будьте ко мне снисходительны и вспомните, что я чуть ли не с детства имею дело с мистером Домби, знаю его и почитаю,— будьте ко мне снисходительны, когда я говорю, что если есть у него какой-нибудь недостаток, то этот недостаток — высокомерное упорство, коренящееся в той благородной гордости и сознании собственной власти, какие ему свойственны и перед коими мы все должны преклоняться. Упорство неодолимое, в отличие от упрямства других людей, и возрастающее со дня на день и из года в год!

Она все еще не спускала с него глаз; но как бы ни был решителен ее взгляд, ноздри ее раздувались, дыхание стало глубже, и губы слегка искривились, когда он

описывал те качества своего патрона, перед которыми они все должны склониться. Он это заметил; и хотя выражение его лица не изменилось, она знала, что он это заметил.

— Такая незначительная размолвка, какая произошла вчера вечером,— сказал он,— если мне позволено будет вернуться к ней, пояснит смысл моих слов лучше, чем размолвка более серьезная. Домби и Сын не признают ни времени, ни места, ни поры года; они подчиняют их себе. И я даже радуюсь вчерашнему инциденту, ибо он дает мне возможность сегодня коснуться в разговоре с миссис Домби этой темы, хотя бы я временно и навлек на себя ее неудовольствие. Сударыня, в самый разгар моего беспокойства и опасений по этому поводу я был вызван мистером Домби в Лемингтон. Там я увидел вас. Там я не мог не понять, какое положение вы займете в ближайшем будущем — положение, сулящее счастье на долгие времена как ему, так и вам. Там я принял решение ждать, пока вы не водворитесь у себя, в своем доме, а затем действовать так, как действую я сейчас. В глубине души я не страшусь изменить своему долгу по отношению к мистеру Домби, если доверю вашему сердцу то, что мне известно, ибо если у двоих одно сердце и одна душа, как в этом союзе, то один из двух может заменить собою другого. Итак, доверюсь ли я вам или ему, совесть моя будет одинаково спокойна. По причинам, мною упомянутым, я хотел бы выбрать вас. Могу ли я уповать на такую честь и считать, что доверительное мое сообщение принято и что я освобожден от всякой ответственности?

Он долго помнил тот взгляд, какой она бросила на него — кто мог бы видеть его и не запомнить? — и душевную ее борьбу. Наконец она сказала:

— Я принимаю его, сэр. Считайте вопрос исчерпанным, и пусть с этим будет покончено.

Он низко поклонился и встал. Она также встала, и он с величайшим смирением распрощался с ней. Но Уитерс, встретив его на лестнице, остановился, пораженный великолепными его зубами и ослепительной его улыбкой, а когда он ехал на своей белоногой лошади, прохожие принимали его за дантиста — так сверкали его

зубы. И прохожие принимали *ее,* когда она вскоре отправилась на прогулку в своем экипаже, за знатную леди, не менее счастливую, чем богатую и изящную. Но они ее не видели, когда несколько минут назад она была одна в своей комнате, и не слышали, как она произнесла три слова: «О, Флоренс, Флоренс!»

Миссис Скьютон, покоясь на софе и маленькими глоточками попивая шоколад, не слыхала ничего, кроме произнесенного шепотом слова «дело», к которому она питала смертельное отвращение, так что давно уже изгнала его из своего словаря, и в результате самым очаровательным образом и от всего сердца (не будем говорить — от души) почти разорила многих модисток и других лиц. Посему миссис Скьютон не задавала никаких вопросов и не проявляла ни малейшего любопытства. По правде сказать, бархатная персикового цвета шляпка в достаточной мере занимала ее внимание вне дома; ибо день был ветреный, а шляпка, водруженная на затылке, делала бешеные усилия, чтобы ускользнуть от миссис Скьютон, и, несмотря на улещения, не шла ни на какие уступки. Когда дверцы кареты захлопнулись и доступ ветру был прегражден, параличное дрожание снова начало заигрывать с искусственными розами, будто резвились в богадельне престарелые зефиры; и, вообще, у миссис Скьютон достаточно было забот, и справлялась она с ними неважно.

К вечеру ей не стало лучше, ибо когда миссис Домби оделась и полчаса прождала ее в своей уборной, а мистер Домби, прогуливаясь по гостиной, пришел в состояние высокомерного раздражения (они втроем должны были ехать на званый обед), Флауэрс, горничная, предстала с бледным лицом перед миссис Домби и сказала.

— Извините, сударыня, прошу прощенья, но я ничего не могу поделать с миссис!

— Что это значит? — спросила Эдит.

— Сударыня,— ответила испуганная горничная,— я ничего не понимаю. У нее лицо как будто искривилось.

Эдит вместе с ней бросилась в комнату матери. Клеопатра была в полном параде — бриллианты, короткие рукава, румяна, локоны, зубы и прочие девственные пре-

лести были налицо; но паралич нельзя ввести в заблуждение, он признал в ней ту, за кем был послан, и поразил ее перед зеркалом, где она и лежала, как отвратительная кукла, свалившаяся на пол.

Не смущаясь, ее разобрали на части и то немногое, что было в ней подлинным, уложили в постель. Послали за докторами, и те вскоре явились. Прибегли к сильно действующим средствам; вынесли приговор, что от этого удара она оправится, но второго не переживет; и в течение многих дней она лежала немая, глядя на потолок; иногда издавала нечленораздельные звуки в ответ на вопросы, узнает ли она тех, кто здесь находится, и тому подобные; иногда не давала ответа ни знаком, ни жестом, ни выражением немигающих глаз.

Наконец она начала обретать сознание и в какой-то степени способность двигаться, но дар речи еще не возвращался. Однажды она почувствовала, что снова владеет правой рукой, и, указав на это горничной, за ней ухаживающей, и обнаруживая величайшее волнение, она делала знаки, чтобы ей дали карандаш и бумагу. Горничная подала их немедленно, полагая, что она хочет написать завещание или выразить последнее свое желание; миссис Домби не было дома, и горничная с благоговением ждала, что будет дальше.

После мучительных усилий, выразившихся в писании, стирании, начертании ненужных букв, казалось, срывавшихся самопроизвольно с карандаша, старуха протянула такой документ:

«Розовые занавески».

Так как горничная была совершенно ошеломлена — и не без оснований,— Клеопатра приписала еще два слова, и теперь на бумаге значилось:

«Розовые занавески для докторов».

Горничная начала смутно догадываться, что занавески ей нужны для того, чтобы в присутствии врачей цвет лица у нее был лучше; а так как те из домочадцев, кто хорошо ее знал, не сомневались в правильности этого заключения, которое она вскоре и сама могла подтвердить, у ее кровати были повешены розовые занавески, и с этого часа она начала поправляться с удивительной быстротой. Вскоре она могла уже сидеть в локонах, кру-

жевном чепце и капоте и украшать глубокие впадины на щеках легким искусственным румянцем.

Ужасное зрелище представляла эта разряженная старуха, жеманившаяся и кокетничавшая со Смертью и пускавшая в ход свои девичьи уловки, словно Смерть была майором; но изменение ее душевного склада, последовавшее за ударом, также давало обильную пищу для размышлений и было не менее страшно.

Быть может, ослабление умственных способностей сделало ее еще более лукавой и фальшивой, чем прежде, или у нее спутались представления о том, чем она хотела быть и чем была в действительности, а быть может, она почувствовала смутное раскаяние, которое не могло ни вырваться на поверхность, ни отступить во мрак, или же в затуманенном ее мозгу все это всколыхнулось одновременно — последнее предположение, пожалуй, является наиболее вероятным,— но результаты были таковы: она сделалась необычайно взыскательной во всем, что касалось любви, благодарности и внимания к ней со стороны Эдит; восхваляла себя, как безупречную мать, и ревновала ко всем, кто посягал на привязанность Эдит. Мало того: забыв о решении не говорить о замужестве дочери, она постоянно упоминала о нем, считая это доказательством того, что она — несравненная мать. И все вместе взятое, наряду с болезненной слабостью и раздражительностью, являлось весьма язвительной иллюстрацией к ее легкомыслию и юному возрасту.

— Где миссис Домби? — спрашивала она свою горничную.

— Ее нет дома, сударыня.

— Нет дома! Она уходит из дому, чтобы ускользнуть от своей мамы, Флауэрс?

— Господь с вами, сударыня! Миссис Домби поехала на прогулку с мисс Флоренс.

— Мисс Флоренс! Кто такая мисс Флоренс? Не говорите мне ничего о мисс Флоренс. Что для нее мисс Флоренс по сравнению со мной?

Вовремя извлеченные бриллианты, бархатная персикового цвета шляпка (ибо она стала надевать шляпку в ожидании гостей задолго до того, как снова начала выезжать из дому) или какие-нибудь нарядные тряпки обыч-

но останавливали поток слез, уже готовых хлынуть, и она пребывала в благодушном расположении духа вплоть до прихода Эдит; а тогда, бросив взгляд на гордое лицо, она снова впадала в уныние.

— Ну, знаешь ли, Эдит! — восклицала она, тряся головой.

— Что случилось, мама?

— Что случилось! Право, я не знаю, что случилось. Мир становится таким искусственным и неблагодарным, что мне начинает казаться, будто совсем нет на свете сердца или чего-нибудь в этом роде. Скорее Уитерс — родное мое дитя, чем ты! Он ухаживает за мной гораздо больше, чем дочь. Право же, мне хочется, чтобы я не была такой моложавой. Может быть, мне оказывали бы тогда больше уважения.

— Чего бы вы хотели, мама?

— О, очень многого, Эдит! — Она отвечала крайне нетерпеливо.

— Разве у вас нет того, чего бы вам хотелось? Вы сами виноваты, если это так.

— Сама виновата! — Она начинала хныкать.— Какой матерью я была для тебя, Эдит! Я не расставалась с тобой с самой твоей колыбели! А ты не только пренебрегаешь мною и питаешь ко мне не больше привязанности, чем к чужому человеку,— ты не уделяешь мне и двадцатой доли той любви, какую питаешь к Флоренс! Изволите видеть, я твоя мать, и могу *ее* испортить! И ты еще говоришь мне, что я сама виновата!

— Мама! Я вас ни в чем не упрекаю. Почему вы всегда возвращаетесь к этому?

— Разве не натурально, что я к этому возвращаюсь, если я — воплощенная любовь и чувствительность, а каждый твой взгляд наносит мне жестокую рану?

— Я не хочу наносить вам раны, мама. Разве вы забыли наш уговор? Оставим прошлое в покое.

— В покое! И благодарность ко мне оставим в покое, и любовь ко мне оставим в покое, и *меня* оставим в покое, пока я лежу здесь одна, лишенная общества и забот, тогда как ты находишь новых родственников, за которыми ухаживаешь, хотя они решительно никаких прав

на тебя не имеют! Ах, боже мой, Эдит, известно ли тебе, в каком блестящем доме ты — хозяйка?

— Да. Тише!

— А этот благородный человек, Домби... знаешь ли ты, что он — твой муж, Эдит, и что у тебя есть состояние, положение, карета и мало ли что еще?

— Конечно, я это знаю, мама. Прекрасно знаю.

— А ты бы имела все это с той доброй душою... как его звали?.. с Грейнджером, если бы он не умер? Кого ты должна благодарить за все, Эдит?

— Вас, мама, вас.

— В таком случае обними меня и поцелуй. И докажи мне, Эдит, что тебе хорошо известно: не было на свете лучшей матери, чем я. И позаботься о том, чтобы я, терзаясь и мучаясь из-за твоей неблагодарности, не превратилась в настоящее чудовище, иначе меня никто не узнает, когда я снова появлюсь в обществе,— не узнает даже это ненавистное животное майор!

Но иной раз, когда Эдит подходила к ней и, склонив свою надменную голову, прижималась холодной щекой к ее щеке, мать откидывалась назад, как будто боялась ее, и начинала дрожать, и восклицала, что у нее мысли путаются. А иногда она смиренно просила ее посидеть на стуле у кровати и смотрела на нее (когда та сидела в глубокой задумчивости), и даже розовые занавески не могли прикрасить бессмысленного и страшного лица.

Розовые занавески краснели, наблюдая выздоровление Клеопатры и ее наряд, еще более девический, чем прежде,— надо было скрыть разрушительное действие болезни,— ее румяна, зубы, локоны, бриллианты, короткие рукава и весь туалет куклы, свалившейся на пол перед зеркалом. Они краснели, наблюдая время от времени невразумительность ее речей, которую она маскировала девичьим хихиканьем, и случайные провалы в памяти, капризные и смехотворные, как бы издевавшиеся над ее капризной и смехотворной особой.

Но они ни разу не наблюдали перемены в ее новой манере размышлять о дочери и говорить с нею. И хотя на эту дочь часто падала тень занавесок, они ни разу не наблюдали, чтобы прекрасное ее лицо осветилось улыбкой и дочерняя любовь смягчила эту суровую красоту.

ГЛАВА XXXVIII

Мисс Токс возобновляет старое знакомство

Удрученная мисс Токс, покинутая своим другом Луизой Чик и лишенная счастья лицезреть мистера Домби — ибо две изящные свадебные карточки, соединенные серебряной нитью, не украшали ни зеркала над камином на площади Принцессы, ни клавикордов, ни тех полочек с безделушками, которыми Лукреция занималась по праздникам,— впала в уныние и очень страдала от меланхолии. В течение некоторого времени на площади Принцессы не слышно было «Птичьего вальса», цветы оставались без ухода и пыль собиралась на миниатюрном портрете предка мисс Токс с напудренной головой и косичкой.

Однако мисс Токс и по возрасту ее и по характеру несвойственно было долго предаваться тщетным сожалениям. Только две клавиши на клавикордах онемели от долгого молчания, когда в темной гостиной снова раздался щебет и трели «Птичьего вальса»; только одна веточка герани пала жертвой плохого ухода, прежде чем мисс Токс снова начала аккуратно каждое утро заниматься своими цветами в зеленых корзинках; предок с напудренной головой оставался затуманенным пылью не больше шести недель, после чего мисс Токс подышала на его добродушное лицо и протерла его куском замши.

Тем не менее мисс Токс чувствовала себя одинокой и растерянной. Ее преданность, как бы смешно она ни проявлялась, была искренней и глубокой; и мисс Токс, по ее собственному выражению, была «крайне уязвлена незаслуженным оскорблением, нанесенным ей Луизой». Но натуре мисс Токс чувство гнева было чуждо. Если она семенила по жизни, говоря сладкие речи и не имея собственного мнения, то до сей поры она по крайней мере не изведала жестоких страстей. Однажды на улице при одном виде Луизы Чик, показавшейся на значительном расстоянии, хрупкий ее организм испытал такое потрясение, что ей пришлось немедленно искать пристанища в кофейне, и там, в затхлой маленькой задней комнате, где

обычно пахло супом из бычачьего хвоста, она облегчила свою душу горькими слезами.

На мистера Домби, как полагала мисс Токс, у нее вряд ли были какие-нибудь основания жаловаться. Ее представление о великолепии этого джентльмена было таково, что теперь, когда ее удалили от него, она чувствовала, будто расстояние между ними всегда было бесконечно велико и будто он оказывал ей огромное снисхождение, терпя ее присутствие. По искреннему убеждению мисс Токс, никакая жена не могла быть слишком красивой или слишком величественной для него. Казалось естественным, что, намереваясь жениться, он искал себе жену в высших кругах. Мисс Токс со слезами пришла к такому заключению и по двадцать раз в день признавала его справедливость. Она никогда не вспоминала о том высокомерии, с каким мистер Домби заставил ее служить его интересам и капризам и милостиво разрешил ей быть одной из нянек при его маленьком сыне. Она думала только о том, что, выражаясь ее же словами, «она провела в этом доме много счастливых часов, о которых должна вечно вспоминать с благодарностью, и что мистера Домби она всегда будет считать одним из удивительнейших и достойнейших людей».

Но, отвергнутая неумолимой Луизой и избегая майора (которому она теперь не очень доверяла), мисс Токс начала тосковать, не зная ровно ничего о том, что происходит в доме мистера Домби. А так как она всерьез привыкла считать Домби и Сына тою осью, вокруг которой вращается весь мир, то и решила для получения сведений, столь сильно ее интересовавших, возобновить старое знакомство с миссис Ричардс, зная, что та со времени своего последнего памятного появления пред лицом мистера Домби поддерживает сношения с его слугами. Быть может, отыскивая семейство Тудлей, мисс Токс руководствовалась тайным желанием найти кого-нибудь, с кем можно было бы поговорить о мистере Домби, хотя бы этот «кто-то» и занимал самое скромное положение.

Как бы там ни было, однажды вечером мисс Токс направила свои стопы к жилищу Тудлей в тот час, когда мистер Тудль, черный и покрытый золой, подкреплялся чаем в лоне семьи. Мистер Тудль знал только три стадии

существования. Он или подкреплялся в вышеупомянутом лоне, или мчался по стране со скоростью от двадцати пяти до пятидесяти миль в час, или спал после трудов своих. Вокруг него всегда был либо вихрь, либо штиль, но и в том и в другом случае мистер Тудль оставался миролюбивым, нетребовательным, покладистым человеком. Казалось, он передал всю унаследованную им способность раздражаться и кипятиться паровозам, с которыми имел дело, и они пыхтели, хрипели, горячились и изнашивались с удивительной быстротой, в то время как мистер Тудль жил тихой и размеренной жизнью.

— Полли, моя женушка,— начал мистер Тудль, держа на каждом колене по юному Тудлю, тогда как другие двое готовили ему чай и еще целая куча возилась вокруг (у мистера Тудля никогда не было недостатка в детях, и он всегда имел под рукой большой запас),— ты давно не видела нашего Байлера?

— Давно,— ответила Полли,— но сегодня его свободный вечер, а он никогда не пропускает этого дня. Наверное, он скоро придет.

— Мне кажется,— сказал мистер Тудль, наслаждаясь своим чаем,— теперь наш Байлер ведет себя хорошо, насколько это возможно для мальчика. Не так ли, Полли?

— О, он ведет себя прекрасно! — откликнулась Полли.

— Он ничего не утаивает, не так ли, Полли? — осведомился мистер Тудль.

— Ничего! — решительно сказала Полли.

— Я рад, что он ничего не утаивает, Полли,— заметил мистер Тудль раздумчиво и неторопливо, складным ножом запихивая в рот хлеб с маслом, словно уголь в топку,— потому что не годится это делать. Верно, Полли?

— Конечно, не годится. Есть о чем спрашивать!

— Слушайте, мои мальчики и девочки,— сказал мистер Тудль, созерцая свое семейство,— если вы занимаетесь каким-нибудь честным делом,— лучше всего, по моему мнению, заниматься им открыто. Если случится вам попасть в ущелье или туннель, не вздумайте прятаться и хитрить. Давайте свистки, и пусть все знают, где вы находитесь.

Подрастающие Тудли испустили пронзительный крик, выражая намерение воспользоваться отцовским советом.

— Но почему тебе пришло в голову говорить это о Робе? — с беспокойством спросила жена.

— Полли, старушка,— ответил мистер Тудль,— право же, я не знаю, говорил ли я это о Робе. Я отправляюсь в путь с одним Робом; добираюсь до разъезда; забираю то, что там нахожу, и целый поезд мыслей прицепляется к нему, прежде чем я успею сообразить, где я или откуда они взялись. Честное слово, мысли человека — настоящий железнодорожный узел! — сказал мистер Тудль.

Это глубокомысленное соображение мистер Тудль запил кружкой чаю, вмещающей целую пинту, и начал подкрепляться огромными ломтями хлеба с маслом, наказывая в то же время своим юным дочерям вскипятить побольше воды в котелке, ибо у него совсем пересохло в горле и придется ему выпить «великое множество кружек», прежде чем он утолит жажду.

Услаждая себя, мистер Тудль не забывал и о юных отпрысках, его окружавших, которые уже поужинали, но все-таки ждали лишних кусочков, точно лакомства. Эти кусочки он то и дело раздавал собравшимся в кружок юным Тудлям, протягивая огромный ломоть хлеба с маслом, от которого должны были откусывать по очереди все члены семейства, и таким же образом угощая их маленькими порциями чая с ложки. Эта легкая закуска показалась юным Тудлям такой вкусной, что они восторженно пустились в пляс, вертелись на одной ножке и выражали свою радость всевозможными прыжками. Дав исход своему возбуждению, они снова окружили кольцом мистера Тудля и пристально следили, как он продолжает истреблять хлеб с маслом и чай, но притворялись, будто ничего уже не ждут для себя от этих яств, беседовали на посторонние темы и перешептывались между собой.

Мистер Тудль, находясь в центре семейной группы и — что касается аппетита — подавая своим детям устрашающий пример, держал на коленях двух юных Тудлей, вез их экстренным поездом в Бирмингем и подумывал об остановке у шлагбаума из хлеба с маслом, когда явился Роб Точильщик в своей зюйдвестке и траурных штанах и был атакован братьями и сестрами.

— Как поживаете, матушка? — спросил Роб, почтительно целуя ее.

— Вот и мой мальчик! — воскликнула Полли, обнимая его и похлопывая по спине.— Утаивает! Господь с тобой, уж он-то ничего не утаивает!

Это было сказано в назидание мистеру Тудлю, но Роб Точильщик, который не был нечувствителен к хуле, тотчас подхватил:

— Как! Значит, отец опять за что-то меня бранил! — воскликнул невинно оскорбленный.— Ох, тяжело приходится парню, если он когда-то сбился с пути, а родной отец вечно бросает ему в лицо упреки за его спиной! Право же,— продолжал Роб, в отчаянии прибегая к обшлагу своей куртки,— этого достаточно, чтобы парень пошел да и выкинул какую-нибудь штуку со злости!

— Бедный мой мальчик! — вскричала Полли.— Отец ничего такого не думал.

— Если отец ничего такого не думал,— захныкал оскорбленный Точильщик,— так зачем же он говорил, матушка? Никому я не казался таким скверным, как родному отцу. На что это похоже! Хотел бы я, чтобы кто-нибудь взял да и отрубил мне голову. Я думаю, отец не прочь это сделать, и уж пусть лучше это сделает он, чем кто-нибудь другой.

Услыхав такие отчаянные слова, все юные Тудли завизжали, что вызвало патетический эффект, а Точильщик ему способствовал, иронически упрашивал их не оплакивать его, так как они должны его ненавидеть — должны, если они хорошие мальчики и девочки! И это так повлияло на предпоследнего Тудля, которого нетрудно было растрогать,— повлияло не только на его чувствительность, но и на дыхательные органы,— что он побагровел, и мистер Тудль в ужасе потащил его к бочке с водой и сунул бы его под кран, если бы тот не оправился при виде этого инструмента.

При таком положении дел мистер Тудль дал объяснения, и когда добродетельные чувства его сына были ублаготворены, они пожали друг другу руку, и снова воцарился мир.

— Не хочешь ли последовать моему примеру, Байлер, мой мальчик? — осведомился отец, с сугубым усердием возвращаясь к своему чаю.

— Нет, спасибо, отец. Я уже пил чай вместе с хозяином.

— Ну, а как он поживает, Роб? — спросила Полли.

— Право, не знаю, матушка. Похвастаться нечем. Понимаете ли, торговли никакой нет. Он, капитан, ничего в этом деле не смыслит. Как раз сегодня зашел в лавку какой-то человек и говорит: «Мне, говорит, нужна такая-то вещь», и сказал какое-то мудреное слово. «Что?» — спрашивает капитан. «Такая-то вещь»,— говорит человек. «Братец,— говорит капитан,— не хотите ли хорошенько осмотреть лавку?» — «Да ведь я,— говорит человек,— уже так и сделал».— «Вы видите то, что вам нужно?» — спрашивает капитан. «Нет, не вижу»,— говорит человек. «А вы эту вещь узнаете, если ее увидите?» — спрашивает капитан. «Нет, не узнаю»,— говорит человек. «Ну, так вот что я вам скажу, приятель,— говорит капитан,— вы бы лучше вернулись и спросили, какой у нее вид, потому что и я ее не узнаю!»

— Да ведь этак денег не наживешь, правда? — сказала Полли.

— Денег, матушка? Никогда не нажить ему денег! Такой повадки, как у него, я еще никогда не видывал! Но все-таки я должен сказать, что он не плохой хозяин. Однако для меня это неважно, потому что я не собираюсь оставаться у него надолго.

— Не собираешься остаться на этом месте, Роб? — воскликнула мать, а мистер Тудль широко раскрыл глаза.

— На этом месте, пожалуй, не собираюсь,— подмигнув, ответил Точильщик.— Я бы не удивился... понимаете ли, придворные связи... но сейчас вы об этом не думайте, матушка; со мной все обстоит благополучно, и конец делу.

Эти намеки и таинственный вид Точильщика, служа неоспоримым доказательством того, что он повинен в грехе, приписанном ему мистером Тудлем, могли бы повести к нанесению ему новых обид и к семейному переполоху, если бы не явилась весьма кстати гостья, которая, показавшись в дверях, к великому изумлению Полли, покровительственно и дружелюбно улыбнулась всем присутствующим.



— Как поживаете, миссис Ричардс? — осведомилась мисс Токс.— Я пришла вас навестить. Можно войти?

Веселое лицо миссис Ричардс озарилось гостеприимной улыбкой, и мисс Токс, садясь на предложенный ей стул и по пути к нему грациозно кивнув мистеру Тудлю, развязала ленты шляпки и сказала, что прежде всего ей бы хотелось, чтобы милые детки, все до одного, подошли и поцеловали ее.

Злополучный предпоследний Тудль, родившийся, если судить по количеству его злоключений в домашнем кругу, под несчастливой звездой, не мог участвовать в этих всеобщих приветствиях, ибо напялил себе на голову зюйдвестку (с которой перед этим забавлялся) задом наперед и не в состоянии был ее снять, каковое обстоятельство, сулившее его устрашенному воображению мрачную перспективу провести остаток дней во тьме и быть навеки отторгнутым от друзей и семьи, побуждало его бороться с великой энергией и испускать заглушенные вопли. Когда его освободили, лицо у него было очень разгоряченное, красное и потное, и мисс Токс посадила его, совершенно измученного, к себе на колени.

— Мне кажется, вы меня почти забыли, сэр! — сказала мисс Токс мистеру Тудлю.

— Нет, сударыня, нет,— ответил Тудль.— Но с той поры мы все немножко постарели.

— А как вы себя чувствуете, сэр? — кротко осведомилась мисс Токс.

— Прекрасно, сударыня, благодарю вас,— ответил Тудль.— Как *вы* себя чувствуете, сударыня? Ревматизм вам еще не очень докучает, сударыня? Всем нам приходится привыкать к нему с годами.

— Благодарю вас,— сказала мисс Токс.— Меня этот недуг еще не посещал.

— Вам очень повезло, сударыня,— ответил мистер Тудль.— В ваши годы многие жестоко им страдают. Вот, к примеру, у моей матери...

Но, поймав взгляд жены, мистер Тудль благоразумно похоронил конец фразы в новой кружке чаю.

— Миссис Ричардс,— воскликнула мисс Токс, глядя на Роба,— да неужели это ваш...

— Мой старший, сударыня,— сказала Полли.— Да,

это он и есть. Тот самый мальчуган, сударыня, который без вины стал причиною таких событий.

— Это он, сударыня, тот самый, с короткими ногами... они были на редкость коротки для кожаных штанишек,— сказал мистер Тудль мечтательным голосом,— когда мистер Домби сделал из него Милосердного Точильщика.

Это напоминание едва не сломило силы мисс Токс. Оно имело непосредственное отношение к интересовавшему ее предмету. Она предложила Робу пожать ей руку и расхвалила его матери открытое, честное лицо сына. Роб, подслушав эти слова, постарался придать своей физиономии выражение, оправдывающее похвалу, но вряд ли это ему удалось.

— А теперь, миссис Ричардс,— сказала мисс Токс,— а также и вы, сэр,— обратилась она к Тудлю,— я вам скажу просто и откровенно, почему я пришла сюда. Быть может, вам известно, миссис Ричардс, и, может быть, известно также и вам, сэр, что некоторое охлаждение произошло между мною и кое-кем из моих друзей и что там, где я бывала часто, теперь я не бываю совсем.

Полли, которая, с женским тактом, сразу поняла ее, выразила это одним взглядом. Мистер Тудль, который понятия не имел, о чем говорит мисс Токс, выразил свое недоумение, выпучив глаза.

— Конечно,— продолжала мисс Токс,— вопрос о том, как возникла эта маленькая размолвка, не имеет никакого значения, и обсуждать его не стоит. Достаточно будет сказать, что я питаю величайшее уважение к мистеру Домби,— голос мисс Токс дрогнул,— и всему, что его касается.

Мистер Тудль, кое-что уразумев, покачал головой и сказал, будто он и от людей слыхал и сам считает, что с мистером Домби трудно иметь дело.

— Прошу вас, будьте добры, не говорите этого, сэр,— возразила мисс Токс.— Умоляю вас не говорить этого, сэр! Ни сейчас, ни когда бы то ни было! Подобные замечания крайне мучительны для меня и отнюдь не могут доставить удовольствие джентльмену с таким складом ума, каким вы обладаете, по моему мнению.

Мистер Тудль, нимало не сомневавшийся в том, что

произнесенная им фраза заслужит одобрение, пришел в крайнее замешательство.

— Я только хочу сказать, миссис Ричардс,— продолжала мисс Токс,— я обращаюсь также и к вам, сэр,— хочу сказать, что любые сведения об образе жизни этого семейства, о благополучии семейства, о здоровье семейства, какие дойдут до вас, будут для меня всегда в высшей степени любопытны. Я всегда рада буду поболтать с миссис Ричардс об этом семействе и о прежних временах. А так как у меня с миссис Ричардс никогда не было ни малейших недоразумений (и я лишь сожалею, что мы с ней не познакомились ближе, но в этом виновата я одна), я надеюсь, она согласится, чтобы впредь мы были наилучшими друзьями и чтобы я приходила сюда и уходила, когда мне вздумается, как свой человек. Право же, я надеюсь, миссис Ричардс,— с большою серьезностью сказала мисс Токс,— что вы поймете это так, как мне бы хотелось, потому что вы всегда были добрейшим существом.

Полли была польщена и не скрывала этого. Мистер Тудль не знал, польщен он или нет, и сохранял невозмутимое спокойствие.

— Вы понимаете, миссис Ричардс,— сказала мисс Токс,— надеюсь, и вы понимаете, сэр, что я могу быть вам полезной в тысяче мелочей, если вы не будете меня чуждаться, и это мне доставит величайшее удовольствие. Так, например, я могу обучать чему-нибудь ваших детей. Если вы разрешите, я принесу несколько книжек и рукоделие, и иной раз, по вечерам, они будут учиться... ах, боже мой, я уверена, что они многому научатся и сделают честь своей учительнице.

Мистер Тудль, питавший величайшее уважение к науке, одобрительно кивнул жене и — в предвкушении блестящего будущего — удовлетворенно потер руки.

— Тогда, не будучи чужим человеком, я никому не помешаю,— сказала мисс Токс,— и все будет идти так, как будто меня здесь нет. Миссис Ричардс будет заниматься починкой, гладить или нянчиться с детьми, что бы там ни понадобилось, не обращая на меня внимания. А вы, сэр, если пожелаете, закурите свою трубку, не так ли?

— Благодарю вас, сударыня,— сказал мистер Тудль.— Да, я побалуюсь табачком.

— С вашей стороны это очень любезно, сэр,— отозвалась мисс Токс,— и, право же, я вас искренне уверяю, что для меня это будет великим утешением, и если мне посчастливится принести пользу вашим детям, вы мне отплатите за это с лихвой, если мы заключим наш маленький договор тихо, мирно и без лишних слов.

Договор был тут же скреплен, и мисс Токс до такой степени почувствовала себя совсем как дома, что незамедлительно подвергла предварительному опросу всех детей, чем привела в восхищение мистера Тудля, и отметила на клочке бумаги их возраст, имена и познания. Эта церемония и сопутствующая ей болтовня продолжались вплоть до того часа, когда семейство укладывалось спать, и задержали мисс Токс у очага Тудлей, так что было уже слишком поздно возвращаться одной. Однако галантный Точильщик, который был еще здесь, учтиво предложил проводить ее до дому; а так как для мисс Токс имело некоторое значение идти домой с юношей, которого мистер Домби первый облек в те принадлежности мужского туалета, называть каковые не принято, она очень охотно приняла его предложение.

Итак, пожав руку мистеру Тудлю и Полли и перецеловав всех детей, мисс Токс, завоевавшая всеобщую любовь, покинула этот дом с таким легким сердцем, что миссис Чик почла бы себя оскорбленной, если бы эта славная леди имела возможность его взвесить.

Роб Точильщик по скромности своей хотел идти сзади, но мисс Токс, намереваясь побеседовать, пожелала идти рядом с ним и, как сообщила она позднее его матери, «вытянуть из него что-нибудь дорогой».

Он позволил из себя вытягивать столь храбро и с такой готовностью, что мисс Токс была очарована. Чем больше мисс Токс из него вытягивала, тем тоньше он становился — подобно проволоке. Не бывало на свете лучшего или более многообещающего юноши, более любящего, положительного, благоразумного, степенного, честного, смиренного, искреннего молодого человека, чем Роб, из которого в тот вечер что-то вытягивали.

— Право же, я очень рада,— сказала мисс Токс, подойдя к двери своего дома,— что познакомилась с вами. Надеюсь, вы будете считать меня своим другом и навещать меня, когда вам заблагорассудится. У вас есть копилка?

— Да, сударыня,— ответил Роб,— я коплю деньги, чтобы со временем положить их в банк, сударыня.

— Очень похвально,— сказала мисс Токс.— Рада это слышать. Будьте добры, положите в копилку эту полукрону.

— О, благодарю вас, сударыня,— отозвался Роб,— но, право же, я не могу лишать вас этих денег.

— Мне нравится ваш независимый дух,— сказала мисс Токс,— но, уверяю вас, для меня это не лишение. Я буду обижена, если вы их не примете как знак моего расположения к вам. Спокойной ночи, Робин.

— Спокойной ночи, сударыня,— сказал Роб,— благодарю вас!

И, хихикая, побежал разменять монету и проиграл деньги пирожнику в орлянку. Но честность не преподавалась в школе Точильщиков; напротив, господствовавшая там система способствовала зарождению лицемерия до такой степени, что многие из друзей и учителей бывших Точильщиков говаривали: «Если к этому приводит образование простого народа, не нужно никакого образования». Другие говорили более разумно: «Нужно лучшее». Но заправилы Точильщиков всегда готовы были дать им ответ, выбрав несколько мальчиков, которые вышли на хорошую дорогу, вопреки системе, и решительно заявив, что те могли выйти на хорошую дорогу только благодаря системе. Это сразу заставляло умолкнуть хулителей и упрочивало славу Общества Точильщиков.

ГЛАВА XXXIX

Дальнейшие приключения капитана Эдуарда Катля, моряка

Время, отличающееся твердой поступью и непреклонной волей, столь продвинулось вперед, что год, назначенный старым мастером судовых инструментов как срок,

в течение коего его друг не должен был вскрывать запечатанный пакет, приложенный к письму, которое он для него оставил, уже истекал, и по вечерам капитан Катль начал посматривать на пакет с тревогой и предощущением тайны.

Капитану, человеку честному, и в голову бы не пришло вскрыть пакет хотя бы за час до истечения срока, как не пришло бы ему в голову вскрыть самого себя для изучения собственной анатомии. Покуривая свою первую вечернюю трубку, он ограничивался тем, что вынимал пакет, клал на стол и сквозь дым разглядывал его снаружи, в торжественном молчании, на протяжении двух-трех часов подряд. Иногда после довольно длительного созерцания капитан понемножку начинал отодвигаться со своим стулом все дальше и дальше, как бы желая выбраться за пределы действия его чар; но если таково было его намерение, он никогда не достигал успеха; ибо даже когда ему преграждала путь стена гостиной, пакет попрежнему его притягивал. И если взгляд капитана задумчиво скользил по потолку или камину, пакет неотступно следовал за ним и помещался на видном месте среди углей или занимал выгодную позицию на белой стене.

Отеческая забота капитана об Отраде Сердца и восхищение ею оставались неизменными. Но со времени последнего свидания с мистером Каркером у капитана Катля зародились сомнения, действительно ли былое его вмешательство в пользу этой молодой леди и его дорогого мальчика Уольра оказалось таким благодетельным, как ему бы хотелось и как он в ту пору верил. Капитана мучило серьезное опасение, что он принес больше зла, чем добра, и в порыве раскаяния и смирения он решил искупить вину: лишить себя возможности причинять зло кому бы то ни было и, так сказать, бросить самого себя за борт, как человека опасного.

Погребенный таким образом среди инструментов, капитан не приближался к дому мистера Домби и не давал о себе знать Флоренс и мисс Нипер. Он даже прервал сношения с мистером Перчем и в ближайшее его посещение сухо уведомил сего джентльмена, что благодарит его за компанию, но намерен отказаться от всех знакомств, ибо опасается, как бы ему случайно не взорвать какого-нибудь порохового погреба. В этом добровольном уедине-

нии капитан проводил дни и недели, не обмениваясь ни единым словом ни с кем, кроме Роба Точильщика, которого почитал образцом бескорыстной привязанности и верности. В этом уединении капитан, созерцая по вечерам пакет, сидел, курил и размышлял о бедном Уолтере и о Флоренс, пока и тот и другая не начали представляться его бесхитростному воображению умершими и отошедшими в вечную юность — прекрасные и невинные дети, какими он их запомнил.

Предаваясь своим размышлениям, капитан, однако, не забывал о собственном самоусовершенствовании и о духовном развитии Роба Точильщика. Обычно сей молодой человек должен был каждый вечер в течение часа читать капитану вслух какую-нибудь книгу. А так как капитан слепо верил, что все книги хороши, Роб таким путем приобрел большой запас достопримечательных сведений. В воскресные вечера перед отходом ко сну капитан всегда прочитывал для собственной пользы божественную проповедь, некогда произнесенную на горе; * и хотя он имел обыкновение приводить цитаты на свой лад, не заглядывая в книгу, читал он ее с таким благоговейным пониманием божественного ее смысла, как будто знал ее наизусть по-гречески и мог бы написать сколько угодно богословских трактатов по поводу каждой фразы.

Благоговение Роба Точильщика к боговдохновенному писанию в результате превосходной системы, принятой в школе Точильщиков, воспитывалось посредством вечных синяков на мозгу, вызванных столкновением со всеми именами всех колен иудиных, и посредством однообразного повторения трудных стихов, задаваемых преимущественно в виде наказания, а также посредством хождения в кожаных штанишках — в возрасте шести лет — трижды в воскресный день на хоры очень душной церкви, где огромный орган жужжал над сонной его головою, как необычайно усердная пчела; вот почему, когда капитан переставал читать, Роб Точильщик притворялся, будто это принесло ему большую пользу, а во время чтенья имел обыкновение зевать и клевать носом. Об этом факте добрый капитан даже и не подозревал.

Капитан Катль, как человек деловой, взялся также вести записи. Он заносил в особую книгу наблюдения о по-

годе и потоке подвод и других экипажей, каковые,— заметил он,— по утрам и большую часть дня двигались в этой местности на запад, а к вечеру — на восток. Когда на протяжении одной недели заглянули два-три прохожих, которые «окликнули его» — так записал капитан — по поводу очков и, ничего не купив, обещали зайти еще раз, капитан решил, что дело начинает идти на лад, и внес соответствующую заметку в журнал. Ветер дул тогда (это он записал прежде всего) довольно свежий, северо-западный; переменился ночью.

Одним из главных затруднений являлся для капитана мистер Тутс, который заходил частенько и лишних слов не тратил, но, казалось, воображал, будто маленькая задняя гостиная — подходящая комната для того, чтобы в ней хихикать; для этой цели он всякий раз пользовался ее удобствами на протяжении получаса, хотя ему и не удавалось завязать более близкое знакомство с капитаном. Капитан, которого недавнее его испытание научило осторожности, все еще не мог решить, был ли мистер Тутс действительно таким кротким созданием, каким казался, или же это необычайно ловкий и коварный лицемер. Его частые упоминания о мисс Домби были подозрительны, но капитан питал тайное расположение к мистеру Тутсу за то, что тот относится к нему с доверием, и временно воздерживался от неблагоприятного заключения; он только наблюдал за ним с неописуемой проницательностью, когда мистер Тутс касался предмета, самого близкого его сердцу.

— Капитан Джилс,— выпалил однажды мистер Тутс, по своему обыкновению совершенно неожиданно,— как вы думаете, могли бы вы отнестись благосклонно к моему предложению и доставить мне удовольствие быть знакомым с вами?..

— Видите ли, приятель, я вам объясню, в чем дело,— ответил капитан, который, наконец, избрал линию поведения,— я об этом размышлял.

— Капитан Джилс, это очень любезно с вашей стороны,— отозвался мистер Тутс.— Я вам крайне признателен. Клянусь честью, капитан Джилс, это будет настоящим благодеянием, если вы доставите мне удовольствие быть знакомым с вами. Право же, благодеянием!

— Видите ли, братец,— задумчиво произнес капитан,— я вас не знаю.

— Но вам никогда не узнать меня, капитан Джилс,— ответил мистер Тутс, упорно преследуя намеченную цель,— если вы не доставите мне удовольствия быть знакомым с вами.

Капитан, казалось, был потрясен оригинальностью и силой этого довода и посмотрел на мистера Тутса так, как будто открыл в нем гораздо больше, чем предполагал.

— Хорошо сказано, приятель,— заметил капитан, глубокомысленно кивая головой,— и правильно сказано. Теперь послушайте. Вы сделали несколько замечаний, которые дали мне понять, что вы восхищаетесь одним чудесным созданием. Не так ли?

— Капитан Джилс,— сказал мистер Тутс, энергически жестикулируя той рукой, в которой держал шляпу,— восхищение это не то слово! Клянусь честью, вы понятия не имеете о том, что я чувствую! Если бы меня можно было выкрасить в черный цвет и сделать рабом мисс Домби, я бы почитал это милостью. Если бы я мог ценой всего моего состояния переселиться в собаку мисс Домби... я... мне кажется, я никогда не устал бы вилять хвостом! Я был бы совершенно счастлив, капитан Джилс!

Мистер Тутс, говоря это, прослезился и с глубоким волнением прижал к груди свою шляпу.

— Приятель,— отозвался капитан, почувствовав сострадание,— если вы говорите серьезно...

— Капитан Джилс! — вскричал мистер Тутс.— Я нахожусь в таком состоянии духа и так ужасно серьезен, что, если бы я мог поклясться в этом на раскаленном железе, на пылающих углях, или расплавленном свинце, или горящем сургуче, или еще на чем-нибудь в этом роде, я бы с радостью причинил себе боль, чтобы успокоить свои чувства.— И мистер Тутс быстро окинул взглядом комнату, словно в поисках какого-нибудь достаточно мучительного средства осуществить свое ужасное намерение.

Капитан сдвинул на затылок глянцевитую шляпу, провел по лицу тяжелой рукой, вследствие чего его нос стал еще более пятнистым, остановился перед мистером Тут-

сом и, зацепив его крючком за лацкан фрака, обратился к нему со следующей речью, в то время как мистер Тутс смотрел ему в лицо с большим вниманием и не без удивления.

— Видите ли, приятель,— сказал капитан,— если вы говорите серьезно, к вам надлежит отнестись милосердно, а милосердие — ослепительнейший алмаз в короне, украшающей голову британца, а вы перелистайте конституцию, изложенную в «Правь, Британия», и когда найдете, это и будет та самая хартия, которую так часто распевали ангелы-хранители. Держитесь крепче! Это ваше предложение застигло меня немножко врасплох. А почему? Потому что, понимаете ли, я держусь в этих водах особняком, со мною нет других кораблей, и, может быть, они мне не нужны. Осторожно! Первый раз вы окликнули меня по поводу одной молодой леди, которая вас зафрахтовала. Теперь, если мы с вами будем водить компанию, имя этого молодого создания никогда не следует называть, и упоминать о нем нельзя. Бог весть, сколько зла произошло из-за того, что до сей поры его называли слишком часто, а потому я молчу. Вы меня хорошо понимаете, братец?

— Вы меня извините, капитан Джилс,— ответил мистер Тутс,— если иногда ваша речь кажется мне неясной. Но, честное слово, я... Капитан Джилс, это очень трудно — не упоминать о мисс Домби. Право же, здесь у меня такая ужасная тяжесть,— мистер Тутс патетически коснулся обеими руками своей манишки,— что и днем и ночью мне кажется, будто кто-то сидит на мне верхом.

— Таковы мои условия,— сказал капитан.— Если вы их находите трудными, братец,— может быть, они действительно трудны,— обойдите их сторонкой, измените курс, и расстанемся весело!

— Капитан Джилс,— возразил мистер Тутс,— я хорошенько не понимаю, в чем тут дело, но после того, что вы мне сказали, когда я пришел сюда в первый раз, мне, пожалуй, приятнее будет думать о мисс Домби в вашем обществе, чем говорить о ней с кем-нибудь другим. Поэтому, капитан Джилс, если вы мне доставите удовольствие быть знакомым с вами, я буду очень счастлив и приму ваши условия. Я хочу быть честным, капитан

Джилс,— сказал мистер Тутс, отдернув протянутую было руку,— а потому считаю своим долгом сказать, что *не могу* не думать о мисс Домби. Для меня немыслимо дать обещание не думать о ней.

— Приятель,— сказал капитан, чье мнение о мистере Тутсе изменилось к лучшему после такого искреннего ответа,— мысли человеческие подобны ветру, и никто не может за них поручиться на какой бы то ни было срок. А что касается слов, договор заключен?

— Что касается слов, капитан Джилс,— ответил мистер Тутс,— думаю, что могу взять на себя это обязательство.

И мистер Тутс тут же подал капитану Катлю руку, а капитан с любезным и благосклонно-снисходительным видом формально признал их знакомство. Мистер Тутс был, по-видимому, весьма успокоен и обрадован таким приобретением и восторженно хихикал вплоть до окончания своего визита. Капитан в свою очередь не был огорчен ролью покровителя и остался чрезвычайно доволен своею осторожностью и предусмотрительностью.

Но как бы ни был капитан Катль наделен этим последним качеством, в тот же вечер его ждал сюрприз, устроенный ему таким бесхитростным и простодушным юношей, как Роб Точильщик. Сей наивный юнец, распивая чай за одним столом с капитаном и смиренно наклоняясь над своей чашкой и блюдцем, в течение некоторого времени наблюдал исподтишка за своим хозяином, вооруженным очками и с великим трудом, но с большим достоинством читавшим газету, и, наконец, нарушил молчание:

— Ах, прошу прощенья, капитан, но, может быть, вам нужны голуби, сэр?

— Нет, приятель,— отозвался капитан.

— Потому что мне бы хотелось сбыть моих голубей, сэр,— сказал Роб.

— Вот как! — воскликнул капитан, слегка приподняв свои косматые брови.

— Да. Я ухожу, капитан, с вашего разрешения,— сказал Роб.

— Уходишь! Куда ты уходишь? — спросил капитан, глядя на него в упор поверх очков.

— Как! Разве вы не знали, что я собираюсь уйти от вас, капитан? — отозвался Роб с трусливой улыбкой.

Капитан положил газету, снял очки и устремил взор на дезертира.

— Ну да, капитан, я хочу вас предупредить. Я думал, что вы уже знаете об этом,— сказал Роб, потирая руки и вставая.— Если бы вы были так добры, капитан, и поскорее нашли себе кого-нибудь другого, это мне было бы на руку. Боюсь, что к завтрашнему утру вам никого не удастся подыскать. Как вы думаете, капитан?

— Так ты, стало быть, собираешься изменить своему знамени, приятель? — сказал капитан, долго разглядывавший его физиономию.

— Ах, капитан, вы очень жестоко обходитесь с бедным малым,— воскликнул мягкосердечный Роб, мгновенно почувствовав и оскорбление и негодование,— который предупредил вас по всем правилам, а вы на него смотрите хмуро и обзываете его изменником. Вы, капитан, никакого права не имеете ругать бедного парня. Только потому, что я слуга, а вы хозяин, вы на меня клевещете! Что я сделал дурного? Растолкуйте мне, капитан, какое я совершил преступление?

Удрученный Точильщик расплакался и стал тереть глаза обшлагом.

— Послушайте, капитан! — воскликнул оскорбленный юнец.— Скажите, какое преступление я совершил? Что я такого сделал? Украл какие-нибудь вещи? Поджег дом? Если так, почему вы меня не обвиняете и не судите? Но порочить репутацию мальчика, который был вам хорошим слугой, только потому, что он не может вредить самому себе ради вашей выгоды,— какое это оскорбление и какая награда за верную службу! Вот почему ребята сбиваются с прямого пути и погибают! Я вам удивляюсь, капитан, удивляюсь!

Все это Точильщик сопровождал плаксивым завыванием и осторожно пятился к двери.

— Так, стало быть, ты раздобыл себе другую койку, приятель? — сказал капитан, не спуская с него пристального взгляда.

— Да, капитан, уж коли говорить вашими словами, я *раздобыл* себе другую койку! — воскликнул Роб, про-

должая пятиться.— Получше, чем была у меня здесь. И там мне не нужна будет ваша похвала, капитан, а это большая удача, после того как вы закидали меня грязью, за то, что я беден и не могу вредить самому себе ради вашей выгоды. Да, я *раздобыл* себе другую койку. И если бы я не боялся оставить вас без слуги, я бы мог уйти хоть сейчас, только бы не слышать, как вы меня ругаете, потому что я беден и не могу причинять вред самому себе ради вашей выгоды. Почему вы меня упрекаете за то, что я беден и не намерен действовать во вред себе ради вашей выгоды, капитан? Как вы можете так поступать, капитан?

— Послушай, приятель,— миролюбиво отозвался капитан,— ты бы лучше этого не говорил.

— Да и вы бы лучше этого не говорили, капитан,— с гневом возразил невинный, начиная хныкать громче и продолжая пятиться в лавку.— Уж лучше выпустите из меня кровь, но не порочьте меня!

— Потому что,— спокойно продолжал капитан,— ты слыхал, может быть, о такой штуке, как линёк?

— Слыхал ли я, капитан? — вскричал язвительный Точильщик.— Нет, не слыхал! О такой штуке я никогда не слыхивал.

— Ну, так вот, мне кажется,— сказал капитан,— что ты очень скоро с ней познакомишься, если не будешь начеку. Я твои сигналы прекрасно понимаю, приятель. Можешь идти.

— Значит, я могу сейчас уйти, капитан? — воскликнул Роб в восторге от такой удачи.— Но помните, капитан: я не просил у вас разрешения уйти немедленно. Вам не удастся еще раз опорочить меня только потому, что вы по собственному желанию меня прогоняете. И вы не имеете права задерживать мое жалование, капитан!

Его хозяин разрешил этот последний вопрос, достав металлическую чайницу, и отсчитал Точильщику его деньги, бросая на стол монету за монетой. Роб, хныча и всхлипывая, тяжко оскорбленный в своих чувствах, подобрал их одну за другой с хныканьем и всхлипываньем и завязал каждую в особый узелок в своем носовом платке; затем он поднялся на крышу дома и наполнил шляпу и карманы голубями; потом спустился вниз, к своей постели

под прилавком, и связал в узел свои вещи, хныча и всхлипывая все громче, как будто сердце у него надрывалось от воспоминаний, после чего он пропищал: «Прощайте, капитан; я ухожу от вас, не помня зла!» — и, наконец, переступив через порог, дернул за нос Маленького Мичмана, на прощанье нанеся ему оскорбление, и с торжествующей усмешкой зашагал по улице.

Капитан, оставшись наедине с собой, вновь обратился к газете, как будто не произошло ничего из ряда вон выходящего или неожиданного, и продолжал читать с величайшим прилежанием. Но ни единого слова не усвоил капитан Катль, хотя прочитал их великое множество, ибо все это время Роб Точильщик карабкался вверх по одному газетному столбцу и спускался вниз по другому.

Трудно сказать, чувствовал ли себя когда-нибудь почтенный капитан таким покинутым, как теперь: ведь теперь старый Соль Джилс, Уолтер и Отрада Сердца были для него поистине потеряны, а мистер Каркер обманул его и жестоко осмеял. Все они были слиты в образе вероломного Роба, с которым он не раз делился дорогими ему воспоминаниями; он доверял вероломному Робу, и доверял ему с радостью; он сделал его своим товарищем, как единственного уцелевшего из экипажа старого судна; он принял командование Маленьким Мичманом, а помощником у него был Роб; он намеревался исполнить свой долг по отношению к нему и был расположен к мальчику, словно они оба потерпели кораблекрушение и были выброшены вдвоем на необитаемый остров. А теперь, когда по вине вероломного Роба недоверие, измена и подлость вторглись даже в гостиную, которая была как бы священным местом, капитан Катль почувствовал, что и гостиная может затонуть, и не очень бы удивился, если бы она пошла ко дну, и не почувствовал бы большого огорчения.

Поэтому капитан Катль читал газету с глубоким вниманием, но ни слова не понимал; поэтому капитан Катль ничего не сказал самому себе о Робе, и старался отогнать мысль о нем, и отнюдь не желал признать, что если он чувствует себя одиноким, как Робинзон Крузо, то Роб имеет к этому какое-то отношение.

С тем же спокойным, деловым видом капитан отпра-

вился в сумерках на Леднхоллский рынок и договорился со сторожем, чтобы тот по утрам и по вечерам являлся открывать и закрывать ставни Деревянного Мичмана. Затем он зашел в харчевню, чтобы уменьшить наполовину ежедневный рацион, доставлявшийся оттуда Мичману, и в трактир — прекратить отпуск пива для предателя. «Мой юноша,— пояснил капитан молодой леди за стойкой,— мой юноша поступил на более выгодное место, мисс». Наконец капитан решил воспользоваться постелью под прилавком и, будучи единственным стражем всего имущества, устраиваться на ночь здесь, а не наверху.

Отныне капитан Катль поднимался с этого ложа ежедневно в шесть часов утра и нахлобучивал глянцевитую шляпу, словно одинокий Крузо, в завершение своего туалета одевающий шапку из козьей шкуры. И хотя страх его перед набегом дикого племени, Мак-Стинджер, уменьшился, подобно тому, как постепенно рассеивались опасения того одинокого моряка, когда в течение долгого времени не видно было никаких признаков людоедов, капитан по заведенному порядку соблюдал меры предосторожности и при виде шляпки неизменно скрывался в свою крепость для наблюдений. За это время (на протяжении коего мистер Тутс не навещал его ни разу, написав, что уезжает из города) звук его собственного голоса начал казаться ему странным; а от постоянного надраиванья и укладки инструментов, от долгого сиденья за прилавком, когда он читал или смотрел в окно, у него развилась привычка погружаться в такое глубокое раздумье, что красный ободок на лбу, который оставляла твердая глянцевитая шляпа, иной раз побаливал от чрезмерного умственного напряжения.

Когда истек годичный срок, капитан Катль счел нужным вскрыть пакет, но он всегда намеревался сделать это в присутствии Роба Точильщика, доставившего ему пакет, полагая, что будет уместно и правильно вскрыть его в присутствии постороннего лица; и теперь, не имея свидетелей, он очутился в тяжелом положении. В разгар этих затруднений он с особой радостью приветствовал однажды объявление в Судовом справочнике о возвращении из каботажного плаванья «Осторожной Клары» — капитан

Джон Бансби — и немедленно отправил этому философу письмо по почте, предписывая соблюдение полной тайны касательно его местожительства и прося навестить его безотлагательно в вечерние часы.

Бансби, принадлежавшему к числу тех мудрецов, которые действуют по убеждению, понадобилось несколько дней, прежде чем в голову его окончательно проникло убеждение, что такого рода письмо им получено. Но, столкнувшись вплотную с фактом и овладев им, он тотчас послал своего юнгу с извещением: «Приду сегодня вечером», каковой юнга, получив приказание произнести эти слова и скрыться, исполнил свою миссию, словно вымазанный смолой дух, явившийся с таинственным предупреждением.

Капитан, очень довольный вестью, приготовил трубки, ром и воду и ждал своего посетителя в задней гостиной. В восемь часов глухое мычание у входной двери, казалось исходившее из глотки морского быка, а затем постукиванье палкой по панели возвестили настороженному слуху капитана Катля, что Бансби явился на борт; капитан немедленно впустил его, косматого, с флегматической физиономией цвета красного дерева. По обыкновению, Бансби не замечал того, что происходило перед ним, но внимательно наблюдал нечто, совершающееся в другой части света.

— Бансби,— воскликнул капитан, схватив его за руку,— как поживаете? Приятель, как поживаете?

— Дружище,— ответил голос, исходящий из Бансби и не имеющий, казалось, никакого отношения к самому командиру,— недурно!

— Бансби,— продолжал капитан, воздавая величайшие почести гению,— вот вы здесь! Человек, способный высказать мнение, сверкающее ярче бриллиантов! Покажите мне другого такого парня в просмоленных штанах, сверкающего как бриллиант! А для этого перелистайте «Сборник Стэнфела», а когда найдете это место — отметьте! Вот вы здесь, в этой самой комнате, где высказали свое мнение, которое оказалось справедливым до последнего слова. (Капитан этому искренне верил.)

— Да, да! — проворчал Бансби.

— До последнего слова,— сказал капитан.

— А почему? — проворчал Бансби, впервые взглянув на своего друга.— В каком направлении? Если так, то почему бы и нет? Вот что.

Произнеся эти таинственные слова — у капитана они чуть было не вызвали головокружения, ибо погрузили его в бездонное море умозаключений и догадок,— мудрец позволил снять с себя лоцманскую куртку и последовал за своим другом в маленькую гостиную, где рука его вскоре взялась за бутылку с ромом, воспользовавшись коей он приготовил стакан крепчайшего грога, а потом за трубку, которую он набил и закурил.

Капитан Катль, подражая в этом своему гостю, но будучи не в силах сохранять сосредоточенный и невозмутимый вид, отличавший командира, сидел по другую сторону камина, почтительно наблюдал за ним и как будто ждал поощрения или изъявления любопытства со стороны Бансби, чтобы перейти к собственным делам. Но так как философ цвета красного дерева, по-видимому, не ощущал ничего, кроме тепла и вкуса табачного дыма, и ограничился только тем, что, вынув изо рта трубку, дабы освободить место для стакана, хрипло отрекомендовался Джеком Бансби — заявление, мало способствовавшее началу разговора,— капитан, краткой хвалебной речью призвав его к вниманию, рассказал об исчезновении дяди Соля, о перемене, происшедшей в его собственной жизни и судьбе, и в заключение положил на стол пакет.

После долгого молчания мистер Бансби кивнул головой.

— Распечатать? — спросил капитан.

Бансби снова кивнул.

Тогда капитан сломал печать и извлек две сложенных бумаги, на одной из коих прочел надпись: «Последняя воля и завещание Соломона Джилса», а на другой: «Письмо Нэду Катлю».

Бансби, устремив взор на побережье Гренландии, казалось, приготовился выслушать содержание обоих документов. Поэтому капитан откашлялся, чтобы прочистить горло, и стал читать вслух.

— «Мой дорогой Нэд Катль! Покидая родину, чтобы отправиться в Вест-Индию...»

Тут капитан приостановился и зорко посмотрел на Бансби, который пристально смотрел на побережье Гренландии.

— «...с тщетной надеждой получить сведения о моем милом мальчике, я знал, что, буде вы познакомитесь с моим намерением, вы либо воспрепятствуете ему, либо захотите меня сопровождать; вот почему я хранил его в тайне. Если вы когда-нибудь прочтете это письмо, Нэд, меня, вероятно, не будет в живых. Тогда вы, конечно, простите старому другу его сумасбродство и почувствуете сострадание при мысли о той тревоге и неизвестности, какие побудили меня предпринять это безумное путешествие. Стало быть, не будем больше говорить об этом. Я почти не надеюсь, что мой бедный мальчик прочтет когда-нибудь эти слова или еще раз порадует ваши взоры своим честным, открытым лицом...» Да, да, никогда больше,— сказал капитан Катль в скорбном раздумье.— Никогда! Там будет он лежать до конца дней...

Мистер Бансби, у которого было музыкальное ухо, вдруг заревел: «В Бискайском заливе. О!», а добрый капитан, видя в этом достойное воздаяние памяти умершего, был так растроган, что с благодарностью пожал ему руку и должен был смахнуть слезу.

— Ну-ну! — сказал капитан, когда жалобный вопль Бансби перестал гудеть и сотрясать окно в потолке.— Великое горе он долго терпел, а мы перелистаем книгу и отыщем это место.

— Врачи,— заметил Бансби,— не принесли помощи.

— Да, да, конечно,— сказал капитан.— Что толку от них на глубине полутора тысяч футов? — Затем, возвращаясь к письму, он продолжал: — «Но если бы он присутствовал в то время, когда пакет будет вскрыт...» — капитан невольно оглянулся и покачал головой,— «...или узнал об этом впоследствии...» — капитан снова покачал головой,— «...я шлю ему свое благословение! Если приложенная к этому письму бумага составлена юридически неправильно, это имеет мало значения, так как из заинтересованных лиц нет никого, кроме его и вас, а я попросту желаю одного: если он жив, пусть к нему перейдет то немногое, что может остаться после меня, а если дело обернется иначе (чего я опасаюсь), пусть это перей-

дет к вам, Нэд. Знаю, что вы уважите мое желание. Да благословит вас бог за это и за всегдашнее дружеское ваше расположение к *Соломону Джилсу*». Бансби! — сказал капитан, взывая к нему торжественно,— как вы это понимаете? Вот вы сидите здесь, человек, которому с младенческих лет проламывали голову, и в каждую расщелину в черепе проникала к вам новая мысль. Как же вы это понимаете?

— Если дело обстоит так, что он умер,— отвечал Бансби с несвойственной ему стремительностью,— он, по моему мнению, больше не вернется. Если дело обстоит так, что он жив, он, по моему мнению, вернется. Говорю ли я, что он вернется? Нет. Почему? Потому, что следует держаться по курсу этого наблюдения.

— Бансби,— сказал капитан Катль, который, казалось, давал тем более высокую оценку мнениям своего знаменитого друга, чем труднее было хоть что-нибудь из них извлечь,— Бансби,— повторил капитан вне себя от восторга,— вы у себя в голове вмещаете груз, который быстро потопил бы судно с таким водоизмещением, как мое! Но что касается вот этого завещания, я намерен не предпринимать никаких шагов, чтобы завладеть имуществом, помилуй бог!.. Я только постараюсь сохранить его для более законного хозяина. И я все-таки надеюсь, что Соль Джилс, законный хозяин, жив и вернется, хотя, быть может, и странно, почему он не посылает о себе никаких вестей. А теперь, каково ваше мнение, Бансби, насчет того, чтобы снова припрятать эти бумаги и пометить снаружи, что они были распечатаны такого-то числа в присутствии Джона Бансби и Эдуарда Катля?

Так как Бансби не усмотрел никаких возражений на побережье Гренландии или где-нибудь в другом месте, эта мысль была приведена в исполнение. И сей великий человек, на секунду устремив свой взор на непосредственно окружающую его обстановку, собственноручно начертал свою подпись на конверте, решительно воздерживаясь, с характеристическою для него скромностью, от употребления прописных букв. Капитан Катль, в свою очередь расписавшись левой рукой и заперев пакет в несгораемый ящик, предложил своему гостю приготовить еще стакан грогу и выкурить еще одну трубку и, сам

подражая его примеру, задумался, сидя у камина, о том, какова может быть судьба бедного старого мастера судовых инструментов.

А затем произошло событие столь ужасное и потрясающее, что капитан Катль без поддержки Бансби рухнул бы под его тяжестью и с этого рокового часа был бы погибшим человеком.

Как мог капитан, даже если принять во внимание радость, вызванную посещением такого гостя, как мог он только притворить дверь, а не запереть ее,— а в этой небрежности он несомненно был повинен,— является одним из тех вопросов, которым суждено вечно оставаться предметом для размышлений или возбуждать ропот против судьбы. Как бы там ни было, но в этот тихий час через незапертую дверь ворвалась в гостиную свирепая Мак-Стинджер, держа в материнских своих объятиях Александра Мак-Стинджера, а за нею следом ворвались смятение и месть (не говоря уже о Джулиане Мак-Стинджер и о брате милой малютки, Чарльзе Мак-Стинджере, известном на арене своих детских игр под именем Чаули). Она вошла так быстро и так бесшумно, подобно струе воздуха из ближних Ост-Индских доков *, что капитан Катль очнулся лишь в тот момент, когда обнаружил, что сидит и смотрит на нее с тем самым безмятежным видом, с каким предавался размышлениям, после чего на физиономии его отразились ужас и отчаяние.

Но как только капитан Катль осознал во всей полноте постигшее его несчастье, инстинкт самосохранения побудил его обратиться в бегство. Стремительно обернувшись к маленькой двери, которая вела из гостиной на крутую лесенку в погреб, капитан бросился к ней головой вперед, как человек, равнодушный к синякам и ушибам и помышляющий только о том, чтобы скрыться в недрах земли. Быть может, эта доблестная попытка увенчалась бы успехом, если бы не горячая привязанность милых малюток, Джулианы и Чаули, которые, уцепившись за его ноги — одна схватила одну, другой — другую,— с жалобными криками взывали к нему, как к своему другу. Тем временем миссис Мак-Стинджер, которая никогда не приступала к важному делу, не перевернув предварительно Александра Мак-Стинджера так,



чтобы удобнее было осыпать его живительным градом шлепков, и не посадив его затем на землю для охлаждения, в каковом положении узрел его впервые читатель,— миссис Мак-Стинджер совершила этот торжественный обряд, как будто на сей раз это было жертвоприношение фуриям, и, опустив страдальца на пол, устремилась к капитану с настойчивою решимостью, угрожавшей царапинами вмешавшемуся Бансби.

Вопли двух старших Мак-Стинджеров и рев юного Александра, которому, если можно так выразиться, выпало на долю пегое детство, ибо добрую половину этой волшебной поры жизни все лицо у него было в синяках, придавали этому посещению устрашающий характер. Но когда снова воцарилась тишина и капитан, весь в поту, робко воззрился на миссис Мак-Стинджер, ужас достиг наивысшего предела.

— О капитан Катль, капитан Катль! — сказала миссис Мак-Стинджер, сурово выпятив подбородок и потрясая им, а одновременно и тем, что можно было бы назвать ее кулаком, не будь она представительницей слабого пола.— О капитан Катль, капитан Катль! Как вы дерзаете смотреть мне в лицо, вместо того чтобы умереть от разрыва сердца?

Капитан, которого можно было заподозрить в чем угодно, только не в дерзости, тихо пробормотал: «Держись крепче!»

— О, я была слабой, доверчивой дурой, когда приняла вас под свой кров, капитан Катль! — воскликнула миссис Мак-Стинджер.— Подумать только о тех благодеяниях, какими я осыпала этого человека, о том, как я учила моих детей любить и почитать его, будто отца родного, а ведь на нашей улице нет ни одной хозяйки и ни одного жильца, которые бы не знали, что я терпела убытки из-за этого человека и из-за его пьянства и буянства,— миссис Мак-Стинджер употребила это последнее слово не столько для выражения какой-нибудь мысли, сколько ради рифмы.— И все они кричали в один голос: стыд и позор, что он обременяет работящую женщину, которая трудится с раннего утра и до поздней ночи для блага своих детей и содержит свое бедное жилище в такой чистоте, что человек может обедать, да, обедать, и

чай пить тоже, где ему вздумается, хоть на полу или на лестнице, несмотря на его пьянство и буянство,— вот каким попечением и заботами он был окружен!

Миссис Мак-Стинджер остановилась перевести дух; лицо ее сияло торжеством, потому что ей удалось вторично упомянуть о «буянстве» капитана Катля.

— А он убега-а-ает! — застонала миссис Мак-Стинджер, растягивая предпоследний слог так, что злополучный капитан счел себя величайшим негодяем.— И скрывается целый год! От женщины! Такая уж у него совесть! Он не посмел встретиться с ней лицом к лицу-у,— снова протяжный стон,— нет, он убежал тайком, как преступник! Да если бы вот этот мой младенец,— быстро добавила миссис Мак-Стинджер,— вздумал убежать тайком, я бы исполнила свой материнский долг так, что он весь покрылся бы синяками!

Юный Александр, истолковав эти слова как обещание, которое будет немедленно исполнено, повалился на пол от страха и горя и лежал, выставив на всеобщее обозрение подошвы башмаков и издавая такие оглушительные вопли, что миссис Мак-Стинджер сочла необходимым взять его на руки, а когда он снова начинал реветь, всякий раз успокаивала его, встряхивая с такой силой, что, казалось, у него расшатаются все зубы.

— Прекрасный человек капитан Катль! — продолжала миссис Мак-Стинджер, делая резкое ударение на имени капитана.— Стоило того, чтобы я о нем горевала... не спала по ночам и падала в обморок... и считала, что он умер... и бегала, как сумасшедшая, по всему городу, наводя о нем справки! О, это прекрасный человек! Ха-ха-ха! Он сто́ит всех этих тревог и мучений, он стоит значительно большего. Будьте уверены, *это* все пустяки! Ха-ха-ха! Капитан Катль,— сказала миссис Мак-Стинджер суровым голосом и приняв суровую осанку,— я желаю знать, намерены ли вы вернуться домой?

Испуганный капитан заглянул в свою шляпу, словно не видел другого выхода, как надеть ее и сдаться.

— Капитан Катль,— повторила миссис Мак-Стинджер все с тем же решительным видом,— я желаю знать, намерены ли вы вернуться домой, сэр?

Капитан, казалось, был совершенно готов идти, но

все-таки пролепетал слабым голосом, что «незачем поднимать из-за этого такой шум».

— Да-да-да! — успокоительным тоном сказал Бансби.— Стоп, милочка, стоп!

— А вы кто такой, с вашего разрешения? — с целомудренным величием отозвалась миссис Мак-Стинджер.— Вы проживали когда-нибудь в номере девятом на Бриг-Плейс, сэр? Может быть, память у меня плохая, но, мне кажется, моим жильцом были не вы. До меня жила в номере девятом некая миссис Джолсон, и, вероятно, вы приняли меня за нее. Только этим я и могу объяснить вашу фамильярность, сэр.

— Ну-ну, милочка, стоп, стоп! — сказал Бансби.

Капитан Катль не ждал того, что воспоследовало, даже от столь великого человека и едва мог этому поверить, хотя видел собственными глазами и наяву, как Бансби, смело шагнув вперед, обхватил миссис Мак-Стинджер своим косматым синим рукавом и так успокоил ее магическим жестом и этими немногими словами — больше он не промолвил ничего,— что она, посмотрев на него, залилась слезами и заметила, что ребенок и тот может теперь одержать над ней верх,— в таком подавленном состоянии она находится.

Лишившись дара речи и вне себя от изумления, капитан видел, как Бансби потихоньку увлек эту неумолимую женщину в лавку, вернулся за ромом, водой и свечой, отнес все это к ней и умиротворил ее, не произнеся, повидимому, ни единого слова. Вскоре он заглянул в гостиную в своей лоцманской куртке и сказал: «Катль, я ухожу, чтобы конвоировать ее домой», а капитан Катль в большем замешательстве, чем если бы его самого заковали в кандалы для препровождения на Бриг-Плейс, увидел, как все семейство во главе с миссис Мак-Стинджер мирно удалилось гуськом. Он едва успел достать свою металлическую чайницу и украдкой всунуть деньги Джулиане Мак-Стинджер, прежней своей любимице, и Чаули, который притязал на его расположение, обещая стать славным моряком, как все они покинули кров Мичмана. А Бансби, шепнув, что справится молодцом и еще раз окликнет Нэда Катля, прежде чем вернется на борт своего судна, захлопнул за собой дверь, замыкая процессию.

Тревожные мысли, что, быть может, он бредит и его посетили привидения, а отнюдь не семейство, созданное из плоти и крови, преследовали поначалу капитана, когда он вернулся в маленькую гостиную и остался в одиночестве. Однако безграничная вера в командира «Осторожной Клары» и беспредельное восхищение им одержали верх и привели капитана в восторженное состояние.

Но по мере того, как шло время, а Бансби все еще не возвращался, у капитана начали возникать мучительные сомнения иного порядка. Быть может, Бансби искусно заманили на Бриг-Плейс и держат там в заточении как заложника; в таком случае, капитану, как честному человеку, надлежит освободить его, пожертвовав собственной свободой. Быть может, Бансби был атакован и побежден миссис Мак-Стинджер и стыдится показаться на глаза после своего поражения. Быть может, миссис Мак-Стинджер, отличаясь неуравновешенным характером, передумала и повернула назад с намерением снова абордировать Мичмана, а Бансби, вызвавшись проводить ее кратчайшей дорогой, прилагал силы к тому, чтобы все семейство заблудилось в дебрях города. И, наконец, как подобает поступить ему, капитану Катлю, в том случае, если он больше ничего не услышит ни о Мак-Стинджерах, ни о Бансби, что казалось весьма вероятным при таком чудесном и непредвиденном стечении обстоятельств?

Обо всем этом он размышлял, пока не устал, а Бансби все не было. Он устроил себе постель под прилавком и приготовился ко сну; Бансби все не было. Наконец, когда капитан уже отчаялся увидеть его, по крайней мере — в этот вечер, и стал раздеваться, послышался стук колес, который замер у двери, после чего раздался оклик Бансби.

Капитан задрожал при мысли, что ему не удалось избавиться от миссис Мак-Стинджер и он привез ее назад в карете.

Нет! Бансби явился только в сопровождении большого сундука, который он собственноручно втащил в лавку и, едва успев втащить, сел на него. Капитан Катль признал в нем свой сундук, оставленный в доме миссис Мак-Стинджер, и, посмотрев более пристально, со свечою в руке,

на Бансби, предположил, что тому море по колено, или, проще говоря, что он пьян. Впрочем, убедиться в этом было трудно: у командира и в трезвом виде на физиономии ровно ничего не отражалось.

— Катль,— сказал командир, вставая с сундука и открывая крышку,— это ваши пожитки?

Капитан Катль заглянул в сундук и опознал свое имущество.

— Дело сделано исправно. Не так ли, приятель? — спросил Бансби.

Благодарный и ошеломленный капитан схватил его за руку и начал пространно выражать свое изумление, но Бансби, выдернув руку, сделал попытку подмигнуть своим вращающимся глазом, каковое усилие,— в том состоянии, в каком он находился,— едва не лишило его равновесия. Затем он резко распахнул дверь и стремительно удалился, дабы вернуться на борт «Осторожной Клары»,— по-видимому, таков был неизменный его обычай, когда он считал, что им одержана победа.

Так как Бансби не был расположен часто принимать гостей, капитан Катль решил не идти и не посылать к нему на следующий день или до той поры, пока командир не изъявит в этом смысле благосклонного своего желания или, если этого не случится, пока не истечет какой-то срок. Посему капитан на следующее же утро вернулся к своему уединенному образу жизни и не раз, по утрам, в полдень и вечером, погружался в размышления о старом Соле Джилсе, о мнениях Бансби касательно старика и о том, есть ли надежда на его возвращение. Такое раздумье укрепляло надежды капитана Катля, и он поджидал старого мастера у двери, осмеливаясь делать это теперь, когда он странным образом обрел свободу: ставил его кресло на обычное место и приводил в порядок маленькую гостиную, как в прежние времена,— на случай если тот вернется неожиданно. В своей рачительности он снял с гвоздя маленький портрет Уолтера-школьника, опасаясь, как бы он не произвел тяжелого впечатления на старика, когда тот войдет в дом. Иной раз у капитана возникало предчувствие, что он явится в такой-то день. А как-то в воскресенье он даже заказал два обеда — так велика была его надежда. Но старый Соломон не явился. А соседи по-

прежнему наблюдали, как человек, похожий на моряка, в глянцевитой шляпе, стоит по вечерам в дверях лавки и внимательно смотрит на улицу.

ГЛАВА XL

Семейные отношения

Было бы неестественно, если бы человек с таким характером, как мистер Домби, встретив противодействие со стороны столь энергической особы, какую он против себя восстановил, смягчил властный и суровый свой нрав или если бы холодная, непроницаемая броня гордыни, его облекавшая, стала более гибкой от непрестанного столкновения с высокомерием, презрением и негодованием. Проклятье такой натуры — оно-то и является, в основном, тем тяжким возмездием, какое в ней самой заключается,— состоит в том, что почтение и уступчивость способствуют развитию дурных ее свойств и служат для нее пищей, но наряду с этим сопротивление и противодействие настойчивым ее притязаниям питают ее ничуть не меньше. Злое начало в ней обретает силы для роста и развития в противоположностях: оно находит опору как в сладости, так и в горечи. Склоняются перед ней или ею пренебрегают — она по-прежнему порабощает сердце, в котором воздвигла свой престол, и боготворят ее или отвергают,— остается таким же суровым владыкой, как дьявол в мрачных легендах.

В своих отношениях к первой жене мистер Домби, холодный и высокомерный, держал себя, как некое высшее существо и едва ли не почитал себя таковым. Для нее он был «мистером Домби», когда она впервые его увидела, и оставался «мистером Домби» вплоть до ее смерти. Он утверждал свое величие на протяжении всей их супружеской жизни, и она покорно его признавала. Он сохранил за собой свое высокое положение на троне, а она — свое скромное местечко на нижней его ступени; и благо было ему, отдавшемуся в рабство единой идее. Он воображал, будто гордыня второй его жены соединится

с его гордыней, вольется в нее и укрепит его величие. Он видел себя более надменным, чем когда бы то ни было, полагая, что надменность Эдит будет споспешествовать его собственной надменности. Ему и в голову не приходило, что высокомерие супруги может обернуться против него. А теперь, когда он убедился, что оно преграждает ему путь на каждом шагу и повороте его повседневной жизни, обращая к нему свой холодный, вызывающий и презрительный лик, гордыня его, вместо того чтобы увянуть или склонить голову под ударом, пустила свежие побеги, стала более сосредоточенной и напряженной, более мрачной, угрюмой и неподатливой, чем когда-либо прежде.

Кто надевает такую броню, навлекает на себя также другое тяжкое возмездие. Броня непроницаема для примирения, любви и доверия, для всех нежных чувств, наплывающих извне, для сострадания, кротости, доброты. Но к глубоким уколам, наносимым самолюбию, она чувствительна так же, как обнаженная грудь — к ударам кинжала; и при этом открываются такие мучительные гнойники, каких не найти в других ранах, хотя бы их и нанесла железная рука самой гордыни, обратившаяся против гордыни более слабой, обезоруженной и поверженной.

Таковы были его раны. Он ощущал их болезненно в уединении своих старых комнат, куда он снова начал удаляться и проводить в одиночестве долгие часы. Казалось, судьба обрекла его быть всегда гордым и могущественным, всегда униженным и беспомощным, меж тем как он должен был быть особенно сильным. Кому суждено было осуществить эту волю рока?

Кому? Кому удалось завоевать любовь его жены так же, как некогда любовь его сына? Кто была та, которая оповестила его об этой новой победе, когда он сидел в темном углу? Кто была та, чье единое слово достигало цели, которой он не мог достигнуть при всем напряжении сил? Кто была та, лишенная его любви, заботы и внимания, которая цвела и преуспевала, тогда как умирали те, кого он оберегал? Кем могла она быть, как не той самой дочерью, на которую он часто посматривал смущенно в пору ее сиротливого детства, охваченный страхом, что может ее возненавидеть, и по отношению к которой его предчувствие сбылось, ибо он *ненавидел* ее?

Да, и он хотел ее ненавидеть и укрепил эту ненависть, хотя на девушку еще падал иногда отблеск того света, в каком она предстала перед ним в памятный вечер его возвращения с молодой женой. Он знал теперь, что она красива; он не оспаривал того, что она грациозна и обаятельна и что он был изумлен, когда она явилась перед ним во всем очаровании своей юной женственности. Но даже это он ставил ей в вину. Предаваясь мрачному и нездоровому раздумью, несчастный, смутно понимая свое отчуждение от всех людей и бессознательно стремясь к тому, что всю жизнь от себя отталкивал, усвоил превратное представление о своих правах и обидах и благодаря этому оправдывал себя перед ней. Чем более достойной его обещала она стать, тем больше склонен он был притязать задним числом на ее уважение и покорность. Разве выказывала она когда-нибудь свое уважение и покорность? Чью жизнь украшала она — его или Эдит? Кому первому открыла свое обаяние — ему или Эдит? Да ведь отношения между ними с самого ее рождения не походили на отношения между отцом и дочерью! Они всегда были чужды друг другу. Она всегда поступала наперекор ему. Теперь она участвовала в заговоре против него. Ее красота смягчала натуры, не склонившиеся перед ним, и оскорбляла его своим противоестественным торжеством.

Может быть, во всем этом слышался неясный голос чувства, проснувшегося в груди, хотя оно и вызвано было эгоистическим сознанием, что в ее власти сделать его жизнь иною. Но он заглушал эти далекие раскаты грома прибоем волн своей гордыни. Он не признавал ничего, кроме своей гордыни. И в гордыне своей, приносившей ему тревогу, тоску и мучения, он ненавидел ее.

Мрачному, упрямому, хмурому демону, которым он был одержим, его жена противопоставила свою — иную — гордость. Они никогда не могли бы жить счастливо вместе; но ничто не в силах было сделать их жизни более несчастной, чем эта умышленная и упорная борьба таких страстей. Его гордость настаивала на сохранении его верховной власти и требовала от жены признания этой власти. Она согласилась бы пойти на смертные муки, но до последней минуты не спускала бы с него надменного

взгляда, выражавшего спокойное, неумолимое презрение. Вот чего он добился от Эдит! Он не подозревал, какие бури и борьбу выдержала она, пока удостоилась чести принять его имя. Он не подозревал о том, на какие уступки, по ее мнению, она пошла, когда позволила ему назвать ее женой.

Мистер Домби решил показать ей, что он — владыка. Нет и не может быть иной воли, кроме его воли. Он хотел, чтобы она была гордой, но ее гордость должна была служить его интересам, а не быть в ущерб им. Когда он сидел с ожесточившимся сердцем, в одиночестве, он часто слышал, как она уезжала и возвращалась домой, поглощенная заботами лондонской жизни и уделяя столько же внимания его симпатиям и антипатиям, его удовольствию и неудовольствию, сколько могла уделять, если бы он был ее грумом. Ее холодное, величественное равнодушие — его собственное неоспоримое качество, ею у него похищенное,— оскорбляло его больше, чем могло бы оскорбить любое иное поведение. И он решил, что заставит ее склониться перед его могучей, всеподавляющей волей.

Он давно уже размышлял об этом и однажды, поздно вечером, услыхав, что она вернулась домой, отправился к ней, на ее половину. Она была одна, в ослепительном наряде, и только что пришла от своей матери. Вид у нее был печальный и задумчивый, когда он предстал перед ней; но она заметила его еще в дверях, ибо, взглянув в зеркало, перед которым она сидела, он тотчас же увидел, словно в картинной раме, сдвинутые брови и мрачное выражение прекрасного лица, столь хорошо ему знакомое.

— Миссис Домби,— сказал он, входя,— разрешите мне поговорить с вами.

— Завтра,— отозвалась она.

— Сейчас самый подходящий момент, сударыня,— возразил он.— Вы заблуждаетесь относительно своего положения. Я привык назначать время сам. Мне его не назначают. Мне кажется, вы вряд ли понимаете, миссис Домби, кто я!

— Мне кажется,— ответила она,— я вас очень хорошо понимаю.

При этом она посмотрела на него и, скрестив на груди белые руки, сверкавшие золотом и драгоценными камнями, отвернулась.

Будь она не так красива и не так величественна в своем холодном спокойствии, быть может, не было бы у нее власти внушить ему мысль о невыгоде его положения — мысль, проникшую сквозь броню гордыни. Но эта власть у нее была, и он остро ее почувствовал. Он окинул взглядом комнату, увидел, что великолепные принадлежности туалета, служившие для украшения ее особы, и роскошные уборы валяются повсюду и брошены как попало — не только из прихоти и беспечности (во всяком случае, так показалось ему), но в силу упорного, высокомерного пренебрежения дорогими вещами. И тогда он еще острее и отчетливее осознал свое положение. Гирлянды цветов, перья, драгоценности, кружева, шелк, атлас — куда бы он ни взглянул, всюду он видел сокровища, брошенные с презрением. Даже бриллианты — свадебный подарок,— беспокойно поднимаясь и опускаясь на ее груди, словно хотели разорвать цепь, которая скрепляла их, охватывая ее шею, и рассыпаться по полу, где она могла бы попирать их ногами.

Он понял невыгоду своего положения и не скрыл этого. Напыщенный и чуждый этим ярким краскам и чувственному блеску, отчужденный и сдержанный в присутствии высокомерной госпожи, чью неприступную красоту этот блеск повторял и отражал как бы в бесчисленных осколках зеркала, он испытывал смущение и замешательство. Все, что способствовало ее презрительному самообладанию, неизбежно раздражало его. Раздраженный и недовольный самим собой, он сел и, пребывая попрежнему в дурном расположении духа, продолжал:

— Миссис Домби, нам совершенно необходимо прийти к какому-то соглашению. Ваше поведение, сударыня, мне не нравится.

Она снова бросила на него взгляд и снова отвернулась, но если бы она говорила в течение часа, ей не удалось бы выразиться более красноречиво.

— Повторяю, миссис Домби, ваше поведение мне не нравится. Однажды я уже воспользовался случаем и попросил, чтобы вы его изменили. Теперь я этого требую.

— Вы выбрали подходящий случай для первого вашего выговора, сэр, и вы нашли подобающий тон и подобающие выражения для второго. *Вы* требуете! От *меня!*

— Сударыня,— сказал мистер Домби с оскорбительно-высокомерным видом,— я вас сделал своей женой. Вы носите мое имя. Вы связаны со мной — с моим общественным положением и моей репутацией. Не стану говорить, что свет, быть может, склонен считать этот союз почетным для вас, но я скажу, что привык предъявлять требования к моим близким и к людям, от меня зависящим.

— К какой из этих групп вам угодно отнести меня? — спросила она.

— Пожалуй, миссис Домби, я бы считал, что моя жена должна принадлежать — или, вернее, принадлежит и изменить этого не может — к обеим группам.

Она пристально посмотрела на него и сжала дрожащие губы. Он видел, как трепещет ее грудь, видел, как лицо ее вспыхнуло и затем побледнело. Все это он мог видеть и видел; но он не мог знать, что в тайниках ее сердца одно, шепотом произнесенное слово заставляло ее сохранять спокойствие, и это слово было — Флоренс.

Слепой безумец, стремящийся к пропасти! Он думал, что она стоит в страхе перед *ним!*

— Вы слишком расточительны, сударыня,— сказал мистер Домби.— Вы не знаете меры. Вы бросаете на ветер огромные деньги — или, вернее, это огромные деньги для большинства джентльменов,— поддерживая знакомства, которые для меня бесполезны и даже неприятны мне. Я принужден настаивать на том, чтобы это положение решительным образом изменилось. Знаю, что, получив внезапно десятую долю тех средств, какие судьба предоставила в ваше распоряжение, леди склонны впадать в крайности. Этих крайностей было более чем достаточно. Мне бы хотелось, чтобы опыт, приобретенный миссис Грейнджер,— опыт совсем иной,— принес теперь пользу миссис Домби.

Снова пристальный взгляд, дрожащие губы, трепещущая грудь, лицо, то краснеющее, то бледнеющее, и снова тихий шепот: «Флоренс, Флоренс», который слышался ей в биении ее сердца.

Его дерзкая самоуверенность возросла, когда он увидел эту перемену в ней. Воспаленная постоянным ее презрением к нему и недавним ощущением невыгоды своего положения не меньше, чем теперешней ее покорностью (так он истолковывал ее поведение), эта самоуверенность уже не знала границ. Кто мог долго противиться надменной его воле и желаниям? Он решил одержать над ней верх, и вот — смотрите!

— Далее, сударыня,— продолжал мистер Домби тоном властным и повелительным,— соблаговолите хорошенько понять, что вам надлежит уважать меня и слушаться. Что перед лицом света следует оказывать мне полное и явное уважение, сударыня. Я к этому привык. Я имею право это требовать. Короче говоря, я этого желаю. Я считаю это соответствующим вознаграждением за то высокое положение в обществе, какое выпало вам на долю. И, полагаю, никого не удивит, что это уважение от вас требуется и что вы его оказываете. Мне, мне! — добавил он выразительно.

Она безмолвствует. Никакой перемены в ней. Взгляд устремлен на него.

— Я узнал от вашей матери, миссис Домби,— сказал мистер Домби с внушительной важностью,— то, что вам несомненно известно, а именно: для поправления здоровья ей советуют поехать в Брайтон. Мистер Каркер был так любезен...

С ней внезапно произошла перемена. Ее лицо и шея вспыхнули, как будто на них упал красный отблеск солнечного заката. Не оставив без внимания этой перемены и истолковав ее по-своему, мистер Домби продолжал:

— Мистер Каркер был так любезен, что съездил туда и на время снял там дом. По возвращении вашем в Лондон я приму меры, какие считаю необходимыми, для лучшего ведения хозяйства. Одной из таких мер будет приглашение на место экономки (если это удастся) проживающей в Брайтоне очень почтенной особы, которая находится в стесненных обстоятельствах, некоей миссис Пипчин, прежде оказывавшей услуги моей семье и пользовавшейся моим доверием. Для ведения хозяйства в этом доме, возглавляемом лишь номинально миссис Домби, требуется опытный человек.

Прежде чем он произнес эти слова, она изменила позу: теперь она сидела — по-прежнему глядя на него пристально — и вертела на руке браслет, повертывала его не с женственной осторожностью, но натирала им гладкую кожу, пока на белой руке не появилась красная полоса.

— Я заметил,— сказал мистер Домби,— и этим я закончу то, что считаю нужным сообщить вам сегодня, миссис Домби,— минуту тому назад я заметил, сударыня, что мое упоминание о мистере Каркере было принято вами несколько странно. В тот день, когда я при этом доверенном лице указал вам, что недоволен вашей манерой принимать моих гостей, вам угодно было возражать против его присутствия. Вам придется воздержаться от подобных возражений, сударыня, и приучить себя к его присутствию, весьма возможно, во многих подобных случаях, если вы не воспользуетесь средством, которое у вас в руках,— иными словами, если не лишите меня оснований для недовольства. Мистер Каркер,— продолжал мистер Домби, который после отмеченного им смятения почитал действенным вновь открытое средство смирять гордость жены и, быть может, не прочь был показать означенному джентльмену свою власть в новом аспекте,— мистер Каркер, пользуясь моим доверием, миссис Домби, прекрасно может пользоваться и вашим доверием в равной мере и в равных пределах. Надеюсь, миссис Домби,— продолжал он спустя несколько секунд, на протяжении коих, в приливе высокомерия, он укрепился в своей идее,— надеюсь, я никогда не сочту необходимым поручить мистеру Каркеру передачу вам какого-либо замечания или порицания, но так как, принимая во внимание мое положение и репутацию, для меня были бы унизительны частые пререкания из-за пустяков с той леди, которую я удостоил наивысшей чести, какую в моей власти было оказать, я, не колеблясь, прибегну к его услугам, если у меня будут для этого основания.

«А теперь,— подумал он, вставая, в сознании собственного морального величия, еще более непреклонный и непроницаемый, чем когда бы то ни было,— она знает меня и знает мое решение».

Рука, с такой силой нажимавшая на браслет, тяжело

лежала теперь на груди, и Эдит, смотря на мистера Домби, все с тем же застывшим лицом, сказала тихо:

— Подождите! Ради бога! Я должна поговорить с вами.

Почему не заговорила она раньше и какая происходила в ее душе борьба, на несколько минут лишившая ее дара речи? Благодаря страшному напряжению воли лицо ее оставалось неподвижным, как лицо статуи,— обращенное к мужу, оно не выражало ни мягкости, ни жесткости, ни приязни, ни ненависти, ни гордости, ни смирения — ничего, кроме пытливого внимания!

— Разве я когда-нибудь соблазняла вас, заставляя искать моей руки? Разве я когда-нибудь пользовалась какими бы то ни было уловками, чтобы прельстить вас? Разве я была более расположена к вам, когда вы за мной ухаживали, чем после нашей свадьбы? Была ли я когда-нибудь по отношению к вам иной, чем теперь?

— Совершенно незачем это обсуждать, сударыня,— сказал мистер Домби.

— Думали ли вы, что я вас люблю? Было ли вам известно, что я вас не люблю? Да разве вы когда-нибудь задумывались о моем сердце или ставили себе целью завоевать ничего не стоящую вещь? Разве был хоть какой-нибудь намек на это при заключении нашей сделки? С вашей стороны или с моей?

— Эти вопросы, сударыня,— сказал мистер Домби,— не имеют никакого отношения к делу.

Она встала между ним и дверью, чтобы помешать ему уйти, и, выпрямившись во весь рост, продолжала смотреть на него в упор.

— Вы отвечаете на каждый из них. Вижу, что вы отвечаете раньше, чем я их задаю. Можете ли вы отвечать иначе — вы, которому жалкая правда известна не хуже, чем мне? Теперь скажите: если бы я любила вас преданно, могла ли бы я сделать для вас больше, чем отдать вам всю мою волю и себя целиком, как вы этого только что потребовали? Если бы сердце у меня было чистое и неискушенное и если бы вы были его кумиром, могли бы вы потребовать большего, могли бы вы получить больше?

— Быть может, и нет, сударыня,— ответил он холодно.

— Вы знаете, что я совсем иная. И можете угадать по моему лицу мои чувства к вам.— Гордые губы не дрогнули, темные глаза не вспыхнули, по-прежнему взгляд был пристальный и испытующий.— Вы знаете в общих чертах мою жизнь. Вы говорили о моей матери. Неужели вы думаете, что можете унизить, согнуть, сломить *меня,* принудив к подчинению и послушанию?

Мистер Домби улыбнулся, как улыбнулся бы он, если бы задали ему вопрос, может ли он достать десять тысяч фунтов.

— Если происходит что-то необычное здесь,— продолжала она, легко проведя рукой над глазами, которые оставались такими же неподвижными,— и, я знаю, необычные чувства теснятся вот тут,— она приподняла руку, которую прижимала к груди, и снова тяжело опустила ее на грудь,— то поймите: есть нечто странное и в той просьбе, с какой я намереваюсь к вам обратиться. Да,— быстро сказала она, словно отвечая на мимолетное изменение в его лице,— дело в том, что я хочу обратиться к вам с просьбой.

Мистер Домби, со снисходительным видом опустив слегка подбородок, отчего затрещал его туго накрахмаленный воротничок, сел на стоявшую поблизости софу, чтобы выслушать просьбу.

— Если вы поймете, что и мне самой,— ему показалось, будто на глазах у нее блеснули слезы, и он подумал об этом не без самодовольства, хотя ни одна слезинка не скатилась по ее щеке и на него она смотрела все тем же пристальным взглядом,— мне самой кажется почти невероятным мое решение обратиться с просьбой к человеку, ставшему моим мужем, а в особенности к вам,— если вы это поймете, быть может, вы придадите большее значение моим словам. Тяжелая развязка, к которой мы приближаемся и, может быть, придем, отразится не только на нас (это было бы не так важно), но и на других.

На других! Он знал, к кому относилось это слово, и сурово нахмурился.

— Я обращаюсь к вам ради других. А также ради вас и ради себя самой. После нашей свадьбы вы держали себя высокомерно по отношению ко мне, и я платила вам тем же. Ежедневно и ежечасно вы давали понять мне и всем

окружающим, что, по вашему мнению, союз наш является для меня высокой честью. Я думаю иначе и в свою очередь давала это понять. Вы как будто не признаете или (поскольку это в вашей власти) не намерены признать, что каждый из нас должен идти своей дорогой. Вместо этого вы добиваетесь от меня покорности, которой не дождетесь никогда.

Хотя выражение ее лица не изменилось, это «никогда» было энергически подчеркнуто той силой, с какой она произнесла его.

— Я не питаю к вам никаких нежных чувств. Вы это знаете. Если бы я их питала или могла питать, вам это было бы безразлично. Знаю прекрасно, что и вы никаких нежных чувств ко мне не питаете. Но мы связаны друг с другом, и, я уже сказала, узы, нас соединяющие, опутывают также и других. Мы оба рано или поздно должны умереть. Мы оба уже связаны с умершими, каждый из нас лишился ребенка. Будем снисходительны.

Мистер Домби глубоко вздохнул, как будто желая сказать: «О! И *это* все?»

— Ни за какие сокровища в мире,— продолжала она, следя за ним и бледнея, тогда как глаза ее еще ярче заблестели,— нельзя было бы купить у меня эти слова. Если отмахнуться от них, как от пустой фразы, никакие сокровища и никакая власть не могут их вернуть. Я их произнесла. Я их взвесила, и я исполню то, за что берусь. Если вы обещаете быть снисходительным, я со своей стороны дам обещание быть снисходительной. Мы с вами — самая несчастная супружеская чета, у которой, по разным причинам, вырвано с корнем все, что освящает или оправдывает брак. Но со временем мы можем достигнуть дружеского расположения или приспособиться друг к другу. Я постараюсь на это надеяться, если и вы приложите усилие. И я буду утешать себя надеждой на более достойную и счастливую жизнь, чем та, какую я вела в юности и в расцвете лет.

Все время она говорила тихим, ровным голосом, не повышая его и не понижая; замолчав, она опустила руку, которую прижимала к груди, принуждая себя быть бесстрастной и спокойной, но не опустила глаз, столь пристально за ним следивших.

— Сударыня,— с величайшим достоинством сказал мистер Домби,— я не могу принять такие необычайные предложения.

Она продолжала смотреть на него все так же пристально.

— Я не могу,— сказал мистер Домби, вставая,— идти на соглашение, миссис Домби, или вступать с вами в переговоры по вопросу, относительно коего вам известно мое мнение и мои желания. Я предъявил вам *ультиматум,* сударыня, и мне остается только просить, чтобы вы обратили на него серьезнейшее внимание.

Он видел, как изменилось ее лицо и появилось на нем прежнее, но более напряженное выражение. Он видел, как опустились глаза, словно она не захотела смотреть на какой-то гнусный и ненавистный предмет. Он видел, как озарилось надменное чело. Он видел, как прорвались наружу презрение, гнев, негодование и отвращение, а бледная, тихая убежденность рассеялась, как дым. Он не мог не смотреть на нее, но смотрел он с ужасом.

— Ступайте, сэр! — сказала она, величественно указывая рукой на дверь.— Наш первый и последний искренний разговор кончен. Отныне ничто не может сделать нас более чуждыми друг другу, чем чужды мы сейчас.

— Можете быть уверены, сударыня,— сказал мистер Домби,— что я буду поступать так, как считаю правильным, невзирая ни на какие разглагольствования.

Она повернулась к нему спиной и молча села перед зеркалом.

— Сударыня, я возлагаю надежду на то, что вы обретете более правильное понимание долга, более достойные чувства и бо̀льшую рассудительность,— сказал мистер Домби.

Она не ответила ни слова. По выражению ее лица, отраженного в зеркале, он понял, что она не обращает на него ни малейшего внимания, как будто бы он был незамеченным ею пауком на стене, или жуком на полу, или, вернее, словно он был пауком или жуком, замеченным ею и раздавленным, после чего она отвернулась и забыла о нем, как забывают об омерзительных мертвых гадах.

В дверях он оглянулся и окинул взором ярко освещенную роскошную комнату, красивые вещи, расставлен-

ные повсюду, фигуру Эдит, сидящей в нарядном платье перед зеркалом, и лицо Эдит, отраженное в зеркале. И он ушел к себе, в свою комнату, где уже так давно предавался размышлениям, и унес с собою яркое воспоминание обо всем виденном и странную безотчетную мысль (иной раз такие мысли приходят в голову) о том, какова будет эта комната, когда он увидит ее в следующий раз.

Мистер Домби был очень молчалив, очень важен и очень уверен в том, что достигнет цели.

Он не намерен был сопровождать семейство в Брайтон. Но за завтраком в день отъезда, то есть дня через два, он милостиво уведомил Клеопатру, что собирается скоро приехать туда. Нельзя было медлить с отправкой Клеопатры в такое место, которое считалось целебным, ибо она и в самом деле грозила рассыпаться в прах.

Хотя второго удара не последовало, но, оправляясь после первого, старуха как будто подвигалась не вперед, а назад. Она еще больше похудела и сморщилась, ее слабоумие проявлялось резче, а путаница в мыслях и провалы в памяти казались еще более странными. Помимо других симптомов, у нее развилась привычка путать имена ее двух зятьев, живого и умершего, и обычно называть мистера Домби либо «Грейнджби» либо «Домбер», а иногда и так и этак вперемежку.

Но она все молодилась, по-прежнему очень молодилась. И моложавой она явилась к завтраку в день отъезда, в новой шляпке, специально для этого заказанной, и в дорожном платье, которое было разукрашено вышивкой и обшито шнурком, как платьице престарелого младенца. Нелегко было надеть эту воздушную шляпку, а когда она уже была надета, нелегко удержать ее на подобающем ей месте, на бедной трясущейся голове. Теперь шляпка не только производила странное впечатление, упорно сползая набекрень, но вдобавок ее приходилось беспрестанно похлопывать по тулье, каковую обязанность исполняла горничная Флауэрс, прислуживавшая на заднем плане во время завтрака.

— Ну, дорогой мой Грейнджби,— сказала миссис Скьютон,— вы должны непрем общать,— некоторые слова она обрубала, а из других выбрасывала слоги,— приехать поскорей.

— Я только что сказал, сударыня,— произнес мистер Домби громко и раздельно,— что приеду дня через два.

— Благодарю вас, Домбер!

Тут майор, который пришел попрощаться и, с невозмутимым хладнокровием бессмертного существа, таращил свои апоплексические глаза на миссис Скьютон, сказал:

— Ах, боже мой, сударыня, вы не приглашаете старого Джо!

— Самодеянное создание, кто он такой? — просюсюкала Клеопатра. Но Флауэрс, хлопнув по шляпке, как будто освежила ее память, после чего она добавила:— Ах, вы имеете в виду самого себя, злодей!

— Чертовски странно, сэр! — шепнул майор мистеру Домби.— Дело плохо! Она всегда одевалась слишком легко. (Сам майор был закутан до подбородка.) Но, говоря о Джо, кого может иметь в виду Дж. Б., если не старого Джо Бегстока... Джозефа... вашего раба... Джо, сударыня? Вот он! Вот этот человек! Вот сердце Бегстока, сударыня! — воскликнул майор, нанеся себе звучный удар в грудь.

— Дорогая моя Эдит... Грейнджби... это чрезвычайно странно,— брюзгливо сказала Клеопатра,— что майор...

— Бегсток! Дж. Б.! — вскричал майор, видя, что она старается вспомнить его фамилию.

— Ну, это неважно,— сказала Клеопатра.— Эдит, милочка, как тебе извест, я всегда забвала имена... о чем это я говорила?.. Ах, да!.. чрезвычайно странно, что столько людей хотят меня навестить. Я уезжаю ненадолго. Я вернусь. Право же, они могут дождать моего возвращения!

При этом Клеопатра посматривала на всех сидевших за столом и имела вид очень встревоженный.

— Я не хочу гостей... право же, я не хоч гостей,— сказала она,— маленький отдых... и все такое... вот что мне нужно. Дерзкие злодеи не должны приближ ко мне, пока я не стряхну с себя этого оцепенения.

И воскрешая свои кокетливые манеры, она попыталась слегка ударить майора веером, но вместо этого опрокинула чашку мистера Домби, которая стояла совсем в другой стороне.

Затем она позвала Уитерса и поручила ему хорошенько позаботиться о том, чтобы отдано было распоряжение о некоторых незначительных переделках в ее комнате, каковые должны быть закончены к ее возвращению; к ним надлежит приступить немедленно, ибо трудно сказать, как скоро она вернется; дело в том, что у нее множество обязательств, и самые разнообразные люди должны ее навестить. Уитерс выслушал эти распоряжения с подобающим почтеньем и поручился, что они будут исполнены, но, отступив шага на два, он, казалось, не мог удержаться, чтобы не бросить за ее спиной многозначительный взгляд на майора, который не мог удержаться, чтобы не бросить многозначительный взгляд на Клеопатру, а та не могла удержаться, чтобы не тряхнуть головой (в результате чего шляпка съехала ей на один глаз) и не застучать ножом и вилкой по тарелке, как будто она щелкала кастаньетами.

Одна только Эдит ни разу не подняла глаз ни на кого из сидевших за столом, и ее как будто не смущало то, что говорила и делала ее мать. Она прислушивалась к бестолковым речам или, во всяком случае, поворачивалась к матери, когда та ее окликала; вполголоса бросала в ответ несколько слов, когда это было необходимо, а иной раз прерывала ее, если та начинала говорить бессвязно, или одним словом направляла ее мысль на ту стезю, с которой она свернула. Мать, как бы ни была она рассеяна во всех отношениях, оставалась постоянной в одном: она все время следила за дочерью. Она смотрела на прекрасное лицо, неподвижное и строгое, словно высеченное из мрамора, то с боязливым восхищеньем, то с нелепым хихиканьем, стараясь вызвать на нем улыбку, то капризно проливая слезы и ревниво покачивая головой, как будто воображала, что дочь не обращает на нее внимания, но все время ощущая притягательную его силу,— это ощущение оставалось неизменным в отличие от прочих ее ощущений. С Эдит она иногда переводила взгляд на Флоренс и снова пугливо обращала его на Эдит; а иногда она старалась смотреть в другую сторону, чтобы не видеть лица дочери; но снова оно как будто притягивало ее, хотя Эдит не поворачивалась к ней, если та на нее не смотрела, и не смущала ее ни одним взглядом.

После завтрака миссис Скьютон сделала вид, будто с девической грацией опирается на руку майора, но в действительности ее энергически поддерживала с другой стороны горничная Флауэрс, а сзади подпирал паж Уитерс, и таким образом ее довели до кареты, в которой ей предстояло ехать вместе с Флоренс и Эдит в Брайтон.

— Неужели Джозеф окончательно изгнан? — спросил майор, просовывая в дверцу свою пурпурную физиономию.— Черт возьми, сударыня! Неужели Клеопатра так жестокосердна, что запрещает своему верному Антонию Бегстоку предстать пред лицом ее?

— Убирайтесь! — сказала Клеопатра.— Я вас не выношу. Если будете умником, можете навестить меня, когда я вернусь.

— Скажите Джозефу, сударыня, что он может жить этой надеждой,— ответил майор,— иначе он умрет от отчаяния.

Клеопатра содрогнулась и откинулась назад.

— Эдит, дорогая моя,— воскликнула она,— скажи ему...

— Что?

— Такие ужасные слова! — продолжала Клеопатра.— Он говорит такие ужасные слова!

Эдит сделала ему знак удалиться, приказала кучеру трогать и оставила несносного майора мистеру Домби. К нему он и вернулся посвистывая.

— Вот что я вам скажу, сэр,— объявил майор, заложив руки за спину и широко расставив ноги,— наша очаровательная приятельница попала в переделку.

— Что вы хотите этим сказать, майор? — осведомился мистер Домби.

— Я хочу сказать, Домби,— ответил майор,— что скоро вам предстоит стать зятем-сироткой.

Это шутливое определение его особы столь не понравилось мистеру Домби, что майор в знак глубокой серьезности закончил фразу лошадиным кашлем.

— Черт возьми, сэр,— сказал майор,— какой смысл приукрашивать факты! Джо — человек прямой, сэр. Такая у него натура. Если уж вы принимаете старого Джоша, берите его таким, каков он есть; и вы убедитесь,

что Дж. Б.— дьявольски шершавая старая терка. Домби, мать вашей жены собирается в дальний путь, сэр.

— Боюсь, что миссис Скьютон перенесла сильное потрясение,— с философическим спокойствием заметил мистер Домби.

— Потрясение, сэр! — воскликнул майор.— Она разбилась вдребезги!

— Однако перемена климата и уход могут оказаться весьма благотворными,— продолжал мистер Домби.

— Не верьте этому, сэр,— возразил майор.— Черт возьми, сэр, она никогда не укутывалась как следует! Если человек хорошенько не кутается,— сказал майор, застегивая свой светло-коричневый жилет еще на одну пуговицу,— у него нет надлежащей опоры. Но некоторые люди *хотят* умереть. Они *хотят* смерти. Черт возьми, они *хотят* этого! Они упрямы. Вот что я вам скажу, Домби, может быть, это некрасиво, может быть, это не утонченно, может быть, это грубо и просто, но человеческая порода улучшилась бы, сэр, если бы влить в нее немножко настоящей старой английской бегстоковской крови.

Сообщив эти драгоценные сведения, майор, лицо коего было поистине синим, каковы бы ни были другие качества, которыми он отличался или в коих нуждался для того, чтобы причислить себя к «настоящей старой английской» породе (эта порода никогда еще не была точно определена), майор унес свои рачьи глаза и апоплексическую физиономию в клуб и там пыхтел целый день.

Клеопатра, попеременно брюзгливая, самодовольная, бодрствующая и засыпающая, но неизменно юная, прибыла в тот же вечер в Брайтон, рассыпалась, по обыкновению, на куски и была уложена в постель. Здесь мрачная фантазия могла бы нарисовать грозный скелет, совсем непохожий на горничную,— скелет, стерегущий у розовых занавесок, привезенных сюда, чтобы они делились своим румянцем с Клеопатрой.

На высшем совете медицинских светил было постановлено, что она должна ежедневно выезжать на прогулку и ежедневно, если силы ей позволят, выходить из экипажа и прогуливаться пешком. Эдит готова была сопровождать ее — всегда готова была сопровождать ее, попрежнему безучастно-внимательная и невозмутимо пре-

красная,— и они выезжали вдвоем: с тех пор, как матери стало хуже, Эдит в присутствии Флоренс чувствовала себя неловко и как-то раз, поцеловав Флоренс, сказала ей, что предпочитает быть наедине с матерью.

Однажды миссис Скьютон пребывала в раздражительном и сварливом расположении духа, напоминающем ее состояние в период выздоровления после первого удара. Сначала она молча сидела в экипаже, посматривая на Эдит, потом взяла ее руку и горячо поцеловала. Дочь не отняла руки и не сопротивлялась, когда мать подняла ее, но эта рука, когда ее выпустили, снова упала. Тогда миссис Скьютон начала хныкать и причитать, говорить о том, какой она была прекрасной матерью и как ею пренебрегают. Время от времени она снова принималась капризно твердить об этом, когда они уже вышли из экипажа, и она, прихрамывая, тащилась, опираясь на Уитерса и на палку; Эдит шла рядом, а экипаж медленно следовал за ними на некотором расстоянии.

Был холодный, пасмурный, ветреный день; они находились среди меловых холмов, и между ними и горизонтом не было ничего, кроме бесплодного пространства. Мать, брюзгливо наслаждаясь своей монотонной жалобой, все еще повторяла ее вполголоса, а дочь с горделивой осанкой медленно шла подле нее, но вот над темным гребнем холма показались две приближающиеся к ним фигуры, которые издали были так похожи на карикатурное повторение их самих, что Эдит остановилась.

Как только она остановилась, остановились и эти две фигуры. И та, кто, по мнению Эдит, была искаженным подобием ее матери, с жаром сказала что-то другой, указывая на них рукою. Она, как будто не прочь была повернуть назад, но другая, в которой Эдит заметила такое сходство с собой, что испытала странное чувство, близкое к страху, пошла вперед, и они продолжали путь вместе.

Большую часть этих наблюдений Эдит сделала, идя им навстречу, ибо она приостановилась только на секунду. Подойдя ближе, она увидела, что они одеты бедно, как путники, бредущие пешком от деревни к деревне, и молодая женщина несет какое-то вязанье и еще какие-то вещи, предназначенные для продажи, а старуха плетется с пустыми руками.

И, однако, сколь ни велика была разница в одежде, положении, красоте, Эдит все еще невольно сравнивала молодую женщину с собою. Быть может, она видела на ее лице следы того, что таилось и у нее в душе, но не пробилось еще на поверхность. А когда женщина приблизилась и, отвечая на ее взгляд, пристально взглянула на нее сверкающими глазами, несомненно напоминая ее самое обликом и осанкой и словно думая о том же,— тогда Эдит почувствовала, что дрожь пробежала у нее по спине, как будто день стал пасмурнее и ветер холоднее.

Теперь они поравнялись. Старуха, назойливо протягивая руку, остановилась попросить милостыню у миссис Скьютон. Молодая женщина тоже остановилась, и они с Эдит посмотрели друг другу в глаза.

— Что у вас есть для продажи? — спросила Эдит.

— Только вот это,— ответила женщина, показывая свой товар, но не смотря на него.— Себя я уже давно продала.

— Миледи, не верьте ей,— захрипела старуха, обращаясь к миссис Скьютон.— Не верьте тому, что она говорит! Ей нравится болтать попусту. Это моя красивая, непочтительная дочь. За все, что я для нее сделала, она только и знает, что упрекает меня, миледи. Вот посмотрите, миледи, как она глядит на свою бедную, старую мать.

Когда миссис Скьютон вынула дрожащей рукою кошелек и торопливо нащупывала монеты, а другая старуха следила за ней с жадностью — алчное нетерпение и дряхлость почти столкнули их головами,— Эдит вмешалась.

— Я вас видела прежде,— обратилась она к старухе.

— Да, миледи,— приседая, сказала старуха.— Там, в Уорикшире, утром в роще. Когда вы ничего не хотели мне подать. Ну, а джентльмен — *тот* подал мне! Да благословит его бог, да благословит его бог! — прошамкала старуха, поднимая костлявую руку к небу и отвратительно усмехаясь своей дочери.

— Не говори мне, Эдит! — сердито сказала миссис Скьютон, предупреждая возражение с ее стороны.— Ты ничего в этом не понимаешь. Я не хочу, чтобы меня разубеждали. Я уверена, что это превосходная женщина и добрая мать.



— Да, да, миледи,— затараторила старуха, алчно протягивая руку.— Благодарю вас, миледи. Да благословит вас бог, миледи! Прибавьте еще шесть пенсов, дорогая леди, ведь вы сами добрая мать.

— Уверяю вас, моя славная старушка, со мной тоже обращаются иногда очень непочтительно,— захныкала миссис Скьютон.— Вот, возьмите! Пожмем друг другу руку. Вы добрая старушка, у вас столько этого... как оно там называется... и всего такого. Вы полны любви и так далее, не правда ли?

— О да, миледи!

— Я в этом уверена; таков и этот истинный джентльмен, Грейнджби. Я должна еще раз пожать вам руку. А теперь ступайте! И я надеюсь,— обратилась она к ее дочери,— что вы проявите больше благодарности и естественного, как оно там называется, и всего такого — я никогда не могла запомнить эти названия,— потому что не было на свете лучшей матери, чем эта добрая старушка. Идем, Эдит!

Когда развалины Клеопатры, хныча, поплелись прочь и, памятуя о находящихся по соседству румянах, осторожно вытирали слезы, старуха заковыляла в другую сторону, шамкая и пересчитывая деньги. Больше ни одним словом не обменялись Эдит и молодая женщина, не сделали ни одного жеста, но обе ни на секунду не сводили глаз друг с друга. Так стояли они лицом к лицу, пока Эдит, словно очнувшись, не прошла медленно вперед.

— Вы красивая женщина,— пробормотала ее тень, глядя ей вслед,— но красота нас не спасает. И вы гордая женщина, но гордость нас не спасает. Нам нужно бы узнать друг друга, когда мы встретимся снова.

ГЛАВА XLI

Новые голоса в волнах

Все идет так, как издавна шло. Волны охрипли, повторяя свои таинственные речи; песчаные гребни бороздят берег; морские птицы взмывают и парят; ветры и облака

летят по неисповедимым своим путям; белые руки манят в лунном свете, зазывая в невидимую, далекую страну.

С нежною, меланхолической радостью Флоренс снова видит старые места, где когда-то бродила такая печальная и, однако, счастливая, и думает о *нем* в тихом уголку, где оба они много, много раз вели беседу, а волны плескались у его ложа. И теперь, когда она сидит здесь в раздумье, ей слышится в невнятном, тихом ропоте моря повторение его коротенькой повести, сказанных им когда-то слов; и чудится, будто вся ее жизнь, и надежды, и скорби с той поры — и в заброшенном доме и в доме, превратившемся в великолепный дворец,— отражены в этой чудесной песне.

А кроткий мистер Тутс, слоняющийся поодаль, тоскливо посматривая на обожаемое им существо, мистер Тутс, последовавший сюда за Флоренс, но по своей деликатности не смеющий тревожить ее в такую минуту, также слышит реквием маленькому Домби в шуме волн, вздымающихся, и падающих, и вечно слагающих мадригал в честь Флоренс. Да, и он смутно понимает — бедный мистер Тутс! — что они нашептывают о тех временах, когда он был более разумным и отнюдь не тупоголовым; и слезы выступают у него на глазах, так как он боится, что стал теперь непонятливым и глупым и годным только для того, чтобы над ним смеялись; и тускнеет его радость, вызванная успокоительным шепотом волн, напоминающих ему, что он на время избавился от Петуха, ибо этот бойцовый экземпляр курятника отсутствует, тренируясь (за счет Тутса) перед великой битвой с Проказником.

Но мистер Тутс набирается храбрости, когда волны нашептывают ему сладостную мысль, и помаленьку, не раз останавливаясь в нерешимости, приближается к Флоренс. Заикаясь и краснея, мистер Тутс притворяется удивленным и говорит (от самого Лондона он неотступно следовал за ее каретой, наслаждаясь даже тем, что задыхался от пыли, вырывавшейся из-под колес) о своем крайнем изумлении.

— И вы взяли с собой Диогена, мисс Домби! — говорит мистер Тутс, пронзенный насквозь прикосновением маленькой ручки, столь ласково и доверчиво протянутой ему.

Несомненно Диоген здесь, и несомненно у мистера Тутса есть основания его заметить, так как Диоген устремляется к ногам мистера Тутса и, в ярости налетая на него, кувыркается, словно собака из Монтаржи *. Но Диогена останавливает кроткая хозяйка:

— Куш, Ди, куш! Неужели ты забыл, Ди, кому мы обязаны нашей дружбой? Стыдись!

О, хорошо Диогену прижиматься мордой к ее руке, и отбегать, и снова возвращаться, и носиться с лаем вокруг нее, и бросаться очертя голову на первого встречного, чтобы доказать свою преданность. Мистер Тутс тоже был бы не прочь броситься очертя голову на любого прохожего. Мимо идет какой-то военный, и мистеру Тутсу очень хотелось бы броситься на него стремглав.

— Диоген дышит родным воздухом, не правда ли, мисс Домби,— говорит мистер Тутс.

Флоренс с признательной улыбкой соглашается.

— Мисс Домби,— говорит мистер Тутс,— прошу прощенья, но если вы не прочь зайти к Блимберам, я... я иду туда.

Флоренс, не говоря ни слова, берет под руку мистера Тутса, и они отправляются в путь, а Диоген бежит впереди. У мистера Тутса дрожат колени; и хотя он великолепно одет, ему кажется, что костюм плохо сидит на нем, он видит морщинки на шедевре Берджеса и К°— и жалеет, что не надел самой парадной пары сапог.

Снаружи дом доктора Блимбера сохраняет все тот же педантический и ученый вид; а наверху есть окно, на которое она, бывало, смотрела, отыскивая бледное личико, и при виде Флоренс бледное личико в окне освещалось улыбкой, а исхудавшая ручка посылала воздушный поцелуй, когда она проходила мимо. Дверь отворяет тот же подслеповатый молодой человек, чья глупая улыбка, обращенная к мистеру Тутсу, является выражением слабохарактерности. Их вводят в кабинет доктора, где слепой Гомер и Минерва дают им аудиенцию, как в былые времена, под аккомпанемент степенного тиканья больших часов в холле и где глобусы стоят на прежнем месте, словно и мир неподвижен и ничто в нем не гибнет в силу всеобщего закона, по которому —

покуда мир вращается — все рано или поздно рассыпается в прах.

А вот и доктор Блимбер и его ученые ноги; вот и миссис Блимбер в своем небесно-голубом чепце; вот и Корнелия со своими рыжеватыми кудряшками и блестящими очками, по-прежнему роющаяся, как могильщик, в гробницах языков. Вот стол, на котором он сидел, покинутый, одинокий, «новичок»; и сюда доносится издалека воркование все тех же мальчиков, ведущих все ту же жизнь, все в той же комнате, на основании все тех же принципов!

— Тутс! — говорит доктор Блимбер.— Очень рад вас видеть, Тутс.

Мистер Тутс хихикает в ответ.

— И в таком прекрасном обществе, Тутс! — говорит доктор Блимбер.

Мистер Тутс, побагровев, объясняет, что случайно встретил мисс Домби, и так как мисс Домби, подобно ему самому, пожелала посетить старые места, они пришли вместе.

— Конечно, вам доставит удовольствие, мисс Домби,— говорит доктор Блимбер,— повидать наших молодых людей. Это все ваши бывшие однокашники, Тутс. Кажется, в наш маленький Портик не поступало новых учеников, дорогая моя,— говорит доктор Блимбер Корнелии,— с тех пор как мистер Тутс нас покинул?

— Кроме Байтерстона,— возражает Корнелия.

— Верно,— говорит доктор.— Для мистера Тутса Байтерстон — новое лицо.

Пожалуй, новое и для Флоренс, ибо в классе Байтерстон — уже не юный Байтерстон из пансиона миссис Пипчин — щеголяет в воротничке и галстуке и носит часы. Однако Байтерстон, рожденный под какою-то несчастливой бенгальской звездой, весь перепачкан чернилами, а его лексикон так распух от постоянного обращения к нему за справками, что не хочет закрываться и зевает, как будто и в самом деле устал от вечных приставаний. Зевает также и его хозяин, Байтерстон, выращиваемый под усиленным давлением доктора Блимбера; но в зевоте Байтерстона чувствуется злоба и угроза, и кое-кто слыхал, как он выражал желание, чтобы «ста-

рый Блимбер» попался ему в руки в Индии. Там он и опомниться не успеет, как его утащат в глубь страны Байтерстоновы кули и передадут с рук на руки тугам; * уж в этом он может не сомневаться!

Бригс по-прежнему ворочает жернова науки; а также и Тозер, и Джонсон, и все остальные; старшие ученики заняты преимущественно тем, что с превеликим усердием забывают все, что знали, когда были моложе. Все они столь же учтивы и бледны, как и в былые времена; и среди них мистер Фидер, бакалавр искусств, с костлявыми руками и щетинистой головой, трудится по-прежнему: в настоящий момент запущен в работу его Геродот, а остальные оси и валы лежат на полке за его спиной.

Огромное впечатление производит даже на этих степенных молодых джентльменов визит вырвавшегося на волю Тутса, на которого взирают с благоговением, словно на человека, который перешел Рубикон и дал зарок никогда не возвращаться, и чей покрой костюма и чьи драгоценные украшения заставляют перешептываться исподтишка. Однако желчный Байтерстон, которого не было здесь во времена мистера Тутса, в разговоре с младшими мальчиками притворяется, будто относится с презрением к последнему, и говорит, что хотелось бы ему увидеть разряженного Тутса в Бенгалии, где у его матери есть изумруд, принадлежащий ему, Байтерстону, и извлеченный из подножья трона раджи. Вот оно как!

Великое волнение вызвано также присутствием Флоренс, в которую молодые джентльмены немедленно снова влюбляются, все, кроме упомянутого желчного Байтерстона, не желающего влюбляться из духа противоречия. Черная ревность вспыхивает к мистеру Тутсу, и Бригс высказывает мнение, что Тутс в конце концов не такой уж взрослый. Но эта позорная инсинуация быстро опровергается мистером Тутсом, который громко говорит мистеру Фидеру, бакалавру искусств: «Как поживаете, Фидер?» — и приглашает его пообедать сегодня вместе у Бедфорда; в результате такого подвига он может теперь, если пожелает, выдавать себя за стреляного воробья, и оспаривать это будет трудновато.

Жмут руки, раскланиваются, и каждый молодой джентльмен горит желанием лишить Тутса милостей мисс

Домби, а после того, как мистер Тутс, хихикая, бросил взгляд на свой старый пюпитр, Флоренс и он удаляются с миссис Блимбер и Корнелией; и слышно, как за их спиной доктор Блимбер, выходя последним и закрывая дверь, говорит: «Джентльмены, сейчас мы возобновим наши занятия». Ибо только это, и вряд ли что еще, слышит доктор в шепоте волн, и за всю жизнь не слыхал он ничего другого.

Потом Флоренс потихоньку уходит и вместе с миссис Блимбер и Корнелией подымается наверх в старую спальню; мистер Тутс, понимая, что в нем, да и ни в ком другом, там не нуждаются, разговаривает с доктором в дверях кабинета, или, вернее, слушает, что говорит ему доктор, и удивляется, почему он почитал когда-то этот кабинет святилищем, а самого доктора с его округлыми ногами, кривыми, как у церковного фортепьяно, человеком, внушающим благоговейный ужас. Флоренс вскоре приходит и прощается; мистер Тутс прощается, а Диоген, который все это время безжалостно докучал подслеповатому молодому человеку, бросается к двери и с дерзким громким лаем летит вниз по откосу; тем временем Милия и другая служанка доктора выглядывают из окна верхнего этажа, весело подсмеиваясь над «этим Тутсом», и говорят о мисс Домби: «Ну, право же, разве она не похожа на своего брата, только еще красивее?»

Мистер Тутс, заметив слезы на лице Флоренс, страшно встревожен и смущен и сначала опасается, не допустил ли он промаха, предложив навестить Блимберов. Но он быстро успокаивается, когда она утверждает, что ей доставило большое удовольствие снова побывать здесь, и говорит об этом очень весело, пока они идут по пляжу. Слышатся голоса моря и ее нежный голос, и когда Флоренс и мистер Тутс приближаются к дому мистера Домби и мистер Тутс должен расстаться с ней, он порабощен до такой степени, что у него не остается и признаков свободной воли. Когда она на прощанье протягивает ему руку, он никак не может ее выпустить.

— Мисс Домби, прошу прощенья,— меланхолическим шепотом говорит мистер Тутс,— но если бы вы мне разрешили...

Улыбающиеся и невинные глаза Флоренс заставляют его тотчас же запнуться.

— Если бы вы мне разрешили... если бы вы не сочли это дерзостью, мисс Домби, если бы я мог... разумеется, без всякого поощрения, если бы я мог, знаете ли, надеяться,— говорит мистер Тутс.

Флоренс смотрит на него вопросительно.

— Мисс Домби,— говорит мистер Тутс, который чувствует, что теперь уже нельзя отступать,— право же, я обожаю вас до такой степени, что просто не знаю, что мне с собой делать. Я несчастнейший человек. Если бы мы не стояли сейчас на углу площади, я упал бы на колени и просил бы вас и умолял, без всякого поощрения с вашей стороны, дать мне только надежду, что я могу... могу считать, возможным, что вы...

— О, пожалуйста, не надо! — восклицает Флоренс, встревоженная и расстроенная.— О, прошу вас, не надо, мистер Тутс! Пожалуйста, перестаньте! Не говорите больше ничего. Будьте добры, сделайте мне такое одолжение, не говорите!

Мистер Тутс ужасно пристыжен и стоит с разинутым ртом.

— Вы были так добры ко мне,— продолжает Флоренс,— я вам так признательна, у меня столько оснований быть расположенной к вам как к лучшему другу, и, право же, я к вам так и расположена,— тут невинное лицо обращается к нему с самой ласковой и чистосердечной улыбкой,— и я уверена, что вы хотите только сказать мне «до свидания».

— Разумеется, мисс Домби,— говорит мистер Тутс,— я... я... именно это я и хочу сказать. Это не имеет никакого значения...

— До свидания! — восклицает Флоренс.

— До свидания, мисс Домби! — бормочет мистер Тутс.— Надеюсь, вы ничего плохого не подумаете. Это... это не имеет никакого значения, благодарю вас. Это не имеет ровно никакого значения.

Бедный мистер Тутс в полном отчаянии возвращается в свою гостиницу, запирается у себя в спальне, бросается на кровать и лежит очень долго: похоже на то, что это все-таки имеет огромное значение. Но мистер Фидер, бакалавр искусств, является к обеду — к счастью для мистера Тутса, ибо в противном случае неизвестно, когда

бы он встал. Мистер Тутс поневоле встает, чтобы встретить его и оказать ему радушный прием.

И благотворное влияние этой социальной добродетели — радушия (не говоря уже о вине и прекрасном угощении) — открывает сердце мистера Тутса и делает его разговорчивым. Он не сообщает мистеру Фидеру, бакалавру искусств, о том, что̀ произошло на углу площади, но когда мистер Фидер спрашивает его, «когда же это совершится», мистер Тутс отвечает, что «есть предметы, о которых...» — и тем самым немедленно ставит на место мистера Фидера. Далее мистер Тутс выражает удивление: какое право имел Блимбер обращать внимание на его появление в обществе мисс Домби! Если бы ему, Тутсу, угодно было счесть это дерзостью, он вывел бы его на чистую воду, невзирая на то, что Блимбер — доктор; но, полагает он, это объясняется только невежеством Блимбера. Мистер Фидер говорит, что нимало в этом не сомневается.

Впрочем, мистеру Фидеру как закадычному другу разрешено касаться некоего предмета. Мистер Тутс требует только, чтобы о нем говорили таинственно и задушевно. После нескольких стаканов вина он предлагает выпить за здоровье мисс Домби, присовокупив: «Фидер, вы понятия не имеете о том, с какими чувствами я предлагаю этот тост». Мистер Фидер отвечает: «О нет, имею, дорогой мой Тутс, и они делают вам честь, старина». Мистер Фидер преисполнен дружелюбия, жмет руку мистеру Тутсу и говорит, что, если когда-нибудь Тутсу понадобится брат, Тутс знает, где найти его. Мистер Фидер говорит также, что он порекомендовал бы мистеру Тутсу — если тому угодно прислушаться к его совету — выучиться играть на гитаре или хотя бы на флейте, ибо женщины, когда вы за ними ухаживаете, любят музыку, и он сам в этом убедился.

И тут мистер Фидер, бакалавр искусств, признается, что он имеет виды на Корнелию Блимбер. Он сообщает мистеру Тутсу, что не возражает против очков, и если доктор намерен совершить похвальный поступок и удалиться от дел, ну, что ж, в таком случае они будут обеспечены. По его мнению, человек, заработавший приличную сумму денег, обязан уйти от дел, и Корнелия

была бы такой помощницей, которой каждый может гордиться. В ответ на это мистер Тутс принимается воспевать хвалу мисс Домби и намекать, что иной раз он не прочь пустить себе пулю в лоб. Мистер Фидер упорно называет такой шаг опрометчивым и, желая примирить своего друга с жизнью, показывает ему портрет Корнелии в очках и со всеми прочими ее атрибутами.

Так проводит вечер эта скромная пара, а когда вечер уступает место ночи, мистер Тутс провожает домой мистера Фидера и расстается с ним у двери доктора Блимбера. Но мистер Фидер только поднимается на крыльцо, а по уходе мистера Тутса снова спускается вниз, бродит в одиночестве по берегу и размышляет о своих видах на будущее. Прогуливаясь, мистер Фидер ясно слышит, как волны вещают ему об окончательном уходе доктора Блимбера от дел, и испытывает нежное, романтическое удовольствие, созерцая фасад дома и мечтательно раздумывая о том, что доктор сначала выкрасит его заново и произведет полный ремонт.

Мистер Тутс в свою очередь бродит вокруг футляра, в коем хранится его жемчужина, и, в плачевном состоянии духа, вызывая некоторые подозрения у полисменов, взирает на окно, в котором виден свет, и нимало не сомневается, что это окно Флоренс. Но он ошибается, ибо это спальня миссис Скьютон. И в то время, как Флоренс, спящей в другой комнате, снятся сладкие сны, напоминающие ей о прошлом, вновь воскресшем,— женщина, которая в суровой действительности заменила на прежней сцене кроткого мальчика, вновь восстанавливая связь — но совсем по-иному! — с тлением и смертью, распростерта здесь бодрствующая и сетующая. Уродливая, изможденная, она лежит, не находя покоя на своем ложе; а подле нее, внушая ужас своей бесстрастной красотой — ибо ужас отражается в тускнеющих глазах старухи,— сидит Эдит. Что говорят им волны в тишине ночи?

— Эдит, чья это каменная рука поднялась, чтобы нанести мне удар? Неужели ты ее не видишь?

— Там ничего нет, мама, это вам только почудилось.

— Только почудилось! Все мне чудится. Смотри! Да неужели ты не видишь?

— Право же, мама, там ничего нет. Разве я бы сидела так спокойно, если бы там что-то было?

— Так спокойно? — Она бросает на нее испуганный взгляд.— Теперь это исчезло... а почему ты так спокойна? Уж это мне не чудится, Эдит. Я вся холодею, видя, как ты сидишь подле меня.

— Мне очень жаль, мама.

— Жаль! Тебе всегда чего-то жаль. Но только не меня!

Она начинает плакать, беспокойно вертит головой и бормочет о пренебрежительном к ней отношении и о том, какой она была матерью и какой матерью была эта добрая старуха, которую они встретили, и какие неблагодарные дочери у таких матерей. В разгар этих бессвязных речей она вдруг умолкает, смотрит на дочь, восклицает, что у нее в голове мутится, и прячет лицо в подушку.

Эдит с состраданьем наклоняется и окликает ее. Больная старуха обвивает рукой ее шею и с ужасом бормочет:

— Эдит! Мы скоро поедем домой, скоро вернемся. Ты уверена, что я вернусь домой?

— Да, мама, да.

— А что он сказал... как его там зовут... я всегда забывала имена... майор... это ужасное слово, когда мы уезжали... ведь это неправда? Эдит! — Она вскрикивает и широко раскрывает глаза.— Ведь со мною *этого* быть не может?

Каждую ночь горит свет в окне, и женщина лежит на кровати, и Эдит сидит подле нее, и беспокойные волны всю ночь напролет взывают к ним обеим. Каждую ночь волны твердят до хрипоты все те же таинственные речи; песчаные гребни бороздят берег; морские птицы взмывают и парят; ветры и облака летят по неисповедимым своим путям; белые руки манят в лунном свете, зазывая в невидимую далекую страну.

И больная старуха по-прежнему смотрит в угол, где каменная рука — по ее словам, это рука статуи с какого-то надгробия — занесена, чтобы нанести ей удар. Наконец она опускается, и безгласная старуха простерта на кровати, она скрючена и сморщена, и половина ее мертва.

Эту женщину, накрашенную и наштукатуренную на-смех солнцу, изо дня в день медленно провозят сквозь толпу; при этом она ищет глазами добрую старушку, которая была такой хорошей матерью, и корчит гримасы, тщетно высматривая ее в толпе. Такова эта женщина, которую часто привозят на взморье, и здесь останавливают коляску; но ее никакой ветер не может освежить, и нет для нее успокоительных слов в ропоте океана. Она лежит и прислушивается к нему; но речь его кажется ей непонятной и зловещей, и ужас отражен на ее лице, а когда взгляд ее устремляется вдаль, она не видит ничего, кроме пустынного пространства между землей и небом.

Флоренс она видит редко, а при виде ее сердится и гримасничает. Эдит всегда подле нее и не допускает к ней Флоренс; а Флоренс ночью в своей постели трепещет при мысли о смерти в таком обличии и часто просыпается и прислушивается, думая, что час пробил. Никто не ухаживает за старухой, кроме Эдит. Хорошо, что мало кто ее видит; и дочь бодрствует одна у ее ложа.

Тень сгущается на лице, уже покрытом тенью, заостряются уже заострившиеся черты, и пелена перед глазами превращается в надгробный покров, который заслоняет потускневший мир. Руки, копошащиеся на одеяле, слабо сжимаются и тянутся к дочери, и голос — не похожий на ее голос, не похожий ни на один голос, говорящий на языке смертных,— произносит: «Ведь я тебя выкормила!»

Эдит без слез опускается на колени, чтобы приблизиться к голове, ушедшей в подушки, и говорит:

— Мама, вы меня слышите?

Широко раскрыв глаза, та старается кивнуть в ответ.

— Можете ли вы припомнить ту ночь перед моей свадьбой?

Голова остается неподвижной, но по лицу видно, что она помнит.

— Я сказала тогда, что прощаю вам ваше участие в этом, и молила бога простить меня. Я сказала вам, что с прошлым мы с вами покончили. Сейчас я повторяю это снова. Поцелуйте меня, мама.

Эдит прикасается к бледным губам, и с минуту ничто не нарушает тишины. Через минуту ее мать со своим де-

вическим смехом — скелет Клеопатры — приподнимается на постели.

Задерните розовые занавески. Еще что-то кроме ветра и облаков летит по неисповедимым путям. Задерните поплотнее розовые занавески!

Сообщение о случившемся послано в город мистеру Домби, который навещает кузена Финикса (он еще не отбыл в Баден-Баден), только что получившего такое же сообщение. Добродушное создание вроде кузена Финикса — самый подходящий человек для свадьбы или похорон, и, принимая во внимание его положение в семье, с ним надлежит посоветоваться.

— Домби,— говорит кузен Финикс,— честное слово, я ужасно потрясен тем, что мы с вами встречаемся по случаю такого печального события. Бедная тетя! Она была чертовски жизнерадостной женщиной.

Мистер Домби отвечает:

— В высшей степени.

— И очень, знаете, моложавой на вид... сравнительно,— добавляет кузен Финикс.— Право же, в день вашей свадьбы я думал, что ее хватит еще на двадцать лет. Собственно говоря, я так и сказал одному человеку у Брукса — маленькому Билли Джоперу... вы его, конечно, знаете, он носит монокль?

Мистер Домби дает отрицательный ответ.

— Что касается похорон,— говорит он,— нет ли каких-нибудь предположений...

— Ах, боже мой! — восклицает кузен Финикс, поглаживая подбородок, на что у него как раз хватает руки, едва высовывающейся из манжеты,— я, право, не знаю! У меня в поместье есть усыпальница в парке, но боюсь, что она нуждается в ремонте, и, собственно говоря, она в чертовски плохом виде. Если бы не маленькая заминка в деньгах, мне бы следовало привести ее в порядок; но, кажется, туда приезжают и устраивают пикники за оградой усыпальницы.

Мистер Домби понимает, что это не годится.

— Там в деревне премиленькая церковь,— задумчиво говорит кузен Финикс,— чистейший образец англо-нор-

манского стиля, и вдобавок превосходно зарисованный леди Джейн Финчбери — она носит туго затянутый корсет,— но, говорят, здание испортили побелкой, и ехать туда далеко.

— Быть может, тогда в самом Брайтоне? — предлагает мистер Домби.

— Честное слово, Домби, вряд ли мы можем придумать что-нибудь лучшее,— говорит кузен Финикс.— Это, знаете ли, тут же, на месте, и городок очень веселый.

— А какой день удобно было бы назначить? — осведомляется мистер Домби.

— Я готов поручиться,— говорит кузен Финикс,— что меня устроит любой день, какой вы сочтете наиболее подходящим. Мне доставит величайшее удовольствие проводить мою бедную тетку до преддверия... собственно говоря, до... могилы,— говорит кузен Финикс.

— Вы можете уехать из города в понедельник? — спрашивает мистер Домби.

— В понедельник мне как раз очень удобно,— отвечает кузен Финикс.

Тогда мистер Домби сговаривается с кузеном Финиксом, что возьмет его с собой, и вскоре откланивается, а кузен Финикс провожает его до площадки лестницы и говорит на прощанье: «Право же, Домби, мне ужасно жаль, что вам приходится столько хлопотать из-за этого», на что мистер Домби отвечает: «Помилуйте!»

В назначенный день кузен Финикс и мистер Домби встречаются и едут в Брайтон и, совмещая в себе всех прочих, оплакивающих усопшую леди, провожают ее останки до места упокоения. Кузен Финикс, сидя в траурной карете, узнает по пути бесчисленных знакомых, но, соблюдая приличия, не обращает на них ни малейшего внимания и только называет вслух имена для сведения мистера Домби: «Том Джонсон. Человек с пробковой ногой, завсегдатай Уайта *. Как, и *вы* здесь, Томми? Фоли на чистокровной кобыле. Девицы Смолдер»... и так далее. При совершении обряда кузен Финикс приходит в уныние, отмечая, что в подобных случаях человек, собственно говоря, поневоле задумывается о том, что силы ему изменяют; и слезы навертываются у него на глазах, когда все уже кончено. Но он вскоре собирается с духом, и так же

поступают все прочие родственники и друзья миссис Скьютон, причем майор неустанно твердит в клубе, что она никогда хорошенько не укутывалась, а молодая леди с обнаженной спиной, которой столько хлопот причиняли ее веки, говорит, тихонько взвизгивая, что, должно быть, покойница была чудовищно стара и страдала самыми ужасными недугами, и нужно об этом забыть.

Итак, мать Эдит лежит, забытая своими добрыми друзьями, которые не слышат волн, твердящих до хрипоты все те же слова, и не видят песчаных гребней, избороздивших пляж, и белых рук, манящих в лунном свете и зазывающих в невидимую, далекую страну. Но все идет так, как издавна шло на берегу неведомого моря. И к ногам Эдит, стоящей здесь в одиночестве и прислушивающейся к волнам, прибиваются влажные водоросли, чтобы устелить ее жизненный путь.

ГЛАВА XLII,

повествующая о доверительном разговоре и о несчастном случае

Облеченный уже не в траурный костюм и зюйдвестку капитана Катля, но одетый в солидную коричневую ливрею, которая, притязая на скромность и простоту, была тем не менее такой самодовольной и самоуверенной, что могла сделать честь любому портному,— Роб Точильщик, столь преобразившийся внешне, а в глубине души вовсе пренебрегший капитаном и Мичманом, коим лишь изредка уделял несколько минут своего досуга, задирая нос перед этими достойными и неразлучными друзьями и припоминая под торжествующий аккомпанемент сей медной трубы — своей совести,— с каким триумфом он избавился от их общества,— Роб Точильщик служил теперь своему покровителю мистеру Каркеру. Проживая в доме мистера Каркера и состоя при его особе, Роб со страхом и трепетом взирал на белые зубы и чувствовал, что должен раскрывать свои круглые глаза шире, чем когда бы то ни было.

Содрогаться сильнее перед этими зубами он бы не мог даже в том случае, если бы находился в услужении у великого волшебника, а зубы были могущественнейшими талисманами. Мальчишка с такою силой ощущал власть своего патрона, что это поглощало все его внимание и требовало от него слепого повиновения и подчинения. Он не считал безопасным размышлять о патроне даже в его отсутствие, опасаясь, что его немедленно схватят за горло, как в то утро, когда он впервые предстал перед мистером Каркером, и он снова увидит, что каждый зуб обличает его и ставит ему в вину каждую его мысль. В умение мистера Каркера читать его тайные мысли, буде ему того захочется, Роб, находясь с ним лицом к лицу, верил так же твердо, как в то, что мистер Каркер его видит, когда на него смотрит. Влияние заведующего было столь велико и зачаровывало настолько, что, едва осмеливаясь об этом думать, он беспрестанно чувствовал над собой несокрушимую власть патрона, уверен был в его способности сделать что угодно с ним, Робом, и старался ему угождать и предупреждать его приказания, не видя и не слыша ничего вокруг.

Быть может, Роб не спрашивал себя — в таком состоянии было бы необычайным безрассудством задавать себе подобные вопросы,— не потому ли он всецело подчинился этому влиянию, что у него мелькали подозрения, будто его патрон в совершенстве овладел некоей наукой предательства, жалкие начатки коей сам Роб усвоил в школе Точильщиков. Но, разумеется, Роб не только боялся его, но и восхищался им. Пожалуй, мистер Каркер был лучше осведомлен об источниках своей власти и пользовался ею умело.

Отказавшись от места у капитана, Роб в тот же вечер, избавившись предварительно от своих голубей и даже заключив второпях невыгодную сделку, отправился прямо в дом мистера Каркера и, разгоряченный, с пылающим лицом, предстал перед своим новым хозяином, словно ожидая похвалы.

— Бездельник! — сказал мистер Каркер, взглянув на узелок.— Ты бросил свое место и пришел ко мне?

— О сэр,— забормотал Роб,— вы, знаете ли, сказали, когда я был здесь, в последний раз...

— Я сказал? — удивился мистер Каркер.— Что я сказал?

— Простите, сэр, вы ничего не сказали, сэр,— ответил Роб, почувствовавший угрозу в тоне мистера Каркера и пришедший в крайнее замешательство.

Его патрон посмотрел на него, обнажив десны, и, грозя указательным пальцем, произнес:

— Предчувствую, что ты плохо кончишь, друг-бродяга. Тебя ждет беда.

— Ох, пожалуйста, не говорите так, сэр! — воскликнул Роб, у которого ноги подкашивались.— Право же, сэр, я хочу только работать на вас, сэр, служить вам, сэр, и честно исполнять все, что мне прикажут.

— Советую честно исполнять все, что тебе прикажут, раз ты имеешь дело со мной,— отозвался его патрон.

— Да, я это знаю, сэр,— ответил покорный Роб.— Я уверен, что вы правы, сэр. Если бы только вы были так добры и испытали меня, сэр! А если когда-нибудь вы увидите, сэр, что я поступаю наперекор вашему желанию, пожалуйста, убейте меня.

— Щенок! — сказал мистер Каркер, откидываясь на спинку стула и безмятежно улыбаясь Робу.— Это ничто по сравнению с тем, что я с тобой сделаю, если ты вздумаешь обмануть меня.

— Да, сэр,— ответил несчастный Точильщик,— я уверен, что вы жестоко со мной расправитесь, сэр. Я бы и пытаться не стал обманывать вас, сэр, хотя бы мне сулили за это золотые гинеи.

Оробевший Точильщик, чьи надежды на похвалу не оправдались, стоял, смотря на своего патрона и тщетно стараясь не смотреть на него, в смущении, похожем на то, какое часто обнаруживает дворняжка при сходных обстоятельствах.

— Значит, ты отказался от прежнего места и пришел сюда просить меня, чтобы я взял тебя к себе на службу, да? — сказал мистер Каркер.

— Если вам будет угодно, сэр! — отвечал Роб, который, в сущности, поступал согласно инструкциям самого патрона, но сейчас не посмел даже намекнуть на это в свое оправдание.

— Ну, что ж! — сказал мистер Каркер.— Ты меня знаешь?

— Простите, сэр, да, сэр,— ответил Роб, теребя в руках шляпу; он по-прежнему был скован взглядом мистера Каркера и бесплодно пытался избавиться от оков.

Мистер Каркер кивнул.

— В таком случае берегись!

Множеством поклонов Роб выразил живейшее понимание этого предостережения и с поклонами отступал к двери, весьма ободренный перспективой очутиться за этой дверью, но патрон остановил его.

— Эй! — крикнул он, грубо возвращая его назад.— Ты привык... Закрой дверь!

Роб повиновался, как будто жизнь его зависела от его проворства.

— Ты привык торчать у замочной скважины. Тебе известно, что это значит?

— Подслушивать, сэр? — высказал догадку Роб после смущенного раздумья.

Его патрон кивнул.

— И подсматривать и прочее.

— Здесь я бы не стал этого делать, сэр,— сказал Роб.— Честное слово, сэр, умереть мне на этом месте, не стал бы, сэр, сколько бы мне за это ни посулили! Пусть мне предлагают все сокровища в мире, я не подумаю это делать, раз мне не приказано, сэр!

— Советую не делать. Ты привык также болтать и сплетничать,— с величайшим хладнокровием продолжал его патрон.— Остерегайся заниматься этим здесь, иначе несдобровать тебе, негодяй! — И он снова улыбнулся и снова погрозил ему указательным пальцем.

От ужаса Точильщик дышал прерывисто и хрипло. Он пытался доказать честность своих намерений, но мог только таращить глаза на улыбающегося джентльмена, с тупой покорностью, которая, по-видимому, удовлетворила улыбающегося джентльмена, ибо тот приказал ему идти вниз, после того как несколько секунд молча разглядывал его и дал ему понять, что принимает его к себе на службу.

Вот каким образом Роб Точильщик поступил к мистеру Каркеру, и его благоговейная преданность сему

джентльмену укреплялась и возрастала — если только это было возможно — с каждой минутой.

Он служил уже несколько месяцев, и вот однажды, ранним утром, ему пришлось распахнуть калитку перед мистером Домби, который приехал, как было условлено, позавтракать с его хозяином. В тот же момент сам хозяин стремительно бросился встречать важного гостя и приветствовал его всеми своими зубами.

— Я никогда не надеялся видеть вас здесь,— сказал Каркер, когда помог ему сойти с лошади.— Это исключительный день в моем календаре! Никакое событие не может быть особо примечательным для такого человека, как вы, которому доступно все; но для такого человека, как я, дело обстоит совсем иначе.

— Вы здесь устроились со вкусом, Каркер,— сказал мистер Домби, удостоив остановиться посреди лужайки и бросить взгляд вокруг.

— Вам угодно было это заметить,— отозвался Каркер.— Благодарю вас.

— Мне кажется, каждый мог бы это заметить,— сказал мистер Домби с надменно-покровительственным видом.— Насколько это возможно, местечко очень удобное и прекрасно устроенное... очень элегантное.

— Насколько это возможно. Совершенно верно! — ответил Каркер с пренебрежением.— Оно нуждается в этой оговорке. Ну, мы уже достаточно о нем поговорили. Вам угодно было похвалить его, я и благодарен. Не соблаговолите ли войти?

Войдя в дом, мистер Домби отметил — и для этого у него были основания — отличную отделку комнат и комфортабельную обстановку. Мистер Каркер, со своим показным смирением, встретил это замечание почтительной улыбкой и сказал, что понимает деликатный его смысл и ценит его, но поистине коттедж, как он ни убог, достаточно хорош для человека в его положении — лучше, быть может, чем надлежит ему быть.

— Но вам, столь высоко стоящему, может быть, он кажется лучше, чем есть на самом деле,— продолжал Каркер, растягивая до ушей свой лживый рот.— Монархи находят прелесть в жизни бедняков.

При этом он настороженно посмотрел на мистера Домби и настороженно улыбнулся, и посмотрел еще настороженнее и еще настороженнее улыбнулся, когда мистер Домби, встав перед камином в позу, которую так часто копировал его помощник, взглянул на висевшие на стенах картины. Пока холодный взгляд мистера Домби скользил по картинам, пристальный взгляд Каркера следовал за его взглядом и приноравливался к нему, точно отмечая, куда он устремлен. Когда он задержался на одной картине, Каркер, казалось, затаил дыхание — так пристально и по-кошачьи зорко следил он за своим принципалом,— но глаза мистера Домби скользнули по этой картине так же, как и по другим, и, по-видимому, она произвела на него не большее впечатление, чем все остальные.

Каркер посмотрел на картину — это был портрет женщины, похожей на Эдит,— как на живое существо, со злобным беззвучным смехом, брошенным, казалось, ей в лицо, но, в сущности, он осмеивал великого человека, который, ничего не подозревая, стоял рядом с ним. Вскоре был подан завтрак; и, предложив мистеру Домби кресло, повернутое спинкой к картине, он сел на свое обычное место, лицом к ней.

Мистер Домби был даже более степенным, чем обычно, и крайне молчаливым. Попугай, раскачиваясь в позолоченном кольце в своей нарядной клетке, тщетно старался привлечь к себе взоры, ибо Каркер слишком пристально наблюдал за своим гостем, чтобы обращать внимание на птицу; а гость, погруженный в размышления, сидел с задумчивой, чтобы не сказать — хмурой, миной, не отрывая глаз от скатерти. Что касается Роба, прислуживавшего за столом, то ему, посвятившему все силы и способности наблюдению за своим хозяином, едва ли пришло в голову, что гость был тем самым великим джентльменом, к которому его привозили в детстве как свидетельство о здоровье семьи и которому он был обязан кожаными штанишками.

— Разрешите спросить,— сказал вдруг Каркер,— как здоровье миссис Домби?

Задав этот вопрос, он подобострастно наклонился вперед, поддерживая рукою подбородок, и в то же время

поднял глаза на картину, как будто говорил ей: «Ну-ка, посмотри, как я его расшевелю!»

Мистер Домби, покраснев, ответил:

— Миссис Домби здорова. Вы мне напомнили, Каркер, что я хотел кое о чем побеседовать с вами.

— Робин, ты можешь уйти,— приказал хозяин, чей мягкий голос заставил Робина вздрогнуть и скрыться, причем он до последней минуты не спускал глаз со своего патрона.— Вы, конечно, не помните этого мальчика? — добавил Каркер, когда опутанный сетями Точильщик удалился.

— Нет,— сказал мистер Домби с величественным равнодушием.

— Мало вероятно, чтобы его запомнил такой человек, как вы. Вряд ли это возможно,— пробормотал мистер Каркер.— Но он принадлежит к той семье, из которой вы взяли кормилицу. Может быть, вы припоминаете, что великодушно приняли на себя заботу о его образовании?

— Это тот самый мальчик? — нахмурившись, спросил мистер Домби.— Кажется, он не делает чести полученному образованию.

— Да, боюсь, что это дрянной мальчишка,— пожимая плечами, ответил Каркер.— Такая у него репутация. Но суть вот в чем: я взял его к себе на службу, потому что он, не имея возможности подыскать себе место, вообразил (полагаю, ему внушили это дома), будто имеет какие-то права на вас, и постоянно добивался случая обратиться к вам с просьбой. И хотя установленные и признанные отношения мои к вашему дому носят исключительно деловой характер, но я чувствую такой непроизвольный интерес ко всему, вас касающемуся, что...

Он снова запнулся, как бы стараясь обнаружить, достаточно ли он успел расшевелить мистера Домби. И снова, поддерживая рукою подбородок, искоса посмотрел на картину.

— Каркер,— сказал мистер Домби,— я ценю то, что вы не ограничиваете вашей...

— Службы,— подсказал улыбающийся хозяин дома.

— Нет, я предпочитаю сказать — вашей заботы,— возразил мистер Домби, прекрасно сознавая, что делает

ему весьма лестный комплимент,— чисто деловыми отношениями. Примером тому служит внимание к моим чувствам, надеждам и разочарованиям, о чем свидетельствует этот незначительный случай, вами упомянутый. Я вам признателен, Каркер.

Мистер Каркер медленно наклонил голову и очень осторожно потер руки, словно боялся каким-нибудь движением прервать доверительные речи мистера Домби.

— Ваше сообщение очень своевременно,— продолжал мистер Домби после недолгих колебаний,— ибо оно расчищает путь к той теме, какую я намерен затронуть, и напоминает мне, что мои слова отнюдь не устанавливают каких-то новых отношений между нами, хотя, быть может, и свидетельствуют о большом доверии с моей стороны, чем то, каким я до сих пор...

— Удостаивали меня! — подсказал Каркер, снова наклоняя голову.— Не буду говорить о том, сколь я почтен. Такой человек, как вы, прекрасно знает, какую великую честь может он при желании оказать человеку.

— Миссис Домби и я,— сказал мистер Домби, с величественным пренебрежением пропустив мимо ушей этот комплимент,— не пришли к соглашению по некоторым вопросам. Мы как будто еще не понимаем друг друга. Миссис Домби должна кое-чему научиться.

— Миссис Домби отличается многими редкими качествами и несомненно привыкла к тому, чтобы ей курили фимиам,— сказал этот вкрадчивый, лукавый наблюдатель, подмечавший каждый взгляд и интонацию собеседника. Но там, где наличествует любовь, чувство долга и уважение,— там все маленькие промахи будут быстро заглажены.

Мистеру Домби невольно представилось лицо, обращенное к нему в будуаре его жены, когда властная рука указывала на дверь. И, вспомнив, как отражались на нем любовь, чувство долга и уважение, почувствовал, что кровь прилила к его щекам, а это подметили зоркие глаза, смотревшие на него.

— Миссис Домби и я,— продолжал он,— беседовали незадолго до смерти миссис Скьютон о причинах моего неудовольствия. О нем вы можете иметь некоторое пред-



ставление, так как были свидетелем того, что произошло между миссис Домби и мною, когда вы были у нас... у меня в доме.

— Когда я так сожалел о своем присутствии! — сказал улыбающийся Каркер.— Я горжусь вашим особым вниманием, как и надлежит гордиться человеку в моем положении, хотя я ничем его не заслужил. Вы можете делать что угодно, не роняя себя, я же, удостоившись быть представленным миссис Домби, прежде чем ей была пожалована высокая честь носить ваше имя, я, будьте уверены, почти сожалел в тот вечер, что в свое время мне на долю выпало такое счастье.

То обстоятельство, что кто-то, отмеченный его милостями и покровительством, мог при каких бы то ни было обстоятельствах об этом сожалеть, являлось феноменом, которого мистер Домби не постигал. Посему он произнес с сугубым достоинством:

— В самом деле? Но почему же, Каркер?

— Боюсь, что миссис Домби,— отвечал помощник, облеченный доверием,— которая никогда не была расположена отнестись ко мне с благосклонным вниманием — человек в моем положении не может ждать этого от леди, гордой от природы и чья гордость столь ей к лицу,— боюсь, что миссис Домби вряд ли простит мое невинное участие в том разговоре. Ваше неудовольствие — дело серьезное, вы это, конечно, знаете. И навлечь его на себя в присутствии третьего лица...

— Каркер,— надменно сказал мистер Домби,— смею думать, что в первую очередь нужно считаться со мной?

— О! могут ли быть какие-нибудь сомнения? — ответил тот с нетерпением, как человек, подтверждающий всем известный и неопровержимый факт.

— Полагаю, миссис Домби занимает второе место, когда дело касается нас обоих,— сказал мистер Домби.— Не так ли?

— Не так ли? — повторил Каркер.— Разве вы не знаете лучше всех, что вам незачем об этом спрашивать?

— В таком случае, я надеюсь, Каркер,— сказал мистер Домби,— ваши сожаления о неудовольствии миссис

Домби могут быть почти уравновешены вашим удовлетворением при мысли о том, что вы сохранили мое доверие и доброе о вас мнение.

— Вижу, что я действительно имел несчастье,— ответил Каркер,— вызвать это неудовольствие. Миссис Домби говорила вам об этом?

— Миссис Домби высказывала различные мнения,— заявил мистер Домби с высокомерной холодностью и равнодушием,— которых я не разделяю и которые не намерен обсуждать или вспоминать. Как я уже говорил вам, не так давно я предъявил миссис Домби известные требования касательно почтительности и покорности в семейной жизни, на которых я считал нужным настаивать. Мне не удалось убедить миссис Домби в необходимости немедленно изменить ее поведение в интересах ее собственного спокойствия и благополучия, а также моего достоинства. И я уведомил миссис Домби, что, если я найду нужным снова выразить протест, я передам ей свое мнение через вас, мое доверенное лицо.

Взгляд, направленный на него Каркером, сменился дьявольским взглядом, брошенным на картину над его головой, который упал на нее, как молния.

— А теперь, Каркер,— продолжал мистер Домби,— я, нимало не колеблясь, говорю вам, что добьюсь своего. Со мной нельзя шутить. Миссис Домби должна понять, что моя воля — закон и что я не намерен делать ни единого исключения из своих жизненных правил. Будьте добры взять на себя это поручение, которое, раз оно исходит от меня, надеюсь, не является для вас неприемлемым, с какой бы учтивостью ни выражали вы своего сожаления,— за него я благодарю вас от имени миссис Домби. И, я убежден, вы окажете мне любезность и исполните его столь же тщательно, как и всякую другую обязанность.

— Вы знаете,— сказал мистер Каркер,— что вам достаточно приказать мне.

— Знаю,— сказал мистер Домби, величественно выражая свое согласие,— что мне достаточно вам приказать. Я считаю необходимым предпринять дальнейшие шаги. Миссис Домби — леди, несомненно наделенная высокими достоинствами, чтобы...

— Чтобы оказать честь даже вашему выбору,— подсказал Каркер с подобострастной улыбкой.

— Да, если вам угодно воспользоваться этим выражением,— сказал мистер Домби внушительным тоном.— В настоящее время я не замечаю, чтобы миссис Домби оказывала ему должную честь. Есть дух противодействия в миссис Домби, который надлежит уничтожить, который надлежит сломить. Миссис Домби, по-видимому, не понимает,— энергически сказал мистер Домби,— что самая мысль о противодействии *Мне* — чудовищна и нелепа.

— Мы, в Сити, знаем вас лучше,— отозвался Каркер, улыбаясь и растягивая рот до ушей.

— Вы знаете меня лучше,— повторил мистер Домби.— Надеюсь. Впрочем, я должен отдать справедливость миссис Домби, хотя бы это и казалось несовместимым с ее дальнейшим поведением (оно остается прежним). В тот раз, когда я с некоторою суровостью высказал ей свое неодобрение и принятое мною решение, мое увещание произвело, по-видимому, очень сильное впечатление.— Мистер Домби изрек эти слова с самой величавой напыщенностью.— Итак, я хочу, Каркер, чтобы вы взяли на себя труд сообщить миссис Домби от моего имени, что я должен напомнить ей о нашем разговоре и несколько удивлен, почему он еще не возымел действия. Что я должен настаивать на согласовании ею своих поступков с требованиями, предъявленными ей в этом разговоре. Что я недоволен ее поведением. Что я чрезвычайно им недоволен. И что я принужден буду, как это ни печально, передать через вас еще более неприятные и точные предписания, если здравый смысл и надлежащие чувства не побудят ее подчиниться моим желаниям, как это сделала первая миссис Домби и — полагаю, я могу это добавить — как сделала бы всякая другая леди на ее месте.

— Первая миссис Домби была очень счастлива,— сказал Каркер.

— Первая миссис Домби отличалась здравым смыслом,— сказал мистер Домби с благородной снисходительностью к умершей,— и очень тонкими чувствами.

— Как вы думаете, мисс Домби похожа на свою мать? — осведомился Каркер.

Лицо мистера Домби изменилось мгновенно и зловеще. Помощник, облеченный доверием, следил за ним пристально.

— Я коснулся мучительной темы,— сказал он с вкрадчивым сожалением, противоречившим выражению его загоревшихся глаз.— Прошу вас, простите меня. Интерес, мною проявляемый, заставил меня забыть о возможных нежелательных ассоциациях. Прошу вас, простите.

Но что бы он ни говорил, его загоревшиеся глаза все с тем же вниманием изучали пасмурное лицо мистера Домби. А затем он бросил странный торжествующий взгляд на картину, словно призывая ее в свидетели того, как он снова его поддел и что за этим последует.

— Каркер,— сказал мистер Домби побелевшими губами, скользя взором по столу и говоря слегка изменившимся голосом и несколько более торопливо, чем обычно,— вам не за что просить извинения. Вы ошибаетесь. Вопреки вашим предположениям, нежелательная ассоциация вызвана настоящей ситуацией, а не воспоминаниями. Я не одобряю поведения миссис Домби по отношению к моей дочери.

— Простите,— сказал мистер Каркер,— я не совсем понимаю.

— В таком случае, постарайтесь понять,— продолжал Домби.— Вы можете — нет, вы должны — передать миссис Домби мой протест касательно этого пункта. Будьте добры передать ей, что ее нескрываемая привязанность к моей дочери мне неприятна. На эту привязанность могут обратить внимание. Она может привести к тому, что люди попытаются сравнивать отношение миссис Домби к моей дочери с отношением миссис Домби ко мне. Будьте добры довести до сведения миссис Домби, что я против этого возражаю и жду, чтобы она немедленно приняла во внимание мое возражение. Быть может, миссис Домби относится к этому серьезно, быть может, это только ее причуда, а возможно, она действует так назло мне, но как бы там ни было, я протестую. Если миссис Домби относится к этому серьезно, тем с большей охотой должна она уступить, ибо подобным поведением она не окажет услуги моей дочери. Если моя жена помимо и сверх надлежащей покорности своему супругу питает к кому-то

расположение и уважение, она может дарить их кому угодно, но прежде всего я требую от нее покорности *Мне!* Каркер,— сказал мистер Домби, сдерживая необычное волнение и возвращаясь к свойственной ему манере, в какой он привык утверждать свое величие,— будьте добры, Каркер, не забыть об этом пункте и не умалить его значения, считайте его весьма существенным в полученных вами инструкциях.

Мистер Каркер поклонился, встал из-за стола и, стоя задумчиво перед камином и поддерживая рукой свой гладко выбритый подбородок, посмотрел сверху вниз на мистера Домби со злобным лукавством, напоминая не то высеченную из камня обезьяну, получеловека-полуживотное, не то хитрую морду на конце старой водосточной трубы. Мистер Домби, понемногу обретая спокойствие, либо охлаждая волнение сознанием своего высокого положения, сидел, постепенно цепенея снова и глядя на попугая, который раскачивался в своем широком обручальном кольце.

— Простите,— сказал Каркер после недолгого молчания, неожиданно придвинув свой стул и садясь против мистера Домби,— но я бы хотел знать: известно ли миссис Домби, что вы, быть может, воспользуетесь мною, дабы через меня выразить свое неудовольствие?

— Да,— ответил мистер Домби.— Я это сказал.

— Да? — быстро подхватил Каркер.— Но почему?

— Почему? — повторил мистер Домби с некоторым замешательством.— Потому что я ей это сообщил.

— А! — воскликнул Каркер.— Но почему вы ей сообщили? Видите ли,— продолжал он с улыбкой, мягко прикасаясь своей бархатной рукой к руке мистера Домби, как прикоснулась бы кошка, спрятавшая свои когти,— чем лучше я пойму, что у вас на уме, тем большую услугу я буду иметь счастье вам оказать. Мне кажется, я *понимаю*. Миссис Домби не удостоила меня своим расположением. У меня нет никаких оснований рассчитывать на него; но мне бы хотелось знать, так ли это на самом деле?

— Быть может, так,— сказал мистер Домби.

— Стало быть,— продолжал Каркер,— эти распоряжения, переданные вами миссис Домби через меня, являются для этой леди тем более неприятными?

— Мне кажется,— сказал мистер Домби с высокомерным спокойствием и, однако, с некоторым замешательством,— что взгляд миссис Домби на этот предмет не имеет отношения к делу в том виде, в каком оно представляется вам и мне, Каркер. Но, быть может, вы не ошибаетесь.

— Простите, правильно ли я вас понимаю,— сказал Каркер,— полагая, что вы усматриваете в этом подходящее средство смирить гордыню миссис Домби,— этим словом я обозначаю качество, которое, если оно должным образом ограничено, украшает и делает честь леди, отличающейся такою красотою и талантами,— и не скажу — наказать ее, но добиться от нее покорности, коей вы естественно и по праву требуете?

— Как вам известно, Каркер,— ответил мистер Домби,— я не привык давать столь подробные объяснения своим поступкам, которые почитаю уместными, но я не стану опровергать ваши предположения. Если же у вас есть какие-нибудь возражения, вам достаточно будет заявить о них. Но, признаюсь, я не предполагал, что мое поручение, каково бы оно ни было, может вас унизить...

— О! Унизить *меня*?! — воскликнул Каркер.— Когда я служу *вам*?!

— Или поставить вас,— продолжал мистер Домби,— в фальшивое положение.

— *Меня* — в фальшивое положение! — воскликнул Каркер.— Я буду горд, счастлив оправдать ваше доверие! Признаюсь, мне бы не хотелось, чтобы у леди, к чьим ногам я смиренно приношу свое почтение и преданность — ибо разве она не ваша супруга? — появился новый повод для неприязни ко мне. Но, разумеется, желание, высказанное вами, превыше всех прочих соображений. Вдобавок, когда миссис Домби, избавившись от этих ошибочных суждений, смею сказать — случайных, привыкнет к новому своему положению, она, надеюсь я, увидит в той маленькой роли, какую я играю, зерно — вряд ли мое положение дает право на нечто большее,— зерно моего уважения к вам. И она увидит, что я приношу вам в жертву все прочие соображения, тогда как ей выпали честь и счастье каждый день собирать в житницу немало таких зерен.

Казалось, в это мгновение мистер Домби снова увидел ее, указывающую рукой на дверь, и, прислушиваясь к вкрадчивым речам своего помощника, облеченного доверием, снова услышал отзвук слов: «Отныне ничто не может сделать нас более чуждыми друг другу, чем чужды мы сейчас». Но он прогнал эту мысль — и, по-прежнему твердый в своем решении, сказал:

— Да, несомненно.

— Больше никаких распоряжений? — спросил Каркер, отодвигая свой стул на прежнее место — до сих пор они едва притронулись к завтраку — и оставаясь стоять в ожидании ответа.

— Вот еще что,— ответил мистер Домби.— Будьте любезны, Каркер, сообщить, что ни одно из поручений к миссис Домби, которое вы исполняете или будете исполнять, не предполагает каких бы то ни было ответов. Будьте любезны не передавать мне никаких ответов. Миссис Домби уведомлена о том, что мне не подобает идти на соглашение или вступать в переговоры по вопросу, вызвавшему разногласие между нами, и то, что я говорю, является непреложным.

Мистер Каркер дал понять, что уразумел это вполне, и они приступили к завтраку — вряд ли с большим аппетитом. В надлежащее время вернулся Точильщик, ни на секунду не отрывавший глаз от своего хозяина и предававшийся грезам, исполненным благоговейного ужаса. После завтрака приказано было привести лошадь мистера Домби; мистер Каркер сел на свою лошадь, и они вместе поехали в Сити.

Мистер Каркер был в превосходном расположении духа и говорил много. Мистер Домби слушал его речи с величественным видом человека, который вправе требовать, чтобы его занимали беседой, и изредка снисходительно ронял несколько слов с целью поддержать разговор. Так ехала эта примечательная пара. Но мистер Домби, со свойственным ему достоинством, ехал слишком отпустив стремена, слишком небрежно держа поводья и слишком редко удостаивая взглянуть, куда ступает его лошадь. В результате случилось так, что лошадь мистера Домби споткнулась о камни, сбросила его с седла, упала

сама, сделала попытку подняться и, брыкаясь, ударила его подкованным копытом.

Мистер Каркер, прекрасный наездник, наделенный зорким глазом и твердой рукой, спешился и, мгновенно схватив поводья, заставил бьющееся на земле животное подняться на ноги. В противном случае конфиденциальная беседа этого утра оказалась бы для мистера Домби последней. Будучи еще слишком возбужден этим неожиданным происшествием, мистер Каркер тем не менее обнажил все зубы и, наклонившись над поверженным своим начальником, пробормотал: «*Теперь* я действительно дал миссис Домби повод считать себя оскорбленной, если бы она об этом узнала!»

Под руководством Каркера мистер Домби, лишившийся чувств, с окровавленной головой и лицом, был перенесен рабочими, чинившими дорогу, в ближайшую харчевню, находившуюся неподалеку, куда к нему явились врачи, которые быстро примчались отовсюду, словно побуждаемые каким-то таинственным инстинктом, подобно коршунам, о коих говорят, будто они слетаются к верблюду, издыхающему в пустыне. Не без труда приведя его в чувство, эти джентльмены принялись исследовать раны. Один врач, живший по соседству, настаивал на сложном переломе ноги, каковое мнение разделял также и хозяин харчевни; но два врача, жившие в другой местности и лишь случайно очутившиеся в этих краях, с великим бескорыстием опровергали это мнение, и в конце концов было решено, что пострадавший хотя и жестоко расшибся, но не сломал костей, если не считать какого-нибудь ребра, и к ночи можно будет осторожно перевезти его домой. Когда раны его были перевязаны, что заняло немало времени, и его оставили, наконец, в покое, мистер Каркер снова вскочил в седло и поехал оповестить домашних о происшествии.

Его лицо, лукавое и жестокое, но довольно красивое, если принять во внимание правильные черты и овал, было особенно неприятно, когда он ехал с этим поручением: его занимали лукавые и жестокие мысли и мечты скорее об отдаленных возможностях, чем о заговорах и кознях, что побуждало его мчаться так, словно он гнал перед собою

живых людей. Выехав на более оживленную дорогу, он натянул, наконец, поводья и замедлил ход коня, удерживая свою белоногую лошадь и выбирая, по обыкновению, самый удобный путь; свое подлинное лицо он скрыл насколько возможно под вкрадчивой, раболепной маской и ослепительной улыбкой.

Он подъехал к дому мистера Домби, спешился у двери и попросил разрешения повидать миссис Домби по важному делу. Слуга, который провел его в кабинет мистера Домби, вскоре вернулся и сказал, что в этот час миссис Домби не принимает посетителей, и принес извинения, что не упомянул об этом раньше.

Мистер Каркер, вполне готовый к холодному приему, написал на визитной карточке, что поневоле берет на себя смелость настаивать на свидании и никогда не дерзнул бы сделать это *вторично,* если бы происшедшее событие не явилось для него достаточным оправданием. Спустя недолгое время появилась служанка миссис Домби и провела его наверх в будуар, где сидели вдвоем Эдит и Флоренс.

Никогда еще не казалась ему Эдит такой красивой. Как ни восхищался он ее лицом и фигурой, как ни ярки были его чувственные воспоминания — никогда еще не казалась она ему такой красивой.

Ее взгляд высокомерно упал на него, когда он остановился в дверях. Но он смотрел на Флоренс,— впрочем, лишь в тот момент, когда поклонился, войдя в комнату,— всем видом своим подчеркивая вновь приобретенную им власть; и он торжествовал, увидев, что она в смущении опустила глаза, а Эдит привстала ему навстречу.

Он очень сожалел, он был глубоко опечален; ему не хватало слов, чтобы объяснить, с какой неохотою он взялся подготовить ее к сообщению о маленьком происшествии. Он умолял миссис Домби не волноваться. Клялся честью, что нет никаких оснований тревожиться. Но мистер Домби...

Флоренс вскрикнула. Он смотрел не на нее, а на Эдит. Эдит успокаивала и утешала ее. *Она* не вскрикнула от испуга. Нет, нет.

Во время прогулки верхом произошел печальный случай. Лошадь мистера Домби оступилась, и он был выброшен из седла.

Флоренс вне себя воскликнула, что, верно, он жестоко разбился, что он убит!

Нет. Он честью поклялся, что хотя мистер Домби и был сначала оглушен, но вскоре очнулся; разумеется, он страдает от ушибов, но никакой опасности нет. В противном случае он, злополучный вестник, никогда не отважился бы предстать перед миссис Домби. Но это истинная правда, торжественно заверил он ее.

Все это он говорил, как бы отвечая Эдит, а не Флоренс; и взгляд его и улыбка предназначались Эдит.

Затем он сообщил ей, где находится мистер Домби, и попросил представить в его распоряжение карету, чтобы перевезти мистера Домби домой.

— Мама,— еле выговорила плачущая Флоренс,— если бы я могла поехать!

Услышав эти слова, мистер Каркер, смотревший на Эдит, украдкой бросил на нее многозначительный взгляд и слегка покачал головой. Он видел, как она боролась с собой, прежде чем ее красивые глаза ответили ему, но он вырвал у нее ответ — он дал ей понять, что добьется ответа или же заговорит и жестоко ранит сердце Флоренс,— и она ответила ему. Когда она отвела от него глаза, он посмотрел на нее так же, как смотрел в то утро на картину.

— Мне поручено передать,— сказал он,— что новая экономка,— кажется, ее зовут миссис Пипчин...

Ничто не могло ускользнуть от него. Он сразу понял, что приглашение Пипчин было новым оскорблением, нанесенным мистером Домби своей жене.

— Должна распорядиться, чтобы, по желанию мистера Домби, постель ему приготовили внизу, на его половине, так как эти комнаты он предпочитает всем остальным. Я не замедлю вернуться к мистеру Домби. Незачем говорить вам, сударыня, что приняты все меры, дабы обеспечить ему покой, и что он пользуется наилучшим уходом. Разрешите повторить еще раз: нет никаких оснований тревожиться. Даже вы можете быть совершенно спокойны, поверьте мне.

Он поклонился крайне почтительно и искательно, вернулся в комнату мистера Домби и, распорядившись, чтобы карета была послана вслед за ним, снова сел на свою

лошадь и поехал в Сити. Он был очень задумчив, пока ехал туда, очень задумчив там и очень задумчив в карете на обратном пути в харчевню, где остался мистер Домби. И только у ложа сего джентльмена он снова стал самим собой и вспомнил о своих зубах.

Мистера Домби, измученного болью, усадили под вечер в карету и обложили с одной стороны подушками, а с другой поместился его помощник, облеченный доверием. Так как надлежало избегать тряски, они ехали чуть ли не шагом, и было уже совсем темно, когда его доставили домой. Миссис Пипчин, кислая и мрачная и не забывшая о Перуанских копях,— в чем имели основание убедиться все домочадцы,— встретила его у двери и расшевелила слуг, несколько раз окропив их словесным уксусом, пока они переносили его в комнату. Мистер Каркер не покидал мистера Домби, пока его не уложили в постель, а затем (мистер Домби не пожелал видеть особ женского пола, за исключением превосходной Людоедки) еще раз посетил миссис Домби, чтобы дать отчет о положении ее супруга.

Он снова застал Эдит вместе с Флоренс и снова обратился с успокоительными речами к Эдит, словно она была жертвой беспокойства. С таким жаром выражал он свое сочувствие, что, прощаясь, дерзнул — бросив предварительно еще один взгляд в сторону Флоренс — взять ее руку и, склонившись, поднести ее к своим губам.

Эдит не отняла руки и не ударила его этою рукою по белому лицу, хотя румянец залил ее щеки, яркий огонек загорелся в глазах и она резко выпрямилась. Но, оставшись одна в своей комнате, она ударила рукою по каминной полке так, что от одного удара на руке показалась кровь, и протянула ее к огню, пылавшему в камине, как будто не прочь была сунуть ее в огонь и сжечь.

До поздней ночи сидела она, сумрачная и прекрасная, перед угасающим пламенем и следила за темными тенями на стене, словно мысли ее были осязаемы и отбрасывали на эту стену тень. Какие бы видения, оскорбительные и позорные, какие бы горькие предвестники грядущего ни мелькали перед ней, расплывчатые и огромные, одна ненавистная фигура вела их против нее. И это был ее муж.

ГЛАВА XLIII

Бдение в ночи

Флоренс, давно уже очнувшаяся от своих грез, грустно следила за отчуждением между ее отцом и Эдит, видела, что пропасть между ними все расширяется, и знала, что горечь накапливается с каждым днем. Это знание, ежедневно углублявшееся, сгущало тени, омрачавшие ее любовь и надежду, пробуждало давнюю скорбь, ненадолго уснувшую, и теперь эту скорбь было еще труднее нести, чем раньше.

Тяжело было — об этом знала только Флоренс! — когда нежность верной и пылкой души оборачивалась мучительным чувством, а вместо ласки и заботы девушка постоянно встречала пренебрежение и суровый отпор. Тяжело было испытывать то, что в глубине души испытывала она, и ни разу не увидеть проблеска ответного чувства. Но гораздо тяжелее было поневоле не доверять отцу и Эдит, такой ласковой и милой, и думать о своей любви к нему и к ней со страхом, неуверенностью и недоумением.

И, однако, такие мысли начали возникать у Флоренс; это был вопрос, поставленный перед нею непорочным ее сердцем,— вопрос, от которого она не могла уклоняться. Она видела, что с Эдит отец холоден и сух так же, как и с ней; суров, неумолим, непреклонен. Не сделало ли такое обращение несчастной и ее родную мать,— со слезами на глазах спрашивала она себя,— и та зачахла и умерла? Потом она думала о том, как надменна и величественна Эдит со всеми — только не с нею, с каким презрением относится она к нему, как сторонится его и что сказала она в тот вечер, когда вернулась домой. И вдруг Флоренс начинало казаться чуть ли не преступным, что она любит ту, которая враждует с ее отцом, и что в уединении своей комнаты отец, зная об этом, должен почитать ее каким-то выродком, совершившим новое прегрешение, усугубив старую, омытую столькими слезами вину,— то, что со дня своего рождения она так и не завоевала отцовской любви. Но первое же ласковое слово Эдит, первый ласковый взгляд прогонял эти мысли, и они

становились проявлением черной неблагодарности: кто, как не Эдит, оживил печальное сердце Флоренс, такое одинокое и такое измученное, и кто был лучшим его утешителем? Теперь, готовая отдать свою душу обоим, зная, что они оба очень несчастны, и не уверенная в своем долге по отношению к каждому из них, Флоренс, находясь возле Эдит, страдала больше, чем в те времена, когда в печальном одиночестве хранила свою тайну и ее красавица мама еще не вошла в этот дом.

Одно великое несчастье, более страшное, чем все остальные, миновало Флоренс. У нее никогда не мелькало подозрение, что Эдит своею нежностью к ней увеличивала расстояние, отделявшее ее от отца, или давала новый повод для неприязни. Если бы Флоренс допускала эту возможность — какое бы это было для нее горе, какую жертву постаралась бы она принести, бедная, любящая девочка! И небу одному известно, как быстро и уверенно мог совершиться мирный ее уход к другому, высшему отцу, который не отвергает любви своих детей и щадит их усталые, разбитые сердца! Но дело обстояло иначе, и это было к лучшему.

Никогда, ни единым словом не обменивались теперь на эту тему Флоренс и Эдит. Эдит как-то сказала, что тут их должна разделять пропасть и молчание, подобное самой смерти,— и Флоренс чувствовала ее правоту.

Таково было положение вещей, когда ее отца привезли домой, страдающего и беспомощного. И он мрачно уединился в своих комнатах, где за ним ухаживали слуги и где Эдит не навестила его, и рядом с ним не было ни единого друга или приятеля, кроме мистера Каркера, который удалился около полуночи.

— Что и говорить, приятное общество, мисс Флой,— сказала Сьюзен Нипер.— Да *он* настоящее сокровище! Если ему когда-нибудь понадобится рекомендация, не советую ему приходить за ней ко мне, вот все, что я могу ему сказать!

— Милая Сьюзен,— перебила Флоренс,— перестаньте!

— О, легко сказать «перестаньте», мисс Флой,— возразила Нипер, весьма рассерженная.— Но, прошу прощенья, у нас происходят такие вещи, что вся кровь в

жилах превращается в колючие булавки и иголки. Не подумайте дурно, мисс Флой, я ничего не имею против вашей мачехи, которая всегда обходилась со мной, как подобает леди, однако — должна сказать — она дама довольно чванная, хотя я и не смею возражать против этого, но когда дело доходит до всяких миссис Пипчин, и их назначают командовать нами, и они сторожат у двери вашего папеньки, как крокодилы (хорошо еще, что они яиц не несут!), нам это уж слишком обидно.

— Папа хорошего мнения о миссис Пипчин, Сьюзен,— возразила Флоренс,— и он имеет право выбирать себе экономку. Пожалуйста, перестаньте!

— Ну, что ж, мисс Флой,— отозвалась Нипер,— когда вы говорите «перестаньте», я всегда перестаю,— правда? Но миссис Пипчин действует на меня, как зеленый крыжовник, мисс, ничуть не лучше.

Сьюзен была очень возбуждена и в своих речах относилась с чрезвычайным равнодушием к знакам препинания в тот вечер, когда мистера Домби привезли домой, ибо когда Флоренс послала ее вниз справиться о его здоровье, она принуждена была передать свое поручение смертельному своему врагу, миссис Пипчин, а та взяла на себя смелость, не доводя о нем до сведения мистера Домби, дать ответ, который мисс Нипер назвала оскорбительным. В этом ответе Сьюзен Нипер усмотрела дерзость со стороны сей образцовой жертвы Перуанских копей и пренебрежительное отношение к ее молодой хозяйке, которое нельзя было простить; этим отчасти объяснялось ее возбуждение. Впрочем, ее подозрения и недоверие все усиливались со дня свадьбы, ибо, подобно многим особам с таким характером, как у нее, которые искренне и сильно привязываются к человеку, занимающему, подобно Флоренс, гораздо более высокое положение, Сьюзен была очень ревнива, и, разумеется, ее ревность обратилась против Эдит, разделившей с ней власть и вставшей между ними. Поистине горда и счастлива была Сьюзен Нипер, видя, что ее молодая хозяйка выдвигается на подобающее ей место в доме, где в былые времена ею пренебрегали, и что в красивой жене своего отца она обрела подругу и покровительницу; но тем не менее Сьюзен не могла уступить этой красивой жене хотя бы крупицу

своей власти, не ропща и не чувствуя к ней недоброжелательства, чему не преминула найти оправдание в гордыне и страстности, подмеченных ею в характере этой леди. Вынужденная после свадьбы отступить на задний план, мисс Нипер наблюдала положение домашних дел с твердой уверенностью, что ничего доброго от миссис Домби ждать нельзя; но при каждом удобном случае старалась подчеркнуть, что ни единого дурного слова сказать о ней не может.

— Сьюзен,— сказала Флоренс, задумчиво сидевшая у стола,— сейчас очень поздно. Сегодня мне больше ничего не понадобится.

— Ах, мисс Флой! — воскликнула Нипер.— Право же, я часто вспоминаю о тех временах, когда я сидела с вами до более позднего часа и засыпала от усталости, а у вас ни в одном глазу сна не было, все равно что в очках, но теперь к вам приходит и сидит с вами ваша мачеха, мисс Флой, и, право же, я на это не жалуюсь. Я ни слова против этого не скажу.

— Я не забуду, кто был старым моим другом в те времена, когда никого у меня не было, Сьюзен,— ласково отозвалась Флоренс,— никогда не забуду!

И, подняв глаза, она обняла за шею свою скромную подругу, притянула ее к себе и поцеловала, пожелав ей спокойной ночи; это так умилило мисс Нипер, что она начала всхлипывать.

— Дорогая моя мисс Флой,— сказала Сьюзен,— позвольте мне еще раз спуститься вниз и узнать, как себя чувствует ваш папенька, я знаю, что вы ужасно беспокоитесь, позвольте же мне еще раз спуститься вниз и самой постучать к нему в дверь.

— Не нужно,— сказала Флоренс,— ложитесь спать. Утром мы узнаем. Я сама справлюсь об этом утром. Вероятно, мама была внизу,— Флоренс покраснела, потому что на это она не надеялась,— а может быть, она сейчас там. Спокойной ночи.

Сьюзен была растрогана и умолчала о том, считает ли она вероятным, что миссис Домби ухаживает за своим супругом; затем, не сказав ни слова, она вышла. Оставшись одна, Флоренс закрыла лицо руками, как, бывало, часто делала в прежние времена, и дала волю слезам.

Тоска, вызванная семейными неладами и бедами; угасшая надежда — если можно назвать это надеждой — когда-нибудь завоевать сердце отца; сомнения и страхи, заставлявшие ее метаться между отцом и Эдит; ее любовь к обоим, жестокое разочарование и скорбь о том, что суждено оборваться мечте, рожденной светлыми надеждами,— все это сжимало ей сердце, и слезы бежали все быстрее. Мать и брат умерли, отец равнодушен к ней, Эдит враждует с отцом, но любит ее и любима ею. И Флоренс казалось, что ее любовь никогда не принесет ей счастья, на кого бы ни была она обращена. Эту мучительную мысль она быстро отогнала, но с другими мыслями, ее породившими, она слишком сжилась, чтобы можно было от них отмахнуться; и ночь ее была тягостной.

В это раздумье вторгался — так было и в течение целого дня — образ отца, раненого, измученного, лежащего у себя в комнате, покинутого самыми близкими людьми, страдающего и одинокого. Страшная мысль, которая заставила ее вздрогнуть и сжать руки — хотя она не в первый раз мелькала у нее в голове,— мысль, что он может умереть, так и не увидев ее, не назвав по имени, потрясла все ее существо. В смятении, с трепетом она подумала, что надо снова спуститься вниз и подкрасться к его двери.

Выйдя из комнаты, она прислушалась. В доме было тихо и все огни погашены. Много, много времени,— думала Флоренс,— прошло с тех пор, как она, бывало, совершала ночное паломничество к его двери! Много, много времени прошло с тех пор, как она вошла в полночь к нему и он вывел ее обратно на лестницу.

Все с тем же детским сердцем, с теми же детскими ласковыми и робкими глазами, с волосами, распущенными, как в былые времена, Флоренс, чужая своему отцу в расцвете юности, как и в пору детства, крадучись спустилась вниз, прислушиваясь на ходу, и приблизилась к его комнате. Никто не шевелился в доме. Дверь была приоткрыта, чтобы дать доступ воздуху; и была такая тишина, что Флоренс могла расслышать потрескивание дров и тиканье часов на каминной полке.

Она заглянула в комнату. Экономка, завернувшись в одеяло, крепко спала в кресле у камина. Дверь в сосед-

нюю комнату была неплотно притворена, и перед ней стояла ширма; но там горел свет, и отблеск падал на край его кровати. Прислушиваясь к его дыханию, она поняла, что он спит. Это придало ей смелости, она обошла ширму и заглянула в спальню.

Один взгляд, брошенный на лицо спящего, был для нее таким потрясением, как будто она не ждала увидеть это лицо. Флоренс стояла, прикованная к месту, и — проснись он сейчас — не могла бы пошевельнуться.

Его лоб был рассечен, и ему смачивали волосы, которые лежали, влажные и спутанные, на подушке. Одна рука, покоившаяся поверх одеяла, была забинтована, и он был очень бледен. Но не это сковало движения Флоренс после того, как она быстро взглянула на него и убедилась, что он спокойно спит. Нечто совсем иное и более значительное придавало ему в ее глазах такой торжественный вид.

Ни разу за всю свою жизнь не видела она его лица — или ей это только казалось — не омраченным мыслью об ее присутствии. Ни разу за всю свою жизнь не видела она его лица без того, чтобы надежда ее не угасла, а робкие глаза не опустились под его суровым, равнодушным, холодным взглядом. Теперь же, смотря на него, она увидела впервые, что его лицо не подернуто тем облаком, которое омрачило ее детство. Тихая, безмятежная ночь спустилась взамен этого облака. При виде его лица можно было подумать, что он заснул, благословляя ее.

Проснись, жестокий отец! Проснись, угрюмый человек! Время летит. Час приближается гневной поступью. Проснись!

Лицо его не изменилось; и пока она смотрела на него с благоговейным страхом, неподвижность его и спокойствие вызвали в ее памяти лица умерших. Такими были они — покойные, такой будет она, его плачущая дочь, — кто скажет, когда? — такими будут все, любящие, ненавидящие и равнодушные! Когда пробьет час, он не покажется ему тяжелее, если она сделает то, что задумала сделать, а для нее этот час, быть может, будет легче.

Она подкралась к кровати и, затаив дыхание, наклонилась, тихонько поцеловала его в щеку, на минутку опу-

стила голову на его подушку и, не смея прикоснуться к нему, обвила рукой эту подушку, на которой он лежал.

Проснись, обреченный человек, пока она здесь! Время летит. Час приближается гневной поступью. Шаги его раздаются в доме. Проснись!

Мысленно она молила бога благословить ее отца и смягчить его сердце, если может оно смягчиться, или простить его, если он не прав, и простить ей эту молитву, которая казалась почти нечестивой. И, помолившись, посмотрев на него сквозь слезы и робко пробравшись к двери, она вышла из его спальни, миновала другую комнату и скрылась.

Он может спать теперь. Он может спать, пока ему спится. Но, пробудившись, пусть поищет он эту хрупкую фигурку и увидит ее возле себя, когда час пробьет!

Горько и тяжело было на сердце у Флоренс, когда она крадучись поднималась по лестнице. Тихий дом стал еще более угрюмым после того, как она побывала внизу. Сон отца, который открылся ее глазам в глухой час ночи, обрел для нее торжественность смерти и жизни. Благодаря ее таинственному и безмолвному посещению ночь стала таинственной, безмолвной и гнетущей. Она не хотела, почти не в силах была вернуться к себе в спальню, и, войдя в гостиную, где окутанная облаком луна светила сквозь жалюзи, она посмотрела на безлюдную улицу.

Горестно завывал ветер. Фонари казались тусклыми и вздрагивали словно от холода. Далеко в небе что-то мерцало — уже не было тьмы, но не было и света,— и зловещая ночь дрожала и металась, как умирающие, которым выпала на долю беспокойная кончина. Флоренс вспомнила, что когда-то, бодрствуя у постели больного, она обратила внимание на эти мрачные часы и, с каким-то затаенным чувством отвращения, испытала на себе их влияние; теперь это чувство было нестерпимо гнетущим.

В тот вечер ее мама не заходила к ней в комнату, и отчасти по этой причине она засиделась до позднего часа. Под влиянием своей тревоги, а также горячего желания поговорить с кем-нибудь и стряхнуть этот гнет уныния и тишины Флоренс отправилась в ее спальню.

Дверь не была заперта изнутри и мягко уступила нерешительному прикосновению ее руки. Она удивилась

при виде яркого света, а заглянув в комнату, удивилась еще больше, увидев, что ее мама, полуодетая, сидит у потухшего камина, в котором рассыпались, превратившись в золу, догоревшие угли. Ее красивые глаза были устремлены в пространство, и в блеске этих глаз, в ее лице, в ее фигуре, и в том, как она сжимала руками подлокотники кресла, словно собираясь вскочить, выражалось такое мучительное волнение, что Флоренс пришла в ужас.

— Мама! — крикнула она.— Что случилось?

Эдит вздрогнула и посмотрела на нее с таким необъяснимым страхом, что Флоренс испугалась еще больше.

— Мама! — воскликнула Флоренс, бросаясь к ней.— Мамочка! Что случилось?

— Мне нездоровится,— сказала Эдит, дрожа и все еще глядя на нее со страхом.— Мне снились дурные сны.

— Но вы еще не ложились, мама?

— Да,— сказала она.— Сны наяву.

Черты ее лица постепенно разгладились; она позволила Флоренс подойти ближе и, обняв ее, сказала ей нежно:

— Но что здесь делает моя птичка? Что здесь делает моя птичка?

— Я беспокоилась, мама, потому что не видела вас сегодня вечером и не знала, как здоровье папы, и я...

Флоренс запнулась и умолкла.

— Сейчас поздно? — спросила Эдит, ласково приглаживая кудри, которые смешались с ее собственными темными волосами и рассыпались по ее лицу.

— Очень поздно. Скоро рассвет.

— Скоро рассвет? — с удивлением повторила та.

— Мамочка, что у вас с рукой? — спросила Флоренс.

Эдит быстро отдернула руку и снова посмотрела на Флоренс со странным испугом (казалось, у нее мелькнуло безумное желание спрятаться), но тотчас же сказала: «Ничего, ничего. Ушибла». Потом добавила: «Моя Флоренс!» Потом начала тяжело дышать и разрыдалась.

— Мама! — воскликнула Флоренс.— О мама, что мне делать, что должна я сделать, чтобы нам было лучше. Можно ли что-нибудь сделать?

— Ничего,— ответила та.

— Уверены ли вы в этом? Неужели это невозможно? Если я, несмотря на наш уговор, скажу, о чем я сейчас думаю, вы не будете меня бранить? — спросила Флоренс.

— Это бесполезно,— ответила та,— бесполезно! Я вам сказала, дорогая, что мне снились дурные сны. Ничто не может их изменить или помешать их возвращению.

— Я не понимаю,— сказала Флоренс, глядя на ее взволнованное лицо, которое как будто омрачилось под ее взглядом.

— Мне снился сон о гордыне,— тихим голосом сказала Эдит,— которая бессильна пред добром и всемогуща пред злом; о гордыне, разжигаемой и подстрекаемой в течение многих постыдных лет и искавшей убежища только в самой себе; о гордыне, которая принесла тому, кто ею наделен, сознание глубочайшего унижения и ни разу не помогла этому человеку восстать против унижения, избежать его или крикнуть: «Не бывать этому!» Мне снился сон о гордыне, которая — если бы разумно ее направляли — могла принести совсем иные плоды, но, искаженная и извращенная, как и все качества, отличающие этого человека, только презирала самое себя, ожесточала сердце и вела к гибели.

Теперь она не смотрела на Флоренс и не к ней обращалась, но говорила так, словно была одна.

— Мне снился сон,— продолжала она,— о таком равнодушии и жестокосердии, возникших из этого презрения к себе, из этой злосчастной, беспомощной, жалкой гордыни, что человек безучастно пошел даже к алтарю, повинуясь старой, хорошо знакомой, манящей руке,— о, мать, мать! — хотя он и отталкивал эту руку, и желал раз навсегда стать ненавистным себе самому и всем, только бы не подвергаться ежедневно новым уколам. Гнусное, жалкое создание!

Теперь, мрачная и возбужденная, она была такою, как в ту минуту, когда вошла Флоренс.

— Еще снилось мне,— сказала она,— что этот человек, делая первую запоздавшую попытку достигнуть цели, был попран грязными ногами, но поднял голову и взглянул на того, кто его попирал. Мне снилось, что он ранен, загнан, затравлен собаками, но отчаянно защищается и

не помышляет сдаваться, и что-то побуждает его ненавидеть попирающего, восстать против него и бросить ему вызов!

Рука Эдит крепче сжала дрожащую руку, которую она держала в своей, а когда она посмотрела вниз, на встревоженное и недоумевающее лицо, ее нахмуренный лоб разгладился.

— О Флоренс,— сказала Эдит,— мне кажется, сегодня ночью я была близка к сумасшествию!

И, смиренно опустив свою гордую голову ей на грудь, она снова заплакала.

— Не покидайте меня! Будьте около меня! Вся надежда моя на вас! — Эти слова она повторяла десятки раз.

Вскоре она стала спокойнее и преисполнилась жалости к Флоренс, плачущей и бодрствующей в такой поздний час. Заря уже занималась, и Эдит обняла Флоренс, уложила на свою кровать и, не ложась сама, села около нее и сказала, чтобы та постаралась заснуть.

— Вы устали, дорогая, вы расстроены, несчастливы и нуждаетесь в отдыхе.

— Конечно, я расстроена сегодня, милая мама,— сказала Флоренс,— но вы тоже устали и тоже расстроены.

— Нет, мне станет лучше, если вы будете спать так близко, около меня, дорогая.

Они поцеловались, и Флоренс, измученная, постепенно погрузилась в дремоту; но когда ее глаза сомкнулись и уже не видели лица, склонившегося над ней, так грустно было думать о лице там, внизу, что в поисках утешения ее рука потянулась к Эдит. Однако даже в этом движении была нерешительность, опасение изменить ему. Так, во сне, она старалась их примирить и показать им, что любит их обоих, но не могла этого сделать, и печаль, терзавшая ее наяву, не покидала ее и во сне.

Эдит, сидевшая у постели, смотрела на темные мокрые ресницы, смотрела с нежностью и жалостью, ибо она знала правду. Но ее глаза сон сомкнуть не мог. Когда рассвело, она по-прежнему сидела, настороженная и бодрствующая, держа в своей руке руку спящей и время от времени шептала, глядя на умиротворенное лицо: «Будьте около меня, Флоренс. Вся надежда моя на вас!»

ГЛАВА XLIV

Разлука

Рано, хотя и не вместе с солнцем воспряла от сна Сьюзен Нипер. Необычайно проницательные черные глаза этой молодой особы смотрели сумрачно, а это несколько уменьшало их блеск и — вопреки обычным их свойствам — наводило на мысль, что, пожалуй, иной раз они закрываются. К тому же они еще припухли, словно накануне вечером эта особа проливала слезы. Но Нипер, нимало не удрученная, была на редкость оживлена и решительна и как будто собиралась с духом, чтобы совершить какой-то великий подвиг. Об этом можно было судить и по ее платью, туже затянутому и более нарядному, чем обычно, и по тому, как она, прохаживаясь по комнатам, трясла головой в высшей степени энергически.

Короче говоря, она приняла решение, дерзкое решение, заключавшееся в том, чтобы... проникнуть к мистеру Домби и объясниться с этим джентльменом наедине. «Я часто говорила, что хотела бы это сделать,— грозно объявила она в то утро самой себе, несколько раз тряхнув головой,— а теперь я это *сделаю*!»

Подстрекая себя, со свойственной ей резкостью, к исполнению этого отчаянного замысла, Сьюзен Нипер все утро вертелась в холле и на лестнице, не находя удобного случая для нападения. Отнюдь не обескураженная этой неудачей, которая, в сущности, только пришпорила ее и подбавила ей жару, она не уменьшала бдительности и, наконец, под вечер обнаружила, что заклятый ее враг, миссис Пипчин, якобы бодрствовавшая всю ночь, спит в своей комнате и что мистер Домби, оставленный без присмотра, лежит у себя на диване.

Тряхнув не только головой, но на этот раз встряхнувшись всем телом, Сьюзен на цыпочках подошла к двери мистера Домби и постучала.

— Войдите! — сказал мистер Домби.

Сьюзен, встряхнувшись еще раз, подбодрила себя и вошла.

Мистер Домби, созерцавший огонь в камине, бросил удивленный взгляд на гостью и слегка приподнялся на локте. Нипер сделала реверанс.

— Что вам нужно? — спросил мистер Домби.

— Простите, сэр, я хочу поговорить с вами,— сказала Сьюзен.

Мистер Домби пошевелил губами, как будто повторяя эти слова, но, казалось, он был столь изумлен дерзостью молодой женщины, что не мог произнести их вслух.

— Я нахожусь у вас на службе, сэр,— начала Сьюзен Нипер с обычной своей стремительностью,— вот уже двенадцать лет и состою при мисс Флой, моей молодой хозяйке, которая и говорить-то хорошенько еще не умела, когда я только что сюда поступила, и я была старой служанкой в этом доме, когда миссис Ричардс была новой, быть может, я не Мафусаил *, но я и не грудной младенец.

Мистер Домби, приподнявшись на локте и не спуская с нее глаз, не сделал никаких замечаний касательно этого предварительного изложения фактов.

— Не было на свете молодой леди чудеснее и милее, чем моя молодая леди, сэр,— сказала Сьюзен,— а я знаю это лучше всех, потому что я видела ее в дни горя и видела ее в дни радости (их было немного), я видела ее вместе с ее братом и видела ее в одиночестве, а кое-кто никогда ее не видел, и я скажу кое-кому и всем, да, скажу,— тут черноглазая тряхнула головой и тихонько топнула ногой,— что мисс Флой — самый чудесный и самый милый ангел из всех, ходивших по земле, и пусть меня разрывают на куски, сэр, все равно я буду это повторять, хотя я, быть может, и не мученик Фокса *.

Мистер Домби, бледный после своего падения с лошади, побледнел еще сильнее от негодования и изумления и смотрел на говорившую таким взглядом, словно обвинял и зрение свое и слух в том, что они ему изменили.

— Нет человека, который мог бы испытывать к мисс Флой иные чувства, кроме верности и преданности, сэр,— продолжала Сьюзен,— и я не хвалюсь своей двенадцатилетней службой, потому что я люблю мисс Флой! Да, я могу это сказать кое-кому и всем,— тут черноглазая снова тряхнула головой и снова топнула тихонько

ногой, и чуть было не всхлипнула,— но верная и преданная служба, надеюсь, дает мне право говорить, а говорить я должна и буду, плохо это или хорошо.

— Чего вы хотите? — спросил мистер Домби, взирая на нее с гневом.— Как вы смеете?

— Чего я хочу, сэр? Я хочу только поговорить — с должным уважением и никого не оскорбляя, но откровенно, а как я смею — этого я и сама не знаю, а все-таки смею! — сказала Сьюзен.— Ах, вы не знаете моей молодой леди, сэр, право же, не знаете, никогда-то вы ее не знали!

Мистер Домби в бешенстве протянул руку к шнурку от звонка, но его не было по эту сторону камина, а он не мог без посторонней помощи встать и обойти камин. Зоркий глаз Нипер тотчас обнаружил беспомощное его положение, и теперь, как выразилась она впоследствии, она почувствовала, что он от нее не ускользнет.

— Мисс Флой,— продолжала Сьюзен Нипер,— самая преданная, самая терпеливая, самая почтительная и красивая из всех дочерей, и нет такого джентльмена, сэр, хотя бы он был богат и знатен, как все самые знатные богачи в Англии, сложенные вместе, который не мог бы ею гордиться, не пожелал бы, не должен был гордиться! Если б он знал ей настоящую цену, он охотнее расстался бы со своей знатностью и богатством и в лохмотьях просил бы милостыню у дверей, это я скажу кое-кому и всем,— воскликнула Сьюзен, разрыдавшись,— только бы не терзать ее нежное сердце, а я видела, как оно страдало в этом доме!

— Вон! — крикнул мистер Домби.

— Прошу прощенья, сэр, я не уйду, даже если бы мне пришлось оставить это место,— отвечала упрямая Нипер,— которое я занимаю столько лет — и сколько всего я за это время насмотрелась! — но я надеюсь, что у вас не хватит духу прогнать меня от мисс Флой! Да, я не уйду, пока не выскажу все! Я, может быть, и не индийская вдова, сэр, и не хотела бы ею стать, но если бы я решила сжечь себя заживо, я бы это сделала! А я решила договорить до конца.

Не менее ясно, чем слова, свидетельствовало об этом выражение лица Сьюзен Нипер.

— Из всех, кто состоит у вас на службе, сэр,— продолжала черноглазая,— нет никого, кто бы трепетал перед вами больше, чем я, и вы мне поверите, если я осмелюсь сказать, что сотни и сотни раз собиралась поговорить с вами и никак не могла отважиться вплоть до вчерашнего вечера, но вчера вечером я решилась.

Мистер Домби в припадке бешенства еще раз протянул руку к шнурку, которого не было, и, не найдя его, дернул себя за волосы.

— Я видела,— говорила Сьюзен Нипер,— как мисс Флой выбивалась из сил, когда была совсем ребенком, таким ласковым и терпеливым, что лучшие из женщин могли бы брать с нее пример! Я видела, как она сидела до поздней ночи, чтобы помочь своему больному брату приготовить уроки, я видела, как она ему помогала и как ухаживала за ним в другую пору — кое-кому известно, когда это было,— я видела, как она, без всякой поддержки и участия, выросла и, слава богу, стала леди, которая может послужить украшением и оказать честь любому обществу. И я всегда видела, как жестоко ею пренебрегали и как она от этого страдала,— я это всем могу сказать и скажу,— и никогда она ни слова не говорила, но если человек уважает и почитает тех, кто лучше его, это еще не значит, что он должен поклоняться каменным идолам, и я хочу и должна говорить!

— Есть здесь кто-нибудь? — громко крикнул мистер Домби.— Где слуги? Где служанки? Неужели никого здесь нет?

— Вчера был уже поздний час, когда я ушла от моей милой молодой леди, а она еще не легла спать,— продолжала Сьюзен, ни на что не обращая внимания,— и я знаю, почему! Потому что вы больны, сэр, а она не знала, насколько это серьезно, и этого было достаточно, чтобы сделать ее несчастной, и я видела, что она несчастна,— я, быть может, не павлин, но у меня есть глаза *,— и я сидела у себя в комнате и думала, что, может быть, она чувствует себя одинокой и я ей нужна. И тогда я увидела, как она крадучись спустилась вниз и подошла к этой двери, как будто преступление — взглянуть на родного отца, а потом крадучись вернулась назад и вошла в пустую гостиную и плакала так, что я не могла

слушать. Я *не в силах* была слушать,— сказала Сьюзен Нипер, вытирая черные глаза и неустрашимо глядя в искаженное бешенством лицо мистера Домби.— Не в первый раз я это слышала, а уже много, много раз! Вы не знаете своей родной дочери, сэр, вы не знаете, что вы делаете, сэр, я скажу кое-кому и всем,— воскликнула в заключение Сьюзен Нипер,— что это стыдно и грешно!

— Вот тебе и на! — раздался голос миссис Пипчин, и черные бомбазиновые юбки прекрасной перуанки ворвались в комнату.— Это еще что такое?

Сьюзен удостоила миссис Пипчин взглядом, который изобрела специально для нее, когда они только что познакомились, и предоставила отвечать мистеру Домби.

— Что это такое? — повторил мистер Домби, чуть ли не с пеной у рта.— Что это такое? У вас действительно есть основание об этом спрашивать, раз вы занимаете место домоправительницы и обязаны следить за порядком. Вы знаете эту женщину?

— Я знаю о ней очень мало хорошего, сэр,— прокаркала миссис Пипчин.— Как вы посмели прийти сюда, дерзкая девчонка? Убирайтесь вон!

Но непреклонная Нипер, подарив миссис Пипчин еще один взгляд, не тронулась с места.

— По-вашему, это значит управлять домом, сударыня,— сказал мистер Домби,— если подобные особы осмеливаются приходить и говорить со *мной*? Джентльмен в своем собственном доме, в своей собственной комнате принужден выслушивать дерзости служанок!

— Сэр,— сказала миссис Пипчин, мстительно сверкнув своими жесткими серыми глазами,— я чрезвычайно сожалею. Это совершенно недопустимо. Это нарушает все разумные правила. Но я с прискорбием должна сказать, сэр, что с этой молодой женщиной невозможно справиться. Ее избаловала мисс Домби, и она никого не слушается. Вы знаете, что это так,— резко сказала миссис Пипчин, обращаясь к Сьюзен Нипер и качая головой.— Стыдитесь, дерзкая девчонка! Убирайтесь вон!

— Если у меня служат люди, с которыми нельзя справиться, миссис Пипчин,— сказал мистер Домби, снова поворачиваясь к камину,— полагаю, вы знаете, как с ни-

ми поступить. Вы знаете, для чего вы здесь находитесь? Уведите ее!

— Сэр, я знаю, как нужно поступить, и, разумеется, так и поступлю,— ответила миссис Пипчин.— Сьюзен Нипер,— это было сказано необычайно резко,— предупреждаю вас об увольнении за месяц вперед.

— О, вот как! — надменно отозвалась Сьюзен.

— Да,— сказала миссис Пипчин,— и не смейте улыбаться, наглая девчонка! Убирайтесь вон сию же минуту!

— Я уйду сию же минуту, можете не сомневаться в этом! — сказала острая на язык Нипер.— Двенадцать лет я служила здесь и ходила за моей молодой хозяйкой, и я не задержусь ни на час после того, как получила предупреждение от особы, откликающейся на имя Пипчин. Будьте уверены, миссис Пипчин!

— Наконец-то мы избавимся от этой дряни! — сказала разгневанная старая леди.— Убирайтесь вон, а не то я прикажу вас вывести!

— Меня утешает то, что сегодня я сказала правдивое слово,— объявила Сьюзен, бросив взгляд на мистера Домби,— которое давно уже следовало сказать и повторять почаще и пояснее, и никакие Пипчин — надеюсь, их так не много (тут миссис Пипчин очень резко крикнула «Убирайтесь!», а мисс Нипер снова удостоила ее взглядом),— не могут опровергнуть то, что я сказала, хотя бы они в течение целого года, начиная с десяти часов утра и до полуночи, предупреждали об увольнении и в конце концов умерли бы от истощения, а уж это был бы настоящий праздник!

С этими словами мисс Нипер вышла, сопутствуемая своим врагом, поднялась к себе в комнату с большим достоинством, к великой досаде задыхающейся от злости Пипчин, села среди своих сундуков и расплакалась.

Из этого состояния ее вывел голос миссис Пипчин за дверью, оказавший весьма благотворное и живительное действие.

— Намерена ли эта наглая тварь,— сказала свирепая Пипчин,— принять к сведению сделанное предупреждение, или же не намерена?

Мисс Нипер отвечала из-за двери, что упомянутая особа, то есть «наглая тварь», не проживает в этой части

дома, но что зовут ее Пипчин и ее можно найти в комнате экономки.

— Нахалка! — отрезала миссис Пипчин, дергая ручку двери.— Сию же минуту убирайтесь! Сейчас же укладывайте свои пожитки! Как вы смеете говорить такие вещи благородной женщине, которая видела лучшие дни?

На это мисс Нипер ответствовала из своей крепости, что она жалеет эти лучшие дни, которые видели миссис Пипчин, и считает, что самые худшие дни в году больше подошли бы для этой леди, хотя и они слишком хороши для нее.

— Но вам незачем поднимать шум у моей двери,— продолжала Сьюзен Нипер,— и пачкать своим глазом замочную скважину. Я укладываюсь и ухожу, можете показать это под присягой.

В ответ на такое сообщение вдовица выразила живейшее удовольствие и, сделав несколько замечаний о дерзких девчонках вообще, и главным образом об их пороках, если эти девчонки избалованы мисс Домби, удалилась за жалованием для Нипер. Затем Сьюзен Нипер занялась приведением в порядок своих сундуков, чтобы отбыть немедленно и с достоинством, и все время горестно всхлипывала, думая о Флоренс.

Предмет ее сожалений не замедлил явиться к ней, ибо вскоре по всему дому распространился слух, что Сьюзен Нипер повздорила с миссис Пипчин, что обе они апеллировали к мистеру Домби, что в комнате мистера Домби произошла беспримерная сцена и что Сьюзен уходит. Последний из этих туманных слухов оказался столь справедливым, что когда Флоренс вошла в комнату Сьюзен, та уже заперла последний сундук и сидела на нем, надев шляпку.

— Сьюзен,— воскликнула Флоренс,— вы меня покидаете! Вы!

— Ох, ради всего святого, мисс Флой,— рыдая, сказала Сьюзен,— не говорите мне ни слова, не то я унижу себя перед этими Пи-и-ипчин, а я не хочу, чтобы они видели меня плачущей, мисс Флой, ни за что на свете!

— Сьюзен! — сказала Флоренс.— Дорогая моя, мой старый друг! Что я буду делать без вас? Неужели вы можете от меня уйти?

— Н-н-нет, моя миленькая, дорогая мисс Флой, право же, не могу! — всхлипывала Сьюзен.— Но этому нельзя помочь, я исполнила свой долг, мисс, право же исполнила! Это не моя вина. Я подчи-и-инилась неизбежному. Я не могла заткнуть себе рот, иначе я бы никогда не ушла от вас, дорогая моя, а в конце концов мне приходится уйти, не говорите со мной, мисс Флой, потому что хотя я и очень стойкая, но все-таки, моя милочка, я — не мраморный дверной косяк.

— Что такое? В чем дело? — спрашивала Флоренс.— Неужели вы мне не объясните?

Но Сьюзен только качала головой.

— Н-н-нет, дорогая моя. Не спрашивайте меня, потому что я не должна говорить, и, что бы вы ни делали, не пытайтесь замолвить за меня словечко, чтобы я осталась, потому что не может этого быть, и вы только себе повредите, и да благословит вас бог, мою ненаглядную, а вы простите мне все дурное, что я делала, и все мои выходки за эти годы!

Высказав от всей души эту просьбу, Сьюзен обняла свою хозяйку.

— Дорогая моя,— сказала Сьюзен,— много может быть у вас служанок, которые с радостью будут вам прислуживать добросовестно и честно, но не найдется такой, которая бы служила вам так преданно и любила вас так горячо! Вот это единственное мое утешение. Проща-айте, милая мисс Флой!

— Куда вы хотите поехать, Сьюзен? — спросила ее плачущая хозяйка.

— У меня есть брат в деревне, фермер в Эссексе,— сказала убитая горем Нипер,— он разводит ко-о-ров и свиней, и я поеду к нему в почтовой карете и оста-анусь у него, и не беспокойтесь обо мне, потому что у меня есть деньги в сберегательной кассе, дорогая моя, и я бы ни за что, ни за что не могла поступить сейчас на другое место, ненаглядная моя хозяйка! — Сьюзен закончила свою речь горестными рыданиями, которые, к счастью, были прерваны голосом миссис Пипчин, раздавшимся внизу, после чего Сьюзен вытерла красные и припухшие глаза и сделала жалкую попытку весело оклик-

нуть мистера Таулинсона и попросить, чтобы тот нанял кэб и отнес вниз вещи.

Флоренс, бледная, встревоженная и удрученная, даже теперь не смея вмешиваться из боязни вызвать новую размолвку между отцом и его женой (чье мрачное, негодующее лицо послужило несколько минут назад предостережением ей) и опасаясь, что сама она каким-то образом связана с увольнением старой своей служанки и подруги, плача спустилась в будуар Эдит, куда отправилась попрощаться Нипер.

— Ну, вот и кэб, вот и сундуки, убирайтесь! — сказала миссис Пипчин, появляясь в ту же секунду.— Прошу прощенья, сударыня, но мистер Домби отдал строжайшее распоряжение.

Эдит, которую причесывала ее горничная,— сегодня она обедала в гостях,— сохранила свою презрительную мину и осталась совершенно невозмутимой.

— Вот ваши деньги! — сказала миссис Пипчин, которая, следуя своей системе и памятуя о копях, привыкла помыкать слугами так же, как помыкала своими брайтонскими пансионерами, навеки ожесточив юного Байтерстона.— И чем скорее вы уберетесь из этого дома, тем лучше.

У Сьюзен не хватило духу хотя бы бросить взгляд на миссис Пипчин. Она сделала реверанс миссис Домби (та не сказала ни слова и наклонила голову, избегая смотреть на кого бы то ни было, кроме Флоренс) и в последний раз обняла на прощанье свою хозяйку, которая в свою очередь обняла ее. В этот критический момент лицо бедной Сьюзен, обуреваемой волнением и мужественно подавляющей рыдания из страха, что они прорвутся и позволят миссис Пипчин восторжествовать, претерпевало изумительные и доселе невиданные изменения.

— Прошу прощения, мисс,— сказал, обращаясь к Флоренс, мистер Таулинсон, стоявший с сундуками за дверью,— но мистер Тутс находится в столовой, посылает свой привет и желает знать, как себя чувствуют Диоген и хозяйка.

С быстротою молнии Флоренс выскользнула из комнаты и поспешно сбежала вниз, где мистер Тутс, в великолепнейшем костюме, очень тяжело дышал от неуверен-



ности и возбуждения при мысли о возможном ее появлении.

— О, как поживаете, мисс Домби? — спросил мистер Тутс.— Господи, помилуй!

Это последнее восклицание было вызвано глубокой тревогой мистера Тутса при виде огорченного лица Флоренс; он немедленно перестал хихикать и превратился в олицетворение отчаяния.

— Дорогой мистер Тутс,— сказала Флоренс,— вы так добры ко мне, вы так преданы, что, мне кажется, я могу просить вас об одной услуге.

— Мисс Домби,— ответствовал мистер Тутс,— если вы только скажете, какая это услуга, вы... вы вернете мне аппетит, который,— с чувством сказал мистер Тутс,— я давно уже потерял.

— Сьюзен, старый мой друг, самый старый из всех моих друзей,— сказала Флоренс,— неожиданно собралась покинуть этот дом, совсем одна, бедняжка. Она едет к себе домой, в деревню. Могу ли я попросить вас, чтобы вы о ней позаботились и усадили ее в почтовую карету?

— Мисс Домби,— ответил мистер Тутс,— поистине вы мне оказываете честь и милость. Это доказательство вашего доверия после того, как я был такой скотиной там, в Брайтоне...

— Да,— быстро перебила Флоренс,— нет... не думайте об этом. Значит, вы будете так добры и поедете? И подождете ее у двери — она сейчас выйдет? Благодарю вас тысячу раз! Как вы меня успокоили! Она не будет чувствовать себя такой одинокой. Если бы вы знали, как я вам благодарна и каким добрым другом я вас считаю!

И Флоренс с волнением благодарила его снова и снова, и мистер Тутс, также с волнением, поспешил удалиться — но пятясь, чтобы до последней минуты не спускать с нее глаз.

У Флоренс не хватило духу выйти, когда она увидела бедную Сьюзен в холле, откуда миссис Пипчин спешила ее прогнать, тогда как Диоген прыгал вокруг нее и, до последней степени устрашая миссис Пипчин, старался вцепиться зубами в ее бомбазиновые юбки, и горестно завывал при звуке ее голоса, ибо славная дуэнья вну-

шала ему непреодолимое и глубочайшее отвращение. Но Флоренс видела, как Сьюзен пожала руку всем слугам и оглянулась на старый дом; она видела, как Диоген бросился за кэбом, намереваясь следовать за ним, и никак не мог постигнуть, что больше он никаких прав не имеет на сидящую в нем особу; а затем дверь захлопнулась, суматоха улеглась, и Флоренс залилась слезами, оплакивая потерю старой подруги, которую никто не мог заменить. Никто. Никто.

Мистер Тутс, верная и честная душа, мгновенно остановил экипаж и сообщил Сьюзен Нипер о данном ему поручении, после чего та разрыдалась еще пуще.

— Клянусь душой и телом,— сказал мистер Тутс, усаживаясь рядом с ней,— я вам сочувствую! Честное слово, мне кажется, вы вряд ли понимаете свои чувства лучше, чем я. Я не могу вообразить ничего более ужасного, чем необходимость расстаться с мисс Домби.

Теперь Сьюзен отдалась своему горю, и действительно жалко было смотреть на нее.

— Прошу вас,— сказал мистер Тутс,— не надо! Я знаю, что сейчас делать.

— Что, мистер Тутс? — спросила Сьюзен.

— Поедем ко мне и пообедаем перед вашим отъездом,— сказал мистер Тутс.— Моя кухарка — весьма почтенная женщина, добрейшая душа, и она с радостью о вас позаботится. Ее сын,— дополнил эту рекомендацию мистер Тутс,— воспитывался в приюте для бедных детей и взлетел на воздух на пороховом заводе.

Сьюзен приняла любезное приглашение, и мистер Тутс отвез ее к себе на квартиру, где их встретили упомянутая матрона, вполне оправдавшая его рекомендацию, и Петух, который в первую минуту при виде леди в экипаже предположил, что по его совету мистер Домби был, наконец, сбит с ног ударом, а мисс Домби похищена. Этот джентльмен привел в немалое изумление мисс Нипер, ибо после поражения, нанесенного ему Проказником, физиономия его столь пострадала, что ее вряд ли можно было показывать в обществе на радость зрителям. Сам Петух объяснял эту расправу тем, что ему не повезло и голова его оказалась зажатой под левой рукой противника, после чего Проказник жестоко его избил и швыр-

нул наземь. Но из опубликованного отчета об этом великом состязании выяснилось, что Проказник с самого начала подбил глаз Петуху, осыпал его градом ударов, сбил с ног и доставил ему целую гору неприятностей, а затем окончательно расправился с ним.

После сытного обеда, предложенного с большим радушием, Сьюзен, уже в другом экипаже, отправилась в контору почтовых карет; рядом с ней по-прежнему сидел мистер Тутс, а на козлах Петух, который, быть может, и оказывал честь маленькой компании благодаря моральному своему весу и героической репутации, однако, принимая во внимание его внешность, вряд ли мог служить украшением, ибо все лицо его было облеплено пластырями. Но Петух втайне дал себе клятву, что ни за что не покинет мистера Тутса (который втайне мечтал от него избавиться) до тех пор, пока не обоснуется в каком-нибудь трактире, закрепив за собою право торговать под прежней вывеской, и, стремясь заняться этой торговлей и как можно скорее спиться окончательно, он прилагал все усилия к тому, чтобы сделать свое присутствие неприемлемым для окружающих.

Ночная карета, в которой предстояло ехать Сьюзен, должна была тронуться в путь с минуты на минуту. Мистер Тутс, усадив ее, мешкал в нерешительности у окна, пока кучер собирался влезть на козлы; затем, встав на подножку и просунув внутрь лицо, которое при свете фонаря казалось встревоженным и смущенным, он отрывисто сказал:

— Послушайте, Сьюзен. Мисс Домби, знаете ли...

— Да, сэр?

— Как вы думаете, она могла бы... знаете ли... а?

— Простите, мистер Тутс,— сказала Сьюзен,— я вас не понимаю.

— Как вы думаете, она могла бы, знаете ли... не сейчас, а со временем... когда-нибудь... по-полюбить меня? Ну, вот! — сказал бедный мистер Тутс.

— Ох, нет! — ответила Сьюзен, покачивая головой.— Я бы сказала, что никогда. Ни-ког-да!

— Благодарю вас! — сказал мистер Тутс.— Это не имеет никакого значения. Спокойной ночи. Это не имеет никакого значения, благодарю вас!

ГЛАВА XLV

Доверенное лицо

Эдит выезжала в тот день одна и вернулась домой рано. Было только начало одиннадцатого, когда ее экипаж свернул в улицу, где она жила.

На ее лице была все та же маска равнодушия, как и тогда, когда она одевалась; и венок обвивал все то же холодное и спокойное чело. Но было бы лучше, если бы ее нетерпеливая рука оборвала все листья и цветы или мятущаяся и затуманенная голова смяла этот венок в поисках местечка, где можно отдохнуть,— было бы лучше, если бы венок не украшал столь невозмутимого чела. Эта женщина была такой упорной, такой неприступной, такой безжалостной, что, казалось, ничто не могло смягчить ее нрав, и любое событие только ожесточало ее.

Остановившись у подъезда, она собиралась выйти из экипажа, как вдруг какой-то человек, бесшумно выскользнув из холла и стоя с непокрытой головой, предложил ей руку. Слугу он отстранил, и ей ничего не оставалось, как опереться на нее; и тогда она узнала, чья это рука.

— Как себя чувствует ваш больной, сэр? — спросила она с презрительной усмешкой.

— Ему лучше,— ответил Каркер.— Он выздоравливает. Я распрощался с ним на ночь.

Она наклонила голову и стала подниматься по лестнице; он последовал за ней и сказал, стоя у нижней ступеньки:

— Сударыня, могу я просить, чтобы вы приняли меня на одну минуту?

Она остановилась и оглянулась.

— Сейчас поздно, сэр, и я утомлена. У вас срочное дело?

— Крайне срочное,— ответил Каркер.— Раз уж мне посчастливилось встретить вас, разрешите повторить мою просьбу.

Она посмотрела вниз, на его сверкающие зубы, а он посмотрел на нее, облеченную в великолепное платье, и снова подумал о том, как она красива.

— Где мисс Домби? — громко спросила она слугу.

— В будуаре, сударыня.

— Проводите туда!

Снова обратив взор на учтивого джентльмена, стоявшего у нижней ступеньки, и едва заметным кивком давая ему разрешение следовать за нею, она пошла дальше.

— Прошу прощенья. Сударыня! Миссис Домби! — воскликнул вкрадчивый и проворный Каркер, мгновенно очутившись рядом с ней.— Разрешите умолять вас о том, чтобы мисс Домби при этом не присутствовала!

Она бросила на него быстрый взгляд, но по-прежнему сохраняла спокойствие и самообладание.

— Я бы хотел пощадить мисс Домби,— тихо произнес Каркер,— и не доводить до ее сведения то, что я имею сказать. Во всяком случае, я бы хотел, чтобы вы, сударыня, сами решали, должна она об этом знать или нет. Я обязан так поступить. Это мой долг по отношению к вам. После нашей последней беседы было бы чудовищно, если бы я поступил иначе.

Она медленно отвела взгляд от его лица и, повернувшись к слуге, сказала:

— Проводите в какую-нибудь другую комнату!

Тот повел их в гостиную, где тотчас зажег огонь и вышел. Ни слова не было сказано, пока он оставался в комнате. Эдит величественно опустилась на диван у камина, а мистер Каркер, держа в руке шляпу и не отрывая глаз от ковра, стоял перед нею поодаль.

— Прежде чем выслушать вас, сэр,— сказала Эдит, когда дверь закрылась,— я хочу, чтобы вы меня выслушали.

— Обращенные ко мне слова, миссис Домби,— ответил он,— хотя бы произносимые в тоне незаслуженного упрека, являются столь великой честью, что я со всею готовностью подчинился бы ее желанию даже в том случае, если бы не был ее слугой.

— Если тот человек, с которым вы только что расстались, сэр,— мистер Каркер поднял глаза, как бы желая выразить изумление, но она встретила его взгляд и заставила его молчать,— дал вам какое-нибудь поручение ко мне, то не трудитесь его передавать, потому что я не стану слушать. Вряд ли мне нужно спрашивать, что привело вас сюда. Я ждала вас последние дни.

— Мое несчастье заключается в том,— ответил он,— что именно это дело привело меня сюда совершенно против моего желания. Разрешите вам сказать, что я пришел сюда еще по одному делу. О первом уже упомянуто.

— С ним покончено, сэр,— сказала она.— Если же вы к нему вернетесь...

— Неужели миссис Домби полагает, что я вернусь к нему вопреки ее запрещению? — сказал Каркер, подходя ближе.— Может ли быть, что миссис Домби, отнюдь не считаясь с тягостным моим положением, решила не отделять меня от моего руководителя и тем самым умышленно относится ко мне в высшей степени несправедливо?

— Сэр,— ответила Эдит, в упор устремив на него мрачный взгляд и говоря с нарастающим возбуждением, от которого раздувались надменно ее ноздри, вздымалась грудь и трепетал нежный белый пух на накидке, небрежно прикрывавшей ее плечи, которые ничего не теряли от соседства с этим белоснежным пухом,— почему вы разыгрываете передо мною эту роль, говорите мне о любви и уважении к моему мужу и делаете вид, будто верите, что я счастлива в браке и почитаю своего мужа? Как вы смеете так оскорблять меня, раз вам известно... известно не хуже, чем *мне,* сэр, я это видела в каждом вашем взгляде, слышала в каждом вашем слове,— что любви между нами нет, есть отвращение и презрение, и что я презираю его вряд ли меньше, чем самое себя за то, что принадлежу ему? Отношусь несправедливо! Да если бы я воздала должное той пытке, какой вы меня подвергаете, и оскорблениям, какие вы мне наносите, я бы должна была вас убить!

Она спросила его, почему он так поступает. Не будь она ослеплена своей гордыней, гневом и сознанием своего унижения — а это сознание у нее было, сколь бы злобно ни смотрела она на Каркера,— она прочла бы ответ на его лице: для того, чтобы исторгнуть у нее эти слова.

Она не прочла этого ответа, и ей не было дела до выражения его лица. Она помнила только о борьбе и тех обидах, какие перенесла и какие ей еще предстояло перенести. Всматриваясь пристально в них,— но не в него,— она ощипывала крыло какой-то редкостной и пре-

красной птицы, которое, служа ей веером, висело на золотой цепочке у пояса; и перья падали дождем на пол.

Ее взор не заставил его отшатнуться, но с видом человека, который может дать удовлетворительный ответ и не замедлит его дать, он выждал, пока она не овладела собой настолько, что исчезли внешние признаки гнева. И тогда он заговорил, глядя в ее сверкающие глаза.

— Сударыня,— сказал он,— я знаю, знал и до сегодняшнего дня, что не снискал вашего расположения; знал я также и причину. Да, я знал причину. Вы так откровенно говорили со мной; я чувствую такое облегчение, удостоившись вашего доверия...

— Доверия! — повторила она с презрением.

Он пропустил это мимо ушей.

— ...что не буду ничего утаивать. Да, я видел с самого начала, что у вас нет любви к мистеру Домби. Как могла бы она возникнуть между двумя столь разными людьми? Впоследствии я увидел, что чувство более сильное, чем равнодушие, зародилось в вашем сердце — да и могло ли быть иначе, если принять во внимание ваше положение? Но подобало ли мне взять на себя смелость открыть вам то, что я знал?

— Подобало ли вам, сэр,— отозвалась она,— притворяться, будто вы уверены в противоположном, и дерзко твердить мне об этом изо дня в день?

— Да, сударыня, подобало! — с жаром возразил он.— Если бы я этого не делал, если бы я поступал иначе, я бы не говорил с вами так, как говорю сейчас. А я предвидел — кто мог лучше предвидеть, ибо кто знает мистера Домби лучше, чем я? — что, если только ваш нрав не окажется таким же покладистым и уступчивым, как смиренный нрав его первой супруги, а этому я не верил...

Высокомерная улыбка дала ему понять, что он может повторить эти слова.

— А этому я не верил,— да, я предвидел, что, по всей вероятности, настанет время, когда такое взаимопонимание, к какому мы сейчас пришли, может оказаться полезным.

— Полезным кому, сэр? — пренебрежительно спросила она.

— Вам! Не говорю — мне, так как предпочитаю воздержаться даже от таких умеренных похвал мистеру Домби, какие я, по чести, мог бы высказать, если бы не боялся сказать что-либо неприятное той, чье отвращение и презрение столь глубоки! — выразительно добавил он.

— Сэр,— сказала Эдит,— вы были честны, упомянув об «умеренных похвалах» и говоря даже о нем таким пренебрежительным тоном: ведь вы — первый его советчик и льстец!

— Советчик — да,— сказал Каркер.— Льстец — нет. Не совсем искренним я, пожалуй, должен себя признать. Но наша выгода и удобства обычно побуждают многих из нас выражать чувства, которых мы не испытываем. Каждый день мы видим товарищества, построенные на выгоде и удобствах, дружбу, деловые связи, построенные на выгоде и удобствах, браки, построенные на выгодах и удобствах.

Она закусила свои кроваво-красные губы, но продолжала следить за ним тем же мрачным пристальным взглядом.

— Сударыня,— сказал мистер Каркер, с величайшим почтением и предупредительностью садясь в кресло рядом с ней,— зачем мне колебаться, раз я всецело вам предан, и почему не говорить откровенно? Вполне естественно, что леди, одаренная столь блестящими качествами, сочла возможным изменить характер своего супруга — изменить его к лучшему.

— Это неестественно для *меня,* сэр,— возразила она.— Таких надежд и таких намерений у меня никогда не было.

Гордое, бесстрастное лицо говорило, что она не намерена воспользоваться предложенными им личинами и готова смело пойти на любое разоблачение, не заботясь о том, в каком виде она предстанет перед таким человеком, как он.

— По крайней мере было естественно,— продолжал он,— что вы почитали вполне возможным жить с мистером Домби в качестве его супруги, не подчиняясь ему и в то же время не доходя до таких резких столкновений. Но, сударыня, рассуждая таким образом, вы не знали мистера Домби (в чем и убедились с тех пор). Вы не

знали, как он требователен и как он горд или,— если разрешите,— как он порабощен своим же собственным величием и идет, впряженный в свою собственную триумфальную колесницу, подобно быку под ярмом, помышляя лишь о том, что эта колесница находится за его спиной и нужно ее тащить через все и вся.

Зубы его сверкнули, когда он, злобно смакуя собственное тщеславие, продолжал:

— Мистер Домби поистине неспособен отнестись с подлинным вниманием как к вам, сударыня, так и ко мне. Сравнение крайне рискованное — я его сделал умышленно,— но верное. Мистер Домби, пользуясь полнотой власти, попросил меня — я это услышал от него самого вчера утром,— чтобы я был посредником между ним и вами, ибо ему известно, что я неприятен вам, но именно через меня он хочет наказать вас за ваше упорство; к тому же он несомненно считает, что принять такого посла, как я, слугу, состоящего у него на жаловании, унизительно — не для той леди, с которой я имею счастье беседовать,— о ней он не помышляет,— но для его жены, являющейся лишь частицей его самого. Вы можете себе представить, как мало он со мною считается, как он не допускает мысли, что у меня есть какие-то личные чувства или мнения, если говорит мне напрямик, что мне дано это поручение. Вы понимаете, с каким безразличием он относится к вашим чувствам, угрожая прислать к вам такого вестника. И вы, конечно, не забыли, что он уже сделал это.

Она по-прежнему следила за ним внимательно. Но и он следил за ней и видел, как намек на то, что ему известно кое-что из объяснения, происшедшего между нею и ее мужем, ранил ее высокомерную грудь, словно отравленная стрела.

— Обо всем этом я напоминаю вам не для того, чтобы расширить пропасть между вами и мистером Домби, сударыня... боже сохрани! какая была бы мне от этого польза... но лишь с целью указать, сколь безнадежно было бы внушить мистеру Домби мысль, что в случае, когда затронуты его интересы, надлежит думать еще о комто, кроме самого себя. Полагаю, что мы, лица, его окружающие и занимающие то или иное положение, сделали

свое дело, укрепив эту его точку зрения; но не сделай этого мы, это сделали бы другие — иначе они не находились бы при нем. И так было всегда, с самого его рождения. Короче говоря, мистеру Домби приходилось иметь дело только с теми, кто был ему послушен и зависел от него, кто опускался на колени и склонял перед ним голову. Он никогда не знал, что значит иметь дело с возмущенной гордостью и гневом, восставшими против него.

«Но он узнает это теперь!» — казалось, произнесла она, хотя губы ее оставались сжатыми, а взгляд — неподвижным. Он видел, как снова затрепетал нежный пух, он видел, как она на одно мгновение прижала к груди крыло прекрасной птицы. И свернувшаяся змея распустила еще одно из своих колец.

— Мистер Домби,— сказал он,— весьма почтенный джентльмен, но он склонен извращать даже факты, толкуя их согласно своим желаниям! Вряд ли я могу привести лучший пример, но он искренне верит (вы мне простите безумие этих слов; безумец не я), что суровость, с какою он высказал свое мнение теперешней его жене по одному поводу, быть может ей памятному,— это было еще до прискорбной кончины миссис Скьютон,— произвела ошеломляющее впечатление и в тот момент совершенно ее укротила!

Эдит засмеялась. Незачем говорить — как резко и немелодично. Достаточно сказать, что он рад был услышать ее смех.

— Сударыня,— продолжал он,— я с этим покончил. Ваши убеждения столь глубоки и, в этом я не сомневаюсь, столь непоколебимы,— последние слова он произнес медленно и очень выразительно,— что я почти опасаюсь снова вызвать ваше неудовольствие. Но я должен признаться, что, невзирая на его недостатки и полную мою осведомленность о них, я постепенно привык к мистеру Домби и научился уважать его. Верьте мне, я это говорю не для того, чтобы хвалиться чувством, столь чуждым вашему и отнюдь не вызывающим вашей симпатии,— о, как это было отчетливо, ясно и выразительно сказано! — но для того, чтобы уверить вас, каким преданным вашим слугой являюсь я при столь печальных обстоятельствах

и с каким негодованием отношусь к той роли, какую меня заставляют исполнять!

Она как будто боялась оторвать от него взгляд.

Теперь оставалось развернуть последнее кольцо!

— Уже поздно,— помолчав, сказал Каркер,— а вы, по вашим словам, утомлены. Но я не должен забывать о том, что у меня есть к вам еще одно дело. Я вам должен посоветовать, я должен умолять вас — для этого у меня есть веские причины,— настойчиво умолять, чтобы вы были осмотрительны, проявляя свое участие к мисс Домби.

— Осмотрительна? Что вы хотите этим сказать?

— Старайтесь не обнаруживать чрезмерной привязанности к этой молодой леди.

— Чрезмерной привязанности, сэр? — воскликнула Эдит, нахмурив свой широкий лоб и привстав с места.— Кто может судить о моей привязанности или измерять ее? Вы?

— Не я это делаю.— Он был смущен или притворялся смущенным.

— Кто же?

— Неужели вы не можете угадать, кто?

— Я не желаю угадывать,— ответила она.

— Сударыня,— сказал он после недолгого колебания, так же, как и раньше, они не спускали глаз друг с друга,— я нахожусь в затруднительном положении. Вы мне сказали, что не желаете получать через меня никаких уведомлений, и вы запретили мне возвращаться к этому предмету; но эти два предмета, как я увидел, столь тесно связаны, что — если вас не удовлетворит неясное предостережение, исходящее от того, кто сейчас имеет честь пользоваться вашим доверием, хотя ему пришлось предварительно навлечь на себя вашу немилость,— что я должен нарушить наложенный вами запрет.

— Вам известно, что вы можете это сделать, сэр,— сказала Эдит.— Нарушайте его.

Какая бледная, какая трепещущая, какая взволнованная! Так, стало быть, он не ошибся в своих расчетах!

— Его распоряжения,— сказал он,— возлагали на меня обязанность уведомить вас, что ваше поведение по отношению к мисс Домби ему не нравится; что оно вле-

чет за собою сравнения, неблагоприятные для него; что он желает совершенно изменить положение дел, и, если вы относитесь к этому серьезно — он уверен, что оно изменится,— ибо, постоянно проявляя свою привязанность к ней, вы не принесете ей добра.

— Это угроза,— сказала она.

— Это угроза,— повторил он беззвучно, а вслух произнес: — Но она направлена не против вас.

Горделивая, статная, величественная — такой она стояла перед ним, смотрела на него широко раскрытыми сверкающими глазами, улыбалась презрительно и горько; и вдруг поникла, как будто земля под ногами у нее разверзлась, и упала бы на пол, если бы он не поддержал ее. Она оттолкнула его, как только он к ней прикоснулся, и, отступив назад, снова стояла перед ним невозмутимая, с вытянутой рукой.

— Пожалуйста, оставьте меня. Ни слова больше сегодня!

— Я понимал, сколь важно это поручение,— продолжал Каркер,— ибо трудно сказать, что может последовать в скором времени, если вы не будете осведомлены о состоянии духа вашего супруга. Сейчас, как мне известно, мисс Домби огорчена увольнением своей старой служанки, а это увольнение является, быть может, одним из наименее серьезных последствий. Вы не осуждаете меня за мою просьбу о том, чтобы мисс Домби не присутствовала? Могу я на это надеяться?

— Я не осуждаю вас. Пожалуйста, оставьте меня, сэр.

— Я знал, что вы, чувствуя к этой молодой леди искреннюю и глубокую симпатию, будете чрезвычайно огорчены... вы станете терзаться мыслью, что повредили ее положению и погубили ее надежды на будущее,— быстро, но с жаром сказал Каркер.

— Больше ни слова сегодня! Оставьте меня, прошу вас.

— Я буду заходить сюда постоянно — навещать его, а также и по делам. Разрешите мне повидаться с вами еще раз, посоветоваться, что делать, и узнать ваши желания.

Она указала ему на дверь.

— Я даже не могу решить, сказать ли ему, что я уже говорил с вами, или пусть он считает, что я отложил этот разговор за неимением удобного случая,— или по какой-нибудь другой причине. Необходимо, чтобы вы поскорее дали мне возможность посоветоваться с вами.

— Когда угодно, только не сейчас,— ответила она.

— Вы поймете, когда я захочу увидеть вас, что мисс Домби не должна при этом присутствовать и что я прошу о свидании как человек, который имеет счастье пользоваться вашим доверием и приходит, чтобы оказать вам посильную помощь и, быть может, отвратить беду от нее, и не одну беду?

По-прежнему смотря на него и явно опасаясь хотя бы на секунду отвести пристальный взгляд, она ответила утвердительно и снова попросила его уйти.

Он поклонился, словно подчиняясь ее воле, но, уже дойдя до двери, вернулся и сказал:

— Я объяснил свою провинность и получил прощение. Можно ли мне — во имя мисс Домби и во внимание ко мне самому — коснуться вашей руки, прежде чем я уйду?

Она протянула ему затянутую в перчатку руку, которую ушибла накануне. Он взял ее в свою, поцеловал и удалился. Закрыв за собой дверь, он помахал рукой, которой прикасался к ее руке, и прижал ее к груди.

ГЛАВА XLVI

Опознание и размышления

Среди многих незначительных изменений, происходивших в эту пору в жизни и привычках мистера Каркера, наиболее примечательным было то сверхъестественное усердие, с каким он занимался делами, и то внимание, какое уделял каждой мелочи, касающейся хорошо ему известных операций фирмы. Всегда в таких случаях деятельный и проницательный, он теперь усилил в двадцать раз свою рысью бдительность. Мало того, что зоркий его глаз следил за текущими делами, каждый день представлявшимися ему в новой форме, но в разгар этих

всецело поглощавших его занятий он находил еще время — вернее, выкраивал его,— чтобы воскресить в памяти прежние операции фирмы и свое участие в них на протяжении многих лет. Часто, когда уходили все клерки, когда конторы оставались темными и пустыми и все деловые учреждения запирались, мистер Каркер, которому была открыта вся анатомия несгораемой кассы, изучал тайны книг и бумаг с терпеливой настойчивостью человека, рассекающего тончайшие нервы и фибры исследуемого объекта. Перч, рассыльный, который в таких случаях обычно оставался в передней и при свече развлекался чтением прейскуранта или, сидя у камина, дремал, ежеминутно рискуя клюнуть носом в ящик для угля,— Перч не мог не принести дань восхищения столь ревностному поведению, хотя оно и отнимало у него часы, предназначенные для семейных утех, и в беседе с миссис Перч (ныне нянчившей близнецов) он снова и снова повествовал о трудолюбии и проницательности их заведующего в Сити.

Такое же усиленное и напряженное внимание, с каким мистер Каркер занимался делами фирмы, уделял он и своим собственным операциям. Не будучи компаньоном в деле — до сей поры этой честью пользовались только наследники великого имени Домби,— он получал определенный процент со всех сделок; но, кроме того, он разделял с фирмой возможность выгодно помещать деньги, и потому мелкая рыбешка, окружающая китов восточной торговли, почитала его богатым человеком. Эти хитрые наблюдатели начали поговаривать о том, что Джеймс Каркер из фирмы Домби подсчитывает свои капиталы и, будучи предусмотрительным, заблаговременно продает свои акции; и на бирже предлагали даже биться об заклад, что Джеймс собирается жениться на богатой вдове.

Однако эти заботы нисколько не препятствовали мистеру Каркеру следить за своим начальником, оставаться безукоризненно опрятным, аккуратным, вкрадчивым и сохранять все свои кошачьи свойства. Можно было говорить не столько об изменившихся его привычках, сколько о том, что чувствовалось в нем какое-то напряжение. Все качества, присущие ему раньше, можно было под-

метить и теперь, но теперь он казался более сосредоточенным. Каждую мелочь он делал так, как будто никаких других дел у него не было,— а у человека с такими способностями и такой целеустремленностью это почти несомненно свидетельствует о том, что он занят каким-то делом, возбуждающим и приводящим в движение самые сильные стороны его натуры.

Единственная резкая перемена заключалась в том, что, проезжая по улицам, он был погружен в глубокое раздумье, напоминавшее то самое раздумье, в каком он отъехал от дома мистера Домби в то утро, когда с этим джентльменом случилось несчастье. Он машинально объезжал все препятствия на своем пути и, казалось, не видел и не слышал ничего вплоть до прибытия к месту назначения, если какая-нибудь случайность не отвлекала его от дум.

Держа путь однажды на своей белоногой лошади к конторе Домби и Сына, он так же не замечал двух пар зорких женских глаз, как и прикованных к нему круглых глаз Роба Точильщика, который, дожидаясь его — в доказательство своей пунктуальности — за квартал до условленного места, тщетно снова и снова притрагивался к шляпе, чтобы привлечь внимание хозяина и бежал рысцой рядом с ним, готовый придержать стремя, как только тот пожелает спешиться.

— Смотри, вот он едет! — воскликнула одна из двух женщин, дряхлая старуха, вытягивая иссохшую руку, чтобы указать на него своей спутнице, молодой женщине, которая стояла рядом с ней, укрывшись в подворотне.

Дочь миссис Браун выглянула, следя за движением руки миссис Браун; гневом и жаждой мести дышало ее лицо.

— Я никогда не думала, что увижу его еще раз,— тихо сказала она,— но, пожалуй, хорошо, что я его увидела. Да, вижу, вижу!

— Не изменился! — сказала старуха, бросая злобный взгляд.

— *Ему* меняться? — отозвалась другая женщина.— Из-за чего? Разве он страдал? Перемены, происшедшей со мной, хватит на двадцать человек. Неужели этого недостаточно?


BAL
6

— Смотри, как он едет! — пробормотала старуха, следя своими красными глазками за дочерью.— Такой спокойный и такой нарядный, едет верхом, а мы здесь стоим в грязи...

— И из грязи вышли,— нетерпеливо перебила дочь.— Мы — только грязь под копытами его лошади. Чем иным могли бы мы быть?

Провожая его напряженным взглядом, она нетерпеливо отмахнулась, когда старуха попыталась ей ответить, как будто даже звук голоса мешал ей смотреть. Мать, пристально следя за ней, а не за ним, не проронила ни слова, пока пылающий взгляд женщины не угас и она не вздохнула глубоко, словно почувствовала облегчение, когда он скрылся из виду.

— Милочка,— сказала тогда старуха.— Элис! Красавица! Эли! — Она осторожно дернула ее за рукав, чтобы привлечь ее внимание.— Неужели ты ему позволишь так вот прогуливаться, когда ты можешь выжать из него деньги? Дочка, да́ ведь это грешно!

— Разве я вам не говорила, что не возьму от него денег? — возразила она.— И неужели вы до сих пор мне не верите? Приняла я деньги от его сестры? Разве я прикоснулась бы хоть к одному пенни, если бы знала, что он прошел через его белые руки?.. Да, прикоснулась бы, если бы могла отравить эту монету и отослать обратно к нему! Успокойтесь, матушка, и уйдем отсюда.

— А он так богат! — пробормотала старуха.— А́ мы так бедны!

— Бедны — но только потому, что не можем отплатить ему за все зло, какое он нам причинил,— ответила дочь.— Пусть он даст мне богатство такого рода, и я приму его и воспользуюсь им. Уйдем! Нет никакого смысла смотреть на его лошадь. Пойдемте, матушка!

Но старуха, для которой Роб Точильщик, возвращающийся по улице и ведущий на поводу лошадь без всадника, казалось, представлял интерес сам по себе, созерцала этого юношу с чрезвычайным вниманием и, словно избавившись от каких-то колебаний, когда он подошел ближе, сверкнула глазами, бросив взгляд на дочь, приложила палец к губам и, выйдя из подворотни как раз в

тот момент, когда он проходил мимо, тронула его за плечо.

— Да где же это пропадал все время мой веселый Роб? — спросила она, когда он оглянулся.

Веселый Роб, чья веселость пошла на убыль после такого приветствия, казался весьма удрученным и сказал со слезами на глазах:

— Ох, миссис Браун, почему вы не хотите оставить в покое бедного парня, когда он честно зарабатывает деньги и держит себя как подобает приличному человеку? Зачем вы вредите доброй репутации парня, заговаривая с ним на улице, когда он ведет лошадь своего хозяина в хорошие конюшни — лошадь, которую, будь *ваша* воля, вы бы продали на корм кошкам и собакам? А я-то надеялся,— добавил Точильщик, произнося заключительную свою фразу и как бы подводя итог всем нанесенным ему обидам,— что вы уже давным-давно померли!

— Так вот как он говорит со мной, которая зналась с ним так долго, моя милая! — воскликнула старуха, взывая к дочери.— Со мной, которая много раз выручала его, защищая от всяких бродяг, голубятников и птицеловов!

— Будьте добры, миссис Браун, оставьте в покое птиц! — с великой тревогой воскликнул Роб.— Мне кажется, парню лучше иметь дело со львами, чем с этими маленькими пичужками, потому что их вечно тычут ему в нос, когда он меньше всего о них думает. Ну, как вы поживаете и что вам нужно?

Эти учтивые вопросы Точильщик задал как бы помимо своего желания и с величайшим раздражением и злобой.

— Ты только послушай, милочка, как он говорит со старой знакомой! — сказала миссис Браун, снова взывая к дочери.— Но кое-кто из его старых знакомых окажется не таким терпеливым, как я. Если бы я рассказала коекому, кого он знает и с кем он водился и обделывал разные делишки, и где найти...

— Неужели вы не можете держать язык за зубами, миссис Браун? — перебил злосчастный Точильщик, быстро оглядываясь, как будто ожидал увидеть здесь, рядом, ослепительные зубы своего хозяина.— Что вам за

радость губить парня? Да еще в ваши годы, когда следовало бы вам обо многом подумать!

— Какая чудесная лошадка! — сказала старуха, поглаживая шею лошади.

— Оставьте ее в покое, слышите, миссис Браун! — воскликнул Роб, отталкивая ее руку.— Вы можете с ума свести парня, который хочет исправиться!

— Да что за вред я ей причинила, дитя мое? — возразила старуха.

— Что за вред! — повторил Роб.— Хозяин у нее такой, что заметит, даже если ее соломинкой тронут.

И он подул на то место, к которому прикоснулась рука старухи, и осторожно погладил его пальцем, словно и в самом деле верил тому, что сказал.

Старуха, шамкая и гримасничая, поглядывая на дочь, следовавшую за ней, шла по пятам за Робом, который вел на поводу лошадь, и продолжала разговор.

— У тебя хорошее место, Роб, не правда ли? — сказала она.— Тебе посчастливилось, дитя мое.

— Ох, уж не говорите о счастье, миссис Браун! — возразил злополучный Точильщик, озираясь и останавливаясь.— Если бы вы мне не повстречались или если бы вы сейчас ушли, тогда и в самом деле можно было бы считать, что парню посчастливилось. Убирайтесь-ка вы отсюда, миссис Браун! И не ходите за мной по пятам! — взревел Роб, неожиданно бросив вызов.— Если эта молодая женщина — ваша приятельница, почему она вас не уведет, когда вы так себя срамите?

— Это еще что такое? — закаркала старуха, приблизив к нему лицо и скорчив такую злобную гримасу, что даже дряблая кожа на шее собралась в складки.— Ты отрекаешься от своего старого друга? Да разве ты не прятался раз пятьдесят у меня в доме и не спал сладким сном в уголку, когда у тебя не было никакого пристанища, кроме мостовой, а теперь ты вот как со мной разговариваешь?! Разве я не продавала и не покупала вместе с тобой и не помогала тебе, школяру, тащить, что плохо лежит, и мало ли что еще делать, а теперь ты говоришь *мне*, чтобы я убиралась прочь? А разве я не могла бы созвать завтра же утром твоих старых товарищей, чтобы они ходили за тобой, как тень, тебе на по-

гибель?.. А ты еще смотришь на *меня* дерзко? Ну что ж, пойду. Идем, Элис.

— Постойте, миссис Браун! — вскричал испуганный Точильщик.— Что же это вы делаете? Не нужно сердиться! Пожалуйста, удержите ее. Я вовсе не хотел вас обидеть. Я с самого начала сказал: «Как вы поживаете?» Ведь правда? Но вы не пожелали ответить. Ну, так *как* же вы поживаете? А потом послушайте,— жалобно добавил Роб,— ну, как может парень стоять и разговаривать на улице, когда ему нужно отвести хозяйскую лошадь, чтобы ее почистили, а хозяин у него такой, что каждую мелочь подмечает!

Старуха сделала вид, будто слегка смилостивилась, но все еще покачивала головой, бормотала и шамкала.

— Не хотите ли пойти к конюшням, миссис Браун, и выпить стаканчик чего-нибудь по вашему вкусу,— сказал Роб,— вместо того чтобы слоняться здесь, ведь от этого вам, да и никому нет никакой пользы! И вы пойдите с ней, будьте так добры,— прибавил Роб.— Я, право же, ужасно был бы рад ее видеть, не будь здесь лошади!

Принеся такое извинение, Роб, олицетворявший собою мрачное отчаяние, завернул за угол и повел порученную его заботам лошадь окольным путем. Старуха, пытаясь объясниться гримасами с дочерью, не отставала ни на шаг. Дочь следовала за ними.

Свернув на безлюдную маленькую площадь, или, вернее, двор, над которым высилась огромная колокольня и где помещались склад упаковщика и склад бутылок, Роб Точильщик поручил белоногую лошадь конюху из конюшен старинной постройки на углу и, пригласив миссис Браун и ее дочь присесть на каменную скамью у ворот этого заведения, вскоре прибежал из соседнего трактира с оловянным кувшином и стаканом.

— За здоровье твоего хозяина, мистера Каркера, дитя мое! — медленно высказала свое пожелание старуха перед тем, как выпить.— Да благословит его бог!

— Да ведь я вам не говорил, кто он такой! — воскликнул Роб, вытаращив глаза.

— Мы его знаем в лицо,— сказала миссис Браун, которая наблюдала за подростком с таким вниманием,

что на секунду перестала даже жевать губами и трясти головой.— Мы видели сегодня утром, как он ехал верхом и потом сошел с лошади, а ты ждал, чтобы увести ее.

— Да неужели? — отозвался Роб, который, по-видимому, пожалел о том, что не ждал его где-нибудь в другом месте.— А что с ней такое? Почему она не пьет?

Этот вопрос относился к Элис: она сидела поодаль, завернувшись в свой плащ, и не притронулась к стакану, который Роб снова наполнил и протянул ей.

Старуха покачала головой.

— Не обращай на нее внимания,— сказала она.— Если бы ты знал, Роб, какая она странная! А мистер Каркер...

— Тише! — сказал Роб, украдкой поглядывая на склад упаковщика и на склад бутылок, как будто мистер Каркер мог подсматривать оттуда.— Не так громко!

— Да ведь его здесь нет! — воскликнула миссис Браун.

— Этого я не знаю,— пробормотал Роб, мельком бросив взгляд даже на колокольню, словно и там мог скрываться мистер Каркер, наделенный сверхъестественно чутким слухом.

— Хороший хозяин? — осведомилась миссис Браун.

Роб кивнул и произнес вполголоса:

— Видит насквозь.

— Он живет за городом, правда, миленький? — спросила старуха.

— Да, когда он у себя дома,— ответил Роб.— Но сейчас мы не живем дома.

— А где же? — осведомилась старуха.

— Нанимаем квартиру поблизости от мистера Домби,— отозвался Роб.

Молодая женщина посмотрела на него так пытливо и так неожиданно, что Роб пришел в полное смятение и снова предложил ей стакан, но с таким же успехом, что и раньше.

— Мистер Домби... бывало, мы говорили о нем,— сказал Роб, обращаясь к миссис Браун.— Бывало, вы заставляли меня говорить о нем.

Старуха кивнула головой.

— Ну, так вот, мистер Домби упал с лошади,— с неохотой продолжал Роб,— и моему хозяину приходится бывать там чаще, чем обычно,— или у него, или у миссис Домби, или еще у кого-нибудь. Вот мы и переехали в город.

— Они ладят друг с другом, миленький? — спросила старуха.

— Кто? — осведомился Роб.

— Он и она?

— То есть мистер и миссис Домби? — сказал Роб.— Откуда же мне это знать?

— Нет, миленький, не они, а ваш хозяин и миссис Домби,— ласково пояснила старуха.

— Не знаю,— сказал Роб, снова озираясь вокруг.— Должно быть, ладят. Какая же вы любопытная, миссис Браун. Чем меньше слов, тем меньше ссор.

— Да ведь никакой беды в этом нет! — воскликнула старуха, засмеявшись и хлопнув в ладоши.— Весельчак Роб стал паинькой с той поры, как ему повезло! Никакой беды в этом нет.

— Знаю, что никакой беды в этом нет,— отозвался Роб, снова бросив недоверчивый взгляд на склад упаковщика, склад бутылок и на церковь.— Но болтать незачем, даже если бы речь шла о том, сколько пуговиц на сюртуке моего хозяина. Говорю вам, с ним это дело не пройдет. Лучше утопиться. Он сам так сказал. Я бы даже не назвал его фамилии, если бы вы ее не знали. Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Пока Роб снова осторожно обозревал двор, старуха украдкой сделала знак дочери. Это было едва заметное движение, но дочь, ответив ей взглядом, отвела глаза от мальчика; она по-прежнему сидела неподвижно, закутавшись в плащ.

— Роб, миленький,— сказала старуха, поманив его на другой конец скамьи.— Ты всегда был моим любимчиком и баловнем. Ведь правда? Ты это знаешь?

— Да, миссис Браун,— не слишком любезно ответил Точильщик.

— Как же ты мог меня покинуть! — воскликнула старуха, обнимая его за шею.— Как же ты мог, гордец, уйти, скрыться из виду и не прийти и не рассказать своей

бедной старой знакомой, какая тебе выпала удача! Ох-хо-хо!

— Эх, да ведь это страсть как опасно для парня, раз хозяин где-нибудь поблизости и смотрит в оба! — вскричал несчастный Точильщик.— Страсть как опасно, когда над ним вот так завывают.

— Ты зайдешь навестить меня, Роб? — воскликнула миссис Браун.— Ох, неужели ты так и не зайдешь меня навестить?

— Да говорю же вам, что зайду. Зайду! — ответил Точильщик.

— Вот теперь я узнаю моего Роба, моего любимчика,— сказала миссис Браун, вытирая омоченное слезами морщинистое лицо и нежно обнимая Точильщика.— Зайдешь ко мне домой, Роб?

— Да,— ответил Точильщик.

— И скоро, Роб, миленький? — спросила миссис Браун.— И часто будешь заходить?

— Да-да-да!! — сказал Роб.— Клянусь душой и телом, приду.

— И если он сдержит свое слово,— сказала миссис Браун, воздев руки к небу и подняв трясущуюся голову,— я никогда не буду подходить к нему, хотя мне известно, где он живет, и никогда не пророню о нем ни словечка! Никогда!

Это восклицание как будто принесло капельку утешения злополучному Точильщику, который тотчас пожал руку миссис Браун и со слезами на глазах умолял ее оставить парня в покое и не губить его надежд на будущее. Миссис Браун, еще раз нежно его обняв, изъявила согласие, но, прежде чем последовать за дочерью, оглянулась, украдкой поманила его пальцем и хриплым шепотом попросила денег.

— Дай мне шиллинг, миленький,— сказала она, и жадность отразилась на ее лице,— или шесть пенсов. Ради старого знакомства. Я так нуждаюсь! А моя красавица дочка,— она оглянулась в ее сторону,— ведь это моя дочка, Роб,— держит меня впроголодь.

Но когда Точильщик неохотно сунул ей в руку деньги, дочь потихоньку вернулась и, схватив мать за руку, вырвала у нее монету.

— Как? — воскликнула она.— Опять деньги! Вечно деньги и деньги! Плохо же вы помните о том, что я вам недавно говорила. Вот, возьми обратно!

Старуха застонала, когда деньги были возвращены владельцу, но, не препятствуя их возвращению, заковыляла рядом с дочерью в переулок, выходивший на площадь. Изумленный и испуганный Роб, глядя им вслед, увидел, что они вскоре остановились и завели оживленный разговор; заметил он также угрожающие жесты молодой женщины (по-видимому, относившиеся к тому, о ком они говорили) и попытку миссис Браун подражать этим жестам, и от всей души пожелал, чтобы не он был предметом их беседы.

Утешившись мыслью, что сейчас они ушли и что миссис Браун не может жить вечно и, по всей вероятности, недолго будет нарушать его покой, Точильщик, сокрушаясь о своих проступках лишь постольку, поскольку они влекли за собой такие неприятные последствия, успокоил свои встревоженные чувства, обрел безмятежный вид, подумав о том, как ловко он избавился от капитана Катля (это воспоминание почти всегда приводило его в превосходное расположение духа), и отправился в контору Домби получить приказания от своего хозяина.

Там его хозяин, такой проницательный и зоркий, что Роб затрепетал, всерьез опасаясь, как бы его не выбранили за свидание с миссис Браун, вручил ему, по обыкновению, папку с утренней почтой для мистера Домби и записку к миссис Домби и только кивнул головой, как бы предписывая быть осмотрительным и расторопным,— таинственное внушение, которое, по мнению Точильщика, заключало в себе мрачные предостережения и угрозы и действовало на него сильнее всяких слов.

Оставшись один в своем кабинете, мистер Каркер приступил к работе и работал весь день. Он принял немало посетителей, просмотрел множество документов, не раз уходил по делам и не позволял себе предаваться раздумью, пока занятия не пришли к концу. Но когда бумаги с его стола исчезли одна за другой, он снова погрузился в размышления.

Он стоял на обычном своем месте и в обычной своей позе, уставившись в пол, когда вошел его брат и принес

обратно письма, взятые из кабинета заведующего в течение дня. Он тихонько положил их на стол и хотел уйти, но мистер Каркер-заведующий произнес, устремив на него такой пристальный взгляд, точно все это время созерцал именно его, а не пол конторы:

— Ну-с, Джон Каркер, что привело *вас* сюда?

Его брат указал на письма и снова двинулся к двери.

— Странно,— сказал заведующий,— что вы приходите сюда и уходите, даже не справившись о здоровье нашего хозяина.

— Нам сообщили сегодня утром в конторе, что мистер Домби выздоравливает,— ответил брат.

— Вы такой мягкосердечный человек,— с улыбкой сказал заведующий,— впрочем, мягкосердечным вы стали в течение этих лет,— что, готов поклясться, вы бы огорчились, если бы с ним случилась беда.

— Я был бы искренне опечален, Джеймс,— ответил тот.

— Он был бы опечален,— сказал заведующий, указывая на него пальцем, словно взывая к кому-то третьему присутствующему при разговоре.— Он был бы искренне опечален! Вот этот мой брат! Этот маленький клерк, эта никому не нужная рухлядь, повернутая лицом к стене, словно дрянная картина! Он, просидевший у своей стены бог знает сколько лет! *Он* преисполнен благодарности, уважения, преданности и думает, что я этому поверю!

— Я ни в чем не хочу вас уверять, Джеймс,— возразил брат.— Будьте справедливы ко мне так же, как к любому из своих подчиненных. Вы мне задали вопрос, и я на него ответил.

— И у вас, жалкий льстец, нет никаких оснований сетовать на него? — спросил заведующий с несвойственной ему раздражительностью.— Нет оснований возмущаться высокомерным отношением, оскорбительным пренебрежением, чрезмерною требовательностью? Да кто же вы, черт возьми: человек или мышь?

— Было бы странно, если бы два человека, в особенности начальник и подчиненный, не имели никаких причин сетовать друг на друга; он, во всяком случае, их имел,— ответил Джон Каркер.— Но, не говоря уже о моей истории...

— Его история! — воскликнул заведующий.— Она всегда налицо. Она сбрасывает вас со счетов. Дальше!

— Да, не будем говорить об этой истории, которая, как вы намекнули, дает мне одному (к счастью для всех остальных) особые основания быть благодарным... Но здесь в конторе нет никого, кто бы высказывался и чувствовал иначе. Не думаете же вы, что кто-нибудь останется равнодушным, если неудача или несчастье постигнет главу фирмы, и не будет этим искренне опечален?

— У вас, разумеется, есть основания быть признательным ему,— презрительно сказал заведующий.— Да неужели вам неизвестно, что вас здесь держат как дешевый пример и знаменательное доказательство милосердия Домби и Сына, что́ споспешествует славной репутации этой великой фирмы?

— Неизвестно,— кротко ответил его брат.— Я давно уже уверовал в то, что меня здесь держат по другим соображениям, более бескорыстным.

— Вы как будто намеревались изречь какую-то христианскую заповедь,— сказал заведующий, оскалив зубы, как тигр.

— Нет, Джеймс,— возразил тот.— Хотя братские узы между нами давно порваны...

— Кто их порвал, дорогой сэр? — спросил заведующий.

— Я, своим недостойным поведением. Я вас в этом не виню.

Заведующий, растянув рот и оскалив зубы, беззвучно произнес: «О, вы меня в этом не вините!» — и предложил ему продолжать.

— Хотя, говорю я, братских уз между нами не существует, не осыпайте меня, умоляю, ненужными насмешками и не истолковывайте в дурную сторону то, что я говорю или хотел бы сказать. Я собирался высказать лишь одну мысль: ошибочно предполагать, что только вы один, возвышенный над всеми прочими, удостоенный доверия и отличия (возвышенный с самого начала, я это знаю, благодаря вашим исключительным способностям и порядочности), поддерживающий с мистером Домби более близкие отношения, чем кто бы то ни было, стоящий, если можно так выразиться, на равной ноге с ним и осыпанный его милостями и щедротами,— ошибочно, говорю я,

предполагать, что только вы один заботитесь о его благополучии и репутации. Я искренне верю, что нет в этой конторе никого, начиная с вас и кончая самым последним служащим, кто бы не разделял этого чувства.

— Вы лжете! — воскликнул заведующий, внезапно покраснев от гнева.— Вы — лицемер, Джон Каркер, и вы лжете!

— Джеймс! — вскричал тот, вспыхнув в свою очередь.— Что вы хотите сказать, произнося эти оскорбительные слова? Почему вы гнусно бросаете их мне в лицо без всякого повода с моей стороны?

— Я вам говорю,— сказал заведующий,— что ваше лицемерие и смирение, а также лицемерие и смирение всех служащих я не ставлю ни во что.— Он пренебрежительно щелкнул пальцами.— Я вижу вас насквозь. Вы для меня прозрачны, как воздух! Нет никого из служащих, занимающих место между мною и самым последним в этой конторе (к нему вы относитесь с участием, и не без основания, ибо вас разделяет небольшое расстояние), кто бы втайне не порадовался унижению своего хозяина, кто бы в глубине души не питал к нему ненависти,— кто бы не желал ему зла и кто бы не восстал, будь у него мужество и сила! Чем больше пользуешься милостями хозяина, тем больше терпишь от него обид, чем ближе к нему, тем дальше от него. Вот каково убеждение всех служащих!

— Не знаю,— отозвался брат, чье негодование вскоре уступило место удивлению,— не знаю, кто вам наговорил таких вещей и почему вам вздумалось испытывать меня, а не кого-нибудь другого. А вы меня испытывали и старались поддеть на крючок — в этом я теперь уверен. Вы и держите себя и говорите так, как никогда прежде. Повторяю еще раз — вас обманывают.

— Знаю, что обманывают,— сказал заведующий.— Я вам это уже говорил.

— Не я,— возразил его брат.— Ваш доносчик, если есть у вас таковой. А если нет, то ваши собственные мысли и подозрения.

— У меня нет никаких подозрений,— сказал заведующий.— У меня есть уверенность. Все вы — малодушные, подлые, льстивые собаки! Все вы одинаково притворяетесь, все одинаково лицемерите, все твердите одни и

те же жалобные слова, все скрываете одну и ту же тайну, весьма прозрачную.

Его брат, не говоря ни слова, удалился и захлопнул дверь, когда тот замолчал. Мистер Каркер-заведующий медленно придвинул стул к камину и стал потихоньку разбивать угли кочергой.

— Трусливые, гнусные твари! — пробормотал он, обнажая два ряда сверкающих зубов.— Нет среди них никого, кто бы не притворился потрясенным и возмущенным... Ба! Любой из них, будь он наделен властью и обладай он умом и смелостью, чтобы этой властью воспользоваться, унизил бы гордость Домби и сокрушил ее так же безжалостно, как я разбиваю эти угли!

Дробя их и размешивая золу в камине, он с задумчивой улыбкой смотрел на свою работу.

— Да, даже и без такой королевской приманки,— добавил он.— И есть гордыня, о которой забывать не следует; доказательством служит наше знакомство.

Он погрузился в еще более глубокое раздумье и сидел, размышляя над темнеющей золой, затем поднялся с видом человека, оторвавшегося от книги, и, осмотревшись вокруг, взял шляпу и перчатки, направился туда, где стояла его лошадь, сел на нее и поехал по освещенным улицам; был вечер.

Он поравнялся с домом мистера Домби, придержал лошадь и, проезжая шагом, посмотрел вверх, на окна. Сначала его внимание было привлечено тем окном, в котором он видел когда-то Флоренс с ее собакой, хотя сейчас оно не было освещено; но он улыбнулся, окинув взглядом величественный фасад дома, и с каким-то высокомерием отвернулся от этого окна.

— Было время,— сказал он,— когда стоило труда следить даже за твоей восходящей звездочкой и разузнавать, где собираются облака, чтобы в случае необходимости заслонить тебя. Но теперь взошла планета и затмила тебя своим сиянием.

Он повернул свою белоногую лошадь за угол и отыскал среди освещенных окон с другой стороны дома одно окно. С ним было связано воспоминание о величественной осанке, о руке в перчатке, воспоминание о том, как сыпались на пол перья с крыла прекрасной птицы, а легкий

белый пух накидки трепетал, словно перед надвигающейся бурей. Снова повернув лошадь, он увез с собой эти воспоминания; ехал он быстро по темнеющим и безлюдным аллеям парков.

Роковым образом они были связаны с женщиной, с гордой женщиной, которая ненавидела его, но благодаря его ловкости и своей гордыне и озлоблению медленно и неуклонно приучалась терпеть его присутствие; она приучалась видеть в нем человека, пользующегося привилегией говорить о ее пренебрежительном равнодушии к ее же собственному мужу и о забвении ею уважения к самой себе. Воспоминания связаны были с женщиной, которая глубоко его ненавидела, знала его и ему не доверяла, потому что слишком хорошо они друг друга понимали; но она разжигала свое жестокое озлобление, подпуская его к себе с каждым днем все ближе и ближе, несмотря на всю ненависть, какую к нему питала. Несмотря на нее? Благодаря ей! Ибо в той бездне, куда не в силах был проникнуть ее грозный взгляд,— хотя она и могла мельком туда заглянуть,— таилось возмездие, и достаточно было увидеть слабую тень его, вызывавшую содрогание, чтобы запятнать ее душу.

Неужели призрак такой женщины витал перед ним во время его поездки, призрак, отвечающий реальности?

Да, он видел ее мысленно такой, какою она была: ее гордыню, озлобление, ненависть так же ясно, как ее красоту, яснее всего — ненависть к нему самому. По временам он видел ее подле себя — высокомерную и неприступную, а иногда — лежащую в пыли под копытами его лошади. Но всегда он видел ее такой, какою она была, без маски, и следил за ней на опасной тропе, по которой она шла.

И после своей прогулки верхом, когда он переоделся и вошел в ее ярко освещенную комнату,— вошел со своею склоненной головой, тихим голосом и вкрадчивой улыбкой,— он видел ее так же ясно. Он даже угадывал, почему была затянута в перчатку рука и, в силу этой догадки, тем дольше удерживал ее руку в своей. На опасной тропе, по которой она шла, он следил за ней, и как только она делала шаг, он ставил свою ногу на отпечаток ее ноги.

ГЛАВА XLVII

Грянул гром

Время не расшатало преграды между мистером Домби и его женой. Время — утешитель скорби и укротитель гнева — ничем не могло помочь этой, плохо подобранной, паре. Несчастные сами по себе и отравляющие существование друг другу, ничем не связанные, кроме кандалов, соединявших их скованные руки, они, отшатываясь друг от друга, столь сильно натягивали цепь, что она врезалась в тело до кости. Их гордыни, различаясь характером, были одинаковой силы; словно кремень, их вражда высекала искру, и огонь то тлел, то разгорался в зависимости от обстоятельств, сжигая все в совместной их жизни и превращая их брачный путь в дорогу, усыпанную пеплом.

Будем справедливы к мистеру Домби. Отдаваясь чудовищному заблуждению — оно разрасталось с каждой песчинкой, падающей в песочных часах его жизни,— он гнал Эдит вперед и мало думал о том, к какой цели и как она идет. Однако чувство его к ней — каково бы оно ни было — оставалось таким же, каким было вначале. Она провинилась перед ним в том, что, неведомо почему, отказалась признать верховную его власть и всецело ей подчиниться, а стало быть, надлежало исправить ее и смирить; но в других отношениях он по-прежнему, со свойственной ему холодностью, почитал ее особой, которая при желании способна сделать честь его выбору и имени, усугубить его славу и доверие к его коммерческим талантам.

Со своей стороны, Эдит, одержимая страстным и высокомерным негодованием, устремляла мрачный взгляд ежедневно и ежечасно, начиная с той ночи, когда она сидела у себя в спальне, глядя на тени, плывущие по стене, и вплоть до той, еще более темной ночи, которая быстро надвигалась,— Эдит устремляла мрачный взгляд на того, кто подверг ее бесконечным унижениям и оскорблениям, и это был ее муж.

Был ли главный порок мистера Домби, столь беспощадно им правивший, чертою противоестественной? Быть

может, стоило бы иной раз осведомиться о том, что есть природа, и о том, как люди стараются ее изменить, и в результате таких насильственных искажений не естественно ли быть противоестественным? Посадите любого сына или дочь нашей могущественной матери-природы в тесную клетку, навяжите заключенному одну-единственную идею, питайте ее раболепным поклонением окружающих робких или коварных людей, и чем станет тогда природа для послушного узника, который ни разу не воспарил на крыльях свободного разума, опущенных и уже бесполезных, чтобы увидеть ее во всей полноте и реальности?

Увы, разве так уж мало в мире противоестественного, которое тем не менее является естественным? Послушайте, как судья обращается с предостережением к противоестественным отбросам общества; противоестественны их зверские обычаи, противоестественно отсутствие порядочности, противоестественны представления о добре и зле и смешение этих двух понятий; противоестественны они в своем невежестве, пороке, безрассудстве, упорстве, взглядах,— словом, во всем. Но пойдите по следам доброго священника или врача, который подвергает опасности свою жизнь, вдыхая воздух, которым они дышат, и спускается в их логовища, куда целый день доносится грохот колес наших экипажей и топот ног по мостовой. Окиньте взором эти отвратительные норы — у многих миллионов бессмертных душ нет другого места на земле; при малейшем упоминании о них человеческое чувство возмущается, а брезгливая деликатность, живущая на соседней улице, затыкает уши и говорит: «Я этому не верю!» Вдохните ядовитый воздух, отравленный миазмами, гибельными для здоровья и жизни, пусть каждое чувство ваше, дарованное человечеству для радости и счастья, будет оскорблено и возмущено, ибо только весть о страдании и смерти донесет оно до вашего сознания. Может ли растение, цветок или целебная трава, посаженные на зловонных грядках, расти естественно и простирать свои листочки навстречу солнцу, как предназначено было богом? И вызовите в памяти образ какого-нибудь хилого ребенка, малорослого, с порочным лицом, и заведите речь о его противоестественной греховности и сокрушайтесь о том, что он в таком

раннем возрасте отвратился от неба. Но подумайте немножко и о том, что он был зачат, рожден и вскормлен в аду!

Люди, занимающиеся науками и отыскивающие связь между ними и здоровьем человека, сообщают нам, что, если бы видимы были глазу ядовитые частицы отравленного воздуха, перед нами предстало бы густое черное облако, нависающее над трущобами; медленно разрастаясь, оно заражает лучшие районы города. Но если бы можно было разглядеть также ту моральную отраву, которая распространяется вместе с этими частицами и в силу вечных законов оскорбленной Природы от них неотделима,— каким бы это было ужасным откровением! Тогда увидели бы мы, что безнравственность, святотатство, пьянство, воровство, убийство и длинный ряд безыменных прегрешений против естественных склонностей и антипатий человечества нависли над обреченными местами и ползут дальше, чтобы губить невинных и развращать целомудренных. Тогда увидели бы мы, как эти ядовитые потоки, вливающиеся в наши больницы и лазареты, захлестывают тюрьмы, увеличивают осадку судов для перевозки каторжников и гонят их через моря насаждать преступление на обширных материках. Тогда оцепенели бы мы от ужаса, узнав, что, порождая болезнь, передающуюся нашим детям и гибельную для поколения, еще не родившегося, мы в то же время, в силу того же закона, производим на свет детство, чуждое невинности, юность, лишенную скромности и стыда, зрелость, в которой нет ничего зрелого, кроме страданий и греха, гнусную старость, позорящую образ человеческий. Противоестественное человечество! Когда мы будем собирать виноград с колючего кустарника и винные ягоды с чертополоха, когда злаки вырастут из отбросов на окраинах наших развращенных городов и розы расцветут на тучных кладбищах,— вот тогда мы найдем естественное человечество и убедимся, что оно произросло из таких семян.

О, если бы какой-нибудь добрый дух снял крыши с домов рукою более могущественной и милостивой, чем рука хромого беса в романе *, и показал христианам, какие мрачные тени вылетают из их домов, присоединяясь к свите ангела разрушения, шествующего среди них!

О, если бы в течение одной только ночи видеть, как эти бледные призраки поднимаются над теми местами, которыми мы слишком долго пренебрегали, и из густого, хмурого облака, где множатся пороки и болезни, проливают жестокое возмездие — дождь, вечно льющийся и вечно усиливающийся! Светлым и благословенным было бы утро, занимающееся после такой ночи: ибо люди, оставив позади камни преткновения, ими самими созданные, эти пылинки на тропе, ведущей к вечности, принялись бы строить лучший мир, как подобает существам единого происхождения, исполняющим единый долг по отношению к отцу единой семьи и стремящихся к единой цели.

Светлым и благословенным был бы этот день также и потому, что у тех, кто никогда не обращал внимания на окружающих, пробудилось бы сознание своей связи с ними; и им открылось бы извращение природы в их собственных узких симпатиях и оценках — извращение, столь же глубокое и, однако, столь же естественное, как самая низшая ступень падения.

Но заря такого дня не занялась для мистера Домби и его жены, и каждый продолжал идти своим путем.

За шесть месяцев, истекших после несчастного случая с мистером Домби, в их отношениях не произошло никакой перемены. Мраморная скала не могла бы стоять на его пути с большим упорством, чем стояла Эдит, и самый холодный родник в недрах глубокой пещеры, куда не проникнет луч света, не мог быть более неприступным и холодным, чем мистер Домби.

Надежда, вспыхнувшая в сердце Флоренс, когда ей померещилась картина нового домашнего очага, к тому времени совсем угасла. Этот очаг существовал почти два года, и даже терпеливая вера Флоренс не могла пережить жестоких испытаний каждого дня. Если и оставалась еще у нее тень надежды, что в далеком будущем Эдит и ее отец могут быть счастливы в совместной жизни, то сама она уже не надеялась завоевать отцовскую любовь. Тот короткий промежуток времени, когда ей чудилось, что отец слегка смягчился, изгладился в памяти; он вспоминался как горестное заблуждение, и уверенность в постоянной холодности отца не ослабевала.

Флоренс любила его по-прежнему, но постепенно стала любить его скорее как человека, который был ей дорог или мог быть дорог, чем как живое существо, находившееся перед ее глазами. Умиротворенная грусть, с какою она любила умершего маленького Поля или свою мать, окрашивала ее мысли о нем и словно превращала их в нежное воспоминание. Она не могла сказать, почему отец, которого она любила, становился для нее каким-то туманным образом — потому ли, что он для нее умер, или потому, что имел отношение к этим дорогим ей умершим и с ним так долго связаны были ее надежды, теперь угасшие, и нежность, им убитая. Но этот туманный образ вряд ли играл бо́льшую роль в ее действительной жизни, чем образ умершего брата, когда она представляла себе, что он жив и стал взрослым мужчиной, который любит ее и охраняет.

Эта перемена, если можно ее так назвать, произошла с ней незаметно, подобно переходу от детства к юности, и наступила одновременно с этим переходом. Флоренс было почти семнадцать лет, когда, размышляя в одиночестве, она это осознала.

Теперь она часто бывала одна, потому что прежние отношения между нею и Эдит резко изменились. Когда произошел несчастный случай с отцом и он лежал внизу, Флоренс впервые заметила, что Эдит ее избегает. Обиженная, потрясенная, но не понимающая, как можно это примирить с ее ласковым обращением при каждой встрече, Флоренс однажды вечером снова пришла к ней в комнату.

— Мама,— сказала она, потихоньку подойдя к ней.— Я вас огорчила?

Эдит ответила:

— Нет.

— Должно быть, я в чем-то провинилась,— продолжала Флоренс.— Скажите мне, в чем? Вы изменили свое отношение ко мне, милая мама. Я даже рассказать вам не могу, как быстро я чувствую малейшую перемену, потому что люблю вас всем сердцем.

— Так же, как и я вас,— сказала Эдит.— Ах, Флоренс, верьте мне, никогда я не любила вас сильнее, чем теперь!

— Почему, увидев меня, вы так часто уходите, почему вы избегаете меня? — спросила Флоренс.— И почему вы так странно на меня смотрите, милая мама? Ведь я не ошибаюсь, да?

Темные глаза Эдит ответили ей утвердительно.

— Почему? — умоляюще повторила Флоренс.— Скажите, почему, чтобы я знала, как вам угодить. И скажите мне, что теперь все будет иначе.

— Дорогая Флоренс,— ответила Эдит, сжимая руку, обвивавшую ее шею, и заглядывая в глаза, смотревшие на нее с такой любовью,— причины я не могу вам сказать. Не мне это говорить, не вам слушать; но так получилось и так должно быть, я знаю. Неужели я бы поступала таким образом, если бы не была в этом уверена?

— Значит, мы должны быть чужими друг для друга, мама? — спросила Флоренс, глядя на нее как бы в испуге.

Эдит, беззвучно пошевелив губами, ответила утвердительно.

Флоренс смотрела на нее все с бо́льшим страхом и недоумением, пока слезы, струящиеся по лицу, не скрыли от нее Эдит.

— Флоренс, родная моя! — быстро проговорила Эдит.— Выслушайте меня. Я не могу видеть вас такой печальной. Успокойтесь. Вы видите, что я сдерживаю себя. А разве это мне легко?

Ее голос и лицо снова были спокойны, когда она произносила эти последние слова, а затем добавила:

— Не совсем чужими. Отчасти. И только для виду, Флоренс, потому что в глубине души я остаюсь для вас все тою же и всегда буду такой. А то, что я делаю, я делаю не для себя.

— Для меня, мама? — спросила Флоренс.

— Достаточно знать то, что я вам сказала,— помолчав, ответила Эдит.— А зачем это делается — не имеет значения. Дорогая Флоренс, так лучше... это необходимо... чтобы мы встречались реже. Дружбу, которая связывала нас до сих пор, нужно разорвать.

— Когда? — вскричала Флоренс.— О мама, когда?

— Теперь,— сказала Эдит.

— И навсегда? — спросила Флоренс.

— Этого я не говорю,— ответила Эдит.— Я этого не знаю. Не скажу я также, что дружеские отношения между нами неуместны и вредны, хотя мне следовало бы знать, что добра от них не будет. Мой путь пролегал по тропам, по которым вы никогда не пойдете, и отсюда мой путь ведет... бог весть куда... я его не вижу.

Ее голос замер; она сидела и смотрела на Флоренс, и в ее взгляде были непонятный страх и отчужденность, которые однажды уже заметила Флоренс. А потом ею овладели те же мрачная гордыня и злоба, словно гневный аккорд пробежал по струнам неистовой арфы. Но на смену им не пришли кротость и смирение. На этот раз она не опустила головы, не заплакала, не сказала, что вся ее надежда — это Флоренс. Она сидела с высоко поднятой головой, точно прекрасная Медуза, которая смотрит на человека в упор, чтобы убить его. И она бы это сделала, если бы обладала такими чарами.

— Мама,— с тревогой сказала Флоренс,— в вас произошла еще какая-то перемена, о которой вы мне не сказали и которая меня пугает. Позвольте мне побыть немного с вами.

— Нет,— возразила Эдит,— нет, дорогая! Мне лучше остаться одной, и я сделаю все, чтобы видеть вас пореже. Не задавайте мне никаких вопросов, но верьте, что, если я кажусь непостоянной или капризной по отношению к вам, я поступаю так не по своей воле и не ради себя. Хотя теперь мы не так близки друг другу, как раньше, верьте, что в глубине души я не изменилась. Простите мне, что я еще более омрачила ваш мрачный дом. Я — тень, упавшая на него, и я это прекрасно знаю. Больше никогда не будем говорить об этом.

— Мама,— всхлипывая, промолвила Флоренс,— неужели мы должны будем расстаться?

— Мы поступаем таким образом именно для того, чтобы нам не пришлось расстаться,— сказала Эдит.— Не спрашивайте больше ни о чем. Ступайте, Флоренс. С вами моя любовь и мое раскаяние.

Она поцеловала ее. Когда Флоренс выходила из комнаты, Эдит проводила взглядом удаляющуюся фигуру, словно в этом образе отошел от нее добрый ангел и оста-

вил ее добычей высокомерных и негодующих страстей, которые теперь завладели ею и наложили свою печать на ее чело.

С этого часа Флоренс и Эдит больше не проводили время вдвоем, как прежде. В течение многих дней они редко встречались, разве что за столом и в присутствии мистера Домби. В таких случаях Эдит, властная, непреклонная и молчаливая, даже не смотрела на нее. Если при этом находился мистер Каркер — а это бывало часто в период выздоровления мистера Домби и впоследствии,— Эдит еще больше сторонилась ее и была еще сдержаннсе, чем обычно. Но когда бы ни случалось ей встретиться с Флоренс наедине, она обнимала ее так же нежно, как и раньше, хотя надменное ее лицо уже не так смягчалось. И часто, вернувшись домой поздно вечером, она, как в былые времена, тихонько входила в комнату Флоренс и шептала: «Спокойной ночи», склонившись над ее подушкой. Не ведая во сне о ее посещениях, Флоренс иногда просыпалась, словно ей приснились эти слова, произнесенные чуть слышно, и как будто ощущала на своей щеке прикосновение губ. Но это случалось все реже и реже, по мере того как шло время.

И снова Флоренс познала полное одиночество, которое и теперь, как прежде, пришло вслед за пустотой в ее собственном сердце. Подобно тому как образ отца, которого она любила, стал чем-то нереальным, так и Эдит, разделяя судьбу всех, кого Флоренс любила, с каждым днем отступала, расплывалась, бледнела вдали. Мало-помалу она отошла от Флоренс, точно призрак прежней Эдит; мало-помалу пропасть, их разделявшая, расширилась и стала казаться глубже; мало-помалу вся прежняя ее пылкость и нежность застыли, вытесненные той непреклонной, гневной отвагой, с какой она стояла у края невидимой для Флоренс бездны, дерзая смотреть вниз.

Мучительное отчуждение между нею и Эдит возмещалось для Флоренс одною только мыслью; хотя это было слабым утешением для ее измученного сердца, она старалась найти в ней какое-то успокоение. Не разрываясь больше между любовью и долгом по отношению к двоим, Флоренс могла любить обоих, не обижая ни того, ни дру-

го. Она могла им обоим, словно теням, созданным ее воображением, отвести место в своем сердце и не оскорблять их никакими сомнениями.

Так и пыталась она делать. Случалось — и довольно часто,— что недоумение, вызванное переменой, происшедшей с Эдит, овладевало ее мыслями и пугало ее. Но она не любопытствовала, спокойно отдаваясь снова тихой грусти и одиночеству. Флоренс нужно было только вспомнить о том, что звезда, сулившая ей счастье, померкла во мраке, окутавшем весь дом, и она плакала и смирялась.

Так проводила Флоренс жизнь в мечтах, в которых любовь, переполнявшая ее юное сердце, изливалась на призрачные тени, и в реальном мире, где этот могучий поток ее любви почти всегда возвращался вспять; и вот ей минуло семнадцать лет. Уединенная жизнь сделала ее застенчивой и скромной, но не ожесточила ее кроткого нрава и пылкого сердца. Дитя — судя по невинному ее простодушию, женщина — если судить по скромному ее достоинству и глубокому, напряженному чувству. В ее прекрасном лице и нежной, хрупкой фигуре как бы сочетались и сливались дитя и женщина; казалось, лето хотя и настало, весна не хочет отступить и старается затмить прелестью бутонов распустившиеся цветы. Но в ее голосе, проникавшем в душу, в ее тихом взоре, в каком-то странном сиянии, по временам как бы озарявшем ее лицо, и в задумчивой ее красоте было что-то напоминающее умершего брата. И на совете в Зале слуг перешептывались об этом, покачивали головой и тем с большим аппетитом ели и пили, еще теснее связанные узами дружбы.

Эти внимательные наблюдатели многое могли порассказать о мистере и миссис Домби и о мистере Каркере, который как будто был посредником между супругами и приходил и уходил, словно пытался их примирить, но всегда безуспешно. Все они сокрушались о прискорбном положении дел, и все порешили на том, что миссис Пипчин (неприязнь к которой оставалась нерушимой) приложила к этому руку; во всяком случае, приятно было иметь такой прекрасный объект для насмешек, и они усердно этим пользовались и очень веселились.

Гости, обычно бывавшие в доме, и знакомые, посещаемые мистером и миссис Домби, считали, что они подходят друг к другу,— во всяком случае, если говорить о высокомерии,— но особого внимания этому вопросу не уделяли. После смерти миссис Скьютон молодая леди с обнаженной спиной довольно долго не являлась, сообщив со свойственным ей очаровательным хихиканьем коекому из близких друзей, что с этим семейством у нее неразрывно связано представление о надгробных плитах и тому подобных ужасах. Но, придя в этот дом, она не нашла в нем ничего ужасного, и только золотые брелоки на часовой цепочке мистера Домби она с возмущением осудила как предрассудок *. Эта юная прелестница принципиально возражала против падчериц,— но ничего предосудительного она не могла сказать о Флоренс, кроме того, что ей недостает «изящества» — быть может, она подразумевала под этим спину. Многие из тех, кого приглашали лишь в торжественных случаях, вряд ли знали, кто такая Флоренс, и, возвращаясь домой, говорили: «Вот как? Так это мисс Домби сидела там в уголку? Очень хорошенькая, но немножко хрупкая на вид и задумчивая».

Да, действительно по прошествии последних шести месяцев именно такою была Флоренс, когда в замешательстве и едва ли не в испуге заняла место за обеденным столом накануне второй годовщины бракосочетания своего отца с Эдит (первая годовщина совпала с болезнью миссис Скьютон, разбитой параличом). Основаниями для ее опасений служили только знаменательный день, мина ее отца, которую она подметила, быстро бросив на него взгляд, и присутствие мистера Каркера, неприятное ей всегда, а сегодня — больше чем когда бы то ни было.

Эдит была в роскошном туалете, так как она и мистер Домби должны были присутствовать в тот день на званом вечере и обед был назначен на более поздний час. Она появилась, когда все уже сидели за столом, и мистер Каркер встал и подвел ее к ее месту. Как ни была она ослепительно прекрасна, что-то в выражении ее лица и в осанке навеки и безнадежно отделяло ее от Флоренс и от всех остальных. И, однако, был момент, когда Флоренс

поймала на себе ее ласковый взгляд, и этот взгляд заставил ее грустить еще больше и еще больше сожалеть о той пропасти, которая их теперь разделяла.

За обедом почти не разговаривали. Флоренс слышала, как ее отец время от времени заговаривал с мистером Каркером о делах, слышала его тихие ответы, но она мало внимания обращала на их беседу и с нетерпением ждала конца обеда. Когда подали десерт и слуги удалились, мистер Домби, который уж не раз откашливался, что не предвещало добра, сказал:

— Миссис Домби, я уведомил экономку о том, что завтра к обеду у нас будут гости. Полагаю, вам это известно?

— Я не обедаю дома,— отозвалась она.

— Общество небольшое,— невозмутимо продолжал мистер Домби, делая вид, будто не слышал ее ответа,— человек двенадцать — четырнадцать. Моя сестра, майор Бегсток и еще несколько лиц, с которыми вы мало знакомы.

— Я не обедаю дома,— повторила она.

— Сколь бы сомнительны ни были для меня основания именно теперь вспоминать это событие с удовольствием,— сказал мистер Домби все тем же высокомерным тоном, как будто она не проронила ни слова,— однако, миссис Домби, нужно соблюдать приличия пред лицом света. Если вы, миссис Домби, не питаете к себе никакого уважения...

— Да, никакого не питаю,— сказала она.

— Сударыня,— вскричал мистер Домби, ударив кулаком по столу,— будьте любезны выслушать меня! Я говорю, что если вы никакого уважения к себе не питаете...

— А я говорю, что никакого не питаю,— сказала она.

Он посмотрел на нее, но лицо, повернувшееся к нему, не изменилось бы, даже если бы ей в глаза заглянула смерть.

— Каркер,— обратился мистер Домби более спокойным тоном к этому джентльмену,— так как вы и раньше служили посредником между мною и миссис Домби, а я не намерен нарушать правила приличия, поскольку это касается лично меня, то я прошу вас уведомить миссис

Домби, что, если она не питает к себе никакого уважения, я к *себе* некоторое уважение питаю и, следовательно, подтверждаю мои распоряжения на завтра.

— Передайте вашему владыке, сэр,— сказала Эдит,— что я беру на себя смелость переговорить с ним об этом предмете в ближайшее время и что я буду говорить с ним с глазу на глаз.

— Сударыня,— сказал ее муж,— мистер Каркер освобожден от необходимости передавать мне какие бы то ни было ваши поручения, и он знает причину, заставляющую меня отказать вам в этом праве.

Он заметил, что она отвела глаза, и проследил за ее взглядом.

— Здесь находится ваша дочь, сэр,— сказала Эдит.

— Моя дочь здесь и останется,— сказал мистер Домби.

Флоренс, вставшая из-за стола, снова села, закрывая лицо руками и дрожа.

— Моя дочь, сударыня,..— начал мистер Домби.

Но Эдит перебила его; хотя она не повысила голоса, он звучал так внятно, выразительно и отчетливо, что его можно было бы расслышать и в бурю.

— Повторяю вам, что я хочу говорить с вами с глазу на глаз,— сказала она.— Если вы не сошли с ума, прислушайтесь к моим словам.

— Я имею право, сударыня,— возразил ее муж,— говорить с вами, когда и где мне угодно. А мне угодно говорить здесь и сейчас.

Она встала, словно хотела выйти из комнаты, но затем снова села и, глядя на него с полным спокойствием, сказала тем же тоном:

— Говорите!

— Прежде всего я должен сказать, сударыня,— произнес мистер Домби,— что этот угрожающий вид не приличествует вам.

Она засмеялась. Потревоженные бриллианты в ее волосах дрогнули и затрепетали. Говорят, будто некоторые драгоценные камни бледнеют, когда их владельцу грозит опасность. Будь у нее такие камни, заключенные в них лучи света должны были бы угаснуть в это мгновение; бриллианты потускнели бы, как свинец.

Каркер слушал, не поднимая глаз.

— Что касается моей дочери, сударыня,— продолжал мистер Домби,— ее долг по отношению ко мне — знать, какого поведения следует остерегаться. В настоящий момент вы служите весьма ярким примером для нее, и, надеюсь, она извлечет из этого пользу.

— Теперь я не буду вас останавливать,— невозмутимо ответила его жена.— Я не встану, не уйду и не лишу вас возможности высказать все, хотя бы в этой комнате начался пожар.

Мистер Домби кивнул головой, как бы в знак саркастической благодарности за внимание, и снова заговорил. Но уже не с таким самообладанием, как раньше: тревога Эдит в связи с Флоренс и равнодушие Эдит к нему самому и к его неодобрению терзали его, как незаживающая рана.

— Миссис Домби,— сказал он,— быть может, моей дочери для собственного ее усовершенствования не мешает знать, сколь пагубно упрямство и как необходимо его искоренять, в особенности, если кое-кто ему потворствует — проявляя при этом неблагодарность, добавлю я,— потворствует, когда честолюбие и корысть уже удовлетворены. Полагаю, и честолюбие и корысть сыграли свою роль, побудив вас занять принадлежащее вам теперь место за этим столом.

— Нет, я не встану, не уйду и не лишу вас возможности высказать все, хотя бы в этой комнате начался пожар,— повторила она слово в слово то, что сказала раньше.

— Быть может, естественно, миссис Домби,— продолжал он,— что вам неловко выслушивать такие неприятные истины в присутствии свидетелей. Но, признаюсь, я не понимаю,— тут он не мог скрыть своих подлинных чувств и не мог не бросить мрачного взгляда на Флоренс,— почему им может придать бóльшую силу и остроту кто-то другой, а не я, которого это так близко касается. Быть может,— и это вполне естественно,— вам неприятно слушать при свидетелях, что в вас живет заложенное в вас упрямство, которое советую вам поскорее сломить, которое вы должны сломить, миссис Домби, и которое, говорю об этом с сожалением, я не раз с

неудовольствием наблюдал еще до нашей свадьбы, когда оно проявлялось в отношении к вашей покойной матери. Но лекарство в ваших руках. Начав этот разговор, я отнюдь не забывал, миссис Домби, о том, что здесь присутствует моя дочь. А *вас* я прошу не забывать о том, что завтра здесь будут присутствовать несколько человек и что вы, памятуя о приличиях, должны их принять подобающим образом.

— Значит, мало вам того, что вы помните о происшедшем между вами и мною,— сказала Эдит.— Мало вам того, что вы можете бросить взгляд сюда,— она указала на Каркера, который по-прежнему слушал, не поднимая глаз,— и оживить в памяти те оскорбления, какие вы мне нанесли. Мало вам того, что вы можете бросить взгляд сюда,— она указала на Флоренс рукою, которая в первый и последний раз слегка задрожала,— и подумать о том, что вы сделали и какой утонченной пытке, ежедневной, ежечасной, постоянной, вы меня подвергли, поступив таким образом. Мало вам того, что этот день из всех дней в году памятен мне той борьбой (оправданной, но непонятной такому человеку, как вы), которая, к сожалению, меня не убила! Ко всему этому вы добавляете еще последнюю, завершающую подлость, делая *ее* свидетельницей моего падения, хотя вам известно, что вы заставили меня пожертвовать ради ее спокойствия единственным теплым чувством и привязанностью, какие остались у меня в жизни. Вам известно, что ради нее я бы и теперь подчинилась, если бы могла — но я *не могу,* слишком велико мое отвращение к вам,— подчинилась бы целиком вашей воле и была бы самым покорным из ваших рабов!

Не так нужно было служить величию мистера Домби. Ее слова пробудили старое чувство, придав ему небывалую силу и жестокость. Снова в этот суровый час его жизни заброшенная дочь выдвинута на первый план, выдвинута даже этой непокорной женщиной, сильна там, где он бессилен, и является для нее всем, тогда как он — ничто!

Он повернулся к Флоренс, как будто все это было сказано ею, и приказал ей выйти из комнаты. Флоренс, закрыв лицо руками, повиновалась, дрожа и плача.

— Я понимаю, сударыня,— гневно и с торжеством сказал мистер Домби,— тот дух противоречия, который заставил ваши нежные чувства направиться по этому руслу, но им поставили преграду, миссис Домби, им поставили преграду и побудили их повернуть вспять.

— Тем хуже для вас,— ответила она, не меняя ни тона, ни выражения лица.— Да! — сказала она, когда он резко повернулся при этих словах.— То, что худо для меня, в двадцать миллионов раз хуже для вас. Заметьте себе хотя бы это, если ничто другое вы неспособны заметить.

Усыпанный бриллиантами полумесяц в ее темных волосах вспыхнул и засверкал, как звездный мост. Драгоценные камни не несли в себе предостережения — иначе они стали бы такими же тусклыми и мутными, как запятнанная честь. Каркер по-прежнему сидел и слушал, не поднимая глаз.

— Миссис Домби,— сказал мистер Домби, вновь обретя, насколько это было для него возможно, свое надменное спокойствие,— таким поведением вы меня не смягчите и не заставите отказаться от моих намерений.

— Тем не менее оно одно только и является чистосердечным, хотя лишь в слабой степени отражает то, что происходит у меня в душе,— ответила она.— Но если бы я думала, что оно может вас смягчить, я бы его изменила, если только в человеческих силах его изменить. Я не сделаю того, о чем вы меня просите.

— Я не привык просить, миссис Домби,— возразил он.— Я приказываю.

— Завтра, а также и в последующие годовщины я не желаю играть никакой роли в вашем доме. Я ни перед кем не желаю выставлять себя напоказ, как строптивая рабыня, купленная вами в такой-то день. Если я сохранила в памяти день моей свадьбы, то исключительно как день позора. Уважение к себе! Приличия перед лицом света! Что они значат для меня? Вы сделали все возможное, чтобы они стали для меня ничем, и теперь они — ничто.

— Каркер,— сказал мистер Домби, сдвинув брови и минуту подумав,— миссис Домби до такой степени забывает сейчас и о себе и обо мне и ставит меня в положение столь неподобающее моей репутации, что я должен коренным образом изменить сложившуюся ситуацию.

— В таком случае,— сказала Эдит ровным голосом, не изменившись в лице, по-прежнему невозмутимо,— избавьте меня от тех уз, какими я связана. Отпустите меня!

— Сударыня! — воскликнул мистер Домби.

— Развяжите меня! Отпустите меня на свободу!

— Сударыня! — повторил он.— Миссис Домби!

— Скажите ему,— повторила Эдит, обратив свое высокомерное лицо к Каркеру,— что я хочу развестись с ним. Что так будет лучше. Что я ему это советую. Скажите ему, что я приму любые его условия — его богатство не играет для меня никакой роли,— но что чем скорее, тем лучше.

— Боже мой, миссис Домби! — с величайшим изумлением воскликнул ее супруг.— Неужели вы воображаете, что я могу отнестись серьезно к такому предложению? Знаете ли вы, кто я такой, сударыня? Знаете ли вы, что я собою представляю? Слыхали вы когда-нибудь о фирме «Домби и Сын»? Будут говорить о том, что мистер Домби — мистер Домби! — развелся со своей женой! Ничтожные люди будут говорить о мистере Домби и семейных его делах! Неужели вы серьезно думаете, миссис Домби, что я бы позволил позорить свое имя? Что вы, сударыня? Как вам не стыдно! Какой вздор!

Мистер Домби рассмеялся от души.

Но не так, как она. Лучше было бы ей умереть, чем рассмеяться так, как рассмеялась она в ответ, не сводя с него пристального взгляда. Лучше было бы ему умереть, чем сидеть здесь, во всем своем великолепии, и слушать ее.

— Нет, миссис Домби,— продолжал он,— нет, сударыня. Не может быть и речи о разводе, и тем настойчивее советую я вам опомниться и подумать о чувстве долга. Так вот что я хотел вам сказать, Каркер...

Мистер Каркер, который все время сидел и слушал, поднял теперь глаза, загоревшиеся ярким, необычным блеском.

— ...Вот что я хотел вам сказать,— продолжал мистер Домби,— теперь, когда дело принимает такой оборот, я прошу вас уведомить миссис Домби: правила моей жизни не позволяют, чтобы мне кто бы то ни было про-

тиворечил — кто бы то ни было, Каркер. Они не позволяют также, чтобы кого бы то ни было, кроме меня, выдвигали на первый план, когда речь идет о повиновении мне. Упоминание о моей дочери и то обстоятельство, что моя дочь привлечена для борьбы со мной, противоестественны. Состоит ли моя дочь в союзе с миссис Домби, я не знаю и знать не хочу; но после слов, сказанных сегодня миссис Домби,— их слышала моя дочь,— я прошу вас довести до сведения миссис Домби следующее: если она по-прежнему станет превращать этот дом в арену борьбы, я, в соответствии с собственным признанием миссис Домби, буду считать дочь до известной степени ответственной, и она навлечет на себя мой гнев. Миссис Домби спросила: «Разве мало того, что она сделала то-то и то-то?» Будьте любезны ответить ей: «Да, этого мало!»

— Одну минутку! — перебил Каркер.— Разрешите! Как ни мучительно мое положение, мучительно в особенности потому, что я с вами не совсем согласен,— повернулся он к мистеру Домби,— я принужден спросить, не лучше ли будет, если вы еще раз обдумаете вопрос о разводе. Я знаю, сколь это представляется несовместимым с вашим высоким общественным положением, и знаю, сколь велика ваша решимость, если вы даете миссис Домби понять,— его сверкающий взгляд упал на нее, когда он с расстановкой произносил эти слова, отчетливые, как удары колокола,— даете понять, что только смерть может вас разлучить. Только смерть! Но если вы примете во внимание, что миссис Домби, живя в этом доме и превращая его, как вы сказали, в арену борьбы, не только участвует сама в этой борьбе, но и ежедневно навлекает ваше недовольство на мисс Домби (ведь мне известна ваша непреклонность), то не избавите ли вы ее от постоянной душевной тревоги и постоянного, почти невыносимого чувства, что она — виновница чьих-то страданий? Я этого не утверждаю, но не может ли показаться, будто вы приносите миссис Домби в жертву ради сохранения вашего высокого, недосягаемого положения в обществе?

Снова его загоревшийся взор упал на нее, в то время как она стояла и смотрела на мужа; теперь на лице ее была странная и зловещая улыбка.

— Каркер,— произнес мистер Домби, высокомерно нахмурившись, тон его не допускал возражений,— вы не понимаете своего положения, если даете мне советы по такому вопросу, и характер вашего совета (к удивлению моему) свидетельствует о том, что вы не понимаете меня. Я больше ничего не имею сказать.

— Быть может,— сказал Каркер с несвойственной ему и едва уловимой насмешкой,— вы не поняли моего положения, когда возложили на меня высокую честь ведения этих переговоров,— он махнул рукой в сторону миссис Домби.

— О нет, сэр,— надменно возразил тот.— Вам было поручено...

— Как лицу подчиненному, способствовать унижению миссис Домби. Я забыл. О да, об этом было упомянуто! — сказал Каркер.— Простите!

Он склонил голову перед мистером Домби с почтительным видом, который плохо согласовался с этими словами, хотя они и были произнесены смиренно, затем повернулся в ее сторону и посмотрел на нее пытливым взглядом.

Уж лучше бы она сделалась уродлива, как смертный грех, и упала мертвой, но не стояла бы такая прекрасная, улыбаясь с величественным презрением падшего ангела. Она подняла руку к драгоценной диадеме, сверкавшей у нее на голове, сорвала ее с такой силой, что пышные черные волосы, которые она безжалостно дернула, рассыпались по плечам, и швырнула диадему на пол. С обеих рук она сняла усыпанные бриллиантами браслеты, бросила их и попрала ногами сверкающие камни. Молча, все теми же горящими глазами, все с тою же странной улыбкой, она, не отрываясь, смотрела на мистера Домби, направляясь к двери; затем она вышла.

Прежде чем уйти из комнаты, Флоренс слышала достаточно и поняла, что Эдит любит ее по-прежнему, что она страдала из-за нее и не упоминала о принесенных ею жертвах, опасаясь нарушить ее покой. Флоренс не собиралась говорить с нею об этом — не могла говорить, помня, против кого она восстает,— но ей хотелось молчаливым и нежным объятием уверить Эдит, что она все это поняла и благодарна ей.

В тот вечер ее отец один отправился в гости, и Флоренс, выйдя вскоре после этого из своей спальни, бродила по дому, тщетно отыскивая Эдит. Та не покидала своих комнат, куда Флоренс давно уже не заглядывала и сейчас не посмела зайти, опасаясь вызвать неумышленно новые недоразумения. Но, не теряя надежды встретиться с ней перед сном, Флоренс переходила из комнаты в комнату и, нигде не находя себе места, блуждала по всему дому, такому великолепному и такому мрачному.

Она шла по коридору, выходившему на площадку лестницы и освещавшемуся только в торжественных случаях, как вдруг увидела вдали, за аркой, какого-то мужчину, спускавшегося по лестнице. Инстинктивно избегая встречи с отцом, за которого она приняла этого человека, Флоренс остановилась в темноте, глядя туда, где горел свет. Но это был мистер Каркер, который спускался один по лестнице и поверх перил разглядывал холл. Звон колокольчика не возвестил об его уходе, и никто из слуг не провожал его. Он потихоньку сошел вниз, сам открыл дверь, выскользнул на улицу и бесшумно закрыл за собой дверь.

Ее непобедимое отвращение к этому человеку,— а быть может, слежка исподтишка, которая даже при таких обстоятельствах мучительна и постыдна,— заставила Флоренс содрогнуться с головы до пят. Казалось, кровь застыла у нее в жилах. Как только силы к ней вернулись — а в первые минуты непреодолимый страх мешал ей сдвинуться с места,— она быстро пошла к себе и заперла дверь; но даже теперь, сидя взаперти со своей собакой, она не могла преодолеть леденящее чувство ужаса, словно близка была какая-то грозная опасность.

Она вторглась в ее сны и всю ночь нарушала ее покой. Встав утром с тяжелым воспоминанием о семейных раздорах вчерашнего дня, она снова принялась искать Эдит по всем комнатам и все утро то и дело возобновляла эти поиски. Но Эдит не выходила из своей спальни, и Флоренс ее так и не увидела. Узнав, однако, что званый обед отложен, Флоренс предположила, что Эдит поедет вечером в гости, приняв приглашение, о котором говорила, и решила встретить ее на лестнице.

Когда настал вечер, Флоренс, поджидавшая в одной из комнат, заслышала на лестнице шаги, которые при-

няла за шаги Эдит. Поспешно выйдя и бросившись ей навстречу, Флоренс увидела, что та одна спускается в холл.

Каковы же были испуг и удивление Флоренс, когда Эдит, увидев ее заплаканное лицо и простертые руки, в ужасе отпрянула и крикнула:

— Не подходите ко мне! Прочь! Дайте мне пройти!

— Мама! — сказала Флоренс.

— Не называйте меня этим именем! Не говорите со мной! Не смотрите на меня! Флоренс! — Она отшатнулась, когда Флоренс хотела подойти ближе.— Не прикасайтесь ко мне!

Флоренс, оцепеневшая при виде искаженного лица и широко раскрытых глаз, заметила, как во сне, что Эдит закрыла глаза руками и, дрожа всем телом, прижимаясь к стене, проскользнула мимо нее, словно какое-то нечистое животное, а затем исчезла.

Флоренс упала в обморок на лестнице, и, по ее предположениям, здесь ее нашла миссис Пипчин. Она знала только, что очнулась у себя на кровати, а вокруг нее стояли миссис Пипчин и служанки.

— Где мама? — был первый ее вопрос.

— Уехала в гости, на обед,— сказала миссис Пипчин.

— А папа?

— Мистер Домби у себя в комнате, мисс Домби,— ответила миссис Пипчин,— а вам надо раздеться и сию же минуту лечь в постель.

Таково было средство, применяемое этой проницательной женщиной против всех болезней, а главным образом — против уныния и бессонницы, за каковые прегрешения многие юные жертвы во времена брайтонского замка были осуждены на лежание в постели с десяти часов утра.

Не дав обещания повиноваться, но выразив желание полежать спокойно, Флоренс поспешила избавиться от заботливого ухода миссис Пипчин и ее помощниц. Оставшись одна, она задумалась о том, что произошло на лестнице, сначала сомневаясь, было ли это на самом деле, потом залилась слезами, потом почувствовала невыразимый и беспредельный ужас, какой она испытала прошедшей ночью.



Она решила не ложиться спать, пока не вернется Эдит; если и не удастся поговорить с ней, то по крайней мере она будет уверена, что та благополучно возвратилась домой. Какие смутные и неясные опасения привели Флоренс к такому решению, она не знала и не смела об этом думать. Она знала только, что не будет отдыха для ее измученной головы и трепещущего сердца, пока не вернется Эдит.

Вслед за вечером пришла ночь, настала полночь — Эдит все еще нет.

Флоренс не могла заняться чтением и ни на минуту не находила покоя. Она ходила взад и вперед по своей комнате, открывала дверь и бродила по коридору, смотрела из окна в темноту, слушала, как завывает ветер и льет дождь, садилась и всматривалась в образы, возникающие в пламени, снова вставала и следила, как луна, словно гонимый ветром корабль, летит сквозь облака.

Все в доме улеглись спать, кроме двух слуг, которые ждали внизу возвращения своей хозяйки.

Час ночи. Экипажи с грохотом пролетали вдали, сворачивали за угол или проезжали мимо; тишина постепенно сгущалась и нарушалась все реже и реже, разве что порывом ветра или шумом дождя. Два часа. Эдит еще нет.

Флоренс, все больше волнуясь, ходила взад и вперед по своей комнате, бродила по коридору, смотрела из окна в темноту; все казалось ей неясным и расплывчатым от дождевых капель на оконном стекле и от слез, застилавших глаза; она смотрела на сумятицу в небе, столь отличную от покоя на земле и в то же время такую безмятежную и далекую. Три часа! Ужас был в каждом угольке, рассыпавшемся в камине. Эдит все еще нет.

Все больше волнуясь, Флоренс ходила взад и вперед по своей комнате, бродила по коридору, смотрела на луну, и внезапно ей почудилось, что луна похожа на побледневшую беглянку, которая спешит уйти и скрыть свое преступное лицо. Пробило четыре часа! Пять! Эдит все еще нет!

Но вдруг в доме послышался какой-то шум; Флоренс догадалась, что один из бодрствовавших слуг разбудил миссис Пипчин, которая встала, оделась и сошла вниз

к двери мистера Домби. Осторожно спускаясь по лестнице, Флоренс увидела отца, вышедшего в халате из своей комнаты; он вздрогнул, когда ему сказали, что его жена не вернулась домой. Он послал слугу на конюшню узнать, там ли кучер, а когда тот ушел, поспешил одеться. Слуга вернулся впопыхах, ведя с собою кучера, который сказал, что он уже с десяти часов был дома и лег спать. Он отвез свою хозяйку на старую ее квартиру на Брук-стрит, где ее встретил мистер Каркер...

Флоренс стояла на том самом месте, где она была, когда увидела Каркера, спускающегося по лестнице. Снова она задрожала в безотчетном страхе, так же, как при виде его, и у нее едва хватило сил слушать и понимать происходившее.

...Который сказал ему, продолжал кучер, что хозяйке не понадобится карета, и отпустил его.

Она видела, как отец побледнел, слышала, как он торопливо, дрожащим голосом позвал горничную миссис Домби. Все в доме были на ногах, и горничная тотчас же явилась, тоже очень бледная и отвечавшая бессвязно.

Она сообщила, что одела свою госпожу рано, за добрых два часа до отъезда, и, как бывало уже не раз, ей было сказано, что вечером ее услуги не потребуются. Сейчас она только что вернулась из комнат своей хозяйки, но...

— Но что? Что случилось? — Флоренс услышала, как крикнул ее отец, словно лишившись рассудка.

— ...Но будуар заперт на ключ, а ключа нет.

Отец схватил свечу, горевшую на полу,— кто-то поставил ее здесь и забыл о ней,— и бросился наверх в таком бешенстве, что Флоренс едва успела, скользнув в сторону, освободить ему дорогу. Она бежала к себе в комнату, в ужасе простирая руки, с развевающимися волосами, с лицом, искаженным как у сумасшедшей, и слышала, что он ломится в дверь.

Когда дверь подалась и он ворвался в комнату, что он увидел там? Никто этого не знал. Но на полу лежала груда драгоценностей, полученных ею от него со дня свадьбы, платья, какие она носила, и все, что у нее было. Это была та самая комната, где он видел, вон в том

зеркале, надменное лицо, отвернувшееся от него, где он безотчетно подумал о том, какова будет эта комната, когда он увидит ее в следующий раз.

Побросав эти вещи в ящики и в безумной спешке заперев их на ключ, он увидел на столе какие-то бумаги. Дарственную запись, сделанную им при бракосочетании, и письмо. Он прочел, что она ушла. Он прочел, что он обесчещен. Он прочел, что в постыдную для нее годовщину свадьбы она бежала с человеком, которого он избрал орудием ее унижения; и он выскочил из комнаты и выскочил из дому, одержимый мыслью найти ее там, куда ее отвезли, и своею рукою стереть все следы красоты с торжествующего лица.

Флоренс, почти не сознавая, что она делает, надела шаль и шляпу, думая о том, что будет бежать по улицам, пока не отыщет Эдит, а тогда сожмет ее в своих объятиях, чтобы спасти и привести домой. Но когда она выбежала на площадку и увидела слуг, сновавших со свечами вверх и вниз по лестнице, перешептывавшихся между собой и шарахнувшихся в сторону от ее отца, когда тот прошел мимо, Флоренс очнулась, осознав свою беспомощность. Спрятавшись в одной из великолепных комнат — вот для чего разубранных! — она почувствовала, что сердце ее готово разорваться от горя.

Сострадание к отцу было первым отчетливым чувством, пробившимся сквозь этот поток скорби, захлестнувший ее. Верное сердце Флоренс обратилось к нему, когда его постигло несчастье, с таким жаром и преданностью, словно в дни своего благополучия он был воплощением ее мечты, которая постепенно стала столь туманной и призрачной. Хотя она не имела полного представления о разразившейся катастрофе и только строила догадки, рожденные безотчетным страхом, но он стоял перед ней, оскорбленный и покинутый, и снова горячая любовь побуждала ее быть подле него.

Он отсутствовал недолго: Флоренс еще плакала в великолепной комнате и предавалась этим мыслям, когда услышала его шаги. Он приказал слугам заниматься своими обычными делами и удалился на свою половину, где принялся шагать из угла в угол, так что она слышала его тяжелую поступь.

Внезапно поддавшись порыву любви, всегда такой робкой, но сейчас, когда отца постигло несчастье, смелой и неудержимой, Флоренс, не сняв шали и шляпы, сбежала вниз. Когда ее легкие шаги раздались в холле, он вышел из своей комнаты. Она бросилась к нему, простирая руки и восклицая. «О папа, милый папа!» — словно хотела обвить руками его шею.

Это она бы и сделала. Но в безумии своем он злобно поднял руку и ударил ее наотмашь с такою силой, что она пошатнулась, едва не упав на мраморный пол. И, нанеся этот удар, он ей крикнул, кто такая Эдит, и приказал идти к ней, раз они всегда были в союзе против него.

Она не упала к его ногам, она не закрыла лицо дрожащими руками, чтобы не видеть его, она не заплакала; она не попрекнула его ни единым словом. Но она посмотрела на него, и горестный вопль вырвался из ее груди. Ибо, посмотрев на него, она поняла, что в этот миг он убивает ту мечту о любви, которую, вопреки ему, она лелеяла. Она увидела его жестокость, равнодушие, ненависть, возобладавшие над этой мечтой и попирающие ее. Она поняла, что нет у нее отца, и, осиротевшая, выбежала из его дома.

Выбежала из его дома! Мгновение — и ее рука лежала на дверном замке, крик замер на ее губах, ее лицо казалось мертвенно бледным при желтом свете свечей, второпях поставленных на пол и уже оплывающих, и при дневном свете, проникающем в окно над дверью. Еще мгновение — и тесный сумрак запертого дома (ставни забыли отворить, хотя давно уже рассвело) неожиданно уступил место сиянию и простору утра. И Флоренс, опустив голову, чтобы скрыть неудержимые слезы. очутилась на улице.

ГЛАВА XLVIII

Бегство Флоренс

Вне себя от горя, стыда и ужаса одинокая девушка бежала в сиянии солнечного утра, словно во мраке зимней ночи. Ломая руки и заливаясь горькими слезами, не чувствуя ничего, кроме глубокой раны в сердце, ошелом-

ленная утратой всего, что любила, брошенная, подобно человеку на пустынном берегу, единственному, уцелевшему после крушения большого судна, она бежала без мыслей, без надежд, без цели, только бы бежать куда-нибудь — все равно куда!

Веселая перспектива длинной улицы, позолоченной утренним светом, синее небо и легкие облачка, бодрящая свежесть дня, радостного и румяного после победы над ночью,— все это не пробуждало никакого ответного чувства в ее измученной груди. Куда-нибудь, все равно куда, только бы укрыться! Куда-нибудь, все равно куда, только бы найти пристанище и никогда больше не видеть того места, откуда она бежала!

Но по улице сновали пешеходы; открывались магазины, слуги появлялись у дверей домов; нарастал шум и грохот повседневной борьбы. Флоренс видела изумление и любопытство на лицах, мелькавших мимо нее; видела, как возвращаются назад длинные тени на тротуаре; слышала незнакомые голоса, спрашивающие ее, куда она идет и что случилось; и хотя это испугало ее еще больше и заставило ускорить шаги, но в то же время сослужило добрую службу, вернув ей до известной степени самообладание и напомнив о необходимости сохранять какое-то спокойствие.

Куда идти? Куда-нибудь, все равно куда! Только бы идти. Но куда? Она вспомнила о том, как заблудилась однажды в дебрях Лондона,— но все же заблудилась не так безнадежно, как теперь, и пошла к дому дяди Уолтера.

Заглушая рыдания, вытирая опухшие глаза, стараясь скрыть свое смятение, чтобы не привлекать внимания прохожих, Флоренс, решив идти по менее людным улицам, продолжала путь более спокойно, как вдруг по залитому солнцем тротуару скользнула знакомая тень, остановилась, завертелась на месте, подбежала к ней, снова отскочила, принялась прыгать вокруг нее, и Диоген, задыхаясь, но все-таки оглашая улицу радостным лаем, очутился у ее ног.

— О Ди! Милый, верный, преданный Ди! Как ты попал сюда? Как я могла покинуть тебя, Ди? Ведь ты бы меня никогда не покинул!

Флоренс нагнулась и прижала к своей груди его

лохматую, старую, любящую, глупую голову, потом они вместе поднялись и вместе пошли дальше. Диоген не столько шел по земле, сколько несся над нею, стараясь поцеловать на лету свою хозяйку; падал на спину и как ни в чем не бывало снова вскакивал, кидался на больших собак, весело бросая вызов всему своему племени; тычась носом, пугал молоденьких служанок, мывших ступени у входных дверей, и, предаваясь всевозможным сумасбродным выходкам, поминутно останавливался, оглядывался на Флоренс и лаял, пока ему не начали отвечать все находившиеся поблизости собаки и пока все собаки, которые могли выйти на улицу, не вышли, чтобы посмотреть на него.

С таким союзником Флоренс бежала в загорающихся лучах утреннего солнца по направлению к Сити. Вскоре грохот стал громче, движение усилилось, магазины оживились, и, наконец, ее подхватил поток жизни, устремляющийся в эту сторону и равнодушно текущий мимо аукционных зал и дворцов, мимо тюрем, церквей, рыночных площадей, мимо богатства, бедности, добра и зла, подобно той широкой реке, которая струится рядом, пробужденная от грез о тростнике, ивах и зеленых мхах и, мутная и взбаламученная, катит свои воды среди трудов и забот человеческих к глубокому морю.

Наконец показались вдали владения Маленького Мичмана. Еще немного — и появился сам Маленький Мичман, стоявший на своем посту и, как всегда, погруженный в наблюдения. Еще немного — и открытая дверь приглашала ее войти. Приближаясь к концу своего путешествия, Флоренс снова ускорила шаги, перебежала через дорогу (за ней по пятам следовал Диоген, слегка смущенный уличной сутолокой), вбежала в дом и упала на пороге памятной ей маленькой гостиной.

Капитан в своей глянцевитой шляпе стоял перед камином и варил себе на завтрак какао, а элегантные его часы лежали на каминной полке, чтобы ему удобнее было справляться с ними в процессе стряпни. Заслышав шаги и шорох юбки, он с трепетом вспомнил об ужасной миссис Мак-Стинджер и обернулся в тот момент, когда Флоренс простерла к нему руку, пошатнулась и упала на пол.

Капитан, побледнев не меньше, чем Флоренс, побледнев так, что все шишки у него на лице побелели, поднял ее, как ребенка, и положил на тот самый старый диван, на котором она когда-то спала.

— Это Отрада Сердца! — сказал капитан, пристально всматриваясь в ее лицо.— Это прелестная малютка, которая стала взрослой!

Капитан Катль так уважал ее и такое почтение почувствовал к ней, в новом ее облике, что и за тысячу фунтов не согласился бы держать ее в своих объятиях, пока она не придет в себя.

— Отрада моего Сердца! — отступив на шаг, продолжал капитан, чья физиономия выражала величайшую тревогу и сочувствие.— Если вы можете подать Нэду Катлю сигнал хотя бы пальцем, сделайте это!

Но Флоренс не пошевельнулась.

— Отрада моего Сердца! — повторил трепещущий капитан.— Ради Уолтера, утонувшего в пучине морской, гоните к ветру и, если возможно, поднимите хоть какой-нибудь флаг!

Видя, что она остается нечувствительной даже к такому выразительному заклятью, капитан Катль схватил стоявшую на столе чашку с холодной водой и спрыснул ей лицо. В виду серьезности положения капитан своей огромной ручищей с удивительной нежностью снял с нее шляпку, смочил ей губы и лоб, откинул волосы со лба, укутал ей ноги своим собственным фраком, который снял специально для этой цели, погладил ее руку — такую маленькую, что, прикоснувшись к ней, он пришел в изумление,— и, видя, как затрепетали у нее ресницы и губы пошевелились, с более легким сердцем продолжал применять эти спасительные меры.

— Веселей! — сказал капитан.— Веселей! Держитесь крепче, моя красавица, держитесь крепче! Вот так. Теперь вам лучше. Спокойно. Так держать! Выпейте капельку,— продолжал капитан.— Ну, вот! Как дела, моя красавица, как дела?

Когда она стала приходить в себя, капитан Катль, смутно связывая представление о часах с врачебной помощью больному, достал часы с каминной полки, повесил их на свой крючок и, взяв руку Флоренс в свою, стал

переводить взгляд с руки на часы, словно ждал чего-то от циферблата.

— Как дела, красавица? — осведомился капитан.— Как дела? Мне кажется, вы ей принесли пользу, любезные,— шепотом добавил капитан, бросив одобрительный взгляд на часы.— Переводите их на полчаса назад каждое утро и примерно на четверть часа вечером, и у вас будут часы, равных которым мало, а лучше их и вовсе нет. Ну, как дела, моя маленькая леди?

— Капитан Катль! Это вы? — воскликнула Флоренс, слегка приподнимаясь.

— Да, да, моя маленькая леди,— сказал капитан, избрав впопыхах эту изящную форму обращения как самую учтивую, какую он только мог придумать.

— Дядя Уолтера здесь? — спросила Флоренс.

— Здесь, милочка? — переспросил капитан.— Его здесь нет уже много дней. О нем не слыхали с той поры, как он пустился в плавание по следам бедного Уольра. Но,— добавил капитан в виде цитаты,— хоть нет его здесь, но память о нем... и да здравствует Англия, Родина и Красота!

— Вы здесь живете? — осведомилась Флоренс.

— Да, моя маленькая леди,— ответил капитан.

— О капитан Катль! — вне себя воскликнула Флоренс, сжимая руки.— Спасите меня! Оставьте меня здесь. Пусть никто не знает, где я! Скоро я соберусь с силами и расскажу о том, что случилось. У меня нет никого, к кому бы я могла пойти. Не прогоняйте меня!

— Прогнать *вас,* моя маленькая леди! — вскричал капитан.— *Вас,* Отрада моего Сердца! Подождите минутку. Мы наглухо задраим иллюминатор и дважды повернем ключ в замке.

С этими словами капитан, пользуясь удивительно ловко своей единственной рукою и крючком, достал щит, которым на ночь прикрывалась дверь, приладил его и запер дверь на ключ.

Когда он вернулся к Флоренс, она взяла его руку и поцеловала. Беспомощность, мольба, обращенная к нему, и доверие, выразившиеся в этом поступке, бесконечная скорбь, омрачавшая ее лицо, душевная боль, от которой она несомненно страдала раньше и страдала сейчас, ее

прошлая жизнь, хорошо ему известная, и этот одинокий, измученный и беспомощный ее вид — все это до такой степени потрясло доброго капитана, что он преисполнился нежности и сочувствия.

— Моя маленькая леди,— сказал капитан, растирая рукавом переносицу, пока она не засверкала, как отполированная медь,— не говорите Эдуарду Катлю ни слова до той поры, пока не убедитесь, что плаваете в тихих водах; а этого не случится ни сегодня, ни завтра. А что касается того, чтобы выдать вас, донести, где вы находитесь, то поистине и с божьей помощью я так не поступлю, перелистайте катехизис и отметьте это место!

Все это вместе с ссылкою на катехизис капитан произнес единым духом и с большой торжественностью; при слове «поистине» он снял шляпу и снова надел ее по окончании речи.

Флоренс ничего не оставалось, как поблагодарить его и выразить ему полное свое доверие, что она и сделала. Прильнув к этому грубоватому человеку, как к последнему прибежищу для ее измученного сердца, она положила голову на плечо честного капитана, обняла его за шею и опустилась бы перед ним на колени, чтобы поблагодарить, если бы он не угадал ее намерения и не удержал ее, что и полагалось сделать настоящему мужчине.

— Спокойно! — сказал капитан.— Спокойно. Знаете ли, моя красавица, вы слишком слабы, чтобы стоять, вам нужно опять прилечь. Вот так.

Стоило отказаться от многих замечательных зрелищ, чтобы видеть, как капитан уложил ее на диван и прикрыл своим фраком.

— А теперь,— сказал капитан,— вы должны позавтракать, маленькая леди, и собаке тоже следует закусить. А потом вы подниметесь наверх, в комнату старого Соля Джилса, и заснете там ангельским сном.

Упомянув о Диогене, капитан Катль погладил его, а Диоген милостиво пошел ему навстречу, приняв эту ласку. Пока применялись спасительные меры, он явно колебался, следует ли наброситься на капитана, или заключить с ним дружбу. И эту борьбу чувств он выразил

в том, что попеременно вилял хвостом и скалил зубы, а несколько раз принимался рычать. Но теперь все его сомнения рассеялись. Было ясно, что он считает капитана одним из приятнейших людей, знакомство с коим является честью для любой собаки.

Придя к такому заключению, Диоген не отходил от капитана, пока тот заваривал чай и готовил гренки, и проявил живейший интерес к его хозяйству. Но незачем было доброму капитану делать такие приготовления для Флоренс, которая тщетно пыталась воздать им должное, но ничего не могла есть и только плакала и плакала.

— Ну-ну! — сказал сочувственно капитан.— Вам нужно поспать, Отрада моего Сердца, потом у вас прибавится сил. Сейчас ты получишь свой паек, приятель,— обратился он к Диогену,— а затем тебе придется караулить свою хозяйку наверху.

Хотя у Диогена потекли слюнки и глаза заблестели при виде завтрака, однако, когда этот завтрак был ему предложен, он не набросился на него, но навострил уши, побежал к дверям лавки и залился бешеным лаем, тыкаясь носом в порог, словно хотел прорыть себе выход.

— Там кто-нибудь есть? — в тревоге спросила Флоренс.

— Нет, моя маленькая леди,— отозвался капитан.— Кто бы мог подойти сюда и не постучаться? Смелей, моя красавица! Это, видно, прохожие.

Тем не менее Диоген лаял и лаял и с бешеным упрямством царапал пол когтями; изредка он прислушивался и как будто снова получал подтверждение, потому что опять принимался лаять и царапать пол. Когда его уговорили вернуться к завтраку, он приблизился с весьма нерешительным видом и, не проглотив ни кусочка, бросился опять к двери в новом припадке бешенства.

— Что, если кто-нибудь подслушивает там и караулит? — прошептала Флоренс.— Быть может, кто-нибудь видел, как я вошла сюда... кто-нибудь следил за мной?

— Не пришла ли сюда та, молодая женщина, маленькая леди? — осведомился капитан, осененный блестящей идеей.

— Сьюзен? — сказала Флоренс, покачав головой.— О нет! Сьюзен давно уже ушла от меня.

— Надеюсь, не сбежала с корабля? — спросил капитан.— Не говорите мне, моя красавица, что эта молодая женщина удрала.

— О нет! — воскликнула Флоренс.— Сьюзен — самое преданное создание во всем мире.

Такой ответ доставил капитану великое облегчение, и он выразил свое удовольствие тем, что снял твердую глянцевитую шляпу, вытер голову носовым платком и с бесконечным удовлетворением, с сияющей физиономией несколько раз повторил, что он это знал.

— Ну, вот ты и успокоился, не так ли, братец? — обратился капитан к Диогену.— Там никого не было, господь с вами, моя маленькая леди!

Диоген был в этом не очень-то уверен. Время от времени дверь снова притягивала его к себе, и он обнюхивал ее и ворчал, не в силах забыть о предмете своих подозрений. Это обстоятельство, а также подмеченные капитаном утомление и слабость Флоренс привели к тому, что капитан Катль решил немедленно приготовить ей приют в спальне Соля Джилса. Поэтому он тотчас отправился наверх и постарался убрать комнату как можно лучше, руководствуясь своим воображением и средствами, находившимися у него под рукой.

Там и без того было очень чисто; капитан, будучи человеком аккуратным и привычным к порядку, превратил кровать в кушетку, накрыв ее чистым белым покрывалом. Он проявил не меньшую изобретательность, превратив туалетный столик в некое подобие алтаря, на котором разместил две серебряные чайные ложки, горшок с цветами, свои знаменитые часы, карманный гребень и песенник — маленькую коллекцию редкостей, производившую наилучшее впечатление. Завесив окно и расправив ковер на полу, капитан снова спустился в маленькую гостиную, чтобы проводить Флоренс в ее будуар.

Ничто не могло бы убедить капитана в том, что у Флоренс хватит сил самой подняться по лестнице. Если бы даже эта мысль и взбрела ему в голову, он счел бы возмутительным нарушением правил гостеприимства разрешить Флоренс идти самостоятельно. Флоренс была слишком слаба, чтобы оспаривать такую точку зрения, и

капитан немедленно перенес ее на руках наверх, уложил и накрыл широким вахтенным плащом.

— Моя маленькая леди,— сказал капитан,— здесь вы в такой же безопасности, как если бы забрались на купол собора святого Павла, а лестницу бы потом убрали. Прежде всего вам нужен сон, и, быть может, вы почувствуете себя бодрее, когда этот бальзам утолит боль раненой души. Если вам, Отрада моего Сердца, что-нибудь понадобится и это можно раздобыть здесь в доме, или же в Лондоне, скажите только словечко Эдуарду Катлю, который будет стоять на страже за дверью, и этим вы доставите ему величайшую радость.

В заключение капитан с учтивостью странствующего рыцаря былых времен поцеловал руку, протянутую ему Флоренс, и на цыпочках вышел из комнаты.

Спустившись в маленькую гостиную, капитан Катль после торопливого совещания с самим собой решил открыть на несколько минут дверь лавки и удостовериться, что уж теперь-то, во всяком случае, никто не слоняется поблизости. Итак, он распахнул дверь и остановился на пороге, зорко посматривая во все стороны и обозревая всю улицу.

— Как поживаете, капитан Джилс? — раздался голос у самого его уха.

Капитан, взглянув вниз, увидел, что, пока он обозревал горизонт, его абордировал мистер Тутс.

— А как ваши дела, приятель? — откликнулся капитан.

— Ничего себе, благодарю вас, капитан Джилс,— сказал мистер Тутс.— Ведь вам известно, что теперь я никогда не чувствую себя так хорошо, как было бы желательно. Да я и не надеюсь, что это когда-нибудь может случиться.

В беседе с капитаном Катлем мистер Тутс никогда не позволял себе более ясных намеков на самый дорогой для него предмет, ибо помнил о заключенном договоре.

— Капитан Джилс,— сказал мистер Тутс,— если бы я мог иметь удовольствие поговорить с вами... дело важное.

— Видите ли, приятель,— сказал капитан, уводя его в маленькую гостиную,— я, собственно говоря, сегодня

утром занят; и, стало быть, если вы отплывете сейчас на всех парусах, меня это не обидит.

— Конечно, капитан Джилс,— ответил мистер Тутс, который редко понимал, что именно хочет сказать капитан.— Я как раз и хочу отплыть на всех парусах. Само собой разумеется.

— В таком случае, приятель, вы так и поступайте,— ответствовал капитан.

Капитан был столь ошеломлен хранимой им потрясающей тайной — пребыванием мисс Домби в этот момент под его крышей, о чем не ведает сидящий перед ним Тутс,— что пот выступил у него на лбу. Украдкой отирая его и держа в руке глянцевитую шляпу, он не мог отвести глаз от лица мистера Тутса. Мистер Тутс, у которого тоже имелись, по-видимому, какие-то тайные причины для волнения, был до такой степени сбит с толку пристальным взглядом капитана, что, посмотрев на него молча, растерянно заерзал на стуле и сказал:

— Прошу прощения, капитан Джилс, вы ничего особенного во мне не замечаете?

— Нет, приятель,— ответил капитан.— Ничего.

— Дело, знаете ли, в том,— хихикнув, сказал мистер Тутс,— что я чахну. Можете говорить об этом не стесняясь. Мне... мне это будет приятно. Я так исхудал, что Берджес и К° заново сняли с меня мерку. Для меня это счастье. Я... я этому рад. Если бы это от меня зависело, я бы... я бы с большим удовольствием покатился под гору. Я всего-навсего скотина, да будет вам известно, капитан Джилс, скотина, которая пасется на поверхности земли.

Чем больше распространялся на эту тему мистер Тутс, тем больше угнетала капитана его собственная тайна и тем пристальнее смотрел он на собеседника. Пребывая в замешательстве и желая избавиться от мистера Тутса, капитан имел такой испуганный и странный вид, что вряд ли мог прийти в большее смущение, даже если бы вел разговор с привидением.

— Но вот что я хотел сказать, капитан Джилс,— продолжал мистер Тутс,— сегодня рано утром я очутился в этих краях... по правде сказать, я хотел позавтракать с вами. Что касается сна, то я, знаете ли, совсем перестал теперь спать. Я все равно что ночной сторож, с той

только разницей, что мне не платят жалованья, а у сторожа нет ничего тяжелого на душе.

— Валяйте дальше, приятель,— предостерегающим тоном сказал капитан.

— Правильно, капитан Джилс,— сказал мистер Тутс.— Совершенно верно! Очутившись в этих краях рано утром (примерно с час тому назад) и увидев, что дверь заперта...

— Как! Значит, это вы, братец, вертелись под дверью? — осведомился капитан.

— Ничуть не бывало, капитан Джилс,— ответил мистер Тутс.— Я здесь ни на секунду не останавливался. Я думал, что вас нет дома. Но один человек сказал... Кстати, капитан Джилс, ведь у вас в доме нет собаки?

Капитан покачал головой.

— Ну, конечно,— подтвердил мистер Тутс,— я так и сказал. Я знал, что у вас ее нет. Дело в том, капитан Джилс, что речь идет о собаке, принадлежащей... Простите. Об этом запрещено упоминать.

Капитан таращил глаза на мистера Тутса, пока тот не показался ему чуть ли не вдвое больше, чем был на самом деле; и снова на лбу у капитана выступил пот, когда он подумал о том, что Диоген, быть может, вздумает спуститься вниз и присоединиться к компании в гостиной.

— Этот человек,— продолжал мистер Тутс,— сказал, что он слышал собачий лай в лавке, а я знал, что этого быть не может, и так ему и заявил. Но он остался при своем убеждении, как будто видел собаку собственными глазами.

— Что это за человек, приятель? — осведомился капитан.

— Вот в том-то и дело, капитан Джилс,— сказал мистер Тутс, проявляя еще большее волнение.— Не мне говорить о том, что могло случиться и чего не могло случиться. Право же, я не знаю. Я чего-то не понимаю, и мне кажется, что-то у меня не в порядке — короче говоря, голова у меня не совсем в порядке.

Капитан в знак согласия кивнул головой.

— Но когда мы отошли от двери,— продолжал мистер Тутс,— этот человек заявил, будто вы знаете, что *может*

случиться при данных обстоятельствах,— слово «может» он произнес весьма выразительно,— и что, если вас попросят о том, чтобы вы подготовились, вы, конечно, подготовитесь.

— Что это за человек, приятель? — повторил капитан.

— Право же, капитан Джилс, я не знаю, что это за человек,— ответил мистер Тутс.— Я понятия об этом не имею. Но, подойдя к двери, я увидел, что он здесь стоит. А он спросил, вернусь ли я сюда еще раз. Я ответил утвердительно, и он спросил, знаю ли я вас. Я сказал — да, я имею честь быть с вами знакомым, вы удостоили меня этой чести после моих просьб. Тогда он сказал: в таком случае не сообщу ли я вам то, что я *уже* сообщил о данных обстоятельствах, и о том, чтобы вы подготовились, и, как только мы с вами увидимся, не попрошу ли я вас завернуть за угол и зайти хотя бы на одну минутку к маклеру Броли по очень важному делу? И вот что я вам скажу, капитан Джилс: неизвестно, какое это дело, но я убежден, что оно очень важное, и если вы не прочь пойти сейчас, я здесь подожду вашего возвращения.

Капитан, который боялся, что как-нибудь скомпрометирует Флоренс, если откажется идти, и в то же время страшился оставить мистера Тутса одного в доме, где он может случайно открыть тайну, пришел в смятение, не укрывшееся даже от мистера Тутса. Но этот молодой джентльмен, полагая, что его друг-моряк просто-напросто готовится к предстоящему свиданию, был вполне удовлетворен и, хихикая, припоминал собственное свое благоразумное поведение.

Наконец капитан, выбирая из двух зол меньшее, решил забежать к маклеру Броли, а предварительно запереть дверь, ведущую наверх, и ключ положить к себе в карман.

— Уж вы простите, что я это сделал, приятель,— не без стыда и смущения сказал капитан мистеру Тутсу.

— Капитан Джилс,— ответил мистер Тутс,— что бы вы ни сделали, я всем останусь доволен.

Капитан искренне поблагодарил его и, обещав вернуться не позже чем через пять минут, отправился разыскивать человека, доверившего мистеру Тутсу это таинственное поручение. Бедняга мистер Тутс, предоставленный

самому себе, лег на диван, отнюдь не подозревая, кто покоился здесь совсем недавно, и, глядя на окно под самым потолком и предаваясь мечтам о мисс Домби, потерял представление о времени и пространстве.

Для него это было к лучшему, ибо, хотя капитан отсутствовал недолго, но все-таки гораздо дольше, чем предполагал. Вернулся он очень бледный и в сильном волнении, и даже похоже было на то, что он всплакнул. Казалось, он утратил дар речи и обрел его вновь лишь вслед за тем, как наведался в буфет и хлебнул рому из четырехугольной бутылки, после чего испустил глубокий вздох и сел на стул, прикрывая лицо рукой.

— Капитан Джилс,— участливо сказал мистер Тутс,— я верю и надеюсь, что ничего плохого не случилось.

— Благодарю вас, приятель, ровно ничего,— ответил капитан.— Как раз наоборот.

— Вы как будто чем-то ошеломлены, капитан Джилс,— заметил мистер Тутс.

— Что и говорить, приятель, меня захватили врасплох,— согласился капитан.— Верно.

— Не могу ли я чем-нибудь помочь, капитан Джилс? — осведомился мистер Тутс.— В таком случае, располагайте мною.

Капитан отнял руку от лица, посмотрел на мистера Тутса с какою-то странной жалостью и сочувствием, взял его за руку и крепко ее пожал.

— Нет, благодарю вас, ничем не можете,— сказал капитан.— Но вы оказали бы мне услугу, если бы распрощались сейчас со мной. Мне кажется, братец,— он снова пожал ему руку,— вы чудеснейший парень в мире после Уольра, хотя и в другом роде, чем он.

— Честное слово, капитан Джилс,— отозвался мистер Тутс, предварительно похлопав капитана по руке, а затем пожав ее вторично,— я в восторге от вашего доброго мнения обо мне. Благодарю вас.

— Держитесь крепче и не падайте духом,— сказал капитан, поглаживая его по спине.— Велика беда! На свете много хорошеньких девушек.

— Не для меня, капитан Джилс,— торжественно ответил мистер Тутс.— Не для меня, уверяю вас! Чувства мои по отношению к мисс Домби столь неописуемы, что

мое сердце превратилось в необитаемый остров, на котором живет она одна. Я худею с каждым днем и горжусь этим. Если бы вы посмотрели на мои ноги, когда я снимаю башмаки, вы бы поняли, что такое любовь без взаимности. Мне прописали хинин, но я не принимаю, потому что вовсе не хочу укреплять свое здоровье. Да, не хочу. Впрочем, об этом запрещено упоминать. До свидания, капитан Джилс!

Капитан Катль, сердечно ответив на прощальное приветствие мистера Тутса, запер за ним дверь, покачал головой с тою же странной жалостью и сочувствием, с какими смотрел на него раньше, и пошел наверх узнать, не нуждается ли Флоренс в его услугах.

Когда капитан поднимался по лестнице, выражение его лица совершенно изменилось. Он вытирал глаза платком, он полировал рукавом переносицу так же, как делал это утром, но выражение его лица резко изменилось. Он казался то чрезвычайно счастливым, то печальным, но какая-то глубокая серьезность, разлитая во всех его чертах, была совершенно ему несвойственна и очень его красила, как будто его лицо подверглось некоему очистительному процессу.

Раза два или три он тихонько постучал своим крючком в дверь Флоренс, но, не получив никакого ответа, осмелился сначала заглянуть, а потом войти в комнату; быть может, он отважился на этот последний шаг благодаря тому, что был встречен, как старый знакомый, Диогеном, который, растянувшись на полу возле кровати, завилял хвостом и, не потрудившись встать, посмотрел, моргая, на капитана.

Она спала тяжелым сном и во сне стонала. А капитан Катль, поистине благоговея перед ее юностью, красотой и скорбью, поправил ей подушку, разгладил сбившийся плащ, которым она была прикрыта, плотнее задернул занавески, чтобы она хорошенько выспалась, и, на цыпочках выйдя из комнаты, стал караулить на лестнице. Все движения его и походка стали такими же легкими, как у самой Флоренс.

В этом сложном мире долго еще останется неразрешенным вопрос, что есть наилучшее доказательство благости всемогущего — нежные ли пальцы, созданные для

сочувственного, ласкового прикосновения и для утоления боли и горя, или грубая, жесткая рука, рука капитана Катля, которую сердце в один миг может направить и смягчить.

Флоренс спала на своем ложе, забыв о своей бесприютности и сиротстве, а капитан Катль сторожил на лестнице. Всхлипывание или особенно громкий стон по временам заставляли его подойти к двери, но постепенно сон ее стал спокойнее, и вахта капитана протекала мирно.

ГЛАВА XLIX

Мичман делает открытие

Флоренс долго не просыпалась. День разгорался, день угасал, а она, потрясенная телесно и душевно, по-прежнему спала, не сознавая, что лежит на чужой кровати, что на улице шум и суета и свет сияет за занавешенным окном. Полное забвение того, что произошло в родном доме, переставшем для нее существовать, не могло быть дано даже глубоким сном, который был вызван крайним утомлением. Какое-то смутное и горестное воспоминание об этом, тревожно дремлющее, но не засыпающее, вторгалось в ее покой. Тупая скорбь, подобно приглушенному ощущению боли, не покидала ее ни на минуту, и бледная ее щека орошалась слезами чаще, чем хотелось бы это видеть преданному капитану, который время от времени потихоньку просовывал голову в полуоткрытую дверь.

Солнце стояло низко на западе и, выглядывая из-за красноватой дымки, пронизывало лучами бойницы и резные украшения на шпицах городских церквей, словно втыкая в них золотые стрелы. Оно сияло вдали, пересекая реку с ее плоскими берегами огненной полосой, и озаряло паруса судов на море, а если смотреть на него с тихих кладбищ, расположенных на холмах за городом, оно окутывало дали заревом, которое как бы соединяло землю и небо, заливая их ярким румянцем. Солнце стояло низко на западе, когда Флоренс, подняв отяжелевшие веки, лежала, глядя бессознательно и безучастно на не-

знакомые стены и столь же равнодушно прислушиваясь к уличному шуму. Но вдруг она вскочила с постели, удивленно и растерянно осмотрелась вокруг и вспомнила все.

— Красавица моя! — сказал капитан, постучав в дверь.— Как дела?

— Дорогой друг! — воскликнула Флоренс, бросившись ему навстречу.— Это вы?

Капитан так возгордился, услышав этот титул, и так был восхищен ее просиявшим от радости лицом, когда она его увидела, что вместо ответа поцеловал крючок, без слов выражая свое удовольствие.

— Как дела, мой светлый алмаз? — осведомился капитан.

— Должно быть, я очень долго спала,— сказала Флоренс.— Когда я пришла сюда? Вчера?

— Сегодня, сегодня, моя маленькая леди,— ответил капитан.

— Значит, ночь еще не настала? Сейчас еще день? — спросила Флоренс.

— Дело идет к вечеру, моя красавица,— сказал капитан, отдергивая занавеску.— Смотрите!

Флоренс, опираясь на руку капитана, такая печальная и робкая, и капитан с его грубоватым лицом и крепкой фигурой, так спокойно охраняющий Флоренс, стояли, не говоря ни слова, в розовом сиянии ясного вечернего неба. Если бы капитан облек свои чувства в слова, он, быть может, прибег бы к очень странным оборотам речи, но он понимал не хуже, чем самый красноречивый человек, что этот тихий вечерний час и умиротворенная его красота заставят излиться слезами раненое сердце Флоренс и что лучше всего дать волю этим слезам. Итак, не единого слова не проронил капитан Катль. Но когда он почувствовал, что она крепче обхватила его руку, когда он почувствовал, что голова одинокой девушки ближе склонилась к нему и прильнула к его грубому синему рукаву, он ласково прижал ее своей шершавой рукой, понял все, и Флоренс поняла его.

— Вот и легче стало, моя красавица,— сказал капитан.— Веселей, веселей! Я пойду вниз и приготовлю чего-нибудь к обеду. Вы сами спуститесь потом, моя красавица, или же Нэду Катлю вернуться и отнести вас?

Когда Флоренс уверила его, что прекрасно может сойти вниз сама, капитан, хотя и явно сомневаясь, допускается ли это правилами гостеприимства, позволил ей поступить по собственному желанию и немедленно принялся жарить курицу на огне, пылавшем в камине маленькой гостиной. Дабы лучше справиться со стряпней, он снял фрак, подвернул манжеты и надел глянцевитую шляпу — без этого помощника он никогда не приступал ни к одному деликатному или трудному делу.

Освежив наболевшую голову и горящее лицо холодной водой, которую капитан заботливо припас для нее, пока она спала, Флоренс подошла к маленькому зеркальцу, чтобы привести в порядок растрепавшиеся волосы. Тогда она увидела — на одну секунду, ибо тотчас отвернулась,— что на груди у нее остался темный след от удара, нанесенного жестокой рукой.

Когда она увидела этот след, слезы снова брызнули у нее из глаз. Она стыдилась его, но он не вызвал негодования против отца. Бездомная и осиротевшая, она простила отцу все: вряд ли думала она о том, что должна его простить, или о том, что прощает, но она бежала от самой мысли о нем так же, как убежала от действительности. И он окончательно ушел и перестал существовать. Не было на свете такого человека.

Что делать, где жить — об этом Флоренс, бедная, неопытная девушка, не могла еще думать. Она смутно мечтала о том, чтобы где-нибудь, далеко отсюда, обучать маленьких девочек, сестер, которые ее полюбят, а она, живя под чужим именем, в свою очередь привяжется к ним; они вырастут у своего счастливого домашнего очага, выйдут замуж, но не забудут старой гувернантки и, быть может, со временем поручат ей воспитание своих дочерей. Она думала о том, как странно и грустно стать седовласой женщиной, уносящей свою тайну в могилу, когда Флоренс Домби будет забыта. Но все это представлялось ей теперь туманным. Она знала только, что нет у нее отца на земле, и много раз повторяла это, когда, оставшись одна, обращалась с мольбой к отцу на небесах.

Ее скудный запас денег состоял из нескольких гиней. Часть этих денег следовало потратить на покупку

белья и платьев, потому что у нее было только то, что на ней надето. Она была слишком опечалена, чтобы думать о том, скоро ли ее деньги иссякнут, и по-детски неопытна в житейских делах, чтобы из-за этого чересчур огорчаться, даже если бы других огорчений у нее не было. Она постаралась успокоиться и осушить слезы, привести в порядок мысли, убедить себя в том, что события произошли всего только несколько часов назад,— а не месяцев и недель, как ей казалось,— и, наконец, спустилась вниз к своему доброму покровителю.

Капитан очень заботливо накрыл стол скатертью и приготовлял яичный соус в кастрюльке; при этом он с живейшим интересом поливал жиром курицу, в то время как эта курица подрумянивалась на вертеле над огнем. Обложив Флоренс подушками — а диван для большего ее удобства был уже передвинут в теплый уголок,— капитан продолжал с изумительным мастерством заниматься стряпней, приготовил горячую подливку во второй кастрюльке, сварил несколько картофелин в третьей, не забывая при этом о яичном соусе в первой и не переставая поминутно поливать жиром и поворачивать курицу. Помимо этих забот, на капитане лежала еще обязанность присматривать за небольшой сковородкой, на которой в высшей степени музыкально шипели сосиски; и не бывало еще на свете такого сияющего повара, каким казался капитан в разгар этой работы: немыслимо было определить, что блестит ярче — лицо его или глянцевитая шляпа.

Когда обед был, наконец, готов, капитан Катль сервировал его и подал с не меньшей ловкостью, чем состряпал. Затем он нарядился к обеду, иными словами — снял свою глянцевитую шляпу и надел фрак. Покончив с этим, он придвинул стол к дивану, на котором сидела Флоренс, прочитал молитву, отвинтил свой крючок, ввинтил вместо него вилку и приступил к исполнению обязанностей хозяина дома.

— Моя маленькая леди,— сказал капитан,— развеселитесь и постарайтесь хорошенько покушать. Держитесь крепче, милочка! Вот крылышко. Вот соус. Вот сосиски. И картофель!

Все это капитан симметрически разложил на тарелке и, полив горячей подливкой, поставил тарелку перед своей дорогой гостьей.

— Все иллюминаторы задраены наглухо, маленькая леди,— ободряющим тоном заметил капитан,— и все в полном порядке. Постарайтесь покушать, моя красавица. Если бы Уольр был здесь...

— Ах, если бы он был здесь и заменил мне брата! — воскликнула Флоренс.

— Полно, полно, красавица! — сказал капитан.— Перестаньте, прошу вас. Он был вашим испытанным другом, правда, милочка?

Флоренс ничего не могла ответить. Она сказала только:

— Ах, милый, милый Поль! Ах, Уолтер!

— Даже палубу, по которой она ходила, почитал Уольр,— прошептал капитан, глядя на ее поникшую головку,— почитал не меньше, чем вечно жаждущий чтит ручьи и источники. Я как сейчас его вижу в тот день, когда его занесли в судовой журнал Домби, и за обедом он говорил о ней, и лицо его сияло, словно только что распустившаяся роза,— если не от росы, то, во всяком случае, от целомудренных чувств. Если бы наш бедный Уольр был здесь, моя маленькая леди... или если бы он мог быть здесь... но ведь он утонул, не так ли?

Флоренс кивнула головой.

— Да, да, утонул,— успокоительно произнес капитан.— Так вот, я говорил, что, будь он здесь, он бы вас просил и умолял, мое сокровище, чтобы вы немножко покушали. Итак, крепитесь, моя маленькая леди, как вы крепились бы ради Уольра, и держитесь носом против ветра.

Чтобы доставить удовольствие капитану, Флоренс попыталась съесть кусочек. Тем временем капитан, который как будто совсем позабыл о своем собственном обеде, положил нож и вилку и придвинул свой стул к дивану.

— Уольр был молодчина, не правда ли, мое сокровище? — сказал капитан, который в течение некоторого времени молча потирал подбородок и смотрел на нее.— И он был славным парнем, добрым парнем?

Флоренс со слезами подтвердила это.

— И он утонул, красавица, не правда ли? — успокоительным тоном сказал капитан.

И снова Флоренс могла только подтвердить это.

— Он был старше вас, моя маленькая леди,— продолжал капитан,— но сначала вы были словно двое ребятишек, не правда ли?

Флоренс ответила:

— Да.

— А Уольр утонул,— сказал капитан.— Не правда ли?

Этот многократно повторяемый вопрос вряд ли мог служить источником утешения, но, казалось, он служил таковым для капитана Катля, ибо капитан задавал его снова и снова. Флоренс, отказавшись от обеда и откинувшись на спинку дивана, протянула ему руку, чувствуя, что она его огорчила, и всей душой желая ему угодить после всех его хлопот. Но он, удержав ее руку в своей (которая при этом задрожала) и словно забыв об обеде и об отсутствии у нее аппетита, время от времени принимался бормотать глубокомысленным и сочувственным тоном: «Бедный Уольр! Да, да! Утонул. Не правда ли?» И каждый раз ждал ее ответа, словно этот вопрос он задавал только для того, чтобы услышать ответ Флоренс.

Курица и сосиски остыли, подливка и яичный соус перестоялись, прежде чем капитан вспомнил о том, что они поданы на стол, и прибег к помощи Диогена, после чего они вдвоем быстро покончили с пиршеством. Восторг и изумление капитана при виде Флоренс, которая как ни в чем не бывало стала помогать ему убирать со стола, приводить в порядок гостиную и выметать золу из очага,— с этими чувствами мог состязаться лишь пламенный его протест, когда она принялась ему помогать,— постепенно возросли до таких пределов, что он только и мог, сложа руки, стоять и смотреть на нее, словно на какую-то фею, грациозно исполнявшую за него эту работу: красный ободок у него на лбу снова воспламенился от неописуемого восхищения.

Но когда Флоренс, взяв трубку с каминной полки, подала ее ему и попросила закурить, добрый капитан был потрясен ее вниманием до предела, и держал эту

трубку с таким видом, словно первый раз в жизни держит в руках трубку. Когда же Флоренс, заглянув в маленький буфет, достала четырехугольную бутылку и, не дожидаясь его просьбы, приготовила ему стакан превосходного грога и поставила подле него, капитан почувствовал себя столь возвеличенным, что даже багровый его нос побелел. Пребывая в блаженном состоянии, он набил трубку, а Флоренс подала ему огня закурить — капитан не в силах был возражать или помешать ей — и, заняв прежнее свое место на диване, посмотрела на него с нежной и благодарной улыбкой, столь ясно говорившей, что ее одинокое сердце обратилось к нему так же, как обращено ее лицо; тогда дым от трубки забился капитану в горло, и заставил его раскашляться, и попал капитану в глаза, и заставил его заморгать и прослезиться.

В высшей степени было приятно наблюдать, как капитан старался убедить ее, будто причина, вызвавшая такие последствия, сокрыта в самой трубке, и как он в поисках этой самой причины заглядывал в чашечку трубки и, не найдя ее там, сделал вид, будто выдувает ее из мундштука. Как только трубка была приведена в порядок, он погрузился в блаженное состояние, приличествующее завзятому курильщику, но глаза его были устремлены на Флоренс, и с неописуемо добродушной и сияющей физиономией он время от времени выпускал облачко дыма, которое, вырываясь из его рта, медленно развертывалось, подобно свитку с надписью: «Да, да, бедный Уольр! Утонул, не правда ли?», после чего он продолжал курить с величайшим благодушием.

Как ни были они внешне непохожи друг на друга — Флоренс в расцвете ее нежной юности и красоты и капитан Катль с его усеянным шишками лицом, грузной, закаленной бурями фигурой и грубым голосом,— но что касается простодушного незнания жизни, ее трудностей и опасностей,— в этом отношении они стояли почти на одном уровне. Ребенок не мог бы превзойти капитана Катля в полном неведении того, что не касается ветров и ненастья, в наивности, легковерии и великодушной доверчивости. Вера, надежда и доброта владели всем его существом. К этим качествам присоединялся какой-то

странный романтизм, отнюдь не питающий воображения, но чуждый реальности и не тревожимый размышлениями о житейском благоразумии или выгодах. Когда капитан сидел, курил и смотрел на Флоренс, одному богу известно, какие рисовались ему фантастические картины, в которых она занимала первое место. Не менее туманны и расплывчаты, хотя и не столь жизнерадостны, были мысли Флоренс о будущей ее жизни; и подобно тому, как слезы преломляли свет, на который она смотрела, так и сквозь новое и тяжкое свое горе она уже видела радугу, слабо мерцающую в далеком небе. Странствующая принцесса и доброе чудовище из книги сказок могли бы сидеть так у камелька, и беседа их соответствовала бы мыслям капитана Катля и бедной Флоренс,— причем между ними было бы и внешнее сходство.

Капитана нимало не тревожили затруднения, вызванные пребыванием у него Флоренс, или ответственность, с этим связанная. Закрыв ставни и заперев дверь, он совершенно успокоился на этот счет. Будь она даже малолетней, опекаемой Канцлерским судом *, это не имело бы ни малейшего значения для капитана Катля. Такого человека, как он, меньше всего могли обеспокоить подобные соображения.

Итак, капитан преспокойно курил свою трубку; Флоренс и он размышляли каждый по-своему. Когда трубка была выкурена, они напились чаю, а затем Флоренс попросила проводить ее в какую-нибудь лавку по соседству, где бы она могла купить самые необходимые вещи. Было уже совсем темно, а потому капитан дал свое согласие, но сначала выглянул осторожно на улицу, как привык делать в то время, когда скрывался от миссис Мак-Стинджер, и вооружился большою палкой на случай, если непредвиденные обстоятельства заставят его прибегнуть к оружию.

Великую гордость испытал капитан Катль, когда подал руку Флоренс и прошел вместе с нею каких-нибудь двести или триста ярдов, все время зорко посматривая вокруг и привлекая внимание прохожих своею чрезвычайною бдительностью и многочисленными мерами предосторожности. По прибытии в лавку капитан из деликатности счел необходимым удалиться на время, так как

Флоренс предстояло купить принадлежности туалета; но предварительно он поставил на прилавок свою жестяную чайницу и, сообщив молодой леди, служащей в лавке, что в чайнице находится четырнадцать фунтов два шиллинга, попросил ее, в случае если этих денег не хватит на покрытие расходов по обмундированию его племянницы — при слове «племянница» он бросил многозначительный взгляд на Флоренс, сопровождая его пантомимой, исполненной лукавства и таинственности,— попросил ее окликнуть его, и он уплатит недостающую сумму из своего кармана. Взглянув как бы невзначай на огромные свои часы с целью поразить продавцов и внушить им мысль о богатстве владельца этих часов, капитан поцеловал затем свой крючок, приветствуя племянницу, и, выйдя из магазина, расположился перед витриной; истинным удовольствием было созерцать его широкую физиономию, появлявшуюся время от времени среди шелков и лент, так как он явно опасался, что Флоренс может улетучиться через заднюю дверь.

— Дорогой капитан Катль,— сказала Флоренс, выйдя из лавки со свертком, размеры коего весьма огорчили капитана, надеявшегося увидеть носильщика, следующего за нею с тюком товаров,— право же, мне не нужны эти деньги. Я ничего из них не истратила. У меня есть деньги.

— Моя маленькая леди,— отозвался разочарованный капитан, глядя прямо перед собой вдоль улицы,— будьте так добры, поберегите их для меня, пока я их у вас не попрошу.

— Можно мне положить их туда, где они раньше были,— спросила Флоренс,— и хранить их там?

Капитан был отнюдь не в восторге от этого предложения, но тем не менее ответил:

— Да, да, моя маленькая леди, кладите их, куда хотите, только бы вы знали, где их найти. *Мне* они совсем не нужны,— сказал капитан.— Удивляюсь, как это я их до сих пор не спустил!

В первую минуту капитан был совершенно обескуражен, но ожил, почувствовав прикосновение руки Флоренс, и они вернулись домой с теми же предосторожностями, с какими ушли; капитан открыл дверь каюты

Маленького Мичмана и нырнул туда с быстротою, которую можно было объяснить только долгой практикой. Утром, пока Флоренс спала, он нанял дочь некоей пожилой леди, обычно восседавшей под синим зонтом на Леднхоллском рынке и торговавшей птицей, и договорился, чтобы она приходила убирать комнату Флоренс и оказывать ей разные мелкие услуги. Теперь эта девица явилась, и Флоренс нашла свою комнату такой же удобной и опрятной, если и не такой же красивой, как в том старинном призрачном доме, который она когда-то называла своим.

Когда они снова остались вдвоем, капитан настоял на том, чтобы она поела гренков и выпила стакан негуса * (приготовляемого им безупречно), и, подбодрив ее всеми ласковыми словами и бессвязными изречениями, какие только мог придумать, повел наверх, в спальню. Но и у него было что-то на душе, и он казался смущенным.

— Спокойной ночи, сердце мое,— сказал ей капитан Катль у двери ее спальни.

Флоренс поцеловала его.

В другое время капитан был бы ошеломлен этим знаком ее привязанности и благодарности; правда, он и сейчас не оставался к нему нечувствительным, однако он посмотрел ей в лицо с еще большим смущением, чем раньше, и как будто не хотел от нее уходить.

— Бедный Уольр! — сказал капитан.

— Бедный, бедный Уолтер! — со вздохом отозвалась Флоренс.

— Утонул, не правда ли? — сказал капитан.

Флоренс кивнула головой и вздохнула.

— Спокойной ночи, моя маленькая леди! — сказал капитан Катль, протягивая ей руку.

— Да благословит вас бог, добрый, славный друг!

Но капитан все еще не уходил.

— Ничего не случилось, дорогой капитан Катль? — спросила Флоренс, которую, принимая во внимание ее состояние, нетрудно было встревожить.— Вы хотите мне что-то сказать?

— Что-то сказать вам, маленькая леди? — отозвался капитан, в замешательстве встретив ее взгляд.— Ничуть

не бывало. Ну, что бы я мог вам сказать, красавица? Ведь вы, конечно, не надеетесь, что я мог бы сказать вам что-нибудь хорошее?

— Нет,— промолвила Флоренс, покачав головой.

Капитан пристально посмотрел на нее и повторил: «Нет», все еще мешкая у двери и все еще пребывая в смущении.

— Бедный Уольр! — сказал капитан.— Мой Уольр, как я, бывало, называл тебя. Племянник старого Соля Джилса! Любимый всеми, как цветы в мае! Где ты теперь, мой храбрый мальчик! Утонул, не правда ли?

Заключив свою речь этим неожиданным обращением к Флоренс, капитан пожелал ей спокойной ночи и спустился вниз, а Флоренс со свечой осталась на площадке лестницы, чтобы посветить ему. Он скрылся во мраке и, судя по звуку удаляющихся шагов, собирался войти в маленькую гостиную, как вдруг голова его и плечи снова вынырнули, словно из пучины, по-видимому, с единственной целью повторить еще раз: «Он утонул, не правда ли, красавица?» Ибо, произнеся эти слова нежным и сострадательным тоном, он скрылся из виду.

Флоренс очень сожалела о том, что, приютившись здесь, невольно пробудила эти воспоминания у своего покровителя, что, впрочем, было вполне естественно. Сидя за маленьким столиком, на котором капитан поместил подзорную трубу, песенник и прочие диковинки, она думала об Уолтере и обо всем с ним связанном в прошлом, пока не захотелось ей лечь в постель, заснуть и не проснуться. Но в то время, как она с тоскою вспоминала об умерших, которых любила, у нее ни разу не мелькнула мысль о родном доме, о возможности туда вернуться, о том, что он еще существует и под его кровом живет ее отец. Она видела, как совершено было убийство. Тот последний, неугасавший образ отца, который она долгие годы лелеяла, несмотря ни на что, был исторгнут из ее сердца, искажен, уничтожен. Мысль о нем казалась ей столь страшной, что она закрыла глаза и с содроганием оттолкнула от себя малейшее воспоминание о содеянном и о жестокой руке, в этом повинной. Если бы после случившегося образ его мог сохраниться в ее любящем сердце, оно бы разбилось. Но это было невоз-

можно, и пустоту заполнил безумный страх, который заставлял бежать от всего, что было связано с обломками этого образа,— страх, который могла породить только такая глубокая любовь, столь жестоко оскорбленная.

Она не смела посмотреть в зеркало, потому что темное пятно на груди внушало ей страх перед самою собой, словно на ней было какое-то клеймо. В темноте она торопливо прикрыла его дрожащей рукой и, плача, опустила усталую голову на подушку.

Капитан долго не ложился спать. В течение целого часа он ходил взад и вперед по магазину и по маленькой гостиной и, по-видимому, успокоенный этой прогулкой, уселся с серьезной и глубокомысленной миной и прочитал по молитвеннику те молитвы, какие полагается читать на море. С ними не так-то легко было покончить: капитан был чрезвычайно медлительным чтецом и частенько запинался перед трудным словом, подбадривая себя восклицаниями, вроде: «Ну, смелей, приятель!» или «Держись, Эдуард Катль, держись!», которые очень помогали ему преодолевать все препятствия. Вдобавок очки в значительной степени ухудшали его зрение. Но, невзирая на это, капитан, всерьез принявшись за дело, прочитал все молитвы до последней строки, и притом с глубоким чувством; весьма одобрив их, он с легким сердцем и с благодушнейшей физиономией улегся спать под прилавком (побывав предварительно наверху и послушав, что делается за дверью Флоренс).

Ночью капитан несколько раз поднимался наверх узнать, спокойно ли спит его питомица, а на рассвете обнаружил, что она проснулась, так как Флоренс, услышав шаги у своей двери, спросила, он ли это.

— Да, моя маленькая леди,— хриплым шепотом ответил капитан.— Хорошо ли вы себя чувствуете, мой алмаз?

Флоренс поблагодарила его и ответила утвердительно.

Капитан, не желая упускать столь удобного случая, прижался губами к замочной скважине и произнес голосом, звучавшим, как хриплое завывание ветра:

— Бедный Уольр! Утонул, не правда ли?

После этого он ушел, снова лег в постель и спал до семи часов утра.

И весь день он не мог отделаться от смущения и замешательства, хотя Флоренс, занимаясь шитьем в маленькой гостиной, была спокойнее, чем накануне. Чуть ли не каждый раз, когда ей случалось поднимать глаза от работы, она замечала, что капитан смотрит на нее и задумчиво поглаживает подбородок; и он так часто придвигал к ней свое кресло, словно намереваясь сообщить нечто весьма конфиденциальное, и так часто отодвигал его снова, как бы не зная, с чего начать, что в течение дня он на этом утлом суденышке совершил рейс вокруг гостиной и не раз, в весьма плачевном состоянии, садился на мель, налетев на стену или дверь чулана.

Только в сумерках капитан Катль, бросив, наконец, якорь возле Флоренс, начал говорить более или менее связно. Когда отблески огня, пылавшего в камине, упали на стены и потолок маленькой комнаты, на чайный поднос, чашки и блюдца, расставленные на столе, и на спокойное лицо Флоренс, обращенное к пламени, отражавшемуся в ее полных слез глазах, капитан прервал долгое молчание такими словами:

— Вы никогда не бывали в море, моя прелесть?

— Никогда,— ответила Флоренс.

— Это могущественная стихия,— с благоговением произнес капитан.— Много чудес в пучине морской, моя красавица! Подумайте о море, когда веет ветер и вздымаются волны. Подумайте о нем, когда в грозовую ночь бывает так темно,— продолжал капитан, торжественно поднимая свой крючок,— что вы собственную руку разглядеть не можете, разве что ее осветит вспышка молнии, а вы плывете, плывете, плывете сквозь бурю и тьму, как будто несетесь стремглав к миру бесконечному, во веки веков, аминь, а когда найдете это место — отметьте. Бывают такие времена, моя красавица, когда впору сказать своему приятелю (перелистав предварительно книгу): «Дует жестокий северо-восточный, Билл; слышишь, как он ревёт? Как я жалею всех несчастных, прибитых к берегу, да поможет им бог!»

Эту последнюю цитату, дающую наилучшее представление об ужасах океана, капитан произнес внушитель-

ным тоном и закончил свою речь громким возгласом: «Держись крепче!»

— А вам случалось попадать в шторм? — спросила Флоренс.

— Как же, моя маленькая леди, и на мою долю пришлось немало бурь,— сказал капитан, с волнением вытирая голову,— и мне не раз приходилось рыскать по волнам. Но... но я не о себе хотел поговорить. О нашем дорогом мальчике,— он ближе придвинулся к ней,— об Уольре, который утонул.

Капитан говорил таким дрожащим голосом и повернул к Флоренс такое бледное и встревоженное лицо, что она в испуге схватила его за руку.

— Вы изменились в лице! — воскликнула Флоренс.— Вы вдруг стали совсем другим. Что случилось? Милый капитан Катль, у меня мороз пробегает по спине, когда я смотрю на вас!

— Нет, нет! Не робейте, маленькая леди,— ответил капитан, поддерживая ее рукой.— Все в порядке, все в порядке, моя дорогая. Так вот, я говорил... Уольр... он... он утонул. Не правда ли?

Флоренс пристально смотрела на него. Она то краснела, то бледнела и прижимала руку к груди.

— Всякие беды и опасности подстерегают человека на море, моя красавица,— сказал капитан.— И над многими доблестными кораблями и многими и многими храбрыми сердцами сомкнулись немые воды, и так и не проронили ни словечка. Но и на море можно ускользнуть от смерти, и, случалось, один человек из двадцати — быть может, и из сотни, милочка,— был спасен милостью божьей и возвращался домой, когда его уже считали умершим, а весь экипаж погибшим. Я... я знаю одну такую историю, Отрада моего Сердца,— заикаясь, продолжал капитан,— когда-то мне ее рассказали. И раз уж я взял этот курс и мы с вами сидим вдвоем у камина, то, быть может, вы хотите, чтобы я вам рассказал ее? Хотите, милочка?

Флоренс, дрожа от волнения, которого она не могла ни преодолеть, ни осмыслить, невольно проследила за его взглядом, обратившимся к лавке, где горела лампа.

Как только она повернула голову, капитан вскочил с кресла и заслонил ей глаза рукою.

— Там ничего нет, моя красавица,— сказал капитан.— Не смотрите туда!

— Почему? — спросила Флоренс.

Капитан забормотал о том, что там ничего веселого нет, а здесь ярко пылает огонь в камине. Он слегка прикрыл дверь, которая раньше была распахнута настежь, и снова уселся на свое место. Флоренс следила за ним взглядом и пристально всматривалась в его лицо.

— Речь шла о корабле, моя маленькая леди,— начал капитан,— который отплыл из лондонского порта с попутным ветром и в прекрасную погоду, направляясь в... Не робейте, моя маленькая леди, корабль просто пустился в плаванье, милочка, просто пустился в плаванье!

Выражение лица Флоренс встревожило капитана, который и сам был очень разгорячен и возбужден и вряд ли казался менее взволнованным, чем она.

— Продолжать ли рассказ, моя красавица? — спросил капитан.

— Да, да, прошу вас! — воскликнула Флоренс.

Капитан как будто проглотил что-то, застрявшее у него в горле, и нервически продолжал:

— Так вот этот самый злосчастный корабль попал там, в открытом море, в такой шторм, какой бывает раз в двадцать лет, моя дорогая. Бывали такие ураганы на берегу, которые вырывали с корнем деревья и разрушали города, и бывали такие бури на море в тех широтах, что их не выдержало бы и самое крепкое из всех спущенных на воду судов. Мне говорили, моя милочка, что день за днем этот злосчастный корабль доблестно держался и исполнял свой долг, но вдруг одна волна разбила борт, унесла мачты и руль, смыла лучших моряков, и корабль был отдан на милость шторма, который не знал милосердия и бушевал все пуще и пуще, так что волны перекатывались через судно, и наносили ему удары, и, набрасываясь на него, разбивали его в щепы. Каждое черное пятно на гребне волны было либо обломком живого корабля, либо живым человеком, и корабль был разбит, как скорлупка, моя красавица, и трава никогда не вырастет на могилах тех, кто вел это судно.

— Но не все же они погибли! — воскликнула Флоренс.— Кто-то спасся? Хотя бы один человек?

— На борту этого злосчастного корабля,— продолжал капитан, поднимаясь с кресла и сжимая руку в кулак с видом весьма энергическим и торжествующим,— находился юноша, доблестный юноша — так мне о нем говорили,— который еще мальчиком любил читать и рассуждать о смелых подвигах при кораблекрушениях — я слышал его речи!.. Я слышал его речи!.. И он вспомнил об этом в роковой час, так как он не утратил мужества и бодрости, когда самые неустрашимые сердца и самые испытанные моряки пали духом. Храбрым он был не только потому, что на суше оставались те, кого он любил! Нет! Такова была его натура. Я это подмечал в чертах его лица — много раз! — и тогда я думал, что он просто миловиден, да благословит его бог!

— И он спасся? — воскликнула Флоренс.— Он спасся?

— Этот храбрый юноша...— продолжал капитан,— смотрите на меня, милочка! Не оглядывайтесь...

У Флоренс едва хватило сил спросить: «Почему?»

— Потому что там ничего нет, дорогая моя,— сказал капитан.— Не робейте, милочка! Не робейте — ради Уольра, который был дорог всем нам! Так вот, этот юноша,— продолжал капитан,— работал вместе с храбрецами, ободрял робких, ни разу не пожаловался, и, казалось, ничего не боялся, и поддерживал бодрость духа у всех матросов, и внушил им такое уважение к себе, как будто он был адмиралом; этот юноша, говорю я, второй помощник и один матрос, только они и уцелели из всех бывших на борту. Единственные оставшиеся в живых — они привязали себя к обломкам разбитого корабля и носились по бурному морю.

— Они спаслись? — вскричала Флоренс.

— Дни и ночи носились они на этих обломках по безбрежному морю,— сказал капитан,— и, наконец... нет, не смотрите туда, милочка... наконец, показался парус, и, по милости божьей, они были подняты на борт: двое оставшихся в живых, один умерший.

— Кто из них умер? — вскричала Флоренс.

— Не тот юноша, о котором я говорил,— сказал капитан.

— Слава богу! О, слава богу!

— Аминь,— поспешно отозвался капитан.— Не робейте! Подождите еще минутку, моя маленькая леди! Ободритесь!.. Находясь на борту этого корабля, они отправились в долгое плавание (потому что негде было пристать), и во время этого плавания моряк, которого подобрали вместе с ним, умер. Но он остался в живых и...

Не сознавая, что делает, капитан отрезал кусок хлеба, насадил его на свой крючок (обычно служивший ему вилкой для поджаривания гренков) и поднес к огню, с волнением посматривая на что-то, находившееся за спиной Флоренс, и не замечая, как обугливается хлеб.

— Он остался в живых,— повторила Флоренс.— И...

— И на этом корабле вернулся на родину,— продолжал капитан, глядя все в том же направлении,— и... не пугайтесь, милочка... и высадился на сушу. И однажды утром, зная, что друзья считают его умершим, он осторожно подошел к двери своего дома, чтобы произвести разведку, но изменил курс, неожиданно услышав...

— Лай собаки? — быстро подхватила Флоренс.

— Да! — заревел капитан.— Держитесь крепче, дорогая моя! Смелей! Не оглядывайтесь. Посмотрите сюда! На стену!

Возле нее на стене видна была чья-то тень. Флоренс вскочила, оглянулась и громко вскрикнула, увидев Уолтера.

Она думала о нем только как о брате, о брате, восставшем из могилы, о брате, который потерпел крушение, спасся и вернулся к ней, и бросилась в его объятия. Казалось, он был единственной ее надеждой, ее утешением, прибежищем и защитником. «Позаботьтесь об Уолтере, я любил Уолтера!» Воспоминание о милом жалобном голоске, произнесшем эти слова, ворвалось ей в душу, словно музыка в ночи. «О, добро пожаловать, дорогой Уолтер!» Она почувствовала это, хотя высказать не могла, и невинно заключила его в объятия.

Капитан Катль, окончательно потеряв голову, попытался вытереть лоб обуглившимся гренком, насаженным на крючок, но, убедившись, что сей предмет не подходит



для этой цели, положил гренок в свою глянцевитую шляпу, не без труда нахлобучил глянцевитую шляпу себе на голову, попробовал спеть стишок из «Красотки Пэг», споткнулся на первом же слове и удалился в лавку. Оттуда он не замедлил вернуться с раскрасневшимся, перепачканным лицом и в совершенно размякшем крахмальном воротничке и произнес:

— Уольр, мой мальчик, вот маленькое имущество, которое я бы хотел передать в совместное владение!

Капитан поспешно предъявил большие часы, чайные ложки, щипцы для сахара и чайницу и, положив все эти вещи на стол, смел их своей огромной рукой в шляпу Уолтера; однако, вручая эту оригинальную копилку Уолтеру, он снова расчувствовался до такой степени, что принужден был вторично удалиться в лавку и отсутствовал дольше, чем в первый раз.

Но Уолтер отыскал его и привел назад, а тогда капитана охватил страх, как бы Флоренс не пострадала от этого нового потрясения. Столь велик был этот страх, что капитан совершенно образумился и решительно запретил упоминать в течение ближайших дней о приключениях Уолтера. Затем капитан Катль настолько успокоился, что мог освободиться от гренка, помещавшегося в шляпе, и занять место за чайным столом; но с одной стороны Уолтер обнимал его за плечи, а с другой стороны Флоренс со слезами на глазах шептала поздравления, и капитан снова обратился в бегство и отсутствовал добрых десять минут.

Никогда еще физиономия капитана не сияла и не лоснилась так, как в тот момент, когда он прочно занял место за чайным столом, переводя взгляд с Флоренс на Уолтера и с Уолтера на Флоренс. Такой эффект отнюдь не был вызван или усилен тем обстоятельством, что он в течение получаса старательно полировал себе лицо обшлагом. Это был только результат душевного его волнения. Радость и восторг, испытываемые капитаном, разливались по всей его физиономии и делали ее поистине лучезарной.

Гордость, с какою капитан смотрел на загорелые щеки и смелые глаза своего мальчика, вновь обретенного, гордость, какую он испытывал при виде его моло-

дости и благородной энергии, при виде оживленного лица, дышавшего искренностью, могла бы зажечь этот свет, озаривший лицо капитана. Восхищение и сочувствие, с какими он обращал взгляд на Флоренс, чья красота, грация и невинность вряд ли завоевали бы ей более преданного и ревностного приверженца, чем он, также могли возыметь такое действие. Но это сияние, которое он разливал вокруг, могло достигнуть полного блеска только благодаря тому, что он созерцал обоих вместе, и из этого созерцания рождались ослепительные мечты, реявшие вокруг них и бросившиеся в голову капитану.

Капитан Катль прекрасно понимал,— хотя все время пребывал в смятении и не раз убегал ненадолго в лавку,— понимал, что они беседовали о бедном старом дяде Соле и обсуждали мельчайшие подробности, имевшие отношение к его исчезновению; что отсутствие старика и невзгоды Флоренс умеряли их радость; что они освободили Диогена, которого капитан заблаговременно заманил наверх, опасаясь, как бы он снова не залаял. Но ему и в голову не приходило, что Уолтер смотрел на Флоренс как-то по-новому и словно с далекого расстояния; не приходило в голову, что Уолтер часто посматривал на милое лицо, но когда она поднимала на Уолтера глаза, тот избегал ее открытого взгляда, говорившего о сестринской любви. Такую возможность капитан мог допустить не больше, чем поверить, что возле него находится не сам Уолтер, а его призрак. Он видел их вместе, юных и прекрасных, он знал их прошлое, и под его широким синим жилетом не оставалось местечка для каких бы то ни было чувств, кроме восхищения такой парой и благодарности за то, что они снова вместе.

Они засиделись до позднего часа. Капитан охотно просидел бы так целую неделю. Но Уолтер встал и начал прощаться.

— Вы уходите, Уолтер! — воскликнула Флоренс.— Куда?

— Временно он повесил свою койку за углом у Броли, маленькая леди,— ответил капитан.— На расстоянии оклика, Отрада Сердца!

— Вам из-за меня приходится уйти, Уолтер,— сказала Флоренс.— Ваше место заняла бесприютная сестра.

— Дорогая мисс Домби,— нерешительно отозвался Уолтер,— если не будет дерзостью называть вас так...

— Уолтер! — воскликнула она с удивлением.

— ...Теперь, когда я так счастлив, имея возможность видеть вас и говорить с вами, лишь сознание, что я оказываю вам маленькую услугу, может сделать меня еще счастливее! Куда бы я только не пошел и чего бы я не сделал ради вас!

Она улыбнулась и назвала его братом.

— Вы так изменились,— сказал Уолтер.

— Я изменилась? — перебила она.

— Для меня,— тихо сказал Уолтер, словно размышляя вслух.— Для меня изменились. Я оставил вас, когда вы были ребенком, а теперь вижу вас... о, совсем другую...

— Но по-прежнему вашей сестрой, Уолтер! Вы не забыли, что́ мы обещали друг другу, когда прощались?

— Можно ли забыть! — Но больше он ничего не добавил.

— Но если бы вы... если бы страдания и опасности изгнали это обещание из вашей памяти — к счастью, этого не случилось! — вспомнили бы вы о нем теперь, Уолтер, когда вы видите меня бедной и покинутой? Когда у меня нет другого дома, кроме этого, и никаких друзей, кроме тех двух, которые меня сейчас слушают?

— Вспомнил! Видит бог, что вспомнил бы! — воскликнул Уолтер.

— Уолтер! — сквозь слезы сказала Флоренс.— Милый брат! Укажите мне какой-нибудь путь в жизни... какой-нибудь скромный путь, чтобы я могла идти этим путем одна, трудиться и думать иногда о вас — о человеке, который защитит меня и позаботится обо мне, как о сестре! О, помогите мне, Уолтер, я так нуждаюсь в помощи!

— Мисс Домби! Флоренс! Я готов умереть за вас! Но у вас есть друзья, гордые и богатые. Ваш отец...

— Нет, нет! Уолтер! — Она вскрикнула и сжала

голову руками с таким ужасом, что он замер на месте. — Не произносите этого слова!

С тех пор он никогда не мог забыть ее голоса и взгляда в тот миг. Он чувствовал: проживи он еще сто лет — никогда ему этого не забыть.

Куда-нибудь, куда угодно — только не домой! Все миновало, все исчезло, все потеряно и разбито! Нерассказанная повесть о нанесенном ей оскорблении и страданиях заключалась в этом возгласе и взгляде. И он почувствовал, что никогда ему этого не забыть, и он не забыл.

Она прильнула своим кротким личиком к плечу капитана и рассказала, как и почему она убежала. Если бы каждая пролитая ею при этом горькая слеза была проклятием, упавшим на голову того, кого она не называла и не порицала,— со страхом подумал Уолтер,— для него это было бы меньшим злом, нежели утрата такой глубокой и сильной любви.

— Полно, милочка! — сказал капитан, когда она умолкла (пока она говорила, капитан слушал ее с величайшим вниманием, сдвинув набекрень глянцевитую шляпу и разинув рот).— Стоп, стоп, мое сокровище! Уольр, мой дорогой мальчик, отчаливай на ночь, а красавицу оставь на мое попечение.

Уолтер обеими руками взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. Теперь он знал, что она и в самом деле была бесприютной беглянкой. Хотя такой она была ему еще дороже, чем окруженная богатством и роскошью, подобающей ей по положению, но ему казалось, что теперь она более недосягаема, чем даже в те времена, когда стояла на высоте, которая вызывала головокружение у него, отдавшегося мальчишеским грезам.

Капитан Катль, отнюдь не смущаемый подобными размышлениями, проводил Флоренс до ее комнаты и время от времени становился на стражу на зачарованной площадке перед ее дверью — ибо для него это место было поистине зачарованным,— пока не успокоился на ее счет и не улегся спать под прилавком. Покидая свой пост, он не мог удержаться, чтобы не крикнуть восторженно в замочную скважину: «Утонул! Не правда ли, красавица?» — а спустившись вниз, еще раз попытался

спеть строфу из «Красотки Пэг». Но она почему-то застряла у него в горле, и он ничего не мог с ней поделать. Тогда он лег спать, и ему приснилось, что старый Соль Джилс женился на миссис Мак-Стинджер и сия леди держит его в плену, в потайной комнате, и морит голодом.

ГЛАВА L

Сетования мистера Тутса

В мансарде в доме Деревянного Мичмана пустовала комната, которая в былые времена служила Уолтеру спальней. Разбудив капитана рано утром, Уолтер предложил перенести туда из маленькой гостиной наилучшую мебель для украшения комнаты, чтобы Флоренс, проснувшись, могла вступить во владение ею. Так как для капитана Катля ничего не могло быть приятнее, чем раскраснеться и запыхаться, потрудившись ради такого дела, то он (по собственному его выражению) приступил с охотой. И часа через два мансарда превратилась в своеобразную каюту на суше, украшенную избранными вещами из гостиной, включая даже восточный фрегат; капитан повесил его над камином и пришел в такой восторг, что в течение получаса ничего не мог делать и только созерцал его с восхищением, то отступая от камина, то снова подходя к нему.

Никакие увещания Уолтера не могли заставить капитана завести большие часы, взять назад чайницу или прикоснуться к щипцам для сахара и чайным ложкам.

— Нет, мой мальчик,— неизменно отвечал капитан на такую просьбу,— это маленькое имущество я передал в совместное владение.

Эти слова он повторял торжественно и внушительно, очевидно предполагая, что они имеют силу парламентского акта и что в такой форме передача будет окончательной, если он сам не испортит дела, вновь признав себя владельцем.

Переселение Флоренс в другую — более уединенную — комнату было удобно для нее и в то же время

давало возможность водворить Мичмана на обычный его наблюдательный пост, а также снять ставни с окон лавки. Хотя ничего не подозревавший капитан придавал мало значения этой последней церемонии, она была отнюдь не лишней: ставни, оставшиеся накануне закрытыми, вызвали такое волнение в этих краях, что дом мастера судовых инструментов удостоился необычайного внимания, и с восхода до заката солнца на него таращили глаза группы зевак, расположившихся на противоположном тротуаре. Бездельники и гуляки были чрезвычайно заинтересованы судьбой капитана; они ползали по грязи, заглядывая сквозь решетку в погреб под окном лавки, и воображали, будто могут разглядеть фрак капитана, повесившегося в углу. Однако такое решение его участи энергически оспаривалось противной партией, полагавшей, что он убит молотком и лежит на лестнице. Вот почему все почувствовали некоторое разочарование, когда предмет этих толков появился рано поутру в дверях лавки, бодрый и жизнерадостный, словно ничего с ним не случилось. Бидл из этого квартала, человек честолюбивый, который надеялся присутствовать при взламывании двери и в полной парадной форме давать показание перед коронером *, не удержался, чтобы не сказать соседу, что лучше бы этот парень в глянцевитой шляпе не проделывал таких штук — каких именно он не объяснил,— присовокупив, что он, бидл, будет за ним следить.

— Капитан Катль,— задумчиво сказал Уолтер, когда они стояли в дверях лавки, отдыхая после трудов и глядя на знакомую старую улицу; час был еще очень ранний,— все это время не было никаких известий о дяде Соле?

— Никаких, мой мальчик,— ответил капитан, покачивая головой.

— Отправился разыскивать меня, добрый, славный старик,— сказал Уолтер,— а вам ни разу не написал! Но почему? Вот здесь, в этом письме, которое вы передали мне,— он достал из кармана пакет, вскрытый в присутствии мудрого Бансби,— он говорит, что вы можете почитать его умершим, если ни разу не услышите о нем до того дня, как вскроете этот пакет. Сохрани нас бог от такого несчастья! Но ведь вы бы услыхали о

нем, даже если бы он и в самом деле умер! Конечно, кто-нибудь написал бы вам по его просьбе, если бы он сам не мог этого сделать, и сообщил бы: «Такого-то числа умер в моем доме», или «у меня на руках», или еще что-нибудь в этом роде «мистер Соломон Джилс из Лондона, который просил передать вам свой последний привет и последние свои пожелания».

На капитана, который доселе никогда еще не достигал таких высот умозаключений, произвела огромное впечатление открывшаяся перед ним широкая перспектива, и он ответил, глубокомысленно покачивая головой:

— Хорошо сказано, мой мальчик, хорошо сказано!

— Вот о чем я думал,— впрочем, о многом я думал в эту бессонную ночь,— краснея, сказал Уолтер — и я твердо верю, капитан Катль, что мой дядя Соль (да благословит его бог!) жив и вернется к нам. Я не очень удивляюсь тому, что он уехал! Не говоря уже об этом тяготении ко всему чудесному, которое всегда было ему свойственно, и о горячей его любви ко мне, перед которой все в его жизни отступало на задний план,— а ведь никто не знает этого лучше, чем я, нашедший в нем самого доброго отца (голос Уолтера стал невнятным и хриплым, и он отвернулся, глядя куда-то вдоль улицы),— так вот, не говоря уже обо всем этом, мне часто приходилось читать и слышать о том, как люди, у которых близкий и дорогой им родственник потерпел кораблекрушение, переселялись в такие места на берегу моря, куда вести о пропавшем судне могли дойти хотя бы на час или на два часа раньше, а иногда они даже совершали весь рейс до места назначения судна, словно это путешествие могло доставить им какие-нибудь сведения. Мне кажется, я бы и сам так сделал, и, быть может, даже скорее, чем многие другие. Но почему дядя не написал вам, хотя он несомненно собирался написать, или как мог он умереть где-то на чужбине, а вы об этом не узнали,— я решительно не понимаю!

Капитан Катль, покачивая головой, заметил, что даже Джек Бансби этого не понимал, а ведь он-то мог высказать хорошо оснащенное мнение.

— Будь мой дядя легкомысленным юношей, которого веселая компания вздумала бы заманить в какой-нибудь

трактир, чтобы там расправиться с ним и завладеть находящимися при нем деньгами,— сказал Уолтер,— или будь он бесшабашным матросом, сошедшим на берег с жалованием за два-три месяца в кармане, я бы мог допустить, что он исчез. Но я не могу этому поверить, зная, каков он был... и каков он есть, надеюсь.

— Уольр, мой мальчик, как же это ты в таком случае объясняешь? — осведомился капитан, глядя на него пристально и пребывая в глубоком раздумье.

— Капитан Катль,— ответил Уолтер,— я не знаю, чем это объяснить. Должно быть, он ни разу не написал. Ведь это не подлежит сомнению?

— Если бы Соль Джилс что-нибудь написал, мой мальчик, то где же его депеша? — осведомился капитан, приводя веский довод.

— Допустим, он дал кому-нибудь поручение,— сказал Уолтер,— а тот забыл о письме, или выбросил по небрежности, или потерял. Даже такая догадка кажется мне более вероятной, чем то — другое предположение. Короче говоря, капитан Катль, я не в силах обсуждать другое предположение, не могу и не хочу этого.

— Это надежда, Уольр,— глубокомысленно заметил капитан,— надежда! Это она тебя воодушевляет. Надежда — это буй, а чтобы найти это место, перелистай свою «Певчую птичку» *, раздел чувствительных песен; но знаешь ли, мой мальчик, надежда, как и всякий другой буй, только плавает на одном месте, а направить ее никуда нельзя. Кроме изображения надежды на носу корабля есть еще якорь,— продолжал капитан,— но какой толк от якоря, если я не нахожу дна, чтобы бросить его?

Капитан Катль произнес эту речь не столько от своего собственного имени, сколько от лица разумного, рассудительного гражданина, который обязан уделить крупицу своей мудрости неопытному юнцу. Но при этом лицо его сияло, озаренное новой надеждой, которой он заразился от Уолтера, и в заключение он весьма кстати похлопал его по спине и с энтузиазмом воскликнул:

— Ура, мой мальчик! Я разделяю твое мнение.

Уолтер ответил ему веселым смехом и сказал:

— Еще одно слово о дяде, капитан Катль. Я думаю, быть не может, что он послал письмо обычным поряд-

ком — через почтовую контору или с почтовым пароходом. Понимаете?..

— Да, да, мой мальчик,— одобрительно сказал капитан.

— И вы не могли прозевать письмо. Не так ли?

— Уольр,— сказал капитан, тщетно стараясь принять суровый вид,— разве я не был начеку в ожидании вестей от человека науки, старого Соля Джилса, твоего дяди, разве я не был начеку день и ночь с той поры, как его потерял? Разве не было у меня тяжело на сердце, и разве я не поджидал все время и его и тебя? Во сне и наяву разве не стоял я на своем посту и разве унизился бы до того, чтобы его покинуть, пока этот Мичман еще цел и невредим?

— О да, капитан Катль! — воскликнул Уолтер, схватив его за руку.— Знаю! И знаю также, сколько преданности и искренности во всем, что вы говорите и чувствуете. Я в этом уверен. А вы не сомневайтесь в моей уверенности так же, как и в том, что я переступил через порог этой двери и снова держу в своей руке эту честную руку. Ведь вы не сомневаетесь?

— Нет, нет, Уольр,— ответил капитан с сияющей физиономией.

— Больше я не рискую делать никаких предположений,— сказал Уолтер, горячо пожимая жесткую руку капитана, который в свою очередь с не меньшей охотой пожал ему руку.— Добавлю только одно, капитан Катль: боже меня сохрани, чтобы я прикоснулся к имуществу моего дяди! Все, что он здесь оставил, находится на попечении честнейшего из всех управляющих и лучшего из всех людей, и если этого человека зовут не Катль, то, значит, нет у него имени. А теперь, лучший из друзей, поговорим о... мисс Домби.

Что-то изменилось в манере Уолтера, прежде чем он вымолвил эти два слова; а когда он их произнес, доверчивость и бодрость как будто покинули его.

— Я полагал, прежде чем мисс Домби остановила меня вчера вечером, когда я заговорил об ее отце... вы помните, как было дело? — начал Уолтер.

Капитан прекрасно это помнил и кивнул головой.

— Да, прежде я полагал,— продолжал Уолтер,— что

на нас лежит тяжелая обязанность убедить ее, чтобы она вступила в общение со своими друзьями и вернулась домой.

Капитан слабым голосом пробормотал: «Стоп!», или «Держись крепче!», или еще что-то подходящее к случаю; но вследствие величайшего смятения, вызванного подобным сообщением, голос у него был такой слабый, что можно было только строить догадки.

— Но с этим покончено! — сказал Уолтер.— Теперь я думаю иначе. Я бы скорее согласился вновь очутиться на том обломке разбитого судна, на котором я со дня своего спасения так часто плавал во сне по волнам, остаться на нем, пойти ко дну и умереть!

— Ура, мой мальчик! — воскликнул капитан в порыве неудержимого восторга.— Ура! Ура! Ура!

— Подумать только, что она, такая юная, такая добрая и прекрасная,— продолжал Уолтер,— которой уготована была другая судьба, должна вступить в борьбу с этим жестоким миром! Но мы видели ту пропасть, какая отрезала ее от всего прошлого, хотя никто, кроме нее самой, не знает глубины этой пропасти. И возврата нет.

Капитан Катль, не совсем понимая смысл этих слов, отнесся к ним с величайшим одобрением и заметил глубоко сочувственным тоном, что ветер дует попутный.

— Ей не следует оставаться здесь одной, не так ли, капитан Катль? — с беспокойством осведомился Уолтер.

— Право же, мой мальчик, я этого не знаю,— ответил капитан.— Ты теперь здесь и можешь составить ей компанию, и раз вас соединяет...

— Дорогой капитан Катль! — перебил Уолтер.— Вы говорите — я теперь здесь! Мисс Домби по чистосердечию своему и невинности смотрит на меня, как на брата; но каково было бы мое коварство, если бы я притворился, будто верю в свои права на родственные отношения... если бы я притворился, будто забыл о том, что долг чести запрещает мне так поступать!

— Уольр, мой мальчик,— сказал капитан, снова обнаруживая некоторые признаки смятения,— разве не может быть никаких прав, кроме...

— О! — воскликнул Уолтер.— Неужели вы бы хотели, чтобы она перестала меня уважать — *она*! — и

между мною и ее ангельским лицом навсегда опустилась завеса, если я стану добиваться ее любви, пользуясь тем, что она, такая доверчивая и такая беззащитная, нашла здесь приют? Да что же это я говорю! Ведь нет в мире никого, кто бы осудил меня с большею строгостью, чем вы, если бы я мог это сделать!

— Уольр, мой мальчик,— сказал капитан, все больше и больше омрачаясь,— если есть какая-нибудь помеха, препятствующая двум людям соединиться узами во храме — а ты перечитай это место и отметь его,— я бы объяснил это тем, что они уже помолвлены с кем-то еще. Но, стало быть, не может быть никаких иных прав? Неужели их нет, мой мальчик?

Уолтер махнул рукой, давая отрицательный ответ.

— Знаешь ли, мой мальчик,— медленно проговорил капитан,— не стану отрицать, что меня это ошеломило, и я растерялся. Но что касается маленькой леди, Уольр, то, как бы я ни был разочарован, почтение и уважение к ней я почитаю своим долгом, а потому я иду за тобою в кильватере, мой мальчик, и чувствую, что ты поступаешь надлежащим образом. Так, стало быть, нет никаких иных прав? — снова повторил капитан, с удрученным видом созерцая развалины своего рухнувшего замка.

— Мне кажется, капитан Катль,— сказал Уолтер, переходя к новой теме разговора с большей бодростью, чтобы развеселить капитана, хотя его ничто не могло развеселить, так как он был слишком озабочен,— мне кажется, мы должны найти какую-нибудь особу, которая была бы подходящей компаньонкой для мисс Домби, пока она живет здесь, и которой можно было бы доверять. Никто из ее родственников для этого не подходит. Мисс Домби несомненно понимает, что все они пресмыкаются перед ее отцом. А где Сьюзен?

— Молодая женщина? — отозвался капитан.— Мне кажется, ее уволили против желания Отрады Сердца. Я о ней запрашивал сигналом, когда маленькая леди только что пришла сюда, и маленькая леди дала о ней прекрасный отзыв и сказала, что она давным-давно уехала.

— В таком случае,— сказал Уолтер,— спросите мисс Домби, куда она уехала, а мы постараемся ее

найти. Время идет, и мисс Домби скоро проснется. Вы — ее лучший друг. Позаботьтесь о ней там, наверху, а мне предоставьте навести порядок внизу.

Капитан, впавший в полное уныние, ответил вздохом на вздох, с каким Уолтер произнес эти слова, и повиновался, Флоренс пришла в восторг от своей новой комнаты, горела желанием увидеть Уолтера и рада была бы встретиться со своим старым другом Сьюзен. Но Флоренс не могла сообщить, куда уехала Сьюзен, знала только, что в Эссекс, и,— насколько она припоминает,— никто не мог бы этого сообщить, кроме мистера Тутса.

Получив эти сведения, загрустивший капитан вернулся к Уолтеру и поведал ему, что мистер Тутс — тот самый джентльмен, которого он встретил у двери,— друг его, капитана Катля, богатый молодой джентльмен, безнадежно влюбленный в мисс Домби. Капитан рассказал также о том, как привело его к знакомству с мистером Тутсом известие о предполагаемой гибели Уолтера и как между ними был заключен торжественный договор, обязывающий мистера Тутса не заикаться о предмете своей любви.

Затем возник вопрос, может ли Флоренс доверять мистеру Тутсу, а когда Флоренс с улыбкой ответила: «О да, всем сердцем!» — оказалось необходимым установить, где живет мистер Тутс. Этого Флоренс не знала, а капитан позабыл. И в тот самый миг, как в маленькой гостиной капитан говорил Уолтеру, что мистер Тутс несомненно будет в скором времени здесь, появился сам мистер Тутс.

— Капитан Джилс,— сказал мистер Тутс, без всяких церемоний вбегая в гостиную,— я нахожусь на грани помешательства!

Мистер Тутс выпалил эти слова словно из пушки, прежде чем заметил Уолтера, которого затем приветствовал каким-то жалостным хихиканьем.

— Вы меня простите, сэр,— сказал мистер Тутс, схватившись за голову,— но в настоящее время я нахожусь в таком состоянии, что рассудок меня покидает, если уже не покинул, и всякая попытка быть учтивым, принимая во внимание мое положение, была бы пустым

притворством. Капитан Джилс, смею просить разрешения побеседовать с вами наедине!

— Приятель,— ответил капитан, беря его за руку,— как раз вас-то мы и поджидали.

— О капитан Джилс,— сказал мистер Тутс,— поджидать такого субъекта, как *я*! Я не рискнул побриться — вот в каком я взбудораженном состоянии! Волосы у меня всклочены. Я сказал Петуху, что укокошу его, если он вздумает вычистить мне башмаки!

Все эти признаки умопомешательства подтверждались внешним видом мистера Тутса, диким и непонятным.

— Послушайте, братец,— сказал капитан,— вот это Уольр, племянник старого Соля Джилса. Тот самый, которого мы считали погибшим в море.

Мистер Тутс отнял руки от головы и, выпучив глаза, посмотрел на Уолтера.

— Господи, помилуй! — пробормотал мистер Тутс.— Вот не было беды! Как поживаете? Я... я... боюсь, что вы очень промокли. Капитан Джилс, разрешите мне сказать вам словечко в лавке?

Он схватил капитана за фалду фрака и, выходя вместе с ним, прошептал:

— Так, значит, капитан Джилс, это и есть тот самый человек, о котором вы говорили, что он и мисс Домби созданы друг для друга?

— Да, приятель,— сказал безутешный капитан,— так думал я когда-то.

— И вот теперь!.. Как раз в такой момент!..— вскричал мистер Тутс, снова хватаясь за голову.— Ненавистный соперник! Впрочем, нет, для меня он не является ненавистным соперником,— запнувшись и поразмыслив, сказал мистер Тутс, отнимая руку ото лба.— За что мне его ненавидеть? Нет! Если любовь моя поистине бескорыстна, капитан Джилс, позвольте мне доказать это теперь!

Мистер Тутс снова ринулся в гостиную и сказал, схватив Уолтера за руку:

— Как поживаете? Надеюсь, вы не простудились. Я... я... буду очень рад, если вам угодно будет со мной познакомиться. Поздравляю вас от всей души! Клянусь

честью,— сказал мистер Тутс, разгорячившись после того, как пристальнее всмотрелся в лицо Уолтера,— я очень рад вас видеть!

— Благодарю вас, большое спасибо,— сказал Уолтер.— Я бы и пожелать не мог более сердечного и искреннего приветствия.

— Да неужели? — воскликнул мистер Тутс, все еще пожимая ему руку.— Это очень мило с вашей стороны. Я вам чрезвычайно признателен. Как вы поживаете? Надеюсь, вы оставили всех в добром здоровье там за... то есть на... я хочу, понимаете ли, сказать, там, откуда вы приехали.

На все эти добрые пожелания и еще лучшие намерения Уолтер отвечал, как подобает мужчине.

— Капитан Джилс,— сказал мистер Тутс,— я бы хотел строго придерживаться правил чести, но, надеюсь, мне разрешено будет упомянуть теперь об одном предмете, который...

— Да, да, приятель,— отозвался капитан.— Смелей, смелей!

— Так вот, капитан Джилс и лейтенант Уолтерс,— заговорил мистер Тутс,— известно ли вам, что устрашающее происшествие случилось в доме мистера Домби, что мисс Домби покинула своего отца, который, по моему мнению,— с величайшим возбуждением присовокупил мистер Тутс,— является поистине зверем? Назвать его э... мраморным памятником или хищной птицей значило бы польстить ему... И никто не знает, где она находится и куда ушла.

— Разрешите спросить, откуда вам это известно? — осведомился Уолтер.

— Лейтенант Уолтерс,— сказал мистер Тутс, который прибег к такому обращению по особой причине, понятной ему одному (может быть, потому, что он связал его имя с морской профессией и предположил какую-то родственную связь между ним и капитаном, каковая должна была, разумеется, простираться и на их звания),— лейтенант Уолтерс, я могу ответить вам напрямик. Дело вот в чем: будучи крайне заинтересован всем, что касается мисс Домби — отнюдь не из эгоистических соображений, лейтенант Уолтерс, я прекрасно понимаю, что

наибольшее удовольствие, какое я могу доставить всем окружающим, это — положить конец своему существованию, которое можно рассматривать только как помеху... Ну, так вот, я приобрел привычку давать время от времени какую-нибудь ничтожную сумму лакею, весьма почтенному молодому человеку, некоему Таулинсону, который давно уже служит в этом доме. И вчера вечером Таулинсон сообщил мне, каково положение дел. С той поры, капитан Джилс и лейтенант Уолтерс, я совсем лишился рассудка и всю ночь валялся на диване, а теперь предстал перед вами такой развалиной.

— Мистер Тутс,— сказал Уолтер,— я счастлив, что могу успокоить вас. Прошу вас, не тревожьтесь. Мисс Домби цела и невредима.

— Сэр! — вскричал мистер Тутс, вскакивая со стула и снова пожимая ему руку.— Я испытываю такое безграничное и невыразимое облегчение, что, если бы вы даже сказали мне теперь: мисс Домби вышла замуж, я мог бы улыбнуться. Да, капитан Джилс,— сказал мистер Тутс, взывая к капитану Катлю,— клянусь душой и телом, я мог бы улыбнуться. Вот какое облегчение я почувствовал. Хотя и неизвестно, как бы я поступил с самим собою немедленно вслед за этим.

— Такому великодушному человеку, как вы,— сказал Уолтер, не замедлив ответить на рукопожатие,— доставит еще большее облегчение и удовольствие узнать, что вы можете оказать услугу мисс Домби. Капитан Катль, будьте так добры, проводите мистера Тутса наверх.

Капитан поманил мистера Тутса, который с недоумевающим видом последовал за ним, и, поднявшись в мансарду, был введен без всякого предупреждения в новое убежище Флоренс.

Изумление и радость бедного мистера Тутса, когда он увидел ее, могли найти себе исход только в сумасбродных поступках. Он подбежал к ней, схватил ее руку, поцеловал, выпустил из своих рук, снова схватил, опустился на одно колено, расплакался, захихикал и нимало не помышлял об опасности, грозившей ему со стороны Диогена, который вообразил, будто в этих поступках есть нечто враждебное его хозяйке, и вертелся

вокруг него с таким видом, как будто еще не выбрал местечка для нападения, но твердо решил причинить мистеру Тутсу великое зло.

— О Ди, скверный, забывчивый пес! Дорогой мистер Тутс, как я рада вас видеть!

— Благодарю вас,— сказал мистер Тутс,— я здоров, очень вам признателен, мисс Домби. Надеюсь, все семейство в добром здоровье?

Мистер Тутс произнес эти слова, понятия не имея, о чем он говорит, уселся на стул и принялся смотреть на Флоренс, причем лицо его выражало самую ожесточенную борьбу между восторгом и отчаянием.

— Капитан Джилс и лейтенант Уолтерс сообщили мне, мисс Домби,— задыхаясь, произнес мистер Тутс,— что я могу оказать вам какую-то услугу. Если бы я мог как-нибудь стереть воспоминание о том дне в Брайтоне, когда походил скорее на разбойника, чем на человека, обладающего состоянием,— продолжал мистер Тутс, вынося себе суровый приговор,— я бы с радостью лег в безмолвную могилу.

— Пожалуйста, мистер Тутс,— сказала Флоренс,— не просите меня забыть хоть что-нибудь, связанное с нашим знакомством. Поверьте, я не могу это сделать. Вы всегда были бесконечно добры ко мне.

— Мисс Домби,— ответил мистер Тутс,— ваше внимание к моим чувствам свойственно вашей ангельской природе. Тысячу раз благодарю вас! Это не имеет ровно никакого значения!

— Мы хотели спросить вас,— сказала Флоренс,— помните ли вы, куда поехала Сьюзен, которую вы так любезно проводили в контору почтовых карет, когда она ушла от меня?

— Видите ли, мисс Домби,— подумав, сказал мистер Тутс,— я, конечно, не помню названия города, которое было написано на карете, но я помню, что Сьюзен, по ее словам, не собиралась там останавливаться, а хотела ехать дальше. Но, впрочем, мисс Домби, если вам угодно, чтобы ее отыскали и доставили сюда, то мы с Петухом привезем ее весьма скоро, чему порукой моя преданность и удивительная сообразительность Петуха.

Мистер Тутс был столь явно обрадован надеждой оказаться полезным, а бескорыстная и искренняя его преданность казалась столь несомненной, что было бы жестоко ответить ему отказом. Флоренс с присущей ей деликатностью постеснялась выдвинуть какое-нибудь возражение, но не преминула осыпать его изъявлениями благодарности, и мистер Тутс с гордостью взялся исполнить это поручение безотлагательно.

— Мисс Домби,— сказал мистер Тутс, прикасаясь к протянутой ему руке, терзаемый безнадежной любовью, которая пронзала его насквозь и светилась на его лице,— до свидания! Разрешите вам сказать, что ваши невзгоды делают меня поистине несчастным и что вы можете доверять мне едва ли не так же, как самому капитану Джилсу. Мои недостатки, мисс Домби, прекрасно мне известны — они не имеют ни малейшего значения, благодарю вас,— но на меня можно всецело положиться, уверяю вас, мисс Домби!

С этими словами мистер Тутс вышел из комнаты в сопровождении капитана, который все это время стоял тут же, держал под мышкой свою шляпу, приглаживал крючком растрепавшиеся волосы и не без интереса следил за происходящим. А когда дверь за ними закрылась, свет, озаривший жизнь мистера Тутса, снова угас.

— Капитан Джилс,— сказал этот джентльмен, останавливаясь на нижней ступеньке лестницы и оглядываясь,— по правде сказать, сейчас я нахожусь не в таком расположении духа, чтобы встретить лейтенанта Уолтерса с теми дружескими чувствами, какие я хотел бы к нему питать. Мы не всегда можем властвовать над своими чувствами, капитан Джилс, и я сочту за особую милость, если вы выпустите меня с заднего хода.

— Братец,— ответил капитан,— можете наметить себе любой курс. Какой бы курс вы ни избрали, он будет честным и достойным моряка, в этом я уверен.

— Капитан Джилс,— сказал мистер Тутс,— вы очень любезны. Ваше доброе мнение служит мне утешением. Еще одно слово,— добавил мистер Тутс, стоя в коридоре за приоткрытой дверью,— надеюсь, вы это запомните, капитан Джилс, и мне бы хотелось, чтобы об этом было доведено до сведения лейтенанта Уолтерса. Я теперь,

знаете ли, окончательно вступил во владение своим имуществом, и... и я не знаю, что мне с ним делать. Если бы я мог оказаться полезным в смысле денежной помощи, я бы сошел в безмолвную могилу спокойно и безмятежно.

Мистер Тутс ничего больше не сказал и, потихоньку выскользнув за дверь, захлопнул ее за собою, чтобы предотвратить возражения капитана.

После его ухода Флоренс долго думала об этом добром создании. Он был так честен и добросердечен, что повидать его и убедиться в его преданности доставило Флоренс невыразимую радость и утешение. Но вместе с тем и по той же самой причине ей мучительно было думать, что она хотя бы на секунду сделала его несчастным или нарушила мирное течение его жизни, и глаза ее наполнялись слезами, а сердце сжималось от жалости. Капитан Катль в свою очередь много думал о мистере Тутсе; думал о нем и Уолтер, а когда настал вечер и они сидели все втроем в новой комнате Флоренс, Уолтер стал с жаром его расхваливать и сообщил Флоренс, что сказал мистер Тутс перед уходом; при этом он со свойственным ему великодушием подчеркивал все заслуживающее похвалы и одобрения.

На следующий день мистер Тутс не пришел и не приходил в течение нескольких дней; тем временем Флоренс, словно тихая птичка в клетке, жила, никем более не тревожимая, в мансарде дома старого мастера судовых инструментов. Но по мере того, как шли дни, Флоренс все больше грустила, и на лице ее, часто обращенном к небу, видневшемуся из высокого окна, появлялось то самое выражение, какое было на лице умершего мальчика, словно она искала там его ангела на светлом берегу, о котором он говорил, лежа в своей кроватке.

За последнее время Флоренс стала хрупкой и бледной, пережитое ею потрясение не могло не отразиться на ее здоровье. Но не от телесного недуга страдала она теперь. Она тосковала, а виновником ее тоски был Уолтер.

Он заботился и беспокоился о ней, был горд и счастлив возможностью ей услужить и выражал это со свойственным ему энтузиазмом и горячностью, но Флоренс видела, что он ее избегает. В течение целого дня он

редко приближался к двери ее комнаты. Если она звала его к себе, он приходил, и на секунду снова становился таким же веселым и оживленным, каким запомнился он ей, когда она в детстве заблудилась на шумных улицах; но затем им начинало овладевать смущение и чувство неловкости — ее зоркий любящий взгляд не мог этого не подметить,— и он спешил уйти. Без зова он никогда не приходил в течение целого дня. Правда, по вечерам он всегда был тут, рядом, и для нее это были счастливейшие часы, так как она почти верила, что прежний Уолтер, которого она знала в детстве, не изменился. Но даже в такие минуты какое-нибудь ничего не значащее слово или взгляд напоминали ей, что их разделяет какая-то черта, через которую нельзя переступить.

Она не могла не видеть, что эту перемену в себе он не в силах скрыть, несмотря на все свои старания. Она полагала, что, руководимый заботой о ней и нежеланием наносить ей раны своею ласковой рукой, он прибегал к бесконечным маленьким хитростям и уловкам. Чем живее чувствовала Флоренс значительность происшедшей с ним перемены, тем чаще оплакивала она отчуждение между нею и ее братом.

Флоренс казалось, что добряк-капитан — ее неизменный, нежный и ревностный друг — тоже видит это и сокрушается. Он был не таким радостным и бодрым, как в первое время, и по вечерам, когда они сидели все вместе, украдкой печально поглядывал то на нее, то на Уолтера.

Наконец Флоренс решила поговорить с Уолтером. Ей казалось, что она знает теперь причину его отчуждения, и она надеялась почувствовать облегчение сама и успокоить его, сказав ему, что ей все известно, что она с этим вполне примирилась и не упрекает его.

Флоренс приняла это решение в воскресенье днем. Преданный капитан в изумительном воротничке сидел возле нее и, надев очки, читал книгу, когда она спросила его, где Уолтер.

— Должно быть, внизу, моя маленькая леди,— ответил капитан.

— Я бы хотела поговорить с ним,— сказала Флоренс, поспешно вставая и собираясь идти вниз.

— Я его мигом пришлю сюда, красавица,— сказал капитан.

С этими словами капитан проворно взвалил на плечо книгу; он считал своим долгом читать по воскресеньям только очень громоздкие книги, ибо у них более солидный вид, и несколько лет тому назад купил в книжной лавке громадный том, любые пять строк из которого неизменно приводили его в полное недоумение, так что он до сей поры не мог установить, о чем идет речь в этой книге. Затем он удалился. Вскоре явился Уолтер.

— Капитан Катль сказал мне, мисс Домби...— с жаром начал он, входя, но, увидев ее лицо, запнулся.— Вам сегодня нездоровится? Вы чем-то огорчены? Вы плакали?

Он говорил так ласково и с таким волнением, что при звуке его голоса слезы выступили у нее на глазах.

— Уолтер,— тихо сказала Флоренс,— мне нездоровится, и я плакала. Я хочу поговорить с вами.

Он сел против нее, всматриваясь в ее прекрасное невинное лицо; он побледнел, и губы у него задрожали.

— Вы сказали в тот вечер, когда я узнала о вашем спасении, милый Уолтер... О, что я почувствовала в тот вечер, и сколько было надежд!..

Он положил дрожащую руку на разделявший их стол и не спускал глаз с Флоренс.

— ...Вы сказали, что я изменилась. Я удивилась, услышав это, но теперь понимаю, что это так. Не сердитесь на меня, Уолтер. Я была слишком счастлива, чтобы тогда же об этом подумать.

Снова она показалась ему ребенком. Он видел и слышал непосредственного, доверчивого, ласкового ребенка, а не любимую женщину, к чьим ногам хотел бы положить все сокровища мира.

— Вы помните, Уолтер, как мы встретились с вами в последний раз перед вашим отъездом?

Он сунул руку за пазуху и достал маленький кошелек.

— Я всегда носил его на шее! Если бы я утонул, он вместе со мною лежал бы на дне моря.

— И вы по-прежнему будете носить его, Уолтер, ради меня?

— До самой смерти!

Она положила свою руку на его так безбоязненно и простодушно, как будто и дня не прошло с тех пор, как она подарила ему этот маленький кошелек.

— Я этому рада. Я всегда буду с радостью об этом думать, Уолтер. Вы припоминаете, что в тот самый вечер, когда мы с вами разговаривали, нам обоим как будто пришла в голову мысль об этой перемене?

— Нет! — с недоумением ответил он.

— Да, Уолтер. И тогда уже я поневоле нанесла ущерб вашим надеждам и видам на будущее. Тогда я боялась так думать, но теперь я это знаю. Если тогда вы, по великодушию своему, могли скрывать от меня, что вам это тоже понятно, то теперь вы скрывать не можете, хотя стараетесь так же великодушно, как и раньше. Да, стараетесь! Я искренне, глубоко благодарна вам, Уолтер, но ваши старания безуспешны. Вы сами и близкие вам люди слишком много страдали, чтобы вы могли забыть невольного виновника всех бедствий и невзгод, обрушившихся на вас. Вы не можете забыть, какую роль я играла, и больше мы не можем быть братом и сестрой. Но, милый Уолтер, не думайте, что я вас упрекаю. Мне следовало бы об этом помнить — я должна была помнить,— но в порыве радости я обо всем позабыла. Теперь у меня одна надежда: быть может, вы будете думать обо мне с меньшей неприязнью, раз это чувство не нужно больше скрывать. И об одном я прошу, Уолтер, от имени той бедной девочки, которая была когда-то вашей сестрой: не старайтесь бороться с самим собой и не мучьте себя из-за меня теперь, когда я все знаю.

Пока она говорила, Уолтер смотрел на нее с бесконечным изумлением и недоумением, не оставлявшими места для каких-нибудь других чувств. Потом он схватил эту ручку, с такой любовью коснувшуюся его руки, и удержал ее.

— О мисс Домби! — воскликнул он.— Может ли быть, что в то время, когда я так страдал, борясь с чувством долга и сознанием своих обязанностей по отношению к вам, я заставил и вас страдать, о чем узнаю из ваших слов! Никогда, никогда, клянусь богом, не думал я о вас дурно, и всегда вы были для меня самым свет-

лым, чистым и святым воспоминанием моего детства и юности. Всегда, с первого дня, я считал и до последнего дня буду считать ту роль, какую вы играли в моей жизни, чем-то священным. О ней нельзя думать иначе, как с величайшей серьезностью и почтением, и забыть о ней нельзя до конца жизни. Снова видеть ваши глаза и слышать ваш голос, как в тот вечер, когда мы расстались,— для меня это невыразимое счастье. А пользоваться на правах брата вашей любовью и доверием было для меня величайшим и бесценным даром!

— Уолтер,— сказала Флоренс, глядя на него пристально, но изменившись в лице,— почему чувство долга и сознание обязанностей по отношению ко мне заставляет вас жертвовать всем этим?

— Я уважаю вас,— тихо сказал Уолтер.— И преклоняюсь перед вами.

Румянец вспыхнул у нее на щеках, и она робко и задумчиво отняла у него руку, но по-прежнему смотрела на него пристально.

— У меня нет прав брата,— сказал Уолтер.— Я не могу притязать на права брата. Я оставил здесь ребенка. И нашел женщину.

Румянец залил ей лицо. Она сделала движение, как будто умоляла его замолчать, и закрыла лицо руками.

Оба молчали; она плакала.

— Мой долг перед сердцем, таким доверчивым, чистым и добрым, заставляет меня оторваться от него, хотя бы это разбило *мое* сердце,— сказал Уолтер.— Как бы посмел я сказать, что для меня вы — сестра?

Она все еще плакала.

— Если бы вы были счастливы, окружены любящими и преданными друзьями и всем, что делает завидным положение, для которого вы были рождены,— продолжал Уолтер,— и если бы вы тогда в память дорогого прошлого назвали меня братом, я, отделенный от вас большим расстоянием, мог бы отозваться на это слово с полной уверенностью, что не оскорблю вашего невинного чувства. Но здесь... и теперь!..

— О, благодарю вас, Уолтер, благодарю вас! Простите, что я была к вам так несправедлива. Мне не с кем было посоветоваться. Я так одинока.

— Флоренс! — страстно воскликнул Уолтер.— Сейчас я тороплюсь высказать вам то, о чем никакие силы не заставили бы меня заговорить несколько минут назад. Если бы я преуспевал, если бы у меня была возможность или надежда вернуть вам положение, близкое к тому, какое вы занимали, я бы сказал вам, что есть одно имя, которым вы могли бы меня назвать, вручив мне высшее право защищать вас и беречь. Я бы сказал, что достоин этого имени только в силу моей любви и уважения к вам и в силу того, что мое сердце отдано вам. Я бы сказал вам, что только одно это право я могу принять от вас, и только оно позволит мне охранять вас и лелеять... И будь у меня это право, я бы почитал его столь великим и бесценным даром, что вся моя жизнь, полная безграничной преданности и любви, была бы лишь скудной благодарностью за него.

Голова была все еще опущена, слезы все еще струились по лицу, и грудь вздымалась от рыданий.

— Флоренс, милая, дорогая Флоренс! Так называл я вас мысленно, прежде чем понял, как это самонадеянно и безрассудно. Позвольте мне в последний раз назвать вас этим именем, которое мне так дорого, и коснуться этой нежной руки в доказательство того, что вы по-сестрински забудете о том, что я сейчас сказал.

Она подняла голову и заговорила, обратив к нему такой серьезный ласковый взгляд, улыбаясь ему сквозь слезы такой спокойной, ясной, тихой улыбкой, заговорила с такой нежностью, что самые сокровенные струны его сердца задрожали и взор затуманился.

— Нет, Уолтер, этого я не могу забыть. Ни за какие блага в мире не хотела бы я это забыть. Вы... вы очень бедны?

— Я — странник,— сказал Уолтер,— который должен плавать по морям, чтобы заработать себе на жизнь. Теперь это мое призвание.

— Вы скоро опять уедете, Уолтер?

— Очень скоро.

Она посмотрела на него, потом робко вложила свою дрожащую руку в его руку.

— Если вы хотите назвать меня своей женой, Уолтер, я буду горячо любить вас. Если вы позволите мне

поехать с вами, Уолтер, я без всякого страха поеду на край света. Мне нечем пожертвовать ради вас... мне не от чего отказываться и некого покидать. Но вся моя любовь и вся моя жизнь будут отданы вам, и если, умирая, я сохраню сознание и память, вместе с последним вздохом с губ моих слетит ваше имя.

Он прижал ее к своему сердцу, прильнул щекой к ее щеке, и тогда, уже не отвергнутая и не покинутая, она могла плакать на груди своего возлюбленного.

Благословенны воскресные колокола, чей звон так мягко касается их зачарованного слуха! Благословенны воскресные мир и тишина, сливающиеся с покоем, охватившим их души, и освящающие воздух вокруг них! Благословенны сумерки, подкрадывающиеся незаметно и окутывающие ее так ласково и торжественно, когда она засыпает, словно убаюканное дитя, на груди, к которой прильнула!

О, бремя любви и доверия, такое легкое! Да, Уолтер, смотри с гордостью и нежностью на эти закрытые глаза, ибо во всем необъятном мире они ищут теперь только тебя — только тебя!

Капитан оставался в маленькой гостиной, пока совсем не стемнело. Он уселся на стул, на котором до него сидел Уолтер, и смотрел вверх, на окно под потолком, пока не угас день и не замерцали звезды. Он зажег свечу, раскурил трубку, выкурил ее и с недоумением размышлял о том, что же это происходит наверху и почему его не зовут пить чай.

Флоренс подошла к нему в тот самый момент, когда недоумение его достигло высшей степени.

— А, маленькая леди! — вскричал капитан.— У вас с Уольром был длинный разговор, моя красавица!

Флоренс ухватилась своей маленькой ручкой за одну из огромных пуговиц на его фраке и сказала, засматривая ему в лицо:

— Дорогой капитан, я хочу кое-что сообщить вам.

Капитан поспешил поднять голову, чтобы выслушать сообщение. Увидев благодаря этому более отчетливо лицо

Флоренс, он отодвинул свой стул и себя вместе с ним, насколько это было возможно.

— Как! Отрада Сердца! — вскричал капитан, внезапно возликовав.— Это верно?

— Да! — с жаром ответила Флоренс.

— Уольр! Муж! Да? — заревел капитан, подбрасывая свою глянцевитую шляпу к окну под потолком.

— Да! — смеясь и плача, воскликнула Флоренс.

Капитан тотчас же обнял ее, а затем, подхватив глянцевитую шляпу и напялив ее на голову, продел руку Флоренс под свою и снова повел ее наверх, где почувствовал, что именно сейчас надлежит пошутить наилучшим образом.

— Ну, что, Уольр, мой мальчик! — сказал капитан, заглядывая в комнату, причем его физиономия напоминала раскаленную сковороду.— Так, стало быть, не может быть никаких других прав, не правда ли?

Похоже было на то, что он задохнется от этой остроты, которую он повторил за чаем по крайней мере раз сорок, полируя свою сияющую физиономию рукавом фрака, а в промежутках вытирая голову носовым платком. Но при таком положении дел он обрел еще более серьезный источник удовольствия, ибо без конца повторял вполголоса, глядя с неизъяснимой радостью на Уолтера и Флоренс:

— Эдуард Катль, дружище, ты избрал наилучший курс, передав то маленькое имущество в совместное владение!

ГЛАВА LI

Мистер Домби и светское общество

Что делает гордый человек, пока дни идут один за другим? Думает ли он когда-нибудь о своей дочери и задает ли себе вопрос, куда она ушла? Полагает ли он, что она вернулась домой и ведет прежний образ жизни в скучном доме? Никто не может ответить за него. С тех пор он ни разу не произнес ее имени. Домочадцы слиш-

ком боятся его, чтобы заговаривать о том, чего он решил не касаться; а ту единственную особу, которая дерзает расспрашивать его, он немедленно заставляет умолкнуть.

— Дорогой мой Поль! — лепечет его сестра в день ухода Флоренс, бочком проскальзывая в комнату.— Ваша жена! Эта выскочка! Может ли быть, что дошедшие до меня слухи справедливы? Вот как отблагодарила она вас за беспримерную преданность ей, простиравшуюся, в чем я уверена, до того, что ее капризам и высокомерию вы принесли в жертву даже своих родственников! Бедный мой брат!

Произнеся эту речь, трогательно напоминавшую о том, что ее не пригласили на званый обед, миссис Чик прибегает к услугам носового платка и бросается на шею мистеру Домби. Но мистер Домби холодно отводит ее руки и усаживает ее на стул.

— Благодарю вас, Луиза,— говорит он,— за такое доказательство вашего расположения, но я хочу, чтобы в нашей беседе мы касались других предметов. Когда я буду оплакивать свою судьбу, Луиза, или заявлю о том, что нуждаюсь в утешении, вы можете предложить мне его, если вам угодно.

— Дорогой мой Поль,— отвечает его сестра, закрывая лицо носовым платком и покачивая головою,— мне известна ваша сила духа, и больше я ни слова не скажу по поводу этого события, столь тягостного и возмутительного.— Эти два прилагательных миссис Чик произносит с язвительным негодованием.— Но позвольте вас спросить — хотя я страшусь услышать нечто такое, что меня взволнует и расстроит,— спросить об этом злополучном ребенке, о Флоренс...

— Луиза,— сурово говорит ей брат,— замолчите! Ни слова об этом!

Миссис Чик остается только покачивать головой, пользоваться услугами носового платка и оплакивать выродившихся Домби, которые перестали быть Домби. Но повинна ли Флоренс в бегстве Эдит, последовала ли она за ней, принимала ли какое-нибудь участие в бегстве или не принимала,— об этом миссис Чик не имеет ни малейшего представления.

Он идет неуклонно своим путем, скрывая в своей груди все мысли и чувства и не делясь ими ни с кем. Он отнюдь не пытается отыскать свою дочь. Может быть, он думает, что она живет у его сестры или под его собственной кровлей. Может быть, он думает о ней постоянно, а возможно, никогда о ней не думает. Любое предположение правильно, если судить по его виду.

Но достоверно одно: он не думает, что потерял ее. Истины он не подозревает. Слишком долго жил он на высотах гордыни и видел где-то внизу ее, кроткое, терпеливое создание, чтобы страшиться такой потери. Как ни потрясен он обрушившимся на него бесчестьем, однако оно не низвергло его на землю. Корень крепок и уходит глубоко, а за многие годы его ответвления распространились далеко вокруг и из всего извлекали пищу. Дерево подрублено, но не свалено.

Хотя он скрывает свой внутренний мир от внешнего мира, который, по его мнению, преследует в настоящее время одну лишь цель — упорно следить за ним, куда бы он ни пошел,— он не в силах скрыть борьбу, происходящую в этом внутреннем мире, ибо о ней свидетельствуют его запавшие глаза и щеки, изборожденный морщинами лоб и мрачный, задумчивый вид. Оставаясь попрежнему непроницаемым, он тем не менее изменился, и, оставаясь по-прежнему высокомерным, он унижен — иначе не было бы этих знаков.

Светское общество. Что думает о нем светское общество, как смотрит оно на него, что видит оно в нем, и что говорит — вот демон, не дающий покоя его мыслям. Где он — там и демон; мало того — демон даже там, где его нет. Демон появляется вместе с ним, когда он выходит к слугам, и остается с ними, вызывая шепот за его спиной; он видит, как демон указывает на него на улице; демон поджидает его в конторе; подмигивает, выглядывая из-за спины богатых купцов; кивает и болтает, затесавшись в толпе; всегда и повсюду опережает мистера Домби, и тому известно, что в его отсутствие демон действует еще энергичнее. Ночью, когда мистер Домби запирается у себя в комнате, демон обитает в доме и вне дома, его можно услышать в шуме шагов по тротуару, увидеть в газете, лежащей на столе, он разъ-

езжает по железным дорогам и на пароходах, неугомонный и всегда занятый только им одним — мистером Домби.

Это не призрак, созданный его воображением. Он воздействует на других людей не меньше, чем на него. Свидетель тому — кузен Финикс, который приезжает из Баден-Бадена специально для беседы с мистером Домби. Свидетель тому — майор Бегсток, который сопровождает кузена Финикса при выполнении этой дружеской миссии.

Мистер Домби принимает их со свойственным ему достоинством и стоит, выпрямившись, в обычной своей позе перед камином. Он чувствует, что их глазами смотрит на него светское общество; что оно глядит на него с портретов; что его представителем является мистер Питт, стоящий на книжном шкафу; что есть глаза даже у географической карты, висящей на стене.

— Исключительно холодная весна,— говорит мистер Домби, чтобы обмануть светское общество.

— Черт возьми, сэр! — говорит майор, воодушевленный дружескими чувствами.— Джозеф Бегсток — не мастер притворяться. Если вы желаете сторониться своих друзей и отвечать им холодностью, Дж. Б. не подходит для ваших целей. Джо груб и непреклонен, сэр; он искренен, этот Джо! Его королевское высочество, покойный герцог Йоркский, удостоил меня чести заметить (заслуженно или незаслуженно — значения не имеет): «Если есть у меня человек, на чью откровенность я могу вполне положиться, то зовут этого человека Джо — Джо Бегсток».

Мистер Домби выражает свое согласие.

— Домби,— говорит майор,— я человек светский. Наш друг Финикс... если смею так назвать...

— Право же, я почтен,— говорит кузен Финикс.

— ...тоже человек светский,— продолжает майор, тряхнув головой.— Домби, *вы* — светский человек. Если трое светских людей встретятся и если они к тому же друзья, как осмеливаюсь я думать...— обращается он снова к кузену Финиксу.

— Несомненно, наилучшие друзья,— говорит кузен Финикс.



— ...И если они друзья,— продолжает майор,— то старый Джо полагает (быть может, Дж. ошибается), что легко угадать мнение света о любом предмете.

— Несомненно! — говорит кузен Финикс.— Собственно говоря, это совершенно очевидно. Мне чрезвычайно хотелось бы, майор, чтобы мой друг Домби узнал о величайшем моем изумлении и сожалении по поводу того, что моя прелестная и безупречная родственница, наделенная всеми качествами, какие могут осчастливить мужчину, до такой степени забыла свои обязанности по отношению... собственно говоря, по отношению к свету... и столь себя скомпрометировала! С той поры я пребываю в чертовски мрачном расположении духа и не далее как вчера вечером сказал Долговязому Сэксби — ростом он шесть футов десять дюймов, и, вероятно, мой друг Домби с ним знаком,— что я дьявольски потрясен и у меня разлилась желчь. Такая роковая катастрофа,— продолжает кузен Финикс,— внушает человеку мысль о том, что провидение управляет всеми событиями, ибо, будь моя тетушка сейчас жива, на такую чертовски жизнерадостную женщину, как она, это произвело бы удручающее впечатление, и она, собственно говоря, пала бы жертвой.

— Итак, Домби...— с великой энергией говорит майор, пытаясь продолжить свою речь.

— Прошу прощения! — перебивает кузен Финикс.— Разрешите сказать еще одно слово. Мой друг Домби позволит мне заметить, что если что-нибудь и могло бы усугубить великие муки, какие я в данном случае испытываю, то разве лишь вполне понятное изумление света, вызванное предположением, что моя прелестная и безупречная родственница (прошу разрешения по-прежнему называть ее именно так), якобы скомпрометировала себя с человеком — собственно говоря, с человеком, обладающим белыми зубами,— который занимает положение в обществе, неизмеримо более низкое, чем ее супруг. Я считаю своим долгом настоятельно просить моего друга Домби не осуждать моей прелестной и безупречной родственницы, пока ее виновность не будет окончательно доказана, но тем не менее я заверяю моего друга Домби, что семья, чьим представителем я являюсь и

которая ныне почти угасла (это наводит на чертовски печальные мысли), не будет ставить на его пути никаких препятствий и с удовольствием даст свое согласие на любое достойное разрешение инцидента, какое он наметит. Верю, что мой друг Домби воздаст должное тем чувствам, которые меня воодушевляют при столь печальных обстоятельствах, и... собственно говоря... мне кажется, незачем беспокоить моего друга Домби дальнейшими замечаниями.

Мистер Домби, не поднимая глаз, кланяется и молчит.

— Итак, Домби,— говорит майор,— после того, как наш друг Финикс с чрезвычайным красноречием, равного коему старый Дж. Б. никогда не встречал, да, клянусь богом, сэр, никогда! — майор сделался совершенно сипим и стиснул середину своей трости,— после того, как наш друг Финикс изложил все обстоятельства, касающиеся этой леди, я воспользуюсь нашей дружбой, Домби, чтобы осветить вопрос с другой стороны. Сэр,— говорит майор с лошадиным покашливанием,— свет в таких случаях предъявляет свои требования, которые должны быть удовлетворены.

— Мне это известно,— замечает мистер Домби.

— Конечно, вам это известно, Домби,— говорит майор.— Черт возьми, сэр, я знаю, что вам это известно! Такой человек, как вы, не может этого не знать!

— Полагаю, что так,— отвечает мистер Домби.

— Домби,— говорит майор,— остальное вы угадаете сами. Я высказался откровенно — быть может, преждевременно,— потому что Бегстоки всегда высказывались откровенно. Мало им было от этого пользы, сэр, но это уж в крови у Бегстоков. С этим человеком нужно стреляться. У вас под рукой Дж. Б. Он настаивает на правах дружбы. Да благословит вас бог!

— Майор,— отвечает мистер Домби,— я вам признателен. В надлежащее время я отдам себя в ваше распоряжение. Так как это время еще не настало, я воздерживался пока от такого разговора с вами.

— Где этот человек, Домби? — спрашивает майор, после того как некоторое время молча пыхтит, взирая на него.

— Не знаю.

— Есть какие-нибудь сведения о нем? — осведомился майор.

— Да.

— Домби, я рад это слышать,— говорит майор.— Поздравляю вас.

— Вы простите, майор,— отвечает мистер Домби,— что в настоящее время я не буду касаться деталей. Сведения странные и получены странным путем. Они могут ничего не стоить, но могут быть и верны. Сейчас я ничего не могу сказать. На этом позвольте закончить.

Хотя это и сухой ответ, если принять во внимание энтузиазм посиневшего майора, однако майор любезно довольствуется им и с восторгом думает о том, что свет может надеяться на должное воздаяние. Затем кузен Финикс выслушивает изъявления благодарности от супруга своей прелестной и безупречной родственницы, после чего кузен Финикс и майор Бегсток уходят, а этот супруг вновь остается пред лицом светского общества и может на досуге размышлять о том, что эти двое являются выразителями мнения света касательно его личных дел, и о справедливых ожиданиях общества.

Но кто же это сидит в комнате экономки, воздев руки к небу, проливая слезы и беседуя вполголоса с миссис Пипчин? Это какая-то леди в очень тесной черной шляпке, бросающей тень на лицо, и, по-видимому, ей не принадлежащей. Это мисс Токс, которая взяла шляпку у своей служанки и пришла тайком с площади Принцессы, чтобы возобновить знакомство с миссис Пипчин и получить сведения о состоянии духа мистера Домби.

— Как он переносит это, милая моя? — спрашивает мисс Токс.

— Да что там,— по своему обыкновению резко отвечает миссис Пипчин,— он такой же, как всегда.

— По внешнему виду,— высказывает предположение мисс Токс.— А каково у него на душе!

Жесткие серые глаза миссис Пипчин выражают сомнение, когда она отвечает коротко и отрывисто:

— Да! Быть может, и так! Полагаю, что так!

— По правде сказать, Лукреция,— говорит миссис Пипчин (она все еще называет мисс Токс Лукрецией, так как первые свои эксперименты по укрощению детей про-

изводила на этой леди, когда та была несчастным маленьким заморышем),— по правде сказать, Лукреция, я нахожу, что не худо было от нее избавиться. Мне здесь такие бесстыдные особы не нужны!

— Вот именно бесстыдные! Верно, что бесстыдные, миссис Пипчин! — отвечает мисс Токс.— Покинуть его! Такого благородного человека!

Тут волнение одерживает верх над мисс Токс.

— Что касается благородства, то об этом я ничего не знаю,— возражает миссис Пипчин, с раздражением потирая нос.— Но вот что мне известно: когда людям ниспослано испытание, они должны стойко переносить его. Все вздор! В свое время мне самой пришлось вынести немало! Сколько шума из-за пустяков! Она убежала — туда ей и дорога. Полагаю, что здесь никто не ждет ее обратно.

Намек на Перуанские копи заставляет мисс Токс встать и удалиться; миссис Пипчин звонит в колокольчик, чтобы Таулинсон проводил ее. Мистер Таулинсон, давно не видевший мисс Токс, улыбается, выражает уверенность в добром ее здоровье и присовокупляет, что сначала не узнал ее в этой шляпке.

— Благодарю вас, Таулинсон, я чувствую себя недурно,— говорит мисс Токс.— Я попрошу вас об одном одолжении: если увидите меня здесь еще раз, никому об этом не говорите. Я навещаю только миссис Пипчин.

— Очень хорошо, мисс,— говорит Таулинсон.

— Происходят ужасные события, Таулинсон,— говорит мисс Токс.

— Да, в высшей степени, мисс,— соглашается Таулинсон.

— Надеюсь, Таулинсон,— говорит мисс Токс, которая, занявшись воспитанием семейства Тудль, привыкла рассуждать поучительным тоном и извлекать мораль из всякого рода происшествий,— надеюсь, этот случай послужит вам предостережением, Таулинсон.

— Благодарю вас, мисс,— говорит Таулинсон.

По-видимому, он погружается в размышления о том, каким образом этот случай может послужить предостережением для него, как вдруг миссис Пипчин выводит его из раздумья возгласом: «Что вы там делаете? Почему не провожаете эту леди?» И он идет к двери впереди мисс

Токс. Проходя мимо комнаты мистера Домби, она съеживается, стараясь укрыться в тени своей черной шляпки, и идет на цыпочках. И нет на свете, столь жестоко его преследующем, ни одного существа, которое испытывало бы такую грусть и тревогу о мистере Домби, с какими выходит на улицу мисс Токс в своей черной шляпке, стараясь донести их до дому сокрытыми от фонарей, только что зажженных.

Но мисс Токс не имеет отношения к тому светскому обществу, к которому принадлежит мистер Домби. Каждый день она приходит в сумерках, в дождливую погоду добавляя к своей шляпке патены и зонт, и мирится с усмешками Таулинсона и фырканьем и выговорами миссис Пипчин только ради того, чтобы узнать, как он поживает и как переносит обрушившееся на него несчастье; но она не имеет никакого отношения к тому светскому обществу, к которому принадлежит мистер Домби. Неизменно требовательное и надоедливое общество обходится без нее, а она, ничем не примечательная и отнюдь не яркая звезда *, движется по своей маленькой орбите в уголке иной системы, и прекрасно это знает, и приходит, и плачет, и уходит, и чувствует удовлетворение. Право же, мисс Токс легче удовлетворить, чем светское общество, которое так беспокоит мистера Домби!

В конторе клерки обсуждают великую катастрофу со всех сторон и со всех точек зрения, но главным образом недоумевают, кто же будет назначен на место мистера Каркера. В общем, они склоняются к тому, что жалованье будет урезано и возникнут неприятности в связи с нововведениями. Те, у кого нет ни малейшей надежды на получение этого места, утверждают, что вовсе не хотели бы его занять и отнюдь не завидуют тому, для кого оно окажется предназначенным. Такого волнения в конторе не бывало с тех пор, как умер маленький сын мистера Домби; но подобного рода возбуждение развивает общительность, чтобы не сказать жизнерадостность, и способствует укреплению дружеских связей. Случай благоприятный, и вот наступает примирение между признанным остряком из бухгалтерии и его тщеславным соперником, которые в течение многих месяцев питали друг к другу смертельную вражду; в ознаменование их благополучно

восстановленных приятельских отношений устраивается маленький обед в соседней таверне. Остряк председательствует, соперник исполняет обязанности вице-президента. После того, как убрана скатерть, начинаются речи, и первым выступает председатель, который говорит: «Джентльмены, я не могу скрыть от самого себя, что сейчас не время для разногласий». Далее он сообщает, что недавние события, о которых нет надобности распространяться, но которые были до известной степени отмечены воскресными газетами и одной ежедневной газетой, каковую нет надобности называть (тут все присутствующие назвали ее звучным шепотом), заставили его призадуматься, и он чувствует, что в такой момент личная распря между ним и Робинсоном равносильна отрицанию того сочувствия общему делу, коим, по его мнению, всегда отличались джентльмены фирмы Домби. Робинсон отвечает на это, как подобает мужчине и коллеге, а некий джентльмен, прослуживший в конторе три года и постоянно получающий предупреждение об увольнении за арифметические ошибки, выступает в совершенно новом свете, внезапно разразившись волнующей речью, в которой высказывает пожелание, чтобы их уважаемый начальник никогда не испытал вновь такого ужасного несчастья, какое обрушилось на его дом! — и изрекает великое множество фраз, начинающихся словами: «Пусть никогда» — и вызывающих гром рукоплесканий. Короче говоря, они проводят восхитительный вечер, если не упоминать о размолвке между двумя младшими служащими, которые, поспорив из-за предполагаемой цифры годового дохода мистера Каркера, стали угрожать друг другу графинами, пришли в неистовство и были выведены вон. На следующий день в конторе большой спрос на содовую воду, и большинство сотрапезников полагает, что счет за обед — надувательский.

Что касается Перча, рассыльного, то ему грозит опасность окончательно погибнуть. Снова он постоянно торчит в трактирах, где его угощают, а он отчаянно врет. Оказывается, он повсюду встречался со всеми, кто имел отношение к недавним событиям, и спрашивал их: «Сэр (или «Сударыня», в зависимости от обстоятельств), почему вы так бледны?» — после чего вопрошаемый содрогался с го-

ловы до пят, восклицая: «О Перч!» — и убегал. Раскаяние в этой гнусной лжи или последствия злоупотреблений спиртными напитками приводят мистера Перча в глубокое уныние в тот вечерний час, когда он обычно ищет утешения в обществе миссис Перч в Болс-Понд, а миссис Перч жестоко страдает, ибо она опасается, что теперь его вера в женщину поколеблена, и, возвращаясь вечером домой, он едва ли не готов к тому, чтобы услышать о ее бегстве с каким-нибудь виконтом.

Тем временем слуги мистера Домби превращаются в бездельников и становятся малопригодными для службы. Каждый вечер они получают горячий ужин и «обсуждают происшествие» за дымящимися стаканами. После половины одиннадцатого Таулинсон всегда бывает под хмельком и частенько просит ответить на вопрос: ну не говорил ли он, что нечего ждать добра, если живешь в угловом доме? Они шепотом толкуют о мисс Флоренс и недоумевают, где может она быть; однако все согласны с тем, что если этого не знает мистер Домби, то знает миссис Домби. Таким образом, речь заходит об этой последней, и кухарка говорит о ней, что все-таки она держала себя с достоинством, не правда ли? Но она слишком важничала.

Все соглашаются с тем, что она слишком важничала, а предмет давней страсти мистера Таулинсона, горничная (которая очень добродетельна), умоляет, чтобы при ней не говорили больше о людях, которые задирают нос, как будто земля для них недостаточно хороша.

Все, что говорится и делается по этому поводу, делается дружно всеми, за исключением мистера Домби. Мистер Домби пребывает один на один со светским обществом.

ГЛАВА LII

Секретные сведения

Добрая миссис Браун и ее дочь Элис молча сидели вдвоем в своей комнате. Было это поздней весной, наступал вечер. Всего несколько дней прошло с той поры, как мистер Домби сказал майору Бегстоку о странных све-

дениях, странным путем полученных, которые могли оказаться ложными и могли оказаться верными; и светское общество еще не получило удовлетворения.

Мать и дочь сидели не произнося ни слова, почти не шевелясь. У старухи лицо было хитрое, обеспокоенное и настороженное, у дочери — тоже настороженное, но в меньшей степени, иногда его омрачала тень разочарования и недоверия. Старуха, не обращая внимания на эти изменения в выражении ее лица, хотя глаза ее часто обращались к дочери, шамкала, жевала губами и жадно прислушивалась.

Их комната, бедная и жалкая, была все-таки не такой убогой, как в те времена, когда миссис Браун жила здесь одна. Были сделаны попытки навести чистоту и порядок, хотя как-то небрежно, по-цыгански, так что их с первого взгляда можно было приписать молодой женщине. Вечерние тени сгущались и темнели, пока эти женщины хранили молчание, и, наконец, мрак почти окутал почерневшие стены.

Тогда Элис нарушила затянувшееся молчание и сказала:

— Можете не ждать его, матушка. Он не придет сюда.

— Как бы не так! — нетерпеливо возразила старуха.— Он *придет* сюда.

— Увидим,— сказала Элис.

— Увидим *его,*— возразила мать.

— В день Страшного суда,— сказала дочь.

— Знаю, ты думаешь, что я впала в детство,— закаркала старуха.— Вот какое почтение и уважение оказывает мне родная дочь, но я умнее, чем ты считаешь. Он придет! В тот день, когда я дотронулась на улице до его пальто, он оглянулся и посмотрел на меня, словно на какую-то жабу. Но, бог ты мой, если бы ты видела его лицо, когда я назвала их имена и спросила, угодно ли ему знать, где они находятся!

— Оно было очень сердитое? — спросила дочь, сразу заинтересовавшись.

— Сердитое! Лучше бы ты сказала — взбешенное. Это слово больше подойдет. Сердитое! Ха-ха-ха! Назвать такое лицо сердитым! — воскликнула старуха, заковыляв к буфету и зажигая свечу, которую она поставила на стол,

после чего ее шамкающий рот был освещен во всем своем безобразии.— Этак я и твое лицо могу назвать просто сердитым, когда ты думаешь или говоришь о них.

В самом деле, не такое было лицо у ее дочери, когда она сидела как притаившаяся тигрица, с горящими глазами.

— Тише,— с торжеством сказала старуха.— Я слышу шаги. Это не походка здешних жильцов или частых посетителей. Мы так не ходим. Мы бы гордились такими соседями. Слышишь ты его?

— Мне кажется, вы правы, матушка,— тихо ответила Элис.— Молчите! Откройте дверь.

Пока она набрасывала шаль и закутывалась в нее, старуха исполнила ее приказание и, выглянув за дверь, поманила и впустила мистера Домби, который остановился, едва успев переступить через порог, и недоверчиво осмотрелся вокруг.

— Жалкое помещение для такого важного джентльмена, как ваша милость,— сказала старуха, приседая,— я вас предупреждала. Но опасности здесь нет никакой.

— Кто это? — спросил мистер Домби, взглянув на ее сожительницу.

— Это моя красавица дочка,— сказала старуха.— Пусть ваша милость не обращает на нее внимания. Ей все известно.

Тень легла на его лицо, и это было не менее выразительно, чем если бы он громко простонал: «Кому это не известно!» — но он посмотрел на женщину пристально, и та, отнюдь не намереваясь его приветствовать, посмотрела на него. Лицо его омрачилось еще больше, когда он отвел от нее взгляд, но и после этого он украдкой поглядывал на нее, словно его притягивали ее дерзкие глаза и пробуждали какое-то воспоминание.

— Эй, вы,— обратился мистер Домби к старой ведьме, которая хихикала и подмигивала у него за спиной, а когда он повернулся к ней, украдкой указала на свою дочь, потерла руки и снова указала на нее,— любезная! Полагаю, что, придя сюда, я проявляю малодушие и забываю о своем положении, но вам известно, зачем я пришел и что вы мне предложили в тот день, когда остановили меня на улице. Что именно можете вы мне сообщить каса-

тельно интересующего меня вопроса и как это случилось, что мне добровольно вызвались доставить сведения в такой лачуге,— он презрительно окинул взглядом комнату,— когда я тщетно старался их получить, пользуясь своей властью и средствами? Не думаю,— продолжал он, помолчав и сурово всматриваясь в нее,— не думаю, чтобы у вас хватило дерзости подшутить надо мной или попытаться меня обмануть. Но если есть у вас такое намерение, лучше вам отказаться от него в самом начале. Со мной не шутят, и расплата будет жестокая.

— О гордый, строгий джентльмен,— захихикала старуха, покачивая головой и потирая сморщенные руки.— Строгий, строгий, строгий! Но ваша милость увидит своими глазами и услышит своими ушами, не нашими... а если вашу милость наведут на след, вы не откажетесь заплатить за это, не правда ли, почтенный джентльмен?

— Деньги творят чудеса, мне это известно,— ответил мистер Домби, явно успокоенный таким вопросом.— Благодаря им случайные и малообещающие средства, как в данном случае, могут приобрести ценность. Хорошо! За любые полученные мною достоверные сведения я заплачу. Но сначала я должен получить эти сведения и определить их ценность.

— Вы не знаете ничего более могущественного, чем деньги? — спросила молодая женщина, не вставая и не меняя позы.

— Полагаю, что здесь нет ничего более могущественного,— сказал мистер Домби.

— Вижу, что вы должны знать о чем-то более могущественном где-то в другом месте,— возразила она.— Знаете ли вы, что такое ярость женщины?

— Вы дерзки на язык,— сказал мистер Домби.

— Не всегда,— ответила та с полным спокойствием.— Сейчас я говорю с вами для того, чтобы вы могли лучше понять нас и отнестись к нам с большим доверием. Ярость женщины здесь мало чем отличается от ярости женщины в вашем великолепном доме. *Я* — я разъярена. Уже много лет. У меня такие же веские основания быть в ярости, как и у вас, и предмет нашей ненависти — один и тот же.

Он невольно вздрогнул и с изумлением посмотрел на нее.

— Да,— сказала она, криво усмехнувшись.— Как ни велико, по-видимому, расстояние между нами, но это правда. Каким образом это произошло — неважно; это касается меня, и я не намерена об этом говорить. Я бы хотела свести вас с ним, потому что я его ненавижу. Мать у меня скупая и бедная; она продаст любые сведения, какие ей удастся получить, продаст сведения о чем угодно и о ком угодно — за деньги. Пожалуй, вам следует что-нибудь ей заплатить, если она поможет вам узнать то, что вы желаете знать. Но я преследую другую цель. Я вам сказала, какая у меня цель, и этого для меня достаточно, и я не отступлюсь от нее, хотя бы вы спорили и торговались с моей матерью из-за шести пенсов. Я сказала все. Больше ни звука не сорвется с моего языка, даже если вы будете ждать здесь до рассвета.

Старуха, проявлявшая симптомы крайнего беспокойства во время этой речи, которая могла снизить сумму ожидаемого ею вознаграждения, тихонько дернула мистера Домби за рукав и шепнула, чтобы он не обращал внимания. С изумленным видом он посмотрел на них обеих по очереди и сказал более глухо, чем было ему свойственно:

— Продолжайте. Что же вам известно?

— О, зачем так спешить, ваша милость? Мы должны кое-кого подождать,— отозвалась старуха.— Эти сведения мы должны получить от другого лица... выведать... вырвать их у него.

— Что вы хотите сказать? — спросил мистер Домби.

— Терпение,— прокаркала она, кладя ему на плечо руку, похожую на когтистую лапу.— Терпение! Мы до этого доберемся. Уверена, что доберемся. Если он вздумает утаивать,— сказала Добрая миссис Браун, скрючивая все десять пальцев,— я это из него вырву!

Мистер Домби следил за ней, когда она заковыляла к двери и снова выглянула на улицу; затем он перевел взгляд на ее дочь, но та оставалась бесстрастной, молчаливой и не обращала на него никакого внимания.

— Вы мне хотите сказать, что еще кто-то должен сюда прийти? — спросил он, когда сгорбленная миссис Браун вернулась, покачивая головой и бормоча себе что-то под нос.

— Да,— сказала старуха, засматривая ему в лицо и кивая головой.

— У него вы намерены выпытать нужные мне сведения?

— Совершенно верно,— сказала старуха, снова кивая головой.

— Я его знаю?

— Какое это имеет значение? — спросила старуха, заливаясь пронзительным смехом.— Ваша милость его знает. Но он не должен вас видеть. Он испугается и не станет говорить. Вы будете стоять вот за этой дверью и сможете сами судить о нем. Мы не требуем, чтобы вы нам верили на слово. Как! Ваша милость относится подозрительно к комнате, в которую ведет эта дверь? О, как недоверчивы эти богатые джентльмены! Ну, что ж, загляните туда.

Ее зоркий глаз подметил, как на лице его невольно отразилось это чувство, довольно естественное при данных обстоятельствах. Желая рассеять его, она со свечой подошла к двери, о которой говорила. Мистер Домби заглянул, убедился, что там пустая каморка, и жестом приказал ей поставить свечу на прежнее место.

— Этот человек придет еще не скоро? — спросил он.

— Скоро! — ответила старуха.— Не угодно ли вашей милости присесть на несколько минут?

Он ничего не ответил и принялся шагать из угла в угол по комнате, как будто не знал, остаться ему или уйти, и словно упрекал себя за то, что явился сюда. Но вскоре походка его стала более медлительной и тяжелой, а лицо более суровым и задумчивым, ибо та цель, с какою он пришел, снова припомнилась ему и завладела всеми его мыслями.

Пока он шагал взад и вперед, не поднимая глаз, миссис Браун, опустившись на стул, с которого вскочила, чтобы пойти ему навстречу, снова начала прислушиваться. Размеренная его поступь или преклонный ее возраст до такой степени притупили ей слух, что шаги, раздавшиеся на улице, коснулись ушей ее дочери на несколько секунд раньше, и прежде чем старуха встрепенулась, дочь быстро подняла голову, чтобы предупредить мать. Тогда она сорвалась с места и, прошептав: «Вот он!» — заставила

своего гостя занять наблюдательный пост и с такой стремительностью поставила на стол бутылку и стакан, что, когда Роб Точильщик показался в дверях, она уже могла тотчас повиснуть у него на шее.

— Вот он, мой милый мальчик! — воскликнула миссис Браун.— Наконец-то! Ох-хо-хо! Ты мне все равно что родной сын, Роби!

— Ох, миссис Браун,— запротестовал Точильщик.— Оставьте. Неужели, если любишь парня, нужно тискать его и душить за горло? Будьте добры, поберегите эту птичью клетку, которая у меня в руках.

— О клетке он думает больше, чем обо мне! — вскричала старуха, взывая к потолку.— А мне он дороже, чем родной матери!

— Ну, право же, я вам очень признателен, миссис Браун, — сказал злополучный юнец, в высшей степени удрученный,— но вы такая ревнивая. Я, конечно, и сам вас очень люблю и все прочее, но ведь я же не душу вас, ведь правда, миссис Браун?

Когда он произносил эти слова, вид у него был такой, как будто он весьма не прочь это сделать, буде представится удобный случай.

— И вы еще толкуете о птичьих клетках,— хныкал Точильщик,— словно это какое-то преступление. Посмотрите-ка сюда. Известно ли вам, кому она принадлежит?

— Твоему хозяину, миленький? — ухмыляясь, осведомилась старуха.

— Да,— ответил Точильщик, водружая на стол большую клетку, обернутую в какой-то капот, и стараясь развязать узел зубами и руками.— Это наш попугай, вот что это такое.

— Попугай мистера Каркера, Роб?

— Неужели вы не можете держать язык за зубами, миссис Браун! — отозвался раздраженный Точильщик.— Зачем вы называете имена? Будь я проклят, если она не доведет парня до безумия! — воскликнул Роб, в отчаянии дергая себя обеими руками за волосы.

— Это еще что такое! Ты меня упрекаешь, неблагодарный мальчишка? — вскричала миссис Браун, тотчас приходя в бешенство.

— Да нет же, миссис Браун, боже сохрани,— со слезами на глазах ответствовал Точильщик.— Ну, видывал ли кто когда-нибудь такую... Да, разве я не люблю вас как собственную душу, миссис Браун?

— Роб, миленький, в самом деле? Это правда, моя деточка?

С этими словами миссис Браун снова заключила его в нежные объятия и не выпускала до тех пор, пока он не начал энергически, но безуспешно брыкаться и пока все волосы у него на голове не стали дыбом.

— Ох,— простонал Точильщик.— Вот беда, от такой любви и задохнуться недолго! Хотел бы я, чтоб она... Как идут дела, миссис Браун?

— Ах, вот уже неделя, как он сюда не заглядывал! — воскликнула старуха, глядя на него с укоризной.

— Господи боже мой, миссис Браун,— возразил Точильщик,— я вам сказал неделю тому назад, что приду сюда сегодня вечером, не так ли? Я и пришел. Ну, что вы привязались? Хотел бы я, чтобы вы были чуточку более рассудительны, миссис Браун. Я даже охрип, оправдываясь, и у меня все лицо заблестело от ваших объятий.

Он принялся усердно тереть себе лицо рукавом, словно желая уничтожить упомянутый блеск.

— Выпей капельку, Роби, и успокойся,— сказала старуха, наполнив из бутылки стакан и протягивая ему.

— Благодарю вас, миссис Браун,— ответил Точильщик.— За ваше здоровье. И желаю вам долго... и так далее.— Судя по выражению его лица, под этим подразумевались отнюдь не наилучшие пожелания. — И за ее здоровье,— добавил Точильщик, взглянув на Элис, которая пристально смотрела, как казалось ему, на стену за его спиной, а в действительности — на мистера Домби, стоявшего в дверях.

После этих двух тостов он осушил стакан и поставил его на стол.

— Так вот что я вам говорю, миссис Браун,— продолжал он: — постарайтесь быть теперь чуточку более рассудительной. Вы понимаете толк в птицах и в их привычках; я это знаю на свою беду.

— На свою беду! — повторила миссис Браун.

— К своему удовольствию, хотел я сказать,— поправился Точильщик.— Зачем вы перебиваете парня, миссис Браун? Из-за вас у меня все вылетело из головы.

— Ты говорил о том, что я понимаю толк в птицах, Роби,— подсказала старуха.

— Ах, да! — подхватил Точильщик.— Так вот, я должен ухаживать за этим попугаем... а так как кое-что продано и хозяйство в расстройстве... а я бы не хотел обращать на себя внимание, то вот я и прошу вас присмотреть за ним с недельку, кормить его и беречь. Согласны? Раз я все равно должен приходить сюда,— с унылой физиономией произнес задумчиво Роб,— то лучше уж приходить с какой-то целью.

— Приходить с какой-то целью! — взвизгнула старуха.

— Я хотел сказать — не только с целью навестить вас, миссис Браун,— поправился малодушный Роб.— Право же, дело не в том, что мне нужна еще какая-то цель, миссис Браун. От всей души прошу вас, не начинайте опять сначала.

— Он меня не любит! Он меня не любит так, как я его люблю! — вскричала миссис Браун, воздев костлявые руки.— Но я позабочусь об его птице.

— И знаете ли, миссис Браун, хорошенько позаботьтесь о ней,— сказал Роб, покачивая головой.— Если вы хоть разок погладите ее против перьев, имейте в виду, что об этом станет известно.

— А! Так вот какой он зоркий, Роб! — быстро подхватила миссис Браун.

— Зоркий, миссис Браун,— повторил Роб.— Но нельзя об этом говорить.

Внезапно запнувшись и пугливо осмотревшись вокруг, Роб снова наполнил свой стакан, медленно осушил его и, покачав головой, стал водить пальцами по прутьям клетки, чтобы отвлечься от только что затронутой опасной темы.

Старуха лукаво посмотрела на него, придвинула свой стул поближе и, поглядывая на попугая, который по ее зову спустился из-под своего позолоченного купола, спросила:

— Ты теперь без места, Роби?

— *Вас* это не касается, миссис Браун,— коротко ответил Точильщик.

— Быть может, ты получаешь деньги на пропитание?— спросила миссис Браун.

— Красавец попка! — сказал Точильщик.

Старуха метнула на него взгляд, который мог бы предостеречь Роба, что уши его находятся в опасности, но теперь он в свою очередь смотрел на попугая, и хотя воображению его, быть может, и рисовалось ее сердитое, нахмуренное лицо, но он его не видел.

— Странно, что хозяин не взял тебя с собою, Роб,— сказала старуха ласковым тоном, но лицо ее стало еще более злобным.

Роб, созерцавший попугая и перебиравший пальцами прутья клетки, был так поглощен этим занятием, что ничего не ответил.

Когти старухи находились на волосок от всклоченных волос Роба, наклонившегося над столом, но она удержала свою руку; голос ее прерывался от усилия говорить вкрадчиво:

— Роби, дитя мое!

— Что, миссис Браун? — отозвался Точильщик.

— Я говорю: странно, что хозяин не взял тебя, миленький, с собою.

— *Вас* это не касается, миссис Браун,— ответил Точильщик.

Миссис Браун мгновенно вцепилась правой рукой ему в волосы, а левой сжала ему горло и с такою яростью навалилась на предмет своей нежной любви, что лицо у него тотчас начало синеть.

— Миссис Браун! — завопил Точильщик.— Отпустите меня, слышите? Что вы делаете? Эй, вы, та, что помоложе, на помощь! Миссис Бра... Бра...

Но «та, что помоложе», отнюдь не растроганная его призывом и бессвязными возгласами, оставалась совершенно безучастной до тех пор, пока Роб, загнанный своим врагом в угол, не вырвался; теперь он стоял, тяжело дыша и обороняясь локтями, тогда как старуха, тоже тяжело дыша и топая ногами от злости и нетерпения, собиралась с силами, чтобы снова налететь на него. В этот критический момент Элис подала голос, но не в пользу Точильщика.

— Прекрасно, матушка! Разорвите его в клочья.

— Что же это такое! — захныкал Роб.— И вы против меня? Что я сделал? Хотелось бы мне знать, за что хотят разорвать меня в клочья? Зачем вы душите парня, который никому из вас не причинил никакого зла? А еще называются — «женщины»,— добавил испуганный и измученный Точильщик, вытирая глаза обшлагом куртки.— Удивляюсь я вам! Где же ваша женская нежность?

— Неблагодарный щенок,— задыхаясь, выговорила миссис Браун.— Бесстыдный, дерзкий щенок!

— Что же это такое я сделал и чем вас обидел, миссис Браун? — плаксиво отозвался Роб.— Минуту тому назад вы были очень ко мне расположены.

— Он мне затыкает рот дерзкими словами,— сказала старуха.— Мне! Только потому, что мне вздумалось полюбопытствовать о том, какие слухи ходят об его хозяине и этой леди, он осмелился говорить мне дерзости! Но больше я не буду с тобой разговаривать, мой мальчик. Ступай!

— Право же, миссис Браун,— возразил несчастный Точильщик,— я и не заикался о том, что хочу уйти. Будьте добры, миссис Браун, не говорите этого.

— Я вообще ни о чем не буду говорить,— сказала миссис Браун, пошевелив своими скрюченными пальцами, после чего Роб съежился в углу и стал вдвое меньше.— Я больше ни одного слова ему не скажу. Он — неблагодарный пес! Я от него отрекаюсь. Пусть он убирается. А я напущу на него тех, кто не станет держать язык за зубами, я напущу тех, от кого он не отвяжется, тех, что вопьются в него, как пиявки, и будут красться за ним, как лисицы. О, он их знает! Он знает свои старые забавы и привычки. Если он забыл, они ему скоро напомнят. Пусть он убирается и пусть посмотрит, каково ему будет служить своему хозяину и скрывать его секреты, когда эти парни начнут ходить за ним по пятам. Ха-ха-ха! Он увидит, что они совсем не похожи на нас с тобой, Элис, хотя с нами он скрытничает. Пусть он убирается, пусть убирается!

К невыразимому ужасу Точильщика сгорбленная старуха принялась шагать по кругу диаметром в четыре фута, твердя эти слова, потрясая над головой кулаком и жуя губами.

— Миссис Браун,— взмолился Роб, выходя из своего уголка,— я уверен, что, поразмыслив и успокоившись, вы не захотите губить парня, не правда ли?

— Молчи,— сказала миссис Браун, с гневом продолжая описывать круг.— Убирайся!

— Миссис Браун,— умолял несчастный Точильщик,— ведь я же не хотел... ох, нужно же было, чтобы с парнем стряслась такая беда... Я только остерегался болтать, как и всегда остерегаюсь, потому что он все может выведать. Но мне бы следовало знать, что дальше этой комнаты ничего не пойдет. Я, право же, очень не прочь посплетничать немного, миссис Браун,— с жалким видом добавил он.— Пожалуйста, перестаньте так говорить. Ох, да неужели же вы не замолвите словечка за несчастного парня? — вскричал Точильщик, в отчаянии взывая к дочери.

— Матушка, вы слышите? — сурово промолвила та, нетерпеливо тряхнув головой.— Попробуйте еще раз, а если вы опять не поладите, можете, если хотите, расправиться с ним раз и навсегда.

Миссис Браун, по-видимому растроганная этим весьма нежным увещанием, начала подвывать и, постепенно смягчившись, обвила руками шею раскаявшегося Точильщика, который с невыразимо печальной физиономией ответил на объятия и с видом жертвы, каковою он и был, занял прежнее место рядом со своей почтенной приятельницей. С притворно ласковой миной, сквозь которую весьма выразительно проглядывали совершенно противоположные чувства, он допустил, чтобы старуха продела его руку под свою и удержала ее.

— Миленький мой, ну, как поживает хозяин? — спросила миссис Браун, когда, дружески усевшись рядом, они выпили за здоровье друг друга.

— Тише! Будьте добры, миссис Браун, говорите не так громко,— попросил Роб.— Думаю, что он здоров, благодарю вас.

— Так ты не остался без службы, Роби? — вкрадчиво осведомилась миссис Браун.

— Видите ли, я, собственно, и служу и не служу,— заикаясь, ответил Роб.— Я... я все еще получаю жалованье.

— А работы у тебя никакой нет, Роб?

— Сейчас, в сущности, никакого особенного дела нет, миссис Браун, нужно только... смотреть в оба,— сказал Точильщик, с испугом выпучив глаза.

— Хозяин за границей, Роб?

— Ох, боже мой, неужели вы не можете потолковать с парнем о чем-нибудь другом? — в порыве отчаяния вскричал Точильщик.

Так как вспыльчивая миссис Браун тотчас же приподнялась со стула, несчастный Точильщик удержал ее, пробормотав:

— Да-да, миссис Браун, кажется, он за границей. На что это она уставилась? — добавил он, посмотрев на дочь, устремившую взгляд на лицо, которое снова показалось из-за двери за его спиной.

— Не обращай на нее внимания, мой мальчик,— сказала старуха, крепче цепляясь за него, чтобы помешать ему оглянуться.— Такая уж у нее привычка, такая привычка. Скажи-ка мне, Роб, ты видел эту леди, дорогой мой?

— Ох, миссис Браун, какую леди? — жалобным и умоляющим голосом вскричал Точильщик.

— Какую леди? — повторила она.— Ту самую леди: миссис Домби.

— Да, кажется, один раз я ее видел,— ответил Роб.

— В тот вечер, Роби, когда она уехала? — сказала ему на ухо старуха, зорко следя за выражением его лица.— Ага! Я знаю, что это было в тот вечер.

— А если вы знаете, что это было в тот вечер, миссис Браун,— отозвался Роб,— то незачем вам щипцами вырывать у парня эти слова.

— Куда они поехали в тот вечер, Роб? Прямо за границу? Как же они поехали? Где ты ее видел? Она смеялась? Плакала? Расскажи мне все подробно,— кричала старая ведьма, притягивая его еще ближе, потирая руки, но не выпуская его руки и изучая каждую черточку его лица своими слезящимися глазами.— Ну, начинай! Я хочу, чтобы ты мне все рассказал. Роб, мой мальчик, мы с тобой умеем хранить тайну, правда? Так бывало и раньше. Куда они сначала поехали, Роб?

Злосчастный Точильщик вздохнул и безмолвствовал.

— Ты что, онемел? — сердито спросила старуха.

— О, боже мой, нет, миссис Браун! Вы думаете, что парень может быть таким же быстрым, как молния. Я и сам хотел бы стать электрическим током,— пробормотал загнанный в тупик Точильщик.— Кое-кому я бы нанес такой удар, что сразу покончил бы с ними.

— О чем ты говоришь? — ухмыляясь, осведомилась старуха.

— Говорю о своей любви к вам, миссис Браун,— ответил лживый Роб, ища утешения в рюмке.— Вы спрашиваете, куда они сначала поехали? Они оба?

— Да! — нетерпеливо подхватила старуха.— Оба.

— Ну, так они никуда не поехали... то есть я хочу сказать, что вместе они не поехали,— ответил Роб.

Старуха посмотрела на него так, как будто ей очень хотелось снова вцепиться ему в волосы и схватить за горло, но она удержалась при виде его упрямой и многозначительной мины.

— Вот как это было хитро сделано,— неохотно продолжал Точильщик,— потому-то никто не видел их отъезда и не мог бы сказать, куда они поехали. Они поехали в разные стороны, вот что я вам скажу, миссис Браун.

— Так, так! Чтобы встретиться в назначенном месте,— захихикала старуха, минутку помолчав и пристально посмотрев ему в лицо.

— Ну, если бы они не сговорились где-то встретиться, то могли бы, мне кажется, и не уезжать из дому, не правда ли, миссис Браун? — нехотя отозвался Роб.

— Ну, а дальше, Роб? Ну? — воскликнула старуха, еще крепче прижимая к себе его руку, продетую под ее, словно опасалась, как бы он не ускользнул.

— Как? Да неужели мы еще недостаточно об этом потолковали, миссис Браун? — возразил Точильщик, который от обиды, от вина и от перенесенных им мучений стал таким слезливым, что чуть ли не при каждом вопросе начинал тереть обшлагом то один, то другой глаз и всхлипывать в знак протеста.— Вы спрашивали, смеялась ли она в тот вечер? Не так ли, миссис Браун?

— Или плакала? — добавила старуха, кивая в знак согласия.

— И не смеялась и не плакала,— сказал Точильщик.— Такой же спокойной она была и тогда, когда мы

с ней... Ох, вижу, что вы все из меня вытянете, миссис Браун! Но поклянитесь всем святым, что вы никому не скажете.

Лицемерная миссис Браун охотно согласилась, желая только, чтобы спрятанный посетитель услышал все собственными ушами.

— Она была спокойна, как статуя, когда мы с ней поехали в Саутгемптон,— сказал Точильщик.— И утром она была точь-в-точь такою же, миссис Браун. И на рассвете, когда она уехала одна на пакетботе — я выдавал себя за ее слугу и проводил ее на борт. Ну *теперь-то* уж вы удовлетворены, миссис Браун?

— Нет, Роб. Еще нет,— решительно отрезала миссис Браун.

— Ох, ну и женщина! — вскричал злосчастный Роб, делая слабую попытку посетовать на свою беспомощность.— Что же вам еще угодно знать, миссис Браун?

— Что поделывал хозяин? Куда он поехал? — осведомилась она, по-прежнему не отпуская его и зорко всматриваясь в его лицо.

— Честное слово, не знаю, что̀ он делал, куда поехал, и вообще ничего о нем не знаю! Мне известно только, что на прощанье он меня предостерег, чтобы я держал язык за зубами. И вот что я вам скажу по дружбе, миссис Браун: если вы повторите хоть словечко из того, о чем мы говорим, лучше вам взять да и застрелиться или запереться в этом доме и поджечь его, потому что он на все способен, если захочет вам отомстить. Вы, миссис Браун, не можете знать его так хорошо, как я. Говорю вам — от него не уйти!

— Да ведь я поклялась и не нарушу клятвы,— возразила старуха.

— Надеюсь, что не нарушите,— недоверчиво и даже с оттенком угрозы ответил Роб.— Не нарушите ради себя самой так же, как и ради меня.

Делая это дружеское предостережение, он поглядел на нее и кивком головы подкрепил свои слова. Но, убедившись, что не очень-то приятно видеть так близко от себя желтое лицо, уродливо гримасничавшее, и старческие, хорьковые глаза, смотревшие проницательно и холодно, он в замешательстве потупился и заерзал на стуле, словно

стараясь собраться с духом и упрямо заявить, что ни на какие вопросы он больше отвечать не будет. Старуха, попрежнему не отпускавшая его, воспользовалась удобным моментом и подняла указательный палец правой руки, тайком подавая сигнал спрятанному посетителю и предлагая ему обратить сугубое внимание на то, что за сим последует.

— Роб,— снова начала она заискивающим тоном.

— Господи помилуй, миссис Браун, ну что вам еще нужно? — отозвался пришедший в отчаяние Точильщик.

— Роб! Где условились встретиться эта леди и твой хозяин?

Роб заерзал еще больше, поднял глаза, опустил их, прикусил большой палец, вытер его о жилет и, наконец, сказал, искоса глядя на свою мучительницу:

— Да откуда же *мне* это знать, миссис Браун?

Старуха снова подняла палец, проговорила:

— Полно, мой мальчик! Что толку молчать, когда столько уже сказано! Я хочу это знать,— и стала ждать его ответа.

Роб в смущении безмолвствовал, а затем вдруг воскликнул:

— Да разве я могу выговорить названия иностранных городов, миссис Браун? Какая вы неразумная женщина!

— Но ведь ты слышал это название, Роби,— твердо возразила она,— и знаешь, как оно звучит. Ну!

— Я никогда его не слышал, миссис Браун! — заявил Точильщик.

— Значит, ты видел, как оно пишется,— быстро сказала старуха,— и можешь произнести его по буквам.

Роб от досады не то засмеялся, не то заплакал; дело в том, что, даже претерпевая эту пытку, он невольно пришел в восторг от проницательности миссис Браун и, нехотя пошарив в кармане жилета, вытащил оттуда кусочек мела. Глаза старухи сверкнули, когда она увидела, что он зажал мел между большим и указательным пальцем, и она торопливо очистила местечко на сосновом столе, чтобы он мог написать здесь это слово.

— Вот что я вам заранее скажу, миссис Браун,— начал Роб,— незачем задавать мне еще какие-нибудь

вопросы. Больше я ни на один вопрос не отвечу, потому что не могу ответить. Скоро ли они должны встретиться и кто из них придумал, чтобы ехать порознь,— об этом я знаю не больше, чем вы. Я ровно ничего об этом не знаю. Вы мне поверите, если я расскажу, как я узнал это слово. Рассказать вам, миссис Браун?

— Да, Роб.

— Так вот, стало быть, миссис Браун, дело было... Но больше вы ни о чем не будете меня спрашивать, помните! — произнес Роб, поднимая на нее глаза, которые теперь быстро делались сонными и бессмысленными.

— Ни о чем,— сказала миссис Браун.

— Ну, так вот как было дело. Когда известный вам человек уходил, оставляя со мною леди, он ей сунул в руку бумажку с указанием дороги на случай, если она забудет. Но она этого не боялась, потому что, как только он повернулся к нам спиной, она разорвала бумажку, а когда я откидывал подножку кареты, выпал один клочок — остальное она, должно быть, выбросила из окна, так как я искал потом, но ничего не нашел. На этом клочке было написано только одно слово, и раз уже вы во что бы то ни стало хотите его знать, я вам его напишу. Но помните! Вы дали клятву, миссис Браун!

Миссис Браун сказала, что ей это известно. Роб, не имея больше никаких возражений, начал медленно и старательно писать мелом на столе.

— «Д»,— громко произнесла старуха, когда он дописал эту букву.

— Неужели вы не можете помолчать, миссис Браун? — воскликнул Роб, прикрывая букву рукой и нетерпеливо поворачиваясь к ней.— Я не хочу, чтобы вы читали вслух. Вы будете молчать?

— Тогда пиши покрупнее, Роб,— сказала она, повторяя свой тайный сигнал,— глаза у меня плохие, даже по-печатному не разбираю.

Ворча что-то себе под нос и с неохотой возвращаясь к прерванной работе, Роб снова занялся писанием. Когда он наклонил голову, человек, для осведомления коего он, сам того не ведая, трудился, медленно вышел из-за двери за его спиной и, остановившись на расстоянии одного шага, стал следить за его рукой, ползущей по

столу. В то же время и Элис, сидевшая напротив, зорко всматривалась в вырисовывавшиеся буквы и, по мере того как он писал, беззвучно их произносила. Когда он дописывал букву, глаза ее и мистера Домби встречались, как будто и он и она искали подтверждения тому, что они видели, и так оба сложили по буквам: Д-И-Ж-О-Н.

— Ну, вот! — сказал Точильщик, поспешно послюнявив ладонь, чтобы смыть написанное слово, и, не довольствуясь этим, принялся стирать его обшлагом, уничтожая все следы, пока на столе не осталось ни крошки мела.— Теперь, надеюсь, вы довольны, миссис Браун?

Старуха в знак своего удовлетворения освободила его руку и похлопала его по спине, а Точильщик, впав в уныние от унижения, допроса и вина, положил руки на стол, опустил на них голову и заснул.

Когда он погрузился в крепкий сон и громко захрапел,— тогда только старуха повернулась к двери, за которой скрывался мистер Домби, и поманила его, чтобы он прошел через комнату и выбрался на улицу. Впрочем, она продолжала вертеться вокруг Роба с целью закрыть ему глаза руками или хлопнуть его по затылку, если он поднимет голову, когда мистер Домби будет потихоньку двигаться к выходу. Но, зорко следя за спящим, она не менее зорко следила и за бодрствующим. И когда он коснулся ее руки и когда, вопреки всем его предосторожностям, зазвенело золото, глаза ее загорелись ярким и алчным огнем, как у вȯрона.

Мрачный взгляд дочери проводил его до двери и подметил его бледность и торопливую походку, свидетельствующую о том, что малейшее промедление кажется ему нестерпимым и он думает только о том, чтобы уйти и приступить к делу. Когда он закрыл за собой дверь, она оглянулась и посмотрела на мать. Старуха рысцой подбежала к ней, разжала руку, показывая, чтȯ в ней зажато, и, снова алчно сжав ее в кулак, прошептала:

— Что же он теперь задумал, Эли?

— Злое дело,— ответила дочь.

— Убийство? — спросила старуха.

— Оскорбленная гордость лишила его рассудка, и ни мы, ни сам он — никто не знает, чтȯ способен он совершить.



Глаза ее сверкали ярче, чем у матери, и горели более зловещим огнем, но лицо и даже губы побелели.

Больше они не сказали ни слова и сидели поодаль друг от друга. Мать вела беседу со своими деньгами, дочь — со своими мыслями; у обеих глаза горели в полумраке слабо освещенной комнаты. Роб спал и храпел. Только забытый всеми попугай пребывал в движении. Он цеплялся своим кривым клювом за проволоку клетки, поднимался вверх к куполу и карабкался по нему, как муха, спускался оттуда вниз головою и тряс и кусал и дергал тонкую проволоку, как будто знал, что хозяину его грозит опасность, и во что бы то ни стало хотел вырваться и улететь, чтобы предостеречь его.

ГЛАВА LIII

Новые сведения

Родственники предателя — его отвергнутые брат и сестра — чувствовали тяжесть его преступления едва ли не сильнее, чем тот, кого он столь жестоко оскорбил. Как ни было любопытно и требовательно светское общество, однако оно сослужило службу мистеру Домби, побуждая его к преследованию и мести. Оно разожгло его страсть, задело его гордыню, превратило его жизнь в служение одной-единственной идее и способствовало тому, что утоление гнева стало целью, на которой сосредоточились все его помыслы. Все упорство и непреклонность его натуры, вся его жесткость, сумрачность и суровость, преувеличенное представление о собственном значении, все ревнивые чувства его, возмущавшиеся малейшей недооценкой его особы другими людьми,— все устремлялось в эту сторону, подобно многочисленным ручьям, сливающимся в единый поток, и увлекало его за собой. Самый страстный и необузданный человек оказался бы более мягкосердечным врагом, чем угрюмый мистер Домби, доведенный до такого состояния. Дикого зверя легче было бы остановить и успокоить, чем этого степенного джентльмена, носившего накрахмаленный галстук без единой морщинки.

Упорство его намерения являлось до какой-то степени заменой действия. Пока он еще не знал, где скрывается предатель, это упорство помогало ему отвлечься от собственного несчастья и занять себя другими мыслями. Брат и сестра его коварного фаворита были лишены этого утешения; события их жизни, прошлой и настоящей, делали его преступление особенно тяжким для них.

Быть может, иной раз сестра с грустью думала о том, что, останься она с ним в качестве его спутницы и друга, каким была для него когда-то, пожалуй, он не совершил бы этого преступления. Если и случалось ей об этом думать, она все же никогда не сожалела о своем выборе, нисколько не сомневалась в том, что исполнила свой долг, и отнюдь не преувеличивала своего самопожертвования. Но если такая мысль мелькала у согрешившего и раскаявшегося брата — а это иногда случалось,— она разрывала ему сердце и вызывала острые угрызения совести, почти нестерпимые. Ему и в голову не приходило порадоваться беде своего жестокого брата в отместку за перенесенные обиды. Разоблачение привело лишь к тому, что он стал наново обвинять себя и мысленно сокрушаться о своем ничтожестве и падении, которые разделял с ним другой человек, и это служило ему утешением, вызывая в то же время угрызения совести.

В тот самый день, вечер которого описан в последней главе, когда светское общество чрезвычайно интересовалось побегом жены мистера Домби, за окном комнаты, где брат и сестра сидели за ранним завтраком, неожиданно мелькнула тень человека, направлявшегося к крылечку. Это был Перч, рассыльный.

— Я пришел раненько из Болс-Понд,— сказал мистер Перч, с таинственным видом заглядывая в комнату и останавливаясь на циновке, чтобы хорошенько вытереть башмаки, которые и без того были чистые,— я рано пришел потому, что вчера получил такое распоряжение. Мне было приказано, мистер Каркер, непременно передать вам утром записку, пока вы еще не ушли. Я был бы здесь на полтора часа раньше,— смиренно добавил мистер Перч,— если бы не состояние здоровья миссис Перч... этой ночью я раз пять рисковал потерять миссис Перч.

— Разве ваша жена так тяжело больна? — спросила Хэриет.

— Видите ли, мисс,— сказал мистер Перч, сначала обернувшись, чтобы осторожно притворить дверь,— очень уж она близко к сердцу принимает событие, случившееся в нашей фирме. Нервы у нее, знаете ли, очень чувствительные и очень легко расстраиваются. Да, впрочем, тут и самые крепкие нервы не выдержат. Вы, конечно, и сами очень расстроены.

Хэриет подавила вздох и посмотрела на брата.

— Хоть я человек маленький, но, конечно, и я это почувствовал,— продолжал мистер Перч, покачивая головой,— да так, что сам бы этому не поверил, если бы не суждено мне было испытать все на себе. На меня это происшествие подействовало как выпивка. Каждое утро я себя чувствую так, словно накануне пропустил лишний стаканчик.

Физиономия мистера Перча подтверждала описанные симптомы. Вид у него был лихорадочный и истомленный, наводивший на мысль о выпитых стаканчиках,— у мистера Перча и в самом деле развилась привычка ежедневно попадать каким-то образом в трактиры, где его угощали и расспрашивали.

— Поэтому,— вкрадчиво прошептал мистер Перч, снова покачав головой,— я могу судить о чувствах тех, кого особенно затрагивает это крайне печальное разоблачение.

Мистер Перч подождал, не услышит ли он откровенного ответа, но, не получив его, кашлянул, прикрывая рот рукою. Так как это ни к чему не привело, он кашлянул, прикрывая рот шляпой, а когда и это ни к чему не привело, он положил шляпу на пол и достал из бокового кармана письмо.

— Если память мне не изменяет, ответа не требуется,— с приветливой улыбкой сказал мистер Перч.— Но, быть может, вы будете так любезны и просмотрите это письмо, сэр.

Джон Каркер сломал печать — печать мистера Домби — и, ознакомившись с содержанием записки, очень короткой, сказал:

— Да, ответа не нужно.

— В таком случае, я пожелаю вам доброго утра, мисс,— сказал Перч, шагнув к двери,— и осмелюсь выразить надежду, что вы постараетесь не слишком падать духом из-за этого печального происшествия. Газеты,— добавил мистер Перч, отступая на два шага и таинственным шепотом обращаясь одновременно к брату и к сестре,— охотятся за новостями так, что вы и вообразить не можете. Один человек из воскресной газеты, в синем пальто и белой шляпе, который уже пытался меня подкупить, — незачем и говорить, что безуспешно,— вертелся вчера у нас во дворе до двадцати минут девятого. Я сам видел, как он подсматривал в замочную скважину конторы, но, знаете ли, замóк патентованный, и ровно ничего не увидишь. А другой, в военном, целый день сидит в буфетной «Королевского герба»,— сказал мистер Перч.— На прошлой неделе я случайно обронил там какое-то замечание, а на следующий день — это было воскресенье,— к великому своему изумлению, вижу, что оно уже напечатано.

Мистер Перч полез в карман, словно хотел извлечь эту заметку, но, не встретив поощрения, вытащил теплые перчатки, подобрал шляпу и откланялся. И не настал еще полдень, а мистер Перч уже успел рассказать избранному обществу в «Королевском гербе» и в других местах о том, как мисс Каркер, разрыдавшись, схватила его за обе руки и воскликнула: «О милый, милый Перч, единственное мое утешение — видеть вас!», и как мистер Джон Каркер сказал устрашающим голосом: «Перч, я от него отрекаюсь! Никогда не называйте его моим братом!»

— Милый Джон,— спросила Хэриет, когда они остались вдвоем и с минутку помолчали,— это письмо принесло дурные вести?

— Да. Но ничего неожиданного,— ответил он.— Вчера я видел того, кто написал это письмо.

— Того, кто написал?

— Мистера Домби. Он дважды прошел через контору, когда я был там. До сих пор мне удавалось не попадаться ему на глаза, но я не мог надеяться, что так будет и впредь. Вполне понятно, мое присутствие должно казаться ему неприятным. Полагаю, то же самое чувствовал бы и я.

— Неужели он это сказал?

— Нет. Он ничего не сказал, но я видел, как его глаза на секунду остановились на мне, и приготовился к тому, что̀ должно было случиться,— к тому, что случилось. Я уволен!

По мере сил она старалась скрыть свое смятение и казаться бодрой, но эта новость была печальной по многим соображениям.

— «Незачем объяснять вам,— начал Джон Каркер, вслух читая письмо,— почему ваше имя, произносимое в какой бы то ни было связи с моим, отныне будет звучать странно и почему для меня нестерпимо видеть того, кто это имя носит. Я уведомляю вас о прекращении с сего числа всяких отношений между нами и настаиваю, чтобы вы не делали никаких попыток возобновить связи со мной или с моей фирмой». В письмо вложены деньги. Их больше, чем полагается при увольнении, а вот и моя отставка. Право же, Хэриет, если мы вспомним прошлое, то надо признать, что это снисходительная и деликатная мера.

— Если есть снисходительность и деликатность, Джон, в том, чтобы налагать на тебя кару за проступок другого, то я с тобой согласна,— кротко отозвалась она.

— Члены нашего семейства не первый раз причиняют ему зло,— сказал Джон Каркер.— У него есть основания содрогаться при звуке нашего имени и полагать, что в нас есть что-то губительное для него. Я и сам мог бы так подумать, Хэриет, если бы не было на свете тебя.

— Брат, не нужно так говорить. Если, как ты утверждаешь, у тебя есть какие-то особые причины — но я это отрицаю! — любить меня, то пощади меня и не говори таких безумных, нелепых слов!

Он закрыл лицо обеими руками, но когда она подошла к нему, позволил ей взять его руку в свою.

— Я понимаю, что после стольких лет тяжело быть уволенным,— сказала его сестра,— а причина этого увольнения ужасна для нас обоих. Однако мы должны жить и искать средства к существованию. Ну, что ж! Мы можем это делать, не теряя мужества. Бороться, Джон, бороться вместе — в этом наша гордость, а не позор.

Улыбка появилась у нее на губах, когда она поцеловала его в щеку и просила не унывать.

— Ах, дорогая сестра! Ты по доброй воле и по своему великодушию связала себя с погибшим человеком! С опороченным человеком. С человеком, у которого нет ни одного друга и который разогнал и всех твоих друзей!

— Джон! — Она быстро зажала ему рот рукою.— Не говори так ради меня. Ради нашей многолетней дружбы.— Он молчал.— Теперь вот что я тебе расскажу, дорогой мой.— Она тихо подсела к нему.— Я так же, как и ты, ждала этого. И когда я думала об этом, и ждала со страхом, и старалась по мере сил приготовиться, я решила сказать тебе, раз уж этому суждено случиться, что я скрывала от тебя одну тайну и что у нас *есть* друг.

— Как же зовут нашего друга, Хэриет? — спросил он с печальной улыбкой.

— Право, не знаю; но однажды он с жаром заявил мне о своих дружеских чувствах и о своем желании быть нам полезным. А я и по сей день ему верю.

— Хэриет! — с изумлением воскликнул брат.— Где же он живет, этот друг?

— Этого я тоже не знаю,— сказала она.— Но он знает нас обоих и нашу историю — всю нашу историю, Джон. Вот потому-то я, следуя его совету, скрыла от тебя его посещение. Я опасалась, как бы ты не огорчился, услышав, что эта история ему известна.

— Посещение? Неужели он был здесь, Хэриет?

— Здесь, в этой комнате. Один раз.

— Что это за человек?

— Не молодой. Он уже начал седеть и, как он сам сказал, скоро станет совсем седым. Но великодушный, искренний и добрый. В этом я уверена!

— И ты только один раз его видела, Хэриет?

— В этой комнате только один раз,— ответила сестра, на щеках которой вспыхнул легкий румянец, мгновенно угасший.— Но, зайдя сюда, он упрашивал, чтобы я позволила ему видеть меня раз в неделю, когда он проходит мимо нашего дома,— в знак того, что у нас все благополучно и мы по-прежнему не нуждаемся в его помощи. Видишь ли, я сказала ему, когда он предложил нам свои услуги — а это и было целью его посещения,— что мы ни в чем не нуждаемся.

— Так, значит, раз в неделю...

— С тех пор раз в неделю, и всегда в тот же самый день и в тот же час, он проходит мимо нашего дома; всегда пешком, всегда по направлению к Лондону и всегда приостанавливаясь только для того, чтобы поклониться мне и весело помахать рукой, словно добрый опекун. Он мне это обещал, когда предложил эти забавные свидания, и так мило и добросовестно сдержал свое слово, что если вначале и были у меня какие-нибудь сомнения (вряд ли они были, Джон, таким он казался простым и искренним), они быстро рассеялись, и я радовалась, когда наступал назначенный день. В прошлый понедельник — первый понедельник после этого ужасного события — он не появился. И я с недоумением размышляла о том, находится ли его отсутствие в какой-нибудь связи с тем, что случилось.

— Какая же может быть связь? — осведомился брат.

— Не знаю. Я просто задумалась о совпадении, но не пыталась его объяснить. Я уверена, что он придет. А когда он придет, милый Джон, позволь мне сказать ему, что я, наконец, поговорила с тобой, и позволь познакомить тебя с ним. Он несомненно поможет нам найти средства к существованию. Он хотел только одного — как-нибудь облегчить мою и твою жизнь. И я ему обещала, что в нужде я о нем вспомню, и тогда его имя не будет для нас тайной.

— Хэриет,— сказал брат, слушавший с величайшим волнением,— опиши мне наружность этого джентльмена. Я несомненно должен знать того, кто так хорошо меня знает.

Его сестра постаралась как можно живее изобразить черты лица, фигуру и костюм своего гостя. Но или Джон Каркер не знал этого человека, или описание ее оказалось неточным, или же он, шагая взад и вперед по комнате, увлекся своими собственными мыслями,— как бы то ни было, он не мог узнать нарисованный ею портрет.

Во всяком случае, они условились, что он увидит оригинал, как только тот снова появится. Когда это решение было принято, сестра, уже не с такой тяжестью на сердце, занялась домашними делами, а поседевший человек, бывший младший служащий фирмы «Домби и Сын», посвятил первый день непривычной ему свободы работе в саду.

Был уже поздний час, и брат читал вслух, а сестра занималась шитьем, когда кто-то постучал в дверь. В той атмосфере тревоги и опасений, которая нависала над ними после бегства брата, этот звук, необычный здесь, показался почти страшным. Брат подошел к двери, сестра сидела и пугливо прислушивалась. Кто-то заговорил с Джоном, а он ответил и как будто удивился; обменявшись несколькими словами, они вдвоем вошли в комнату.

— Хэриет,— сказал брат, вводя позднего гостя и говоря тихим голосом,— это мистер Морфин — джентльмен, все время служивший вместе с Джеймсом в фирме Домби.

Его сестра отшатнулась, словно увидела привидение. В дверях стоял неведомый друг с темными волосами, тронутыми сединой, с румяным лицом, с широким чистым лбом и карими глазами,— человек, чью тайну она так долго скрывала.

— Джон,— задыхаясь, сказала она,— это тот самый джентльмен, о котором я тебе говорила сегодня!

— Этот джентльмен, мисс Хэриет,— входя в комнату, сказал гость, ненадолго задержавшийся на пороге,— с великим облегчением слышит ваши слова. По пути сюда он все время придумывал, какое бы ему дать объяснение, и ни одно его не удовлетворяло. Мистер Джон, я здесь не совсем чужой человек. Вы были очень изумлены, когда увидели меня у своей двери. Кажется, сейчас вы еще больше изумлены. Ну, что ж, это понятно при данных обстоятельствах. Если бы мы не были такими рабами привычки, у нас было бы вдвое меньше оснований удивляться.

Тем временем он приветствовал Хэриет с тою милой сердечностью и уважением, какие она так хорошо запомнила, уселся рядом с ней, положил на стол свою шляпу и бросил в нее перчатки.

— Нет ничего удивительного в том, что у меня появилось желание увидеть вашу сестру, мистер Джон,— сказал он,— и что я по-своему удовлетворил это желание. Что же касается регулярности моих визитов (об этом она, быть может, осведомила вас), то в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Вскоре они вошли у меня в привычку, а мы — рабы привычки... рабы привычки!

Засунув руки в карманы и откинувшись на спинку стула, он посмотрел на брата и сестру, как будто ему занятно было видеть их вместе, и продолжал с каким-то раздражением и в то же время задумчиво:

— Это та самая привычка, которая питает в иных из нас, способных на лучшее, дьявольскую гордыню и упрямство, в других укрепляет наклонность к подлости, у большинства развивает равнодушие,— привычка, под воздействием которой мы изо дня в день становимся все бесчувственнее и тверже, в зависимости от того, из какой глины мы вылеплены, подобно статуям, и мы не более, чем статуи, восприимчивы к новым впечатлениям и мыслям. Вы можете судить о влиянии этой привычки на меня, Джон. В течение многих лет я принимал некоторое, строго ограниченное, участие в управлении фирмой Домби и видел, как ваш брат (который оказался негодяем! ваша сестра простит мне, что я вынужден упомянуть об этом) приобретал все большее влияние, так что в конце концов и фирма и ее глава стали игрушкой в его руках. Я видел, как вы, не привлекая к себе внимания, работали изо дня в день за своей конторкой; я вполне довольствовался тем, что делал свое дело, стараясь не отвлекаться от него и предоставляя всему остальному идти своим чередом, словно огромной машине,— по привычке, свойственной также и мне,— я не задавал никаких вопросов и считал все это непреложным и правильным. Неизменно наступали мои вечера по средам, неизменно разыгрывались наши квартеты, моя виолончель была настроена, и в моем мире все было в порядке — или более или менее в порядке,— а если что-нибудь и было неладно, меня это не касалось.

— Могу ответить вам, что за все это время никто не пользовался таким уважением и любовью в нашей фирме, как вы, сэр,— сказал Джон Каркер.

— Вздор! — возразил тот.— Должно быть, потому, что я человек довольно добродушный и покладистый; таков я по привычке. Заведующему это было по вкусу; человеку, которым он управлял, это было по вкусу,— больше всего это было по вкусу мне. Я исполнял свои обязанности, не заискивал ни перед кем из них и рад был занимать место, на котором от меня не требовалось подхалимства. Таким остался бы я и по сие время, если бы в моей

комнате были толстые стены. Вы можете подтвердить при вашей сестре, что моя комната отделена от комнаты заведующего тонкой перегородкой.

— Это смежные комнаты; может быть, первоначально это была одна комната. И они отделены одна от другой, как говорит мистер Морфин, тонкой перегородкой,— сказал ее брат, снова обернувшись к нему в ожидании дальнейших объяснений.

— Я насвистывал, напевал, исполнил от начала до конца всю бетховенскую сонату си-бемоль, желая дать ему понять, что у меня все слышно,— продолжал мистер Морфин,— но он никогда не обращал на меня внимания. Конечно, мне редко случалось слышать приватные разговоры. Но если я находился в то время в комнате и поневоле должен был что-то услышать, я выходил. Один раз, Джон, я вышел, когда вели беседу два брата, в которой участвовал сначала и молодой Уолтер Гэй. Но прежде чем выйти из комнаты, я успел кое-что услышать. Быть может, вы помните этот случай и сообщите сестре, о чем шла речь.

— Хэриет,— тихо сказал ей брат,— речь шла о прошлом и о нашем положении в фирме.

— Предмет беседы не представлял для меня ничего нового, но этот разговор открыл мне новую точку зрения. Он поколебал мою привычку — привычку девяти десятых населения земного шара — считать, что все вокруг меня обстоит благополучно, потому что я с этим окружающим освоился, и он же побудил меня припомнить историю двух братьев и задуматься над ней. Едва ли не в первый раз в жизни я задал себе такой вопрос: какими покажутся нам вещи, сейчас такие привычные и естественные, когда мы посмотрим на них с этой новой точки, к которой рано или поздно все мы неизбежно должны прийти? После того утра я стал, можно сказать, менее добродушным, менее покладистым и снисходительным.

Он помолчал, барабаня пальцами по столу, затем быстро заговорил, как будто торопился закончить свою исповедь:

— Прежде чем я принял какое-либо решение, прежде чем я мог что-нибудь предпринять, между теми же двумя братьями произошел второй разговор, причем было упомянуто имя их сестры. Без малейших угрызений совести я

позволил себе услышать обрывки этого разговора. Я считал, что имею на это право. Затем я пришел сюда, чтобы собственными глазами увидеть сестру. В первый раз я остановился у калитки под предлогом, будто хочу разузнать кое-что о ваших бедных соседях; но я уклонился в сторону от намеченной линии, и, кажется, мисс Хэриет отнеслась ко мне с недоверием. Явившись вторично, я попросил разрешения войти в дом, вошел и сказал то, что хотел сказать. Ваша сестра объяснила мне причины — я их не посмел оспаривать,— почему она отказывается принять помощь от меня. Но между нами установилось общение, которое поддерживалось регулярно вплоть до последнего времени, когда мне пришлось нарушить его, так как я должен был заняться важными делами.

— А я-то, ежедневно встречаясь с вами, даже и не подозревал ни о чем, сэр! — сказал Джон Каркер.— Если бы Хэриет могла угадать ваше имя...

— По правде сказать, Джон,— перебил гость,—я скрыл его по двум причинам. Не знаю, достаточно ли было бы одной первой: человек не вправе принимать благодарность за добрые намерения, и я решил не открывать своего имени, пока мне не удастся оказать вам какую-нибудь реальную услугу. Вторая причина заключалась в том, что у меня всегда мелькала надежда, не смягчится ли ваш брат по отношению к вам обоим. А если бы такой подозрительный и настороженный человек обнаружил мое дружеское к вам расположение, это могло послужить роковым поводом для нового разрыва. Я решил, рискуя навлечь на себя его неудовольствие — но это не имело бы для меня никакого значения,— дождаться удобного случая и ходатайствовать о вас перед главой фирмы; но в результате таких событий, как смерть, помолвка, свадьба и семейные неурядицы, у нас в течение долгого, долгого времени единственным начальником был ваш брат. А лучше было бы нам иметь вместо него сухой пень,— добавил гость, понизив голос.

Казалось, он сознавал, что эти слова вырвались у него невольно, и, протянув одну руку брату, а другую сестре, продолжал:

— Теперь я сказал все, что хотел сказать, и даже больше. Надеюсь, вы понимаете и верите, что самого

главного не скажешь словами. Настало время, Джон,— хотя настало оно благодаря весьма прискорбному происшествию,— когда я могу оказать вам помощь, не мешая тому делу искупления, какое длилось столько лет, ибо сейчас вы освобождены от него не по своей воле. Час уже поздний, больше я не прибавлю ни слова. Вы, Джон, будете хранить доверенное вам сокровище, не нуждаясь в моих советах или напоминаниях.

С этими словами он встал, собираясь уйти.

— Ну, Джон, идите вперед со свечой,— добродушно прибавил он,— и не говорите того, что вам хочется сказать.— Джон Каркер был глубоко растроган, и он охотно излил бы свои чувства, будь у него эта возможность.— А мне позвольте потолковать с вашей сестрой. Хотя при данных условиях ваше присутствие кажется вполне естественным, но нам уже случалось беседовать наедине, в этой самой комнате.

Проводив его взглядом, он ласково повернулся к Хэриет и, понизив голос, заговорил изменившимся и более серьезным тоном:

— Вы хотите задать мне вопрос о человеке, чьей сестрой вы имеете несчастье быть.

— Я боюсь спрашивать,— сказала Хэриет.

— Вы несколько раз посмотрели на меня так пристально, что, кажется, я угадал ваш вопрос,— возразил гость.— Похитил ли он деньги? Не так ли?

— Да.

— Нет, не похитил.

— Слава богу! — воскликнула Хэриет.— Я счастлива за Джона.

— Но он всячески злоупотреблял оказываемым ему доверием,— продолжал мистер Морфин,— он совершал сделки чаще ради собственной выгоды, чем в интересах фирмы, чьим представителем являлся; он втягивал фирму в чрезвычайно рискованные операции, часто приносившие огромные убытки; он всегда потакал тщеславию и честолюбию своего хозяина, тогда как его долгом было сдерживать их и объяснять — он мог бы это сделать,— к каким результатам они приводят. Все это, вероятно, не удивит вас теперь. Были затеяны предприятия с целью раздуть репутацию и кредитоспособность фирмы и показать ее

превосходство над другими торговыми домами, и нужно иметь трезвый ум, чтобы предвидеть возможность пагубных последствий, которая становится вероятностью, если в делах происходит хотя бы незначительная перемена к худшему. Проводя многочисленные операции чуть ли не во всех частях света — в этом огромном лабиринте он один знал все входы и выходы,— он имел возможность (и, по-видимому, воспользовался ею) скрывать подлинные результаты операций и подменять факты сметами и общими рассуждениями. Но последнее время... вы следите за тем, что я говорю, мисс Хэриет?

— Да, да! — ответила она, повернув к нему испуганное лицо.— Пожалуйста, скажите мне сразу самое худшее.

— Последнее время он, по-видимому, посвятил все силы тому, чтобы сделать совершенно ясными и понятными результаты этих операций, и теперь справка в книгах дает возможность с удивительной легкостью разобраться в них, при всем их количестве и разнообразии. Как будто он решил сразу показать своему хозяину, к чему приводит страсть, которой тот одержим. Бесспорно то, что он все время гнусно потакал этой страсти и отвратительно льстил ей. В этом и заключается главное его преступление перед фирмой.

— Еще одно слово, прежде чем мы расстанемся, дорогой сэр,— сказала Хэриет.— Есть ли опасность?

— Какая опасность? — замявшись, спросил он.

— Опасность, угрожающая кредиту фирмы.

— Я могу ответить вам откровенно и с полным доверием? — спросил мистер Морфин, всматриваясь в ее лицо.

— О да, можете!

— Верю, что могу. Опасность, угрожающая кредиту фирмы? Нет. Никакой. Могут возникнуть затруднения, более или менее серьезные, но никакой опасности нет, разве что... да, разве что глава фирмы, не желая сузить круг операций и решительно отказываясь верить, что положение фирмы не таково или может стать не таким, каким он всегда его представлял, заставит ее перенапрягать свои силы. Тогда она зашатается.

— Но нет никаких оснований ожидать этого? — спросила Хэриет.

— Между нами не будет недомолвок,— ответил он, пожимая ей руку.— К мистеру Домби нельзя подступиться. Он надменен, безрассуден и неукротим. Но сейчас он охвачен необычайным смятением и возбуждением, а такое состояние может пройти. Теперь вы знаете все, как плохое, так и хорошее. На сегодня довольно, спокойной ночи!

С этими словами он поцеловал ей руку и, выйдя туда, где его поджидал ее брат, добродушно отодвинул его в сторону, когда тот попытался заговорить, и сказал ему, что теперь они будут видеться часто, и он может, если пожелает, высказаться в другое время, а сейчас уже поздно. Затем он быстро ушел, чтобы не слышать слов благодарности.

Почти до рассвета брат и сестра беседовали, сидя у камина; они лишились сна, увидев новый мир, приоткрывшийся перед ними, и чувствовали себя, словно двое потерпевших кораблекрушение, выброшенных много лет назад на пустынный берег, к которому приближается, наконец, корабль, когда они уже примирились со своим положением и перестали мечтать об иных краях. Мешали им спать и совсем иные, тревожные мысли. Мрак, из которого вырвался этот луч света, сгущался вокруг, и тень их преступного брата витала в доме, где никогда не ступала его нога.

Нельзя было ее изгнать, и она не исчезла перед лучами солнца. Наутро она была здесь; и в полдень; и вечером. Особенно мрачная и отчетливая — вечером, о чем мы сейчас расскажем.

Джон Каркер ушел с рекомендательным письмом, полученным от их друга, а Хэриет осталась одна в доме. Она провела в одиночестве несколько часов. Хмурый, мрачный вечер и сгущавшиеся сумерки благоприятствовали ее угнетенному состоянию. Мысль о брате, которого она давно не видела, преследовала ее, принимая чудовищные формы. Он умер, умирал, призывал ее, смотрел на нее, грозно хмурил брови. Картины, мерещившиеся ей, были так навязчивы и ярки, что в спустившихся сумерках она не решалась поднять голову, посмотреть в темный угол; она боялась, что призрак, плод ее воспаленной фантазии, притаился там, чтобы испугать

ее. Один раз ей почудилось, будто он прячется в соседней комнате, и хотя она знала, какая это нелепая мысль, и нисколько этому не верила, однако заставила себя пойти туда для собственного успокоения. Но это ни к чему не привело. Как только она вышла из комнаты, туда вернулись страшные призраки, и она не могла избавиться от смутных опасений, словно это были каменные великаны, глубоко ушедшие в землю.

Почти совсем стемнело, и она сидела у окна, подперев голову рукою и опустив глаза, как вдруг в комнате стало еще темнее; она подняла голову и невольно вскрикнула. К самому стеклу прильнуло чье-то бледное, испуганное лицо; сначала глаза блуждали, словно искали чего-то, потом остановились на Хэриет и вспыхнули.

— Впустите меня! Впустите! Я должна поговорить с вами! — И рука застучала в стекло.

Она сразу узнала женщину с длинными темными волосами, которую когда-то в дождливый вечер обогрела, накормила и приютила. Со страхом, вполне понятным, вспоминая о ее безумных поступках, Хэриет попятилась от окна и стояла в нерешительности, охваченная тревогой.

— Впустите меня! Дайте мне поговорить с вами. Я вам благодарна... да... я успокоилась... смирилась... все, что вы хотите. Но дайте мне поговорить с вами!

Эта страстная просьба, возбужденное лицо, дрожащие руки, поднятые с мольбой, какая-то тревога и ужас, звучавшие в голосе и имевшие что-то общее с душевным состоянием самой Хэриет, заставили ее решиться. Она поспешила к двери и открыла ее.

— Можно мне войти или лучше говорить здесь? — спросила женщина, схватив ее за руку.

— Что вам нужно? Что вы хотите сказать?

— Немного, но дайте мне высказаться, иначе я никогда этого не скажу. Меня и сейчас тянет убежать. Словно какие-то руки стараются оттащить меня от этой двери. Дайте мне войти, если вы можете на этот раз мне поверить.

Ее энергия снова одержала верх, и они прошли в освещенную огнем камина маленькую кухню, где уже раньше случилось ей сидеть, закусывать и сушить платье.

— Сядьте здесь,— сказала Элис, опустившись на колени перед Хэриет,— и посмотрите на меня. Вы меня помните?

— Помню.

— Помните, я вам сказала, кем я была и откуда я пришла, в лохмотьях, с окровавленными ногами, под яростным ветром и дождем, хлеставшим в лицо?

— Да.

— Вы помните, как я вернулась в ту ночь, швырнула в грязь ваши деньги и прокляла вас и весь ваш род? Теперь вы меня видите здесь на коленях. Разве я говорю сейчас с меньшим жаром, чем тогда?

— Если вы просите прощения...— кротко начала Хэриет.

— Нет, не прощения! — перебила та, и гордым, почти надменным стало ее лицо.— Я прошу, чтобы вы мне поверили. А теперь судите, достойна ли я доверия — такая, какой я была и какая я сейчас.

Не поднимаясь с колен и глядя на огонь — огонь освещал ее загубленную красоту, ее растрепанные черные волосы (одну длинную прядь она перебросила через плечо, обвила вокруг руки и во время разговора рассеянно дергала ее и кусала),— она продолжала:

— Когда я была молода и красива и когда вот эти волосы,— она презрительно дернула прядь, которую держала в руке,— бережно расчесывали и не могли налюбоваться ими, моя мать, которая мало думала обо мне, пока я была ребенком, обратила внимание на мою красоту, привязалась ко мне, стала гордиться мною. Она была скупа и бедна и задумала извлечь из меня выгоду. Ни одна знатная леди никогда не смотрела так на свою дочь, в этом я уверена, и никогда так не поступала, а это значит, что только среди таких бедняков, как мы, можно встретить мать, дурно воспитывающую своих дочерей, и увидеть зло, отсюда вытекающее.

Она глядела на огонь, словно забыв на мгновение, что кто-то ее слушает, и, туго обвивая вокруг руки длинную прядь волос, продолжала, как во сне:

— Незачем говорить, к чему это привело. Среди таких, как мы, это не приводит к несчастным бракам, но

к несчастью и гибели. Несчастье и гибель настигли меня... настигли.

Быстро переведя мрачный взгляд с огня на лицо Хэриет, она сказала:

— Я зря теряю время, а оно дорого. Однако, если бы я обо всем этом не передумала, не было бы меня сейчас здесь. Да, несчастье и гибель настигли меня! Из меня сделали недолговечную игрушку и отшвырнули с большей жестокостью и небрежностью, чем отшвыривают игрушки. Как вы думаете, чья рука это сделала?

— Почему вы задаете мне такой вопрос? — спросила Хэриет.

— А почему вы дрожите? — возразила Элис, зорко всматриваясь в нее.— Он превратил меня в дьявола. Я падала все ниже и ниже, несчастная и загубленная. Я была замешана в деле о грабеже, и только своей доли добычи не получила. Меня поймали и судили, а у меня не было ни единого друга, ни единого пенни! Хотя я была совсем молоденькой, я предпочла бы пойти на смерть, лишь бы не просить, чтобы он замолвил словечко, если его слово могло бы меня спасти. Да! Предпочла бы любую смерть, какую только можно придумать! Но моя мать, как всегда алчная, послала к нему от моего имени, рассказала ему всю правду обо мне и смиренно выпрашивала последнюю маленькую подачку — несколько фунтов, меньше, чем у меня пальцев на руке. Как вы думаете, кто был тот человек, который отвернулся от меня, попавшей в беду, лежащей, как полагал он, у его ног, и не прислал мне даже этого жалкого подарка в память о прошлом, очень довольный тем, что меня отправят за океан, где я больше уже не буду для него помехой, где я умру и сгнию? Как вы думаете, кто это был?

— Почему вы мне задаете такой вопрос? — повторила Хэриет.

— Почему вы дрожите,— сказала Элис, касаясь рукой ее руки и заглядывая ей в лицо.— Не потому ли, что ответ готов сорваться с ваших губ? Это был ваш брат Джеймс.

Хэриет дрожала все сильнее и сильнее, но не отвела глаз под пристальным взглядом, устремленным на нее.

— Когда я узнала, что вы его сестра,— это случилось в ту ночь,— я вернулась сюда, измученная, с больной ногой, чтобы с презрением отвергнуть ваш подарок. В ту ночь я почувствовала, что могла бы идти, измученная, с больною ногой, на край света, чтобы заколоть его в каком-нибудь глухом месте, укрытом от чужих взоров. Понимаете ли вы, какое все это имело для меня значение?

— Понимаю! Боже мой, зачем же вы опять пришли сюда?

— Потом я увидела его,— сказала Элис, сжимая ей руку и всматриваясь в лицо.— Я следила за ним при ярком дневном свете. Если искра ненависти только тлела в моей груди, она разгорелась в яркое пламя, когда мои глаза остановились на нем. Вам известно, что он причинил зло гордому человеку и сделал его своим смертельным врагом. Что̀, если я дала о нем сведения этому человеку?

— Сведения? — повторила Хэриет.

— Что, если я отыскала того, кто знает тайну вашего брата, знает, как он бежал, знает, куда он бежал со своей спутницей? Что, если я заставила его рассказать все известное ему, от слова до слова, в присутствии этого врага, который спрятался и все слышал? Что, если в то время я сидела, глядя в лицо этому врагу, и видела, как оно утрачивает человеческие черты? Что, если я видела, как он, обезумев, бросился в погоню? Что, если я знаю теперь: он в пути — дьявол в образе человека — и через несколько часов настигнет его?

— Уберите вашу руку! — отпрянув, воскликнула Хэриет.— Уйдите! Ваше прикосновение приводит меня в ужас!

— Все это я сделала,— продолжала та, так же пристально глядя на Хэриет и не обращая внимания на ее восклицание.— Разве голос мой и лицо не убеждают в том, что действительно я это сделала? Вы верите тому, что я вам говорю?

— Боюсь, что должна поверить! Отпустите мою руку!

— Подождите еще минуту! Еще минуту. Вы можете понять, сколь глубока была жажда мести, если она так долго не утихала и толкнула меня на этот шаг?

— Это ужасно! — воскликнула Хэриет.

— Стало быть,— хриплым голосом сказала Элис,— теперь, когда вы снова видите меня, а я смиренно стою на коленях, касаюсь вашей руки, смотрю вам в лицо, вы можете поверить, что мои слова — не простое признание и что борьба, какая шла в моей душе, была страшной. Я стыжусь произносить эти слова, но я почувствовала сострадание. Я презираю себя! Я боролась с собою весь день и всю прошлую ночь, но я без всякой причины чувствую к нему сострадание и... если это возможно, хочу исправить то, что я сделала. Только бы они не встретились теперь, когда его преследователь ослеплен и потерял голову. Если бы вы видели его вчера вечером, когда он ушел, вы бы поняли, как велика опасность.

— Как ее предотвратить? Что я могу сделать? — вскричала Хэриет.

— Всю ночь напролет,— торопливо продолжала та,— мне снился он, залитый кровью, и, однако, я не спала. Весь день я чувствовала, что он подле меня.

— Что я могу сделать? — повторила Хэриет, содрогаясь при этих словах.

— Если кто-нибудь может написать ему, или отправить посланца, или поехать к нему, пусть не теряет времени. Он в Дижоне! Вы знаете название этого города и где он находится?

— Да!

— Предостерегите его, что тот, кого он сделал своим врагом, вне себя от бешенства, и плохо он знает этого человека, если не страшится его приближения. Скажите ему, что тот уже в пути,— я это знаю! — и не теряет ни секунды. Настаивайте, чтобы он уехал, пока не поздно — *если* еще не поздно,— и не встречался с ним. Какой-нибудь месяц может иметь огромное значение. Только бы их встреча не произошла по моей вине! Где угодно, только не там! Когда угодно, только не теперь! Пусть его враг последует за ним и разыщет его сам, но без моей помощи! Довольно с меня той тяжести, какую я несу...

Огонь больше не освещал ее черных как смоль волос, ее лица и горящих глаз; ее рука не касалась руки Хэриет. И там, где она стояла, не было уже никого.

ГЛАВА LIV

Беглецы

Время — одиннадцать часов вечера; место — номер во французском отеле, состоящий из нескольких комнат: темной, холодной передней, или коридора, столовой, гостиной, спальни, второй гостиной, или будуара, который меньше остальных комнат и расположен в глубине. На главную лестницу выходит только одна двустворчатая дверь, но в каждой комнате по две-три двери: комнаты сообщаются между собой, а также с узкими ходами в стенах, ведущими, как это нередко бывает в таких домах, на заднюю лестницу с незаметным выходом на улицу. Номер расположен в бельэтаже окнами во двор, но не занимает всего этажа целиком — настолько велико здание отеля, состоящее из четырех корпусов с квадратным двором посредине.

В этих комнатах царила роскошь, в достаточной мере поблекшая, чтобы казаться меланхолической, и в достаточной мере ослепительная, чтобы затруднять повседневную жизнь показным великолепием. Стены и потолки были позолочены и расписаны; полы до блеска натерты воском; малиновая драпировка нависала фестонами над окнами, дверьми и зеркалами, а канделябры, изогнутые, как ветви деревьев или рога зверей, выступали из обшитых панелью стен. Но днем, когда жалюзи (сейчас спущенные) бывали подняты, можно было подметить на этой пышности следы, оставленные временем и пылью, солнцем, сыростью и дымом; заметно было, что помещение пустовало часто и подолгу, ибо к таким невзгодам показные игрушки жизни оказываются чувствительными, как сама жизнь, и чахнут, словно люди, запертые в тюрьме. Даже ночь и пучки горящих свечей не могли стереть эти следы, хотя при этом блеске они отступали в тень.

В тот вечер только в одной комнате — меньшей из перечисленных выше — можно было увидеть ослепительный блеск восковых свечей, их отражение в зеркалах, позолоту и яркие краски. Наблюдателю, стоящему в передней, где тускло горела лампа, и глядящему сквозь ряд темных комнат, эта комната казалась сверкающей, как

драгоценный камень. В центре этого сияния сидела красивая женщина — Эдит.

Она была одна. Все та же непокорная, высокомерная женщина. Щеки слегка впали, глаза как будто сделались больше и сверкали ярче, но надменная осанка осталась тою же. Никаких признаков стыда на ее лице; запоздалое раскаяние не согнуло ее горделивой шеи. По-прежнему властная и величественная и по-прежнему равнодушная к себе самой и ко всему остальному, она сидела, опустив темные глаза, и кого-то ждала.

У нее не было ни книги, ни рукоделия, никакого занятия, ничего, кроме собственных мыслей, чтобы скоротать медлительное время. Какое-то намерение, достаточно упорное, чтобы заполнить любое ожидание, владело ею. С крепко сжатыми губами, которые дрожали, если она хоть на мгновение переставала за собою следить, с раздувавшимися ноздрями, со стиснутыми руками, она сидела и ждала. И намерение, владевшее ею, клокотало у нее в груди.

Когда в замке́ наружной двери повернулся ключ и в передней послышались шаги, она встрепенулась и крикнула: «Кто там?» Ей ответили по-французски, и два лакея, звеня подносами, вошли, чтобы накрыть стол к ужину.

Она спросила, кто приказал им это сделать.

— Мосье отдал распоряжение, когда ему угодно было занять этот номер. Мосье сказал, когда остановился здесь на час en route [1] и оставил письмо для мадам... Мадам, конечно, его получила?

— Да.

Тысяча извинений! Внезапное опасение, что письмо, быть может, позабыли передать, повергло его — лысого бородатого лакея из соседнего ресторана — в отчаяние. Мосье сказал, что ужин должен быть готов к этому часу, а также, что в письме он предупреждает мадам об отданном распоряжении. Мосье оказал честь «Золотой голове», выразив желание, чтобы ужин был изысканный и тонкий. Мосье убедится в том, что «Золотая голова» оправдает это доверие.

---

[1] По дороге *(франц.)*.

Эдит больше ничего не сказала и задумчиво следила за тем, как они сервировали стол на две персоны и поставили бутылки с вином. Прежде чем они закончили, она встала и, взяв лампу, прошла в спальню, а оттуда в гостиную, и торопливо, но внимательно осмотрела все двери, в особенности ту, которая вела из спальни в проход в стене. Из этой двери она вынула ключ и вставила его с наружной стороны. Затем она вернулась.

Слуги — второй был смуглым желчным субъектом в куртке, гладко выбритым, с коротко остриженными черными волосами — завершили свои приготовления и стояли, созерцая стол. Первый лакей осведомился у мадам, скоро ли, по ее мнению, приедет мосье.

Она этого не знала. Ей это было безразлично.

Pardon! [1] Ужин готов! К нему следовало приступить немедленно. Мосье (который говорит по-французски, как ангел или как француз — это одно и то же) весьма выразительно заявил о своей пунктуальности. Да, английская нация славится своей пунктуальностью. Ах! Что за шум? Боже мой, это мосье. Вот он!

Действительно, мосье, которого впустил другой лакей, шел, сверкая зубами, по темным комнатам, напоминающим вход в пещеру, и, войдя в эту обитель света и красок, обнял мадам и обратился к ней по-французски, назвав ее своей очаровательной женой.

— Боже мой! Мадам вот-вот упадет в обморок! Мадам так обрадовалась, что ей стало дурно! — Лысый бородатый слуга заметил это и вскрикнул.

Но мадам только отпрянула и содрогнулась. Прежде чем были сказаны эти слова, она уже стояла, положив руку на бархатную спинку кресла, выпрямившись во весь рост и с неподвижным лицом.

— Франсуа полетел в «Золотую голову» за ужином. В таких случаях он летает как ангел или птица. Багаж мосье находится в его комнате. Все приготовлено. Сию минуту будет подан ужин.

Лысый лакей сопровождал эти слова поклонами и улыбками, и вскоре появился ужин.

---

[1] Простите! *(франц.)*

Горячие блюда были принесены на жаровне, холодные уже стояли на столе, а запасные приборы на буфете. Мосье остался доволен сервировкой. Так как стол был маленький, она показалась ему очень удобной. Пусть поставят жаровню на пол и уходят. Он сам будет брать блюда.

— Простите,— вежливо сказал лысый,— это немыслимо!

Мосье был другого мнения. Сегодня он ни в чьих услугах больше не нуждался.

— Но мадам...— начал лысый.

По словам мосье, у мадам была своя горничная. Этого было достаточно.

Тысяча извинений! Нет! У мадам не было никакой горничной.

— Я приехала сюда одна,— сказала Эдит.— Мне так хотелось. Я привыкла путешествовать, я не нуждаюсь в услугах. Пусть никого ко мне не присылают.

Итак, мосье, упорствуя в своем немыслимом желании, пошел вслед за обоими слугами к наружной двери, чтобы запереть ее на ночь. В дверях лысый обернулся, отвесил поклон и заметил, что мадам по-прежнему стояла, опираясь на бархатную спинку кресла, не обращала никакого внимания на мосье и смотрела прямо перед собой.

Когда шум запираемой Каркером двери пронесся по всем комнатам и долетел, как бы приглушенный и придавленный, до этой последней и самой отдаленной комнаты, он слился в ушах Эдит с боем соборных часов, возвестивших полночь. Она слышала, как Каркер остановился, также как будто прислушиваясь, а затем направился к ней, в молчании протягивая длинную цепь шагов и по дороге захлопывая за собой все двери. Ее рука на секунду оторвалась от бархатного кресла, чтобы придвинуть ближе лежавший на столе нож; потом она приняла прежнюю позу.

— Странно, что вы приехали сюда одна, дорогая! — сказал он, входя.

— Что это значит? — воскликнула она.

Она сказала это таким резким тоном, так гневно повернула голову, так неприветливо взглянула на него и

так мрачно сдвинула брови, что он, с лампой в руке, остановился, смотря на нее, словно она лишила его способности двигаться.

— Я говорю: как странно, что вы приехали сюда одна! — повторил он наконец, поставив лампу и улыбаясь самой учтивой своей улыбкой.— Право, это была излишняя предосторожность, которая могла даже повредить. Вы должны были нанять горничную в Гавре или Руане, и времени у вас для этого было достаточно, хотя вы, дорогая,— самая капризная и привередливая из всех женщин, а также и самая красивая.

Она бросила на него странный взгляд, но продолжала стоять, опираясь на спинку кресла, и не произнесла ни слова.

— Я никогда еще не видел вас такой очаровательной, как сегодня,— добавил Каркер.— Действительность превосходит даже тот образ, который я хранил в памяти во время этого мучительного испытания и который я созерцал денно и нощно.

Ни слова. Ни взгляда. Глаза ее были совершенно скрыты опущенными ресницами, но голова высоко поднята.

— Суровы, жестоки были условия испытания! — с улыбкой продолжал Каркер.— Но все они выполнены, остались в прошлом, и тем чудеснее, тем безопаснее настоящее! Мы найдем приют в Сицилии. В этом самом безмятежном и тихом уголке земного шара мы с вами, мое сокровище, будем вознаграждены за прежнее рабство.

Он весело направился к ней, но она мгновенно схватила со стола нож и отступила на шаг.

— Ни с места, или я вас убью! — крикнула она.

Эта внезапная перемена, происшедшая в ней, напряженная ненависть и безграничное отвращение, сверкнувшие в глазах и отразившиеся на лице, заставили его остановиться, словно перед ним вспыхнуло пламя.

— Ни с места! — сказала она.— Не подходите ко мне, если вам дорога жизнь!

Они смотрели друг на друга. Лицо его выражало ярость и изумление, но он поборол эти чувства и шутливо сказал:

— Полно, полно! Ведь мы одни, и никто нас не видит и не слышит. Неужели вы думаете запугать меня этой притворной добродетелью?

— Неужели вы думаете запугать *меня,* — страстно возразила она,— и заставить отказаться от любой намеченной мною цели и любого принятого мною решения, если будете напоминать мне о том, что мы здесь одни и неоткуда ждать помощи? Меня, которая умышленно приехала сюда одна? Если бы я боялась вас, разве не стала бы я вас избегать? Если бы я боялась вас, разве была бы я здесь глухой ночью и разве сказала бы вам то, что намерена сказать?

— Что же именно, прелестная капризница? — спросил он.— Более прелестная, чем любая другая женщина в наилучшем расположении духа.

— Я ничего вам не скажу, пока вы не сядете вон на тот стул,— ответила она,— или скажу только одно: не подходите ко мне! Ни шагу дальше! Говорю вам, если вы сделаете еще один шаг,— господь мне свидетель, я убью вас!

— Уж не принимаете ли вы меня за своего супруга? — усмехнулся он.

Не удостаивая его ответом, она вытянула руку, указывая на стул. Он закусил губу, нахмурился, засмеялся и сел, не в силах скрыть своей растерянности, нерешительности, нетерпения, нервно кусая ногти и посматривая на нее искоса с чувством горького разочарования, хотя он и притворялся, будто его забавляет ее каприз.

Она положила нож на стол и, коснувшись рукой корсажа, сказала:

— Здесь у меня спрятан отнюдь не любовный сувенир. Не желая еще раз выносить ваше прикосновение, я обращу этот предмет против вас — теперь вы это знаете — с большей охотой, чем против любой из пресмыкающихся тварей!

Он сделал попытку весело засмеяться и попросил ее поскорее доиграть эту комедию, так как ужин стынет. Но украдкой он бросил на нее еще более хмурый и раздраженный взгляд и с глухим проклятьем топнул ногой.

— Сколько раз,— продолжала Эдит, мрачно глядя на него,— вы со свойственной вам наглостью и подлостью

наносили мне оскорбления и обиды? Сколько раз своим вкрадчивым тоном, своими насмешливыми словами и взглядами вы поливали меня грязью за мою помолвку и замужество? Сколько раз вы обнажали и растравляли мою рану — любовь к этой милой, заброшенной девушке? Сколько раз вы раздували огонь, на котором я корчилась в течение двух лет, и подстрекали меня к жестокой мести в минуты ужаснейшей для меня пытки?

— Не сомневаюсь, сударыня,— ответил он,— что вы добросовестно вели подсчет, и он довольно точен. Полно, Эдит! Все это было уместно по отношению к этому бедняге — вашему супругу...

— А что, если бы,— начала она, следя за ним с таким горделивым пренебрежением и отвращением, что он невольно съежился, как ни старался храбриться,— что, если бы все прочие причины презирать его развеялись как дым и место их заняла бы только одна — то, что вы были его советчиком и любимцем?

— По этой-то причине вы и бежали со мной? — язвительно спросил он.

— Да, и потому-то мы находимся лицом к лицу в последний раз. Несчастный! Сегодня ночью мы встретились и сегодня ночью расстанемся. Потому что я ни на минуту здесь не останусь после того, как выскажу все!

Он злобно повернулся к ней и схватился рукою за стол, но не встал, ничего не ответил и воздержался от угроз.

— Я,— сказала она, немигающим взором глядя ему в глаза,— женщина, которую с самого детства позорили и ожесточали. Меня предлагали и отвергали, выставляли напоказ и расхваливали, пока я не почувствовала глубокого отвращения ко всему. Все мои способности и таланты, которые могли бы служить мне источниками утешения, были выброшены на рынок, чтобы повысить мне цену, словно уличный глашатай объявлял о них во всеуслышание. Мои нищие, но гордые друзья взирали на это с одобрением, и всякая связь между нами порвалась в моем сердце. Нет среди них никого, к кому бы я была привязана хотя бы так, как могу привязаться к комнатной собачке. Я осталась одна на свете, прекрасно помня о том, каким бездушным был для меня этот свет и какой

бездушной частицей его была я сама. Вы это знаете, и знаете также, что мой успех в обществе не имеет для меня никакой цены.

— Да. Мне так казалось,— проговорил он.

— И вы на это рассчитывали! — подхватила она.— И потому преследовали меня. Я дошла до того, что не могла оказывать никакого сопротивления, кроме безразличия к повседневным трудам тех рук, которым я была обязана этим безразличием. Зная, что мое замужество по крайней мере помешает им торговать мною вразнос, я допустила, чтобы меня продали так же позорно, как продают на невольничьем рынке рабыню с петлей на шее. Вы это знаете!

— Да,— сказал он, оскалив все зубы.— Я это знаю.

— И на это рассчитывали! — повторила она.— И потому преследовали меня. После свадьбы я убедилась, что не защищена от позора — от домогательств и преследования. Они были слишком очевидны: казалось, будто они написаны на бумаге грубейшими словами и бумагу постоянно суют мне в руку. Я была не защищена от преследования некоего гнусного негодяя и почувствовала, что до сей поры я еще не знала, что такое унижение. Этот позор навлек на меня мой муж, он погрузил меня в этот позор собственными руками и по своей воле, делал это сотни раз. И вот, лишившись по вине этих двоих людей покоя, принуждаемая этими двумя людьми отказаться от последних крох нежности, уцелевших во мне, либо навлечь новое несчастье на невинный предмет моей любви, перебрасываемая от одного к другому, убегающая от первого, чтобы подвергнуться нападению второго, я почувствовала безумную ненависть к обоим! Не знаю, кого я ненавидела сильнее — господина или слугу!

Он пристально смотрел на нее, стоявшую перед ним во всем величии своей гневной красоты. Она была непреклонна — он это видел,— бесстрашна и боялась его не больше, чем какого-нибудь червя.

— Что могла бы я вам сказать о чести или целомудрии? — продолжала она.— Какое это имело бы значение для вас, какое это имело бы значение в моих устах? Но если я скажу вам, что от омерзения кровь сты-

нет у меня в жилах, когда вы касаетесь моей руки, если я скажу, что с той минуты, когда я впервые вас увидела и возненавидела, и вплоть до сегодняшнего дня, когда инстинктивное мое отвращение усилилось благодаря тому, что я вас лучше узнала, вы были для меня самым гнусным существом, которое не имеет себе подобного на земле,— если я вам это скажу, что тогда?

Он тихо засмеялся:

— Да, что тогда, моя королева?

— Что было в тот вечер, когда вы, набравшись храбрости после сцены, происшедшей на ваших глазах, осмелились прийти ко мне в комнату и заговорить со мною? — спросила она.

Он пожал плечами и снова засмеялся.

— Что было в тот вечер? — повторила она.

— У вас такая прекрасная память,— ответил он,— что вы несомненно можете вспомнить сами.

— Да, могу,— сказала она.— Слушайте! Заговорив тогда о бегстве,— не об этом бегстве, но о таком, каким оно вам рисовалось,— вы сказали, что я себя погубила; я, по вашим словам, себя погубила потому, что допустила это свидание, доставив вам возможность быть застигнутым, если вы найдете это нужным, а также потому, что я и раньше не раз позволяла вам видеться со мною наедине, пользовалась для этого благоприятными случаями и откровенно признавалась, что к мужу я не чувствую ничего, кроме отвращения, а к самой себе отношусь безразлично. В вашей власти было меня оклеветать, и моя репутация добродетельной женщины зависела от вас.

— В любви все средства...— перебил он, улыбаясь.— Старая поговорка...

— В тот самый вечер,— продолжала Эдит,— закончилась борьба, которую я долго вела, борьба отнюдь не с уважением к доброму моему имени. Я сама не знаю, с чем — быть может, с привязанностью к этому последнему моему убежищу. В тот самый вечер я отреклась от всего, кроме гнева и ненависти. Я нанесла удар, который поверг в прах вашего надменного господина, а вас заставил стоять вот здесь, передо мною, смотреть на меня и узнать, какая у меня цель!

С громким проклятием он вскочил со стула. Она су-

нула руку за корсаж, и ни один палец у нее не дрогнул, ни один волос на голове не шевельнулся. Он стоял неподвижно, она тоже, между ними — стол и стул.

— Когда я забуду, что этот человек прикоснулся в тот вечер своими губами к моим и держал меня в своих объятиях, как сделал это и сегодня,— сказала Эдит, указывая на него,— когда я забуду пятно от поцелуя на моей щеке, на щеке, к которой прижималась своим невинным личиком Флоренс, когда я забуду мою встречу с нею в то время, как это пятно еще горело на моем лице, когда забуду, каким стремительным потоком обрушилась на меня мысль, что, избавляя ее от преследования, навлеченного моей любовью, я покрываю позором и бесчестьем также и ее имя и навсегда останусь в ее памяти грешницей, от которой она должна отшатнуться,— когда я об этом забуду, тогда, о мой супруг, с которым отныне я развелась, я позабуду и эти последние два года, изменю то, что мною сделано, и выведу вас из заблуждения!

Ее сверкающие глаза — на мгновенье она их подняла — снова остановились на Каркере, и она протянула ему письма, держа их левой рукой.

— Посмотрите на них! — презрительно сказала она.— Вы адресовали их мне на вымышленное имя. Под этим именем вы теперь живете; одно адресовано сюда, другое — на какую-то промежуточную станцию. Они не распечатаны. Возьмите их.

Она их скомкала и швырнула к его ногам. А когда она снова взглянула на него, у нее на лице была улыбка.

— Сегодня ночью мы встретились, и сегодня ночью мы расстанемся,— сказала она.— Слишком рано вы начали мечтать о Сицилии и блаженном отдыхе. Вы могли бы немного дольше льстить, пресмыкаться, играть свою роль и стать еще богаче. Дорого вам обходится ваше сладостное уединение!

— Эдит! — вскричал он с угрожающим жестом.— Сядьте! Пора покончить с этим. Какой бес вселился в вас?

— Имя им легион,— ответила она, горделиво выпрямившись, словно желая сокрушить его.— Вы со своим господином взрастили их на доброй почве, и они растерзают вас обоих. Предав его, предав его невинное дитя,



предав все и всех, ступайте и похваляйтесь своей победой надо мною и скрежещите зубами, зная, что вы лжете!

Он стоял перед нею, бормотал угрозы и хмуро озирался вокруг, словно отыскивая что-то, с помощью чего он одержал бы над ней верх. Но, по-прежнему неукротимая, она не отступала.

— Каждая ваша похвальба — для меня торжество,— продолжала она.— Вас я выбрала как самого подлого человека, какого я только знаю, как паразита и орудие надменного тирана, чтобы рана, нанесенная ему мною, была глубже и мучительнее. Похваляйтесь и отомстите ему за меня. Вы знаете, как вы попали сюда сегодня; вы знаете, что стоите здесь, корчась от страха; вы видите самого себя в подлинном свете, таким же презренным, если не таким же отвратительным, каким вижу вас я. Так похваляйтесь же и отомстите за меня самому себе!

На губах у него была пена, на лбу выступил пот. Если бы она хоть на мгновение заколебалась, он справился бы с нею, но она была непоколебима, как скала, и ее испытующий взгляд не отрывался от его лица.

— *Так* мы с вами не расстанемся,— сказал он.— Неужели вы почитаете меня слабоумным, полагая, что я вас отпущу, когда вы не владеете собой?

— Неужели вы полагаете, что меня можно удержать? — отозвалась она.

— Попытаюсь, дорогая моя,— сказал он угрожающе.

— Да помилует вас бог, если вы попытаетесь подойти ко мне! — ответила она.

— А что, если не будет никакого хвастовства и никакой похвальбы? — сказал он.— Что, если я в свою очередь изменю поведение? Послушайте! — Зубы его снова сверкнули.— На этот счет мы должны прийти к соглашению, в противном случае и я могу принять неожиданное для вас решение. Сядьте, сядьте!

— Слишком поздно! — воскликнула она, и глаза ее загорелись.— Я пустила по ветру свою репутацию и доброе имя. Я решила принять позорное клеймо, которое на меня ляжет,— зная, что оно мною не заслужено, что и вы это знаете, а он не знает и не может и не будет знать никогда! Я умру и не пророню ни слова! Ради этого я нахожусь здесь наедине с вами глухою ночью.

Ради этого я встретилась здесь с вами под чужим именем в качестве вашей жены. Ради этого я допустила, чтобы меня видели эти слуги и оставили здесь одну. Теперь ничто не может вас спасти.

Он продал бы свою душу, только бы, во всей ее красоте, пригвоздить ее здесь к полу, с беспомощно повисшими руками, отданную ему во власть. Но он не мог смотреть на нее без страха. Он видел в ней непреодолимую силу. Он видел, что она готова на все и неутолимая ее ненависть к нему не остановится ни перед чем. Глаза его следили за рукой, которая с такой суровой, жестокой решимостью лежала на белой груди, и он подумал о том, что, если рука эта поднимется на него и промахнется, в следующее же мгновение она поразит эту грудь.

Вот почему он не смел приблизиться к ней; но дверь, в которую он вошел, находилась за его спиной, и он отступил назад, чтобы запереть ее.

— На прощанье выслушайте мое предостережение! Будьте настороже! — сказала она и снова улыбнулась.— Вас предали, это судьба всех предателей. Известно, что вы находитесь здесь или должны сюда приехать. Сегодня вечером я видела на улице в карете моего мужа!

— Ты лжешь, шлюха! — вскричал Каркер.

В ту же минуту в передней громко зазвонил колокольчик. Он побледнел, а она подняла руку, словно волшебница, которая своими заклинаниями вызвала этот звук.

— Вот! Слышите?

Он прислонился спиною к двери, так как заметил в Эдит какую-то перемену и подумал, что она хочет проскользнуть мимо него. Но она быстро вышла в противоположную дверь, которая вела в спальню, и захлопнула ее за собой.

Как только она повернулась, как только отвела от него неумолимый, твердый взгляд, он почувствовал, что может справиться с нею. Он подумал, что испуг, вызванный этой ночной тревогой, сломил ее упорство, так как она и без того уже была переутомлена. Распахнув дверь, он поспешил последовать за ней.

Но в комнате было темно, а так как она не откликнулась на его зов, ему поневоле пришлось вернуться за лампой. Высоко держа лампу, он осматривался вокруг,

полагая, что она забилась куда-нибудь в угол; но в комнате никого не было. Тогда он перешел в гостиную, потом в столовую, двигаясь неуверенно, как человек, который находится в незнакомом месте; боязливо озирался и заглядывал за ширмы и диваны, но ее нигде не было. Не было ее и в передней, так скудно меблированной, что он мог убедиться в этом с первого взгляда.

Все это время колокольчик снова и снова начинал дребезжать. В дверь уже стучали. Он поставил лампу и, подойдя к двери, стал прислушиваться. Слышны были голоса; по крайней мере двое говорили по-английски. Несмотря на то, что дверь была толстая, и несмотря на шум, он слишком хорошо знал один из этих голосов, чтобы сомневаться, кому он принадлежит.

Он снова взял лампу и быстро пошел назад через все комнаты, приостанавливался в дверях и, держа лампу над головой, осматривался вокруг. Он был уже в спальне, как вдруг его внимание привлекла дверь, ведущая в проход в стене. Он подошел к ней и убедился, что она заперта снаружи. Но, уходя, Эдит уронила вуаль, которая застряла в двери.

Все это время люди на площадке лестницы звонили в колокольчик и колотили в дверь руками и ногами.

Он не был трусом, но этот стук и звон, предшествовавшая им сцена, необычная обстановка, которая продолжала его смущать, крушение всех его планов (как это ни странно, но он был бы гораздо смелее, если бы они не рухнули), поздний час, сознание, что поблизости нет никого, к кому бы он мог обратиться с просьбой о дружеской услуге, но, главное, внезапное сознание, от которого даже его сердце стало тяжелым, как свинец,— сознание, что человек, чье доверие он обманул и которого так гнусно предал, находится здесь, чтобы встретиться с ним лицом к лицу и бросить ему вызов теперь, когда маска с него сорвана,— все это привело его в панический ужас. Он попробовал выломать дверь, в которой застряла вуаль, но это оказалось ему не по силам. Он открыл окно и сквозь жалюзи посмотрел вниз, во двор; но высота была значительная, а камни не знали жалости.

Звонки и стук не прекращались, не проходил и панический страх. Он вернулся к двери в спальне и с отчая-

нием, напрягая все свои силы, взломал ее. Он увидел узкую лестницу, струя ночного воздуха коснулась его ноздрей, он крадучись вернулся назад за шляпой и плащом, потом как можно плотнее затворил за собой дверь, потихоньку спустился по лестнице, держа в руке лампу, потом потушил ее, поставил в угол и вышел под звездное небо.

ГЛАВА LV

Роб Точильщик лишается места

Привратник у железных ворот, отделявших двор от улицы, оставил дверь сторожки открытой и ушел, намереваясь, вне сомнения, присоединиться к тем, кто поднял шум у двери на площадке парадной лестницы. Осторожно подняв засов, Каркер выскользнул на улицу, стараясь не шуметь, притворил скрипевшие ворота и поспешил уйти.

В лихорадочной тревоге, вызванной унижением и бессильной яростью, он не мог бороться с паническим страхом. Страх достиг таких пределов, что Каркер готов был слепо броситься навстречу любой опасности, только бы не столкнуться с человеком, которого он два часа назад считал не заслуживающим внимания. Внезапный его приезд, столь неожиданный для Каркера, звук его голоса, столь близкая возможность встречи лицом к лицу могли ошеломить его в первую минуту, но затем он принял бы все это хладнокровно и не хуже любого негодяя дерзко смотрел бы в глаза своему преступлению. Но то обстоятельство, что козни его и коварство обратились против него же самого, сокрушили мужество и самоуверенность мистера Каркера. Гордая женщина отшвырнула его, как червя, заманила в ловушку и осыпала насмешками, восстала против него и повергла в прах. Душу этой женщины он медленно отравлял и надеялся, что превратил ее в рабыню, покорную всем его желаниям. Когда же, замышляя обман, он сам оказался обманутым и лисья его шкура была с него содрана, он улизнул, испытывая замешательство, унижение, испуг.

Пока он крадучись пробирался по улицам, ужас, ничего общего не имеющий с этим страхом перед погоней, потряс его, словно электрический ток. Какой-то странный ужас, непонятный и необъяснимый, от которого земля уходила из-под ног, что-то стремительно несущееся в воздухе, словно смерть, летящая на крыльях. Он съежился, как будто хотел уступить ей дорогу. Однако она не пронеслась мимо,— ее здесь никогда и не было, но какой ужас оставило позади себя это неведомое!

Он поднял злобное лицо, искаженное тревогой, к ночному небу, где звезды, такие спокойные, светили так же, как и в минуту, когда он крадучись вышел на двор. И он остановился, чтобы подумать о том, что теперь делать. Боязнь, что ему придется скрываться от погони в чужом, далеком городе, где закон, быть может, не защитит его, новое для него чувство, что город этот — чужой и далекий, чувство, порожденное тем, что он внезапно остался совсем один после крушения всех своих планов, боязнь, более сильная, что наемный убийца может прикончить его в темном закоулке, если он станет искать убежища в Италии или Сицилии,— нелепая мысль, внушенная грехом и страхом,— и, наконец, какое-то смутное желание действовать вопреки прежним своим намерениям, раз у него все планы рухнули,— все это побуждало его ехать в Англию.

«Там я буду, во всяком случае, в большей безопасности,— думал он.— Если я решу не встречаться с этим сумасшедшим, там меня труднее будет выследить, чем здесь, за границей. Если же я решусь на встречу (когда пройдет этот проклятый припадок), я буду по крайней мере не один, как здесь, где некому слово сказать, не с кем посоветоваться, нет никого, кто бы мне мог помочь. Там меня не будут гнать и травить, как крысу».

Он пробормотал сквозь зубы имя Эдит и сжал кулак. Пробираясь в тени массивных зданий, он стискивал зубы, призывал на ее голову страшные проклятья и озирался по сторонам, как будто искал ее. Крадучись, он дошел до ворот постоялого двора. Все спали. Но когда он позвонил в колокольчик, явился какой-то человек с фонарем, и вскоре он уже стоял с этим человеком в каретном сарае и договаривался о найме старого фаэтона, чтобы ехать в Париж.

Договорились быстро и тотчас же послали за лошадьми. Распорядившись, чтобы экипаж, когда запрягут, выехал следом за ним, он, все так же крадучись, выбрался из города, миновал старый крепостный вал и пошел на дорогу; она словно струилась потоком по темной равнине.

Куда уводила она? Где она обрывалась? Когда под влиянием этих мыслей он приостановился, окидывая взглядом хмурую долину, где чахлые деревья отмечали наезженный путь, снова налетела несущаяся на крыльях смерть, снова пронеслась мимо, стремительная и неодолимая, и снова не осталось ничего, кроме ужаса, такого же темного, как окружающий пейзаж, и неясного, как самые дальние его границы.

Ветра не было; в глубоком сумраке ночи не промелькнуло ни одной тени; не было шума. Город раскинулся позади, сверкая огнями, и звездные миры были заслонены шпицами и крышами, которые едва вырисовывались на фоне неба. Темное и пустынное пространство окружало его со всех сторон, и часы слабо пробили два.

Казалось ему, он шел долго и прошел большое расстояние, часто останавливаясь и прислушиваясь. Наконец до его настороженного слуха долетел звон бубенчиков. Звеня то тише, то громче, то совсем замирая, то чуть позвякивая там, где дорога была плохая, то звеня бойко и весело, они приближались, и, наконец, громко закричав и щелкнув бичом, мрачный форейтор, закутанный до самых глаз, остановил возле него четверку лошадей.

— Кто там идет? Мосье?

— Да.

— Мосье прошел не малый путь темной ночью.

— Неважно. У каждого свой вкус. Больше никто не заказывал лошадей на почтовой станции?

— Тысяча чертей!.. прошу прощения. Заказывал ли кто лошадей? В такую пору? Нет.

— Слушай, приятель! Я очень тороплюсь. Посмотрим, быстро ли мы будем подвигаться вперед. Чем быстрее, тем больше получишь на чай. В путь! Живей!

— Э-ге-гей! Н-н-но-о! Пошел!

И галопом — вперед по черной равнине, вздымая пыль и разбрызгивая грязь!

Дребезжание и тряска отвечали стремительным и беспорядочным мыслям беглеца. Все было туманно вокруг него, все было туманно в его душе. Предметы, пролетающие мимо, сливающиеся один с другим, едва схваченные глазом, скрывшиеся из виду, исчезнувшие! За отдельными кусками изгороди или стены коттеджа у самой дороги — мрачная пустыня. За неясными образами, возникавшими в его воображении и тут же стиравшимися,— черная бездна ужаса, бешенства и неудавшегося предательства. По временам с далекой Юры долетала струя горного воздуха и таяла на равнине. Иногда чудилось ему — снова налетал этот вихрь, такой неистовый и ужасный, проносился мимо и леденил ему кровь.

Фонари, бросая отблески на головы лошадей, темную фигуру форейтора и развевающийся его плащ, творили сотни смутных видений, гармонировавших с его мыслями. Тени знакомых людей, склонившихся над конторками и книгами в памятной ему позе; странный облик человека, от которого он бежал, или облик Эдит; в звоне бубенчиков и стуке колес — слова, когда-то произнесенные. Путаница в представлении о времени и месте: прошлая ночь отодвинута на месяц назад, то, что было месяц назад, происходит прошлой ночью, родина то безнадежно далека, то совсем близка; волнение, разлад, гонка, тьма и смятение в нем и вокруг него. Э-ге-гей! Пошел! И галопом по черной равнине, вздымая пыль и разбрызгивая грязь, взмыленные лошади храпят и рвутся вперед, словно каждая несет на своей спине дьявола, и в диком торжестве мчатся по темной дороге — куда?

Снова налетает непонятный ужас, а когда он проносится мимо, бубенчики звенят в ушах: «Куда?» Колеса стучат: «Куда?» Все шумы и звуки повторяют этот крик. Отблески и тени пляшут, как чертенята, над головами лошадей. Теперь нельзя останавливаться, нельзя медлить! Вперед, вперед! Мчаться бешено по темной дороге!

Он не мог думать сколько-нибудь связно. Он не мог отделить один предмет размышления от другого настолько, чтобы хоть на минуту сосредоточиться только на нем. Рухнувшая надежда получить желанную награду за прежнее самообуздание, неудавшаяся измена человеку, всегда честному и великодушному по отношению к нему,

но чьи высокомерные слова и взгляды он хранил в памяти в течение многих лет (люди фальшивые и хитрые всегда втайне презирают и ненавидят того, перед кем пресмыкаются, и с затаенной злобой приносят дань уважения, зная, что оно ничего не стоит),— вот к чему возвращались его думы чаще всего. Глухую ненависть к женщине, которая заманила его в эту ловушку и отомстила за себя, он чувствовал все время; неясные, уродливые планы мести роились у него в голове; но все это терялось в тумане. Мысли быстро и непоследовательно сменяли одна другую. И пока он так лихорадочно и безуспешно пытался сосредоточиться, его упорно преследовала мысль, что лучше бы ему отложить размышления на какой-то неопределенный срок.

Потом ему вспомнились давно минувшие дни, предшествовавшие второму браку. Он вспомнил о том, как завидовал сыну, как завидовал дочери, с какою исключительной ловкостью удерживал на расстоянии всех, добивавшихся близкого знакомства, как обвел одураченного им человека чертой, через которую никто, кроме него, не мог переступить. А затем он подумал: неужели все это он сделал только для того, чтобы бежать теперь, как затравленный вор, от этого одураченного им бедняги?

Он готов был покончить с собой, карая себя за трусость, но эта трусость была поистине лишь тенью его поражения, неотделимой от него. Вера в свое собственное коварство пошатнулась от одного удара, он знал теперь, что был жалким орудием в руках другого человека, и это сознание парализовало его. Одержимый бессильной яростью, он ненавидел Эдит, ненавидел мистера Домби, ненавидел самого себя, но тем не менее он бежал и ничего другого не мог сделать.

Снова и снова он прислушивался, не раздается ли за его спиною стук колес. Снова и снова ему чудилось, будто этот стук становится все громче и громче. Наконец он до такой степени в этом убедился, что крикнул: «Стой!», даже задержку предпочитая такой неуверенности.

Это слово быстро остановило посреди дороги экипаж, лошадей, форейтора.

— Черт возьми! — крикнул форейтор, оглянувшись.— В чем дело?

— Прислушайся-ка! Что это такое?

— Что?

— Что это за шум?

— Ах, будь ты проклят, стой смирно, чертов разбойник! — С этими словами он обратился к лошади, тряхнувшей бубенчиками.— Какой шум?

— Сзади. Не скачет ли кто? Вот! Слышишь?

— Стой смирно, свиное рыло! — Это относилось к другой лошади, укусившей свою соседку, которая испугала двух других лошадей, а те рванулись вперед и остановились.— Никого там нет.

— Никого?

— Никого, разве что рассвет нас догоняет.

— Кажется, ты прав. Сейчас и я ничего не слышу. Вперед!

Сначала экипаж, полускрытый дымящимся облаком, поднимающимся над лошадьми, подвигается медленно, так как форейтор, которого зря задержали, угрюмо достает складной нож и прилаживает новый ремень к кнутовищу. Затем: «Э-ге-гей! Н-н-но-о! Пошел!» — и снова бешено мчатся вперед.

И вот потускнели звезды, забрезжил дневной свет, и, стоя в фаэтоне и оглядываясь, он мог различить дорогу позади и убедиться, что на ней не видно никого. И вскоре рассвело, и солнце осветило поля и виноградники; и дорожные рабочие, поодиночке выходя из своих лачуг, наспех поставленных возле какой-нибудь кучи камней на обочине, брались за дело или жевали хлеб. Затем показались крестьяне, шедшие на работу или на базар, или сидевшие у дверей бедных домиков, они лениво глазели на него, когда он проезжал мимо. И, наконец, показалась почтовая станция; перед ней была грязь по щиколотку, а вокруг — дымящиеся кучи навоза и полуразрушенные надворные строения. А на эту живописную картину взирал огромный старинный каменный замок, не защищенный деревьями от солнца; половина окон его была заколочена, зеленая плесень лениво ползла по стенам, поднимаясь от террасы с балюстрадой к остроконечным башенкам.

Угрюмо забившись в угол фаэтона, сосредоточившись на одном желании — двигаться побыстрее (правда,



иногда он вставал, и ехал стоя на протяжении целой мили, и смотрел назад — всякий раз, когда вокруг была открытая местность), он продолжал путь, по-прежнему откладывая размышления на неопределенный срок, попрежнему страдая от бесцельных мыслей.

Стыд, разочарование, сознание своего поражения глодали его сердце; не покидавшая его боязнь быть настигнутым или встретить кого-нибудь — ибо он беспричинно страшился даже путешественников, ехавших той же дорогой ему навстречу,— была ему не по силам. Нестерпимый ужас, овладевший им ночью, возвращался и днем. Однообразный звон бубенчиков и стук копыт, однообразие его тревоги и бессильной ярости, однообразное чередование страха, сожалений и гнева превратили это путешествие в какое-то видение, в котором не было ничего реального, кроме его собственных терзаний.

Это было видение: длинные дороги, тянувшиеся к горизонту, все время отступающему и недостижимому; скверно вымощенные города на холмах и в долинах, где в темных дверях и худо застекленных окнах появлялись чьи-то лица и где на длинных, узких улицах забрызганные грязью коровы и быки, выставленные рядами на продажу, бодались, мычали и получали удары дубинкой, которая могла проломить им голову; мосты, распятия, церкви, почтовые станции, свежие лошади, которых запрягали против их воли, и лошади последнего перегона, взмыленные и грустно стоявшие, понурив голову, у дверей конюшни; маленькие кладбища с черными покосившимися крестами на могилах и висевшими на них увядшими венками; снова длинные дороги, тянувшиеся в гору и под гору, к предательскому горизонту; утро, полдень и закат солнца, ночь и восход молодого месяца.

Это было видение: покинуть на время длинные дороги и ехать по скверной мостовой, трястись и громыхать по ней и смотреть на высокую колокольню, поднимавшуюся над крышами домов; выйти из экипажа и торопливо закусывать и большими глотками пить вино, которое не придает бодрости; идти пешком сквозь толпу нищих-слепцов с дрожащими веками (их вели старухи, подносившие зажженные свечи к их лицам), слабоумных, хромых, эпилептиков, разбитых параличом; пройти сквозь гул

голосов, смотреть из экипажа на обращенные к нему лица и протянутые руки, страшась, как бы не пробился вперед какой-нибудь преследователь; снова мчаться по длинной-длинной дороге, сидеть в тупом оцепенении, забившись в угол, вставать и смотреть туда, где месяц слабо освещает на много миль вперед все ту же бесконечную дорогу, или обернуться, чтобы поглядеть, кто следует за ним.

Не спать, но иногда дремать с открытыми глазами и, вздрогнув, вскочить и вслух отозваться на пригрезившийся оклик. Проклинать самого себя за то, что он находится здесь, за то, что бежал, за то, что дал ей уйти, за то, что не встретился с ним лицом к лицу и не бросил ему вызова. Смертельно враждовать со всем миром, но прежде всего — с самим собой. Ехать и все окружающее заражать своим мрачным унынием.

Это было лихорадочное видение: образы прошлого, перепутанные с образами настоящего; вся его жизнь и это бегство, слившиеся воедино. Бешено спешить куда-то, где он должен быть. Видеть, как старые сцены врываются в то новое, что попадалось ему на пути. Размышлять о минувшем и далеком, как будто не обращая внимания на встречающиеся предметы, но мучительно сознавать, что они его ошеломляют и образы их теснятся в его разгоряченном мозгу.

Это было видение: бесконечные перемены и все тот же однообразный звон бубенчиков, стук колес и копыт, и нет покоя. Города и деревни, почтовые станции, лошади, форейторы, холмы и долины, свет и тьма, дороги и мостовые, горы и лощины, дождь и вёдро, и все тот же однообразный звон бубенчиков, стук колес и копыт, и нет покоя. Это было видение: подъезжать, наконец, по более оживленным дорогам к далекой столице, огибать на полном скаку старинные соборы и мчаться через маленькие города и деревни, разбросанные теперь при дороге гуще, чем раньше, и сидеть, забившись в угол, прикрывая лицо плащом, когда прохожие смотрели на него.

Ехать все дальше и дальше, по-прежнему откладывая размышления на неопределенный срок, по-прежнему терзаясь мыслями; потерять представление о том, сколько часов длится эта езда, не различать ни времени, ни

места. Томиться от жажды и чувствовать головокружение и близость безумия. И все-таки рваться вперед, словно не можешь остановиться, и въехать в Париж, где мутная река невозмутимо катит свои быстрые воды между двух бурлящих потоков жизни.

Это все еще было видение, смутное видение: мосты, набережные, бесконечные улицы, винные лавки, водоносы, толпы людей, солдаты, кареты, военные барабаны, пассажи. Однообразный звон бубенчиков и стук колес и копыт, поглощенные, наконец, шумом и грохотом города. Постепенное замирание этого гула, когда он выехал в другом экипаже, через другую заставу. Снова однообразный звон,— в то время как он едет к берегу моря,— звон бубенчиков и стук колес и копыт, и нет покоя.

Снова закат солнца и вечерние сумерки. Снова длинные дороги, темная ночь и бледные огоньки в окнах вдоль обочины, и все тот же однообразный звон бубенчиков, и стук колес и копыт, и нет покоя. Рассвет, загорающийся день и восход солнца.

Это было видение: медленно подняться на холм и на вершине его почувствовать свежий морской ветер и увидеть отблески утреннего света на гребнях далеких волн. Спуститься в порт в разгар прилива и видеть возвращающиеся рыбачьи лодки и радостно ожидающих женщин и детей. Видеть сети и рыбацкую одежду, разложенные для просушки на берегу; видеть хлопотливых матросов и слышать их голоса высоко среди мачт и снастей; видеть неугомонную, сверкающую воду и всюду ослепительный блеск.

Удаляться от берега и смотреть на него с палубы, когда он становится туманной дымкой, кое-где прорезанной солнцем, освещающим землю. Зыбь, брызги и шепот спокойного моря. Другая серая полоса на воде, на пути судна, быстро светлеющая и вздымающаяся все выше. Утесы, дома, мельница, церковь, вырисовывающиеся все яснее и яснее. Войти, наконец, в тихие воды и пришвартоваться к пирсу, на котором группами стоят люди, приветствуя друзей на борту. Высадиться на берег, быстро пробраться сквозь толпу, сторониться всех и каждого и быть, наконец, снова в Англии.

В этой полудремоте ему пришла в голову мысль уехать в отдаленную деревню, которую он знал, притаиться там, разведать окольными путями, какие распространились слухи, и решить, как надлежит действовать. Все в том же состоянии притупления чувств и рассудка он вспомнил об одной железнодорожной станции, где ему нужно было делать пересадку и где была скромная гостиница. Он смутно подумал о том, что можно остановиться там и отдохнуть.

С такими намерениями он постарался как можно быстрее проскользнуть в вагон, лег, завернувшись в плащ и притворяясь спящим, и поезд быстро умчал его от моря в глубь страны, к зеленеющим полям. Прибыв на станцию, он выглянул из окна и внимательно осмотрелся. Воспоминание не обмануло его. Это было уединенное местечко на опушке небольшого леса. Только один дом виднелся там, специально выстроенный или перестроенный под станционное помещение и окруженный прекрасным садом; ближайший маленький городок находился на расстоянии нескольких миль. Здесь он вышел из вагона и, никем не замеченный, отправился прямо в таверну и занял две смежных комнаты, расположенных в стороне от остальных.

Он хотел отдохнуть и вновь обрести самообладание и душевное равновесие. Им овладело бессмысленное бешенство, и, шагая по своей комнате, он скрежетал зубами. Мысли его — от них невозможно было избавиться, невозможно было ими управлять — по-прежнему блуждали, не подчиняясь его воле, и увлекали его за собой. Он был оглушен и чувствовал смертельную усталость.

Но на нем, казалось, лежало проклятье: он не мог снова обрести покой, чувства были притуплены, но сознание не угасало. В этом отношении он владел своими чувствами не больше, чем если бы это были чувства другого человека. Они не принуждали его отмечать звуки и образы данной минуты, но их нельзя было отвлечь от смутного видения — его путешествия. Видение это все время было у него перед глазами. Эдит стояла, устремив на него мрачный, презрительный взгляд, а он мчался вперед, через города и деревни, сквозь свет и тьму, в дождь и вёдро, по дорогам и мостовым, по холмам и

долинам, в гору и под гору, измученный и запуганный однообразным звоном бубенчиков, стуком колес и копыт и невозможностью обрести покой.

— Какой у нас сегодня день? — спросил он лакея, накрывавшего на стол к обеду.

— Какой день, сэр?

— Сегодня среда?

— Среда, сэр? Нет, сэр. Четверг, сэр.

— Я забыл. Который час? У меня часы не заведены.

— Пять часов без нескольких минут, сэр. Вероятно, долго путешествовали, сэр?

— Да.

— По железной дороге, сэр?

— Да.

— Очень утомительно, сэр. Мне-то не часто случалось путешествовать по железной дороге, сэр, но об этом не раз говорили приезжие джентльмены.

— Много бывает приезжих?

— Много, сэр. Но сейчас никого нет. Затишье в делах, сэр. Всюду теперь затишье, сэр.

Он ничего не ответил. Приподнявшись с дивана, на котором лежал, он сел, оперся локтями на колени и уставился в пол. Он ни на минуту не мог сосредоточиться. Его мысли устремлялись куда попало, но ни на одно мгновенье не засыпали.

После обеда он выпил много вина, но тщетно. Такими искусственными средствами он не мог себя усыпить. Мысли, еще более бессвязные, еще безжалостнее увлекали его за собой, словно бешеные кони — приговоренного к смерти. Не было забвенья, и не было покоя.

Сколько времени он сидел, пил и думал, отданный во власть беспорядочным мыслям, — на это никто не мог ответить с меньшей уверенностью, чем он сам. Но он знал, что сидел долго перед горевшей на столе свечой; вдруг он вскочил и с ужасом стал прислушиваться.

Ибо на сей раз ему не почудилось. Земля дрожала, в доме дребезжали стекла, что-то неистово и стремительно неслось, рассекая воздух! Он чувствовал, как оно приблизилось и промчалось мимо. Но, подбежав к окну и увидев, что это такое, он тем не менее отшатнулся, словно смотреть было небезопасно.

Будь проклят этот огненный грохочущий дьявол, так плавно уносящийся вдаль, оставляющий за собой в долине отблеск света и зловещий дым и скрывающийся из виду! Каркеру чудилось, будто его быстро убрали с пути этого дьявола и спасли от опасности быть разорванным в клочья. Эта мысль заставила его содрогнуться и съежиться даже теперь, когда окончательно замер гул и на всем протяжении железнодорожного полотна, какое он мог видеть при свете луны, было безлюдно и тихо, как в пустыне.

Не в силах заснуть, чувствуя — а может быть, ему только казалось,— что его неудержимо влечет к этой дороге, он вышел из дому и стал бродить у самых рельсов, отмечая путь поезда по дымящейся золе, лежавшей на шпалах. Он брел около получаса в том направлении, где скрылся поезд, затем повернулся и пошел в противоположную сторону, по-прежнему вдоль полотна, мимо сада гостиницы и дальше, с любопытством посматривая на мосты, сигналы, фонари и задавая себе вопрос, когда же промчится еще один демон.

Содрогание земли, вибрирующие звуки, пронзительный далекий свисток, тусклый свет, превращающийся в два красных глаза, и разъяренный огонь, роняющий тлеющие угли; непреодолимое нарастание рева, резкий порыв ветра и грохот — еще один поезд промчался и исчез, а Каркер уцепился за калитку, словно спасаясь от него.

Он дождался следующего поезда, а затем еще одного. Он прошел тот же путь в обратную сторону, и снова вернулся, и — сквозь мучительные видения своего бегства — всматривался вдаль, не покажется ли еще одно из этих чудовищ. Он блуждал около станции, выжидая, чтобы одно из них здесь остановилось; а когда оно остановилось и его отцепили от вагонов, чтобы налить воды, он подошел к нему и стал рассматривать его тяжелые колеса и медную грудь и думать о том, какой жестокой силой и могуществом наделено оно. О, видеть, как эти огромные колеса начинают медленно вращаться, и думать о том, как они надвигаются на тебя и крушат кости!

Возбужденный вином и жаждою покоя — эту жажду, несмотря на крайнее его утомление, утолить было невоз-

можно,— он не переставал болезненно думать об этом. Когда он вернулся в свою комнату — было около полуночи,— эти мысли все еще преследовали его, и он сидел, прислушиваясь, не подходит ли еще один поезд.

Так было и в постели, когда он улегся, не надеясь заснуть. Он продолжал прислушиваться. Когда пол начинал содрогаться, он вставал, подходил к окну и наблюдал (отсюда это было видно), как тусклый свет превращается в два красных глаза, разъяренный огонь роняет тлеющие угли, с грохотом проносится чудовище и над долиной стелется тропа из искр и дыма. Затем он смотрел в ту сторону, куда решил уехать на восходе солнца (ибо здесь не было для него покоя), и снова он ложился в постель, тревожимый все тем же однообразным звоном бубенчиков и стуком колес и копыт, вплоть до прибытия следующего поезда. Так продолжалось всю ночь. Не овладев собою, он, казалось, все больше и больше терял над собою власть в эти ночные часы. Когда забрезжил рассвет, он все еще терзался прежними думами и все еще откладывал размышления до той поры, когда состояние его улучшится. Прошлое, настоящее и будущее смутно вырисовывались перед ним, все разом, а он утратил всякую способность сосредоточить внимание на чем-нибудь одном.

— Когда отходит мой поезд? — спросил он лакея, прислуживавшего ему накануне и вошедшего сейчас со свечой.

— Примерно в четверть пятого, сэр. Курьерский проходит в четыре часа, сэр. Он здесь не останавливается.

Он провел рукой по голове,— в висках молотками стучала кровь,— и посмотрел на часы. Было около половины четвертого.

— Кажется, вы один уезжаете, сэр,— заметил слуга.— Здесь остановились еще два джентльмена, сэр, но они ждут поезда в Лондон.

— Вы как будто говорили, что здесь никого нет,— сказал Каркер, повернувшись к нему и изобразив на своем лице подобие той улыбки, какою он улыбался, когда бывал разгневан или что-то подозревал.

— Тогда никого не было, сэр. Два джентльмена приехали ночью с поездом, который здесь останавливается. Принести теплой воды, сэр?

— Нет. И уберите свечу. Здесь достаточно светло для меня.

Он бросился полуодетый на постель и, как только слуга ушел, поспешил подойти к окну. Ночь отступила перед холодным рассветом, и на небе уже загоралось алое зарево восходящего солнца. Он смочил голову водой, умылся — это его ничуть не освежило,— поспешно оделся, уплатил по счету и вышел.

Его охватил неприятный холодок, вызывающий озноб. Выпала густая роса, и он задрожал, хотя и был разгорячен. Бросив взгляд на те места, где бродил ночью, и на сигнальные огни, слабо мерцавшие в утреннем свете и уже неспособные выполнять свое назначение, он повернулся в ту сторону, где восходило солнце, и увидел его во всем его великолепии, когда оно поднялось над горизонтом.

Какой несказанной, какой торжественной красотой сияло оно! Когда он смотрел потускневшими глазами, как оно восходит, ясное и безмятежное, равнодушное к тем преступлениям и злодеяниям, которые с начала мира совершались в сиянии его лучей,— кто станет утверждать, что в нем не пробудилось хотя бы смутное представление о добродетельной жизни на земле и награде за нее на небе?! Если когда-нибудь он мог вспомнить с нежностью и раскаянием о сестре или брате, кто станет утверждать, что он не вспомнил о них в тот миг?

Да, он должен был вспомнить, ибо час его пробил. Смерть надвигалась на него. Он был вычеркнут из списка живых и приближался к могиле.

Он заплатил за проезд до той деревни, где предполагал остановиться, и стал прохаживаться взад и вперед, посматривая вдоль железнодорожного пути: с одной стороны он видел долину, а с другой — темный мост. И вдруг, сделав поворот там, где оканчивалась деревянная платформа, по которой он прогуливался, он увидел человека, от которого бежал. Тот появился в дверях станционного здания, откуда вышел и он сам. И глаза их встретились.

Потрясенный, он пошатнулся и упал на рельсы. Но, тотчас поднявшись, он отступил шага на два, чтобы увеличить расстояние между собою и преследователем, и, дыша быстро и прерывисто, посмотрел на него.

Он услышал крик, и снова крик, увидел, что лицо, искаженное жаждой мести, помертвело и перекосилось от ужаса... почувствовал, как дрожит земля... мгновенно понял... оно приближается... испустил вопль... оглянулся... увидел прямо перед собой красные глаза, затуманенные и тусклые при дневном свете... был сбит с ног, подхвачен, втянут кромсающими жерновами... они скрутили его, отрывая руки и ноги и, иссушив своим огненным жаром ручеек его жизни, швырнули в воздух изуродованные останки.

Когда путешественник, которого узнал Каркер, очнулся, он увидел четверых людей, несущих на дощатых носилках что-то тяжелое и неподвижное, чем-то прикрытое, и увидел, как отгоняли собак, обнюхивавших железнодорожное полотно, и золою засыпали кровь.

ГЛАВА LVI

Многие довольны, а Бойцовый Петух возмущен

У Мичмана было очень оживленно. Наконец-то явились мистер Тутс и Сьюзен. Сьюзен бросилась, как одержимая, наверх, а мистер Тутс с Петухом прошли в гостиную.

— Ох, моя милая, дорогая, ненаглядная мисс Флой! — вскричала Нипер, врываясь в комнату Флоренс.— Кто бы мог подумать, что дело дойдет до этого, и я найду вас здесь, мою голубку, и нет рядом никого, кто бы вам услуживал, и нет у вас дома, который вы могли бы назвать родным, но больше я никогда не уйду от вас, мисс Флой! Я, быть может, и не обрастаю мхом, но я и не камень, который катится *, и сердце у меня не каменное, иначе оно бы не разрывалось так, как разрывается сейчас, ах, боже мой, боже мой!

Произнеся эту речь без малейших намеков на знаки

препинания, мисс Нипер опустилась на колени перед своей хозяйкой и крепко обняла ее.

— Дорогая моя! — продолжала Сьюзен.— Я знаю все, что случилось, все знаю, моя милочка, и я задыхаюсь, дайте мне воздуху!

— Сьюзен, милая, добрая Сьюзен! — сказала Флоренс.

— Господь с ней! Да ведь я ходила за ней еще девчонкой, когда она была совсем маленькой! И неужели она взаправду выходит замуж? — вскричала Сьюзен с грустью и восторгом, с гордостью и печалью и бог весть еще с какими противоречивыми чувствами.

— Кто вам это сказал? — спросила Флоренс.

— Ах, боже мой! Этот блаженный Тутс! — истерически ответила Сьюзен.— Я знала, что он не ошибается, дорогая моя, очень уж близко к сердцу он это принял. Этот Тутс — самый преданный и самый невинный младенец! Неужели же моя милочка,— продолжала Сьюзен, снова крепко обняв ее и залившись слезами,— взаправду выходит замуж?

Сострадание, радость, нежность, сожаление — все эти чувства, с какими Нипер беспрестанно упоминала об этом событии и при каждом упоминании поднимала голову, чтобы заглянуть в юное лицо и поцеловать его, а затем снова опускала голову на плечо своей хозяйки, лаская ее и плача,— казались в высшей степени женственными и очаровательными.

— Полно, полно! — успокоительным тоном сказала, наконец, Флоренс.— Ну, вот вы и пришли в себя, дорогая Сьюзен.

Мисс Нипер, смеясь и плача, сидела на полу, у ног своей хозяйки, одной рукой прижимала к глазам носовой платок, а другой гладила Диогена, лизавшего ей лицо. Она призналась, что начинает успокаиваться, и в доказательство этого снова засмеялась и всплакнула.

— Я... я... я никогда не видала такого создания, как этот Тутс,— сказала Сьюзен,— отроду не видывала!

— Он такой добрый,— заметила Флоренс.

— И такой потешный! — всхлипнула Сьюзен.— Как он разговаривал со мной, когда мы ехали в карете, а этот презренный Петух сидел на козлах!

— О чем, Сьюзен? — робко спросила Флоренс.

— О лейтенанте Уолтерсе, и капитане Джилсе, и о вас, дорогая мисс Флой, и о безмолвной могиле,— сказала Сьюзен.

— О безмолвной могиле? — повторила Флоренс.

— Он говорит,— тут Сьюзен разразилась истерическим смехом,— он говорит, что теперь сойдет в нее немедленно и с удовольствием, но не беспокойтесь, дорогая моя мисс Флой, он не сойдет, потому что слишком большое для него счастье видеть других людей счастливыми, он, может быть, и не Соломон,— своей обычной скороговоркой продолжала Нипер,— да я и не говорю, что он — Соломон, но одно я должна сказать: более бескорыстного человека свет еще не видывал!

После этого энергического заявления мисс Нипер, все еще пребывая в возбужденном состоянии, неудержимо расхохоталась, а затем сообщила Флоренс, что он ждет внизу, хочет ее повидать, и это послужит щедрой наградой за все его хлопоты во время последней экспедиции.

Флоренс поручила Сьюзен попросить сюда мистера Тутса, чтобы она могла поблагодарить его за доброе отношение, и через несколько секунд Сьюзен ввела в комнату этого молодого джентльмена, все еще весьма растрепанного и отчаянно заикающегося.

— Мисс Домби,— сказал мистер Тутс,— получить разрешение вновь... ли...лицезреть... или нет, не лицезреть... я хорошенько не знаю, что я хотел сказать, но это не имеет никакого значения.

— Мне так часто приходится вас благодарить, что у меня уже слов не осталось, и я не знаю, как поблагодарить вас сейчас,— отозвалась Флоренс, протягивая ему обе руки, и простодушная радость светилась на ее лице.

— Мисс Домби,— зловещим голосом сказал мистер Тутс,— если бы вы, не изменяя своей ангельской природы, могли проклясть меня, вы бы меня повергли — разрешите так выразиться — в меньшее смущение, чем сейчас этими незаслуженными мною добрыми словами. Они на меня так действуют... но,— резко оборвал мистер Тутс,— я отвлекся в сторону, и это не имеет ровно никакого значения.

Так как на это можно было ответить только новым изъявлением благодарности, то Флоренс снова его поблагодарила.

— Я бы хотел, мисс Домби,— сказал мистер. Тутс,— воспользоваться, если можно, этим случаем и кое-что разъяснить. Я бы имел удовольствие вер...вернуться с Сьюзен раньше. Но, во-первых, мы не знали фамилии родственника, к которому она поехала, а во-вторых, от этого родственника она уже успела переехать к другому, живущему довольно далеко. Потому вряд ли мы вообще нашли бы ее, если бы не прозорливость Петуха.

Флоренс была в этом уверена.

— Впрочем, суть дела не в этом! — сказал мистер Тутс.— Уверяю вас, мисс Домби, общество Сьюзен было для меня радостью и утешением, если принять во внимание мое душевное состояние, которое легче вообразить, чем описать. Путешествие уже само по себе являлось наградой. Впрочем, суть дела опять-таки не в этом! Мисс Домби, как я уже сообщал раньше, мне известно, что я не из тех, кого считают людьми смышлеными. Я это прекрасно знаю. Мне известно лучше, чем кому бы то ни было, какой я... если это не слишком грубое выражение, я бы сказал — какой я... тупоголовый. Но, несмотря на это, мисс Домби, я угадываю, каково положение дел в связи... в связи с лейтенантом Уолтерсом. Каких бы терзаний ни стоило мне это положение дел (это не имеет ровно никакого значения), я обязан сказать, что лейтенант Уолтерс — человек, по-видимому, достойный того блаженства, которое осенило его... его чело. Пусть наслаждается он этим блаженством как можно дольше и ценит его так, как его ценил бы совсем иной и в высшей степени недостойный человек, чье имя не имеет никакого значения! Впрочем, суть дела опять-таки не в этом! Мисс Домби, капитан Джилс — мой друг, и, мне кажется, он был бы доволен, если бы я иногда заглядывал сюда. Мне бы доставило удовольствие сюда заглядывать. Но я не могу забыть о том, что я однажды учинил, роковым образом, на углу площади в Брайтоне. И если мое присутствие хоть сколько-нибудь вам неприятно, прошу вас сказать мне это сейчас же, и будьте уверены, что я вас прекрасно пойму. Я отнюдь не сочту это несправедливым, а

буду только счастлив тем, что вы удостоили меня своим доверием.

— Мистер Тутс,— ответила Флоренс,— если бы вы, такой старый и верный мой друг, перестали приходить теперь сюда, я чувствовала бы себя очень несчастной. Мне всегда, всегда приятно вас видеть!

— Мисс Домби,— сказал мистер Тутс, доставая носовой платок,— если я проливаю сейчас слезы, то это слезы радости. Это не имеет никакого значения, и я вам глубоко признателен. Разрешите вам сказать, что после ваших ласковых слов я не намерен более пренебрегать своей особой.

Флоренс выслушала это сообщение с очаровательным недоумением.

— Вот что я имею в виду,— сказал мистер Тутс,— как человек, живущий с себе подобными, я буду почитать своим долгом, пока меня не призовет безмолвная могила, заботиться о своем внешнем виде и... и носить хорошо вычищенные башмаки, поскольку... поскольку это позволяют обстоятельства. Мисс Домби, в последний раз я осмелился сделать замечание, так сказать, личного свойства. Я вам чрезвычайно признателен. Если вообще я и не так понятлив, как было бы желательно моим друзьям или мне самому, то, клянусь честью, я превосходно понимаю все, что великодушно и деликатно. Я чувствую,— с жаром произнес мистер Тутс,— что сейчас я мог бы замечательным образом выразить свои чувства, если бы... если бы только знал, с чего начать.

Подождав минуту, не осенит ли его знание, и, повидимому, убедившись, что ждать бесполезно, мистер Тутс поспешил откланяться и спустился вниз поискать капитана, которого нашел в лавке.

— Капитан Джилс,— обратился к нему мистер Тутс,— то, что я имею вам сейчас сообщить, должно храниться в глубокой тайне. Это вытекает из той беседы, какую мы с мисс Домби вели там наверху.

— На верхушке мачты, приятель? — пробормотал капитан.

— Вот именно, капитан Джилс! — сказал мистер Тутс, выражая свое согласие с большим жаром, ибо ему было совершенно непонятно, что хочет капитан ска-

зать.— Капитан Джилс, мне кажется, мисс Домби в скором времени сочетается браком с лейтенантом Уолтерсом?

— Совершенно верно, приятель. Мы здесь все товарищи по плаванию... Уольр и Отрада Сердца соединятся узами брака, как только будет покончено с оглаской,— шепнул ему на ухо капитан Катль.

— С оглаской, капитан Джилс? — повторил мистер Тутс.

— Вон там, в той церкви,— сказал капитан, указывая большим пальцем через плечо.

— Ах, да! — отозвался мистер Тутс.

— А что за этим последует? — хриплым шепотом продолжал капитан, похлопав мистера Тутса по груди тыльной стороною ладони, отступив на шаг и взирая на него с восторженной физиономией.— Потом это милое создание, взлелеянное, как заморская птичка, отплывет вместе с Уольром. в Китай по волнам ревущего океана.

— Ах, боже мой, капитан Джилс! — сказал мистер Тутс.

— Да! — кивнул головой капитан.— Корабль, подобравший его, когда он потерпел крушение во время урагана, и в свою очередь отнесенный этим ураганом в сторону от курса, оказался торговым судном, совершающим рейсы в Китай, и Уольр совершил на нем плавание и снискал всеобщее расположение как на борту, так и на суше, потому что он на редкость расторопный и славный парень. И так как суперкарго * умер в Кантоне, Уольр получил это место (он и раньше служил клерком), а теперь он назначен суперкарго на другое судно, принадлежащее тем же хозяевам. И вот, как видите,— задумчиво повторил капитан,— милое создание отплывает вместе с Уольром в Китай по волнам ревущего океана.

Мистер Тутс и капитан Катль дружно испустили вздох.

— Ну что ж,— сказал капитан.— Она крепко его любит. Он крепко ее любит. Те, кто бы должен был любить ее и лелеять, поступили с ней как дикие звери. Когда она, изгнанная из родного дома, пришла сюда ко мне и упала вот здесь, на полу, раненое ее сердце разбилось. Я это знаю. Я, Эдуард Катль, вижу это. И только

искренняя, нежная, крепкая любовь может его исцелить. Если бы я этого не знал, если бы, братец, я не знал, что она любит Уольра, а Уольр — ее, я бы скорее отрубил вот эти руки и ноги, но не отпустил бы ее в плавание. Но я это знаю. Что же дальше? А вот дальше я говорю: господь да благословит их обоих, и да будет так! Аминь!

— Капитан Джилс,— сказал мистер Тутс,— доставьте мне удовольствие, разрешите пожать вам руку. Вы умеете говорить так, что приятная теплота разливается у меня по спине. *Я* тоже скажу — аминь. Вам известно, капитан Джилс, что и я обожал мисс Домби.

— Не унывайте! — сказал капитан, положив руку на плечо мистера Тутса.— Держитесь крепче, приятель!

— Я и сам, капитан Джилс,— ответил, приободрившись, мистер Тутс,— я и сам намерен не унывать. И по мере сил держаться крепче. Когда разверзнется безмолвная могила, капитан Джилс, я буду готов к погребению, но все в свое время. А теперь я не уверен в своей способности владеть собою и хотел бы просить вас как об особом одолжении передать лейтенанту Уолтерсу... передать следующее...

— Передать следующее,— повторил капитан.— Смелей!

— Мисс Домби была бесконечно добра,— продолжал мистер Тутс со слезами на глазах,— и сказала, что мое присутствие ей не только не неприятно, а как раз наоборот. И вы и все здесь были не менее терпеливы и снисходительны по отношению к тому, кто... кто, право же, родился как будто по ошибке,— сказал мистер Тутс, на минуту утратив бодрость.— И... поэтому я буду заглядывать сюда по вечерам то недолгое время, пока мы можем посидеть все вместе. Но вот о чем я прошу. Если вдруг случится так, что я не в силах буду созерцать блаженство лейтенанта Уолтера и сорвусь с места, убегу, надеюсь, капитан Джилс, и вы и он будете это рассматривать как мое несчастье, а не как вину или нежелание бороться с самим собой. Я надеюсь, вы будете твердо убеждены в том, что я ни к кому не питаю зла — меньше всего к самому лейтенанту Уолтерсу,— и скажете вскользь, что я вышел прогуляться или, может быть,

посмотреть, который час по часам Королевской биржи. Капитан Джилс, если вы можете заключить такое соглашение и поручиться за лейтенанта Уолтерса, мне это принесет великое облегчение, ради которого я бы с радостью пожертвовал значительной частью своего состояния.

— Ни слова больше, приятель! — ответил капитан.— Какой бы флаг вы ни выбросили, мы с Уольром примем сигнал и ответим на него.

— Капитан Джилс,— сказал мистер Тутс,— я испытываю величайшее облегчение. Я хочу, чтобы здесь сохранилось обо мне доброе мнение. Честное слово, у... у меня хорошие намерения, хотя бы я и не умел этого показать. Знаете ли, это точь-в-точь так же, как если бы Берджес и К° пожелали изготовить заказчику изумительную пару брюк и не могли бы выкроить их в соответствии со своими замыслами.

Приведя этот удачный пример, казалось, заставивший его немножко возгордиться, мистер Тутс пожелал капитану Катлю всех благ и удалился.

Честный капитан, видя у себя в доме Отраду Сердца и ухаживающую за ней Сьюзен, сиял и был счастливейшим человеком. По мере того как шли дни, он все больше сиял и становился все более счастливым. После ряда совещаний с Сьюзен (к ее уму капитан питал глубокое уважение, а доблестной ее решимости противостоять миссис Мак-Стинджер он не мог забыть) капитан предложил Флоренс, чтобы временно приглашенная для всяких домашних работ дочь пожилой леди, обычно восседавшей под синим зонтиком на Леднхоллском рынке, была замещена, из благоразумия и ради сохранения тайны, какой-нибудь другой знакомой им особой, которой бы они могли спокойно довериться. Тогда Сьюзен, присутствовавшая при этом разговоре, назвала миссис Ричардс, о которой предварительно уже намекала капитану. Услышав это имя, Флоренс просияла. И в тот же день Сьюзен отправилась в обитель Тудлей, чтобы выведать намерения миссис Ричардс, а вечером вернулась с триумфом в сопровождении Поли, все такой же румяной, с лицом, похожим на яблоко, которая при виде Флоренс выразила свои чувства едва ли с меньшей нежностью, чем сама мисс Нипер.

Когда с этим делом государственной важности было покончено — а это доставило капитану необычайное удовольствие (впрочем, ему доставляло удовольствие решительно все, что бы ни делалось),— Флоренс оставалось еще подготовить Сьюзен к предстоящей разлуке. Это была значительно более трудная задача, так как мисс Нипер отличалась непреклонным нравом и твердо решила, что вернулась она для того, чтобы больше никогда не расставаться со своей хозяйкой.

— Что касается жалованья, дорогая мисс Флой,— сказала она,— то вы о нем и не заикайтесь и не обижайте меня; у меня есть сбережения, и в такое время, как сейчас, я бы не стала продавать свою любовь и услуги, даже если бы никакого дела не имела со сберегательной кассой или если бы все кассы пошли прахом. Но вы, милочка, с той поры, как скончалась ваша бедная матушка, никогда не разлучались со мной, и хотя нет у меня таких заслуг, которыми можно похвастаться, но вы, дорогая моя хозяйка, привыкли ко мне за столько лет, и вы даже и не думайте о том, чтобы уехать куда-нибудь без меня, потому что этого не может и не должно быть.

— Дорогая Сьюзен, я отправляюсь в далекое-далекое путешествие.

— Ну, так что ж, мисс Флой? Тем больше я могу вам понадобиться. Для меня расстояние, слава богу, не служит препятствием! — сказала пылкая Сьюзен Нипер.

— Но я еду с Уолтером, Сьюзен, и с Уолтером я поеду куда угодно — повсюду! Уолтер беден, и я очень бедна, и мне нужно научиться жить так, чтобы обходиться без посторонней помощи и помогать Уолтеру.

— Дорогая мисс Флой! — снова вскричала Сьюзен, энергически тряхнув головой.— Вам нечего учиться тому, как обходиться без посторонней помощи, помогать другим и быть самым терпеливым, преданным и благородным созданием, но позвольте мне, милочка, поговорить с мистером Уолтером Гэем и решить совместно с ним этот вопрос, потому что я не могу допустить, чтобы вы одна отправились в такое путешествие. Не могу и не хочу.

— Одна, Сьюзен? — возразила Флоренс.— Одна? Да ведь Уолтер берет меня с собою! — Ах, какая ясная, удивленная, восторженная улыбка осветила ее лицо! Жаль,

что Уолтер ее не видел.— Я уверена, что вы не будете говорить с Уолтером, если я попрошу вас не делать этого,— ласково добавила она.— Пожалуйста, не говорите с ним, дорогая!

Сьюзен всхлипнула:

— Почему не говорить, мисс Флой?

— Потому что я выхожу за него замуж, чтобы отдать ему сердце и жить с ним и умереть с ним! — ответила Флоренс.— Если вы ему скажете то, что сказали мне, он может подумать, будто я боюсь той жизни, какая мне предстоит, или будто у вас есть основания тревожиться за меня. Сьюзен, милая, ведь я люблю его!

Мисс Нипер была так растрогана этими нежными словами и их простодушной, прочувствованной, глубокой серьезностью, которая осветила лицо Флоренс, сделав его еще более чистым и прекрасным, что могла только снова обнять ее, восклицая: «Неужели моя маленькая хозяйка взаправду выходит замуж?!» — и жалеть ее и ласкать, как делала это раньше.

Но Нипер, хотя и не чуждая женских слабостей, умела обуздать себя едва ли не с таким же успехом, как и атаковать грозную Мак-Стинджер. Она больше ни разу не возвращалась к этой теме и все время была веселой, энергичной, хлопотливой и бодрой. Мистеру Тутсу она сообщила по секрету, что только на это время «взяла себя в руки», а когда все будет кончено и мисс Домби уедет, она, по всей вероятности, будет представлять собою жалкое зрелище. Мистер Тутс в свою очередь заявил, что находится в таком же положении и что они могут вместе проливать слезы. Но в присутствии Флоренс и во владениях Мичмана она не давала воли своим чувствам.

Как ни был скромен и прост гардероб Флоренс (какой контраст с нарядами, заказанными к последней свадьбе, на которой она присутствовала!), нужно было немало потрудиться, чтобы все приготовить, и Сьюзен Нипер работала вместе с Флоренс с таким усердием, что его хватило бы на пятьдесят портних. Немало места занял бы перечень тех изумительных вещей, какими капитан Катль хотел — если бы это ему было разрешено — пополнить гардероб. В список входили: розовые зонтики, цветные шелковые чулки, синие туфли и другие предметы,

в такой же мере необходимые на борту корабля. Однако путем различных уловок и уговоров его заставили ограничить свои подношения рабочей шкатулкой и ящиком с туалетными принадлежностями, причем он купил самые громоздкие образцы, какие только можно было достать за деньги. Затем в течение десяти дней или двух недель он обычно просиживал большую часть дня, погруженный в созерцание этих ящиков, то предаваясь крайнему восхищению, то терзаясь опасениями, что они недостаточно великолепны, и часто убегал из дому, чтобы купить еще какую-нибудь вещицу, которую считал необходимой для пополнения комплекта. Но самый ловкий ход он проделал однажды утром, когда вдруг унес оба ящика и приказал выгравировать два слова «Флоренс Гэй» на бронзовом сердце, врезанном в крышку каждого из них. После этого он в полном одиночестве выкурил подряд четыре трубки в маленькой гостиной, а по истечении этого срока его застали на том же месте все еще ухмыляющимся.

Уолтер целыми днями был занят, но каждое утро заходил повидать Флоренс и всегда проводил с нею вечер. Флоренс сидела у себя наверху и только перед его приходом спускалась вниз и ждала его или, опираясь на его руку, с гордостью обнимавшую ее, провожала его до двери и иногда выглядывала на улицу. В сумерках они всегда бывали вместе. О, блаженное время! Мятущееся сердце, нашедшее покой! О, глубокий, неиссякаемый, могучий источник любви, столь многое поглотивший!

След от жестокого удара еще не изгладился на ее груди. С каждым ее вздохом он свидетельствовал против ее отца, он оставался между нею и ее возлюбленным, когда тот прижимал ее к своему сердцу. Но она забыла о нем. Биение этого сердца, жившего ею, биение ее собственного сердца, жившего Уолтером, заглушало все грубые звуки, заставляло забыть обо всех суровых сердцах, чуждых любви. Она была хрупкой и нежной, но сила ее любви могла создать и создала для нее мир, где она нашла приют и покой.

Как часто величественный дом и минувшие дни всплывали в ее памяти в сумерках, когда ее с такой гордостью и любовью защищала рука Уолтера; и она теснее прижималась к нему и вздрагивала при этих мыслях! Как

часто, вспоминая ту ночь, когда она вошла в комнату отца и встретила взгляд, которого она никогда не забудет, Флоренс поднимала глаза на того, кто смотрел на нее с такой любовью, и плакала от счастья в его объятиях! Чем сильнее привязывалась она к нему, тем чаще думала о дорогом умершем мальчике. Но воспоминания Флоренс об отце — словно в последний раз она видела его тогда, когда он спал, а она его поцеловала,— воспоминания Флоренс о нем всегда обрывались на этом часе.

— Уолтер, дорогой мой,— сказала Флоренс однажды вечером, когда уже почти стемнело,— знаешь, о чем я думала сегодня?

— О том, как летит время, милая Флоренс, и о том, что скоро ли уже отправимся мы в плавание?

— Я не это имею в виду, Уолтер, хотя я думаю и об этом. Я думала о том, какое я для тебя бремя.

— Дорогое, священное бремя, моя милая! Мне самому случается об этом думать.

— Ты смеешься, Уолтер. Я знаю, что ты об этом думаешь гораздо больше, чем я. Но сейчас я говорю о расходах.

— О расходах, дорогая моя?

— Да, о денежных расходах. Все эти приготовления, которыми мы занимаемся с Сьюзен... Я очень мало могла купить на свои средства. Ты и прежде был беден. Но я тебя сделаю гораздо беднее, Уолтер!

— И гораздо богаче, Флоренс!

Флоренс засмеялась и покачала головой.

— А кроме того, дорогая моя,— продолжал Уолтер,— давно-давно, перед тем как я отправился в плавание, я получил в подарок маленький кошелек, в котором были деньги.

— Ах, их было очень мало! — грустно усмехнувшись, возразила Флоренс.— Очень мало, Уолтер! Но ты не думай,— и она положила свою маленькую руку ему на плечо и заглянула ему в глаза,— не думай, будто я жалею о том, что стала для тебя бременем. Нет, дорогой, я этому рада. Для меня это счастье. Я бы ни за что на свете не хотела, чтобы случилось иначе!

— И я бы не хотел, дорогая Флоренс.

— Да, Уолтер, но ты не можешь почувствовать это так, как чувствую я. Я так горжусь тобой! Для меня такое наслаждение сознавать, что все, кто знает тебя, будут говорить о том, как ты женился на бедной, всеми отвергнутой девушке, которая нашла здесь приют, у которой не было ни дома, ни друзей, не было ничего — ничего! О Уолтер, если бы я могла принести тебе миллионы, я не была бы так счастлива за тебя, как теперь!

— А ты, дорогая Флоренс! Разве ты сама ничего не стоишь? — возразил он.

— Ничего, Уолтер! Я только твоя жена.— Маленькая ручка обвилась вокруг его шеи, и голос зазвучал совсем близко.— Все, что у меня есть,— это ты. Все мои надежды связаны с тобой. Кроме тебя, нет у меня ничего дорогого!

О, в тот вечер у мистера Тутса и в самом деле были основания покидать маленькое общество и дважды ходить проверять свои часы по часам Королевской биржи, один раз отправиться на свидание с банкиром, о котором он вдруг вспомнил, и один раз пройтись до Олдгетской водокачки и обратно.

Но еще до той поры, когда он предпринял эти экскурсии, и даже до его прихода, когда еще не зажигали свечей, Уолтер сказал:

— Флоренс, милая, погрузка нашего корабля почти закончена, и, вероятно, как раз в день нашей свадьбы он спустится к устью реки. Не уехать ли нам в то утро и не пожить ли в Кенте, а через неделю мы сядем на корабль в Грейвзенде?

— Как хочешь, Уолтер. Я везде буду счастлива. Но...

— Что, дорогая?

— Ты знаешь, что у нас не будет пышной свадьбы,— сказала Флоренс,— и по платью никто не узнает в нас жениха с невестой. Так как мы в тот же день уедем, не проводишь ли ты меня в одно место, Уолтер... рано утром... прежде чем идти в церковь?

Уолтер, по-видимому, понял ее — так понимает человек искренне любящий и любимый — и скрепил свое обещание поцелуем, быть может не одним, а двумя, тремя, пятью или шестью. И в этот спокойный, безмятежный, торжественный вечер Флоренс была очень счастлива.

Затем в тихой комнате появилась Сьюзен Нипер вместе со свечами, а вслед за нею чай, капитан и непоседливый мистер Тутс, который, как упомянуто выше, частенько отлучался и провел довольно беспокойный вечер. Впрочем, это отнюдь не соответствовало его привычкам: обычно он чувствовал себя прекрасно, играя с капитаном в криббедж под руководством мисс Нипер и занимаясь вычислениями, связанными с игрой, которая оказалась превосходным средством для того, чтобы довести его до полного отупения.

В такие вечера физиономия капитана отражала удивительно разнообразные чувства. Его природная деликатность и рыцарское отношение к Флоренс подсказали ему, что сейчас не время для шумного веселья и бурных проявлений радости. Но, с другой стороны, воспоминания о «Красотке Пэг» все время готовы были вырваться на волю и побуждали капитана осрамить себя каким-нибудь недопустимым излиянием. Иной раз восхищение Флоренс и Уолтером, сидевшими поодаль (это была действительно прекрасная пара, пленявшая своей юностью, любовью и красотой), до такой степени овладевало капитаном, что он клал на стол карты и взирал на них с лучезарной улыбкой, вытирая голову носовым платком, пока стремительное бегство мистера Тутса не возвещало ему, что он неумышленно усугубляет страдания этого джентльмена. Такая мысль вызывала у капитана глубокую меланхолию, рассеивавшуюся с возвращением мистера Тутса; тогда он снова брался за карты и, исподтишка подмигивая, кивая головой и учтиво помахивая крючком, давал понять мисс Нипер, что больше это не повторится. В таких случаях физиономия капитана представляла, быть может, наибольший интерес: стараясь сохранить невозмутимый вид, он сидел тараща глаза, а на лице его отражались все чувства одновременно и боролись друг с другом. Восхищение Флоренс и Уолтером всегда одерживало верх над остальными и открыто праздновало победу до тех пор, пока мистер Тутс не выбегал снова на улицу, а тогда капитан сидел с видом кающегося грешника вплоть до нового его возвращения, тихим, укоризненным голосом приказывая самому себе «держаться крепче» или ворчливо упрекая «Эдуарда Катля,

приятеля» в неосмотрительности, отличавшей его поведение.

Но одному из самых тяжких испытаний мистер Тутс подвергся по собственному желанию. Накануне того воскресенья, когда в церкви должна была происходить последняя «огласка», о которой говорил капитан, мистер Тутс в следующих выражениях высказал свои чувства Сьюзен Нипер.

— Сьюзен,— сказал мистер Тутс,— меня тянет в эту церковь. Слова, навеки отторгающие меня от мисс Домби, прозвучат, знаете ли, в моих ушах, как похоронный звон, но, клянусь честью, я чувствую, что должен их услышать. Поэтому,— сказал мистер Тутс,— не согласитесь ли вы пойти со мной завтра в это священное здание?

Мисс Нипер изъявила готовность пойти, если это доставит удовольствие мистеру Тутсу, но упрашивала его отказаться от своей затеи.

— Сьюзен! — торжественно возразил мистер Тутс.— Еще в ту пору, когда моих усов не замечал никто, кроме меня, я обожал мисс Домби. Еще в те времена, когда я был в рабстве у Блимбера, я обожал мисс Домби. Когда меня по закону уже нельзя было долее отстранять от владения моим имуществом и... и я вступил во владение, я обожал мисс Домби. Оглашение, которое передает ее лейтенанту Уолтерсу, а меня предает, знаете ли... предает... отчаянию,— сказал мистер Тутс, подыскав сильное выражение,— может подействовать ужасно и подействует ужасно, но я чувствую, что мне бы хотелось его услышать. Мне хотелось бы знать, что у меня поистине нет почвы под ногами и нет надежды, которую бы я мог лелеять, и... и, короче говоря, нет ноги, на которой бы я мог стоять.

Сьюзен Нипер могла только посочувствовать печальному положению мистера Тутса и согласилась его сопровождать, что она и сделала на следующее утро.

Церковь, которую Уолтер выбрал для этой цели, была замшелой, старой церковью, расположенной в лабиринте глухих улиц и дворов; ее окружало маленькое кладбище, и сама она была словно погребена в своеобразном склепе, ограниченном стенами соседних домов и вымощенном гулкими камнями. Это было большое, темное, ветхое зда-

ние с высокими старыми дубовыми скамьями, на которых в воскресенье сиротливо сидели десятка два людей; голос священника сонно звучал в пустоте, а орган ревел и ворчал, как будто церковь страдала коликами от ветра и сырости, пробравшимися сюда ввиду малочисленности паствы. Но эта церковь в Сити отнюдь не могла пожаловаться на отсутствие компании — шпицы других церквей теснились вокруг нее, как корабельные мачты на реке. Столько их было, что, взобравшись на колокольню, вряд ли удалось бы их сосчитать. Чуть ли не в каждом соседнем дворе и тупике стояла церковь. В то воскресное утро, когда сюда пришли Сьюзен и мистер Тутс, колокола звонили оглушительно. Двадцать церквей, расположенных бок о бок, зазывали народ.

Две заблудившиеся овцы были загнаны бидлом на удобную скамью, и так как было еще рано, они сидели и считали прихожан, прислушивались к колоколу, заунывно гудевшему высоко на колокольне, и смотрели на бедно одетого старичка, который стоял на паперти за загородкой и, вдев ногу в стремя, подпрыгивал, словно непомерной величины малиновка, заставляя гудеть упомянутый колокол, как бык в песенке про Петушка Робина *. Мистер Тутс, после долгого созерцания больших книг на пюпитре, шепнул мисс Нипер, что ему хотелось бы знать, где хранятся оглашения, но эта молодая леди только покачала головой и нахмурилась, уклоняясь от всяких разговоров о вещах преходящих.

Однако мистер Тутс, который, казалось, был не в силах отвлечься от мысли об оглашении, явно искал его глазами, пока шла первая часть службы. Когда настало время прочесть оглашение, бедный молодой джентльмен обнаружил признаки величайшей тревоги и смятения, которые ничуть не ослабели при неожиданном появлении капитана в первом ряду на хорах. Когда клерк подал священнику список, мистер Тутс, сидевший в ту минуту на скамье, ухватился руками за сиденье; когда же были громко прочтены имена Уолтера Гэя и Флоренс Домби, оглашенные в третий и последний раз, мистер Тутс до такой степени потерял самообладание, что выбежал из церкви без шляпы, а за ним последовали бидл, прислужница и два джентльмена с медицинским образованием,

случайно здесь присутствовавшие; первый из них вскоре вернулся за шляпой и шепотом сообщил мисс Нипер, что она может не беспокоиться о джентльмене, так как джентльмен сказал, что его недомогание не имеет никакого значения.

Мисс Нипер, чувствуя, что глаза всей той части Европы, которая еженедельно размещалась на скамьях с высокими спинками, устремлены на нее, была бы в достаточной мере смущена этим инцидентом, даже если бы тем дело и кончилось; и тем более была она смущена, что капитан в первом ряду на галерее обнаруживал крайнюю заинтересованность, которая не могла не внушить собранию мысль, что он имеет какое-то таинственное отношение к происшествию. Но величайшее беспокойство мистера Тутса мучительно усугубило затруднительность ее положения. Этот молодой джентльмен, находясь в описанном состоянии духа, не в силах был оставаться на церковном дворе и в одиночестве предаваться размышлениям; к тому же он несомненно хотел засвидетельствовать свое уважение к церковной службе, которой отчасти помешал. Вот почему он внезапно вернулся, но вместо того, чтобы усесться на прежнюю скамью, расположился на одном из бесплатных мест в нефе между двумя пожилыми особами женского пола, имевшими обыкновение еженедельно получать свою порцию хлеба, разложенного на полке у самого входа в церковь. В этой компании и оставался мистер Тутс (приводя в смятение прихожан, которые не могли не смотреть на него), пока волнение не побороло его вновь, после чего он удалился молча и неожиданно. Не осмеливаясь показаться еще раз в церкви и тем не менее желая хоть как-нибудь приобщиться к тому, что там происходило, мистер Тутс с растерянным видом заглядывал то в одно, то в другое окно; а так как было несколько окон, доступных для него снаружи, и так как беспокойство его было очень велико,— угадать, в котором окне он появится в следующий раз, оказалось делом очень трудным, и вся паства, воспользовавшись относительным досугом, предоставленным ей проповедью, ощутила непреодолимую потребность взвешивать шансы различных окон. Блуждания мистера Тутса по церковному двору были столь эксцентричными, что большей частью

он разбивал все вычисления и появлялся, словно волшебник, там, где его менее всего ожидали, а впечатление от этих таинственных появлений значительно усиливалось благодаря тому, что ему трудно было разглядеть что-нибудь внутри, а всем прочим — легко разглядеть происходящее снаружи. Это обстоятельство каждый раз побуждало его прижиматься лицом к оконному стеклу дольше, чем следовало ожидать, а затем он внезапно скрывался из виду, заметив, что все взоры устремлены на него.

Такое поведение мистера Тутса, а также величайшая заинтересованность, обнаруженная капитаном, сделали положение мисс Нипер столь ответственным, что она почувствовала глубокое облегчение при окончании службы. Отнюдь не с обычной своею приветливостью она отнеслась к мистеру Тутсу, когда тот на обратном пути уведомил ее и капитана, что теперь, удостоверившись в отсутствии всякой надежды, он, знаете ли, почувствовал успокоение, или, собственно говоря, не успокоение, но... он с бо́льшим спокойствием относится к постигшему его несчастью.

Быстро летело теперь время, и настал последний вечер перед свадьбой. Во владениях Мичмана все собрались в комнате наверху и не боялись, что их кто-нибудь потревожит, так как в доме не было теперь посторонних, и он находился в полном распоряжении Мичмана. В ожидании завтрашнего дня все были сдержаны и сосредоточены, и, однако, в меру веселы. Флоренс, возле которой сидел Уолтер, заканчивала вышиванье — прощальный подарок капитану. Капитан играл с мистером Тутсом в криббедж. Мистер Тутс совещался о своих ходах с Сьюзен Нипер. Мисс Нипер давала ему советы с должной таинственностью и осмотрительностью. Диоген к чему-то прислушивался и время от времени разражался хриплым, приглушенным лаем, но затем всякий раз казался слегка пристыженным, словно сомневаясь, был ли у него повод лаять.

— Тише, тише! — сказал капитан Диогену.— Что с тобой приключилось? Сегодня ты как будто встревожен чем-то, приятель!

Диоген завилял хвостом, но тотчас же насторожился и еще раз отрывисто тявкнул, после чего извинился перед капитаном, снова завиляв хвостом.

— Мне кажется, Ди,— сказал капитан, задумчиво разглядывая свои карты и поглаживая подбородок крючком,— мне кажется, ты слегка не доверяешь миссис Ричардс. Но если ты именно такой пес, каким я тебя считаю, ты изменишь свое мнение, потому что ее лицо служит ей порукой. Ну, братец,— обратился он к мистеру Тутсу,— если вы готовы, отчаливайте!

Капитан говорил с полным спокойствием, уделяя все внимание игре, но внезапно карты выпали у него из рук, рот и глаза широко раскрылись, ноги оторвались от пола и вытянулись как палки, и он застыл, с бесконечным изумлением глядя на дверь. Окинув взглядом присутствующих и убедившись, что никто из них не смотрит на него и не замечает причины его странного поведения, капитан, испустив громкий вздох, пришел в себя, изо всех сил ударил кулаком по столу, крикнул громовым голосом: «Соль Джилс, эхой!» — и упал в объятия потрепанного непогодой горохового пальто, которое появилось в комнате вместе с Полли.

Еще мгновенье — и Уолтер очутился в объятиях потрепанного непогодой горохового пальто. Еще мгновенье — и Флоренс очутилась в объятиях потрепанного непогодой горохового пальто. Еще мгновенье — и капитан Катль обнял миссис Ричардс и мисс Нипер и, размахивая над головою крючком, с жаром пожимал руку мистеру Тутсу, восклицая: «Ура, приятель, ура!», на что мистер Тутс, решительно не понимая, что же это такое происходит, отвечал очень учтиво: «Разумеется, капитан Джилс, все, что вы сочтете нужным».

Потрепанное непогодой гороховое пальто и не менее потрепанные непогодой шапка и шарф оторвались от капитана и Флоренс, чтобы снова обратиться к Уолтеру, и послышались какие-то звуки, напоминающие рыдания старика, а мохнатые рукава крепко обхватили Уолтера. Потом наступила полная тишина, и капитан с большим усердием стал полировать себе нос. Но когда гороховое пальто, шапка и шарф оторвались от Уолтера, Флоренс потихоньку приблизилась к этим предметам туалета. И когда она вместе с Уолтером их сняла, перед ними предстал старый мастер судовых инструментов, слегка похудевший, в старом своем валлийском парике, и в ста-



ром кофейного цвета сюртуке с большими пуговицами, и со старым непогрешимым своим хронометром, тикающим в кармане.

— Начинен по горло науками, как и в былые времена! — воскликнул сияющий капитан.— Соль Джилс, Соль Джилс, где же это вы скитались столько времени, старый приятель?

— Я чуть не ослеп, Нэд, и почти оглох и онемел от радости,— сказал старик.

— Его собственный голос! — воскликнул капитан, озираясь вокруг с таким восхищением, которого, пожалуй, не могла выразить даже его физиономия.— Его собственный голос, начиненный науками, как и в былые времена! Соль Джилс, приятель, отдохните среди своих виноградных лоз и смоковниц, как и подобает древнему патриарху, и прежним, хорошо знакомым нам голосом начните рассказ о своих приключениях. На *этот* голос сетовал ленивец,— внушительно произнес капитан, мановением крючка подчеркивая цитату.— Вы разбудили меня слишком рано, я опять засну. Да рассеятся враги его и да падут во прах!

Капитан уселся с таким видом, как будто ему посчастливилось высказать мнение всех присутствующих, но тотчас же вскочил, чтобы представить мистера Тутса, который был совершенно сбит с толку появлением человека, предъявляющего, по-видимому, права на фамилию Джилс.

— Хотя,— заикаясь, начал мистер Тутс,— хотя я не имел удовольствия быть знакомым с вами, сэр, до того, как вы... вы...

— Скрылись из виду, но остались в памяти,— потихоньку подсказал капитан.

— Совершенно верно, капитан Джилс! — согласился мистер Тутс.— Хотя я не имел удовольствия быть знакомым с вами, мистер... мистер Солс,— сказал Тутс, в порыве вдохновения изобретая фамилию,— прежде чем это случилось, я — смею вас уверить — испытываю, знаете ли, величайшее удовольствие, познакомившись с вами сейчас. Надеюсь,— сказал мистер Тутс,— вы чувствуете себя хорошо, насколько можно этого ожидать.

Произнеся эти учтивые слова, мистер Тутс сел на свое место, краснея и хихикая.

Старый мастер, приютившийся в уголку между Уолтером и Флоренс и кивавший головою Поли, которая смотрела на них с восторженной улыбкой, обратился к капитану:

— Нэд Катль, старый друг! Хотя я кое-что уже слышал о происшедших здесь переменах от моей доброй приятельницы... Какое милое у нее лицо и как приятно страннику увидеть его по возвращении в свой дом! — сказал старик, прерывая свою речь и потирая руки со свойственной ему рассеянностью.

— Слушайте его! — торжественно провозгласил капитан.— Вот женщина, обольщающая всех мужчин! * Чтобы найти это место,— добавил он, обращаясь к мистеру Тутсу,— перелистайте, братец, вашего Адама и Еву.

— Я не премину это сделать, капитан Джилс,— сказал мистер Тутс.

— Хотя я уже слышал от нее о происшедших здесь переменах,— продолжал инструментальный мастер, доставая из кармана свои старые очки и по старой привычке надевая их на лоб,— но они так велики и неожиданны, и я испытал такое потрясение при виде дорогого моего мальчика и...— он бросил взгляд на потупленные глаза Флоренс и уж не пытался закончить фразу,— что вряд ли я много сегодня расскажу. Но, дорогой мой Нэд Катль, почему вы мне не писали?

Изумление, отразившееся на лице капитана, не на шутку испугало мистера Тутса, который впился в него глазами и никак не мог от него оторваться.

— Не писал? — повторил капитан.— Не писал, Соль Джилс?

— Ну да! — подтвердил старик.— На Барбадос, на Ямайку или в Демерару? * Ведь я об этом просил.

— Просили, Соль Джилс? — повторил капитан.

— Ну, конечно! — сказал старик.— Разве вы этого не знаете, Нэд? Не может быть, чтобы вы забыли! Просил в каждом письме.

Капитан снял глянцевитую шляпу, повесил ее на свой крючок, провел рукою по голове с затылка до макушки и посмотрел на всех окружающих: поистине он олицетворял собою недоумение и покорность судьбе.

— Вы как будто не понимаете меня, Нэд,— заметил старый Соль.

— Соль Джилс,— сказал капитан, который долго и безмолвно смотрел на него и на всех остальных,— я сделал поворот и лег в дрейф. Быть может, вы скажете хоть несколько слов о своих приключениях? Неужели мне не удастся бросить якорь? Неужели не удастся? — в раздумье сказал капитан, озираясь вокруг.

— Вам известно, Нэд, почему я отсюда уехал,— сказал Соль Джилс.— Вы вскрыли мой пакет, Нэд?

— Да,— сказал капитан.— Разумеется, я вскрыл пакет.

— И прочли то, что было в него вложено? — спросил старик.

— И прочел,— ответил капитан, пристально глядя на него и начиная цитировать на память: — «Мой дорогой Нэд Катль. Покидая родину, чтобы отправиться в Вест-Индию с тщетной надеждой получить сведения о моем милом мальчике...» Вот он сидит! Вот Уольр! — воскликнул капитан, как будто ему доставило облегчение ухватиться за нечто реальное и неоспоримое.

— Так, так, Нэд! Подождите минуточку! — сказал старик.— В первом письме — оно было послано с Барбадоса — я писал, что, хотя вы получите его задолго до истечения годичного срока, я бы хотел, чтобы вы вскрыли пакет, так как в нем объясняется причина моего отъезда. Прекрасно, Нэд. Во втором, третьем и, кажется, четвертом письме — оно было послано с Ямайки — я писал, что нахожусь все в том же состоянии, не могу успокоиться и не могу уехать из тех краев, пока не узнаю, погиб или спасся мой мальчик. В следующем письме — мне кажется, оно было послано из Демерары, не так ли?

— Ему кажется, что оно было послано из Демерары, не так ли? — повторил капитан, с безнадежным видом озираясь вокруг.

— ...Я писал,— продолжал старый Соль,— что все еще не имею никаких достоверных сведений. Писал, что в этой части света я повстречался с капитанами и другими лицами, которые знают меня уже много лет, и они помогают мне перебираться с места на место, а я в свою очередь могу иной раз оказывать им маленькие услуги по

своей специальности. Я писал, что все меня жалеют и как будто относятся с сочувствием к моим скитаньям и что я начал подумывать о том, не суждено ли мне до конца дней плавать по морям в поисках известий о моем мальчике.

— Начал подумывать о том, не превратится ли он в ученого Летучего Голландца! — сказал капитан с тем же безнадежным видом и с величайшей серьезностью.

— Но когда в один прекрасный день, Нэд, пришло известие — это было на Барбадосе, куда я вернулся,— что мой мальчик находится на борту торгового судна, возвращающегося в Англию из Китая, тогда, Нэд, я сел на первый же корабль, прибыл на родину и сегодня вечером вернулся домой и убедился, что известие оказалось верным, благодарение господу! — набожным тоном произнес старик.

Капитан с благоговением наклонил голову, а затем окинул взглядом всех присутствующих, начиная с мистера Тутса и кончая старым мастером, и торжественно произнес:

— Соль Джилс! Заявление, которое я намерен сейчас сделать, сорвет все паруса со всех ваших мачт и заставит вас накрениться. Ни одно из этих писем не было доставлено Эдуарду Катлю. Ни одно из этих писем,— повторил капитан, желая придать своему заявлению бо́льшую торжественность и внушительность,— не было доставлено Эдуарду Катлю, английскому моряку, мирно проживающему на родине и преуспевающему с каждым часом.

— А я собственноручно сдавал их на почту! И собственноручно писал адрес: девятый номер на Бриг-Плейс! — воскликнул старый Соль.

Краски сбежали с лица капитана, а затем он весь побагровел.

— Соль Джилс, друг мой, что вы имеете в виду, говоря о девятом номере на Бриг-Плейс? — осведомился капитан.

— Что я имею в виду? Вашу квартиру, Нэд,— ответил старик.— У миссис... как ее там зовут! Скоро я забуду свою собственную фамилию, но я отстаю от века — если вы помните, я всегда отставал,— а сейчас я совсем растерялся. Миссис...

— Соль Джилс! — произнес капитан таким тоном, как будто высказывал самое невероятное предположение.— Уж не фамилию ли Мак-Стинджер вы стараетесь вспомнить?

— Ну, конечно! — воскликнул мастер судовых инструментов.— Совершенно верно, Нэд! Миссис Мак-Стинджер!

Капитан Катль, у коего глаза расширились до последних пределов, а шишки на лице начали буквально светиться, свистнул протяжно, пронзительно и в высшей степени меланхолически. И, лишившись дара речи, он стоял, взирая на присутствующих.

— Будьте добры, Соль Джилс, повторите это еще раз! — выговорил он наконец.

— Все эти письма,— сказал дядя Соль, отбивая такт указательным пальцем правой руки на ладони левой с точностью и отчетливостью, которые сделали бы честь даже непогрешимому хронометру, находившемуся у него в кармане,— все эти письма я собственноручно сдавал на почту и собственноручно надписывал адрес: капитану Катлю, проживающему у Мак-Стинджер, девятый номер на Бриг-Плейс.

Капитан снял со своего крючка глянцевитую шляпу, заглянул в нее, надел на голову и сел на стул.

— Друзья мои! — озираясь вокруг, сказал чрезвычайно расстроенный капитан.— Да ведь я оттуда сбежал!

— И никто не знал, куда вы ушли, капитан Катль? — подхватил Уолтер.

— Господь с тобой, Уольр! — сказал капитан, покачивая головой.— Да она бы ни за что не согласилась, чтобы я взял на себя заботу об этом доме. Мне ничего другого не оставалось, как сбежать. Помилуй тебя бог, Уольр! — сказал капитан.— Ты ее видел только в штиль! Но посмотри на нее, когда она разбушуется, и постарайся запомнить!

— Я бы ей показала! — вполголоса промолвила мисс Нипер.

— Думаете, что показали бы, дорогая моя? — отозвался капитан с некоторым восхищением.— Ну, что ж, моя милая, это делает вам честь. Но что касается меня,

то я бы предпочел встретиться лицом к лицу с каким угодно диким зверем. Мой сундук мне удалось унести оттуда только с помощью друга, которому нет равного на свете. Что толку было посылать туда письма? Да при таких обстоятельствах она не приняла бы ни одного письма! — сказал капитан.— Почтальону и трудиться не стоило!

— Итак, капитан Катль,— сказал Уолтер,— совершенно ясно, что все мы, и вы, и в особенности дядя Соль можем поблагодарить миссис Мак-Стинджер за перенесенные нами волнения.

Услуга, оказанная в данном случае решительной вдовицей усопшего мистера Мак-Стинджера, была столь очевидна, что капитан не стал ее оспаривать. Но, будучи до известной степени пристыжен, хотя никто не касался этого предмета, а Уолтер, памятуя о последнем своем разговоре с ним на эту тему, с особым старанием его избегал, капитан пребывал в унынии добрых пять минут — срок, из ряда вон выходящий для него,— после чего его лицо, подобно солнцу, вновь просияло, озарив всех присутствующих необычайным блеском, и он принялся пожимать руки всем подряд.

Было еще не поздно — хотя дядя Соль и Уолтер уже успели потолковать о своих приключениях и опасностях, которые каждый из них пережил,— когда все, за исключением Уолтера, вышли из комнаты Флоренс и спустились в гостиную. Здесь к ним вскоре присоединился Уолтер, который сообщил, что Флоренс немного приуныла, что у нее тяжело на сердце и она легла спать. Хотя голоса их не могли ее потревожить, все стали говорить после этого шепотом, и каждый по-своему думал с любовью и нежностью о прекрасной юной невесте Уолтера. Обо всем, что ее касалось, были даны подробные разъяснения дяде Солю, а мистер Тутс высоко оценил ту деликатность, с какою Уолтер упоминал о нем, придавая важное значение его услугам и считая его присутствие на маленьком семейном совете необходимым.

— Мистер Тутс,— сказал Уолтер, прощаясь с ним у двери,— завтра утром мы увидимся?

— Лейтенант Уолтерс,— ответил мистер Тутс, с жаром пожимая ему руку,— я не премину явиться.

— Сегодняшний вечер предшествует долгой разлуке,— быть может, вечной разлуке,— сказал Уолтер.— Мне кажется, такое великодушное сердце, как ваше, не может не откликнуться на призыв другого сердца. Надеюсь, вы понимаете, как глубоко я вам благодарен?

— Уолтерс! — ответил мистер Тутс, глубоко растроганный.— Я был бы рад, если бы у вас имелись основания для этого.

— Флоренс,— продолжал Уолтер,— которая последний день носит свою прежнюю фамилию, взяла с меня слово — это было несколько минут назад, когда мы остались вдвоем,— что я передам вам ее уверение в искренней любви...

Мистер Тутс ухватился рукою за дверной косяк и устремил взор на свою руку.

— ...Искренней любви,— продолжал Уолтер,— а также и в том, что у нее никогда не было друга, которым бы она дорожила больше, чем вами. Она просила передать, что помнит о вашем неизменном внимании к ней и никогда этого не забудет. Она вспомнит о вас сегодня в своих молитвах и надеется, что вы будете думать о ней, когда она уедет далеко отсюда. Что мне ей передать от вас?

— Уолтерс,— невнятно пробормотал мистер Тутс,— я буду вспоминать о ней каждый день и всегда буду радоваться, так как она вышла замуж за человека, которого любит и который любит ее. И еще, прошу вас, скажите о моей уверенности в том, что ее супруг достоин ее — даже ее! — и что я радуюсь ее выбору.

Под конец мистер Тутс стал говорить более внятно и, отведя глаза от дверного косяка, твердо произнес последние слова. Затем он снова с жаром пожал руку Уолтеру, на что Уолтер не замедлил ответить, и отправился восвояси.

Мистера Тутса сопровождал Петух, которого он последнее время приводил с собою каждый вечер и оставлял в лавке на случай, если возникнут какие-нибудь непредвиденные обстоятельства, когда доблесть этой знаменитой особы может послужить на пользу Мичману. В тот день Петух, казалось, был в мрачном расположении духа. Либо свет газовых фонарей оказался предательским, либо

он и в самом деле отвратительно подмигнул и сморщил нос, когда мистер Тутс, переходя через улицу, оглянулся на окна комнаты, где спала Флоренс. По дороге домой он обнаруживал по отношению к встречным более враждебные намерения, чем это подобало профессору мирного искусства самообороны. Проводив мистера Тутса до дому, он, вместо того чтобы откланяться, остановился перед ним с явно непочтительным видом, размахивая своей белой шляпой, которую держал за поля обеими руками и крутя головой и носом (и голова и нос много раз страдали от поломок и были починены довольно плохо).

Его патрон, занятый своими мыслями, не замечал этого до тех пор, пока Петух, желая привлечь к себе внимание, не начал прищелкивать на все лады языком.

— Послушайте, хозяин,— с мрачным видом сказал Петух, поймав, наконец, взгляд мистера Тутса,— я хочу знать: мы проиграли всухую или вы все-таки намерены выиграть?

— Петух,— отозвался мистер Тутс,— объясните смысл ваших слов.

— В таком случае,— сказал Петух,— я выложу вам все, хозяин. Не такой я парень, чтобы не договаривать до конца. Дело вот в чем: нужно пристукнуть кого-нибудь из них или нет?

Задав этот вопрос, Петух бросил шляпу на землю, левой рукой сделал ложный выпад, правой нанес воображаемому врагу жестокий удар, лихо тряхнул головой и снова овладел собою.

— Ну как, хозяин,— продолжал Петух,— проиграли всухую или победим? А?

— Петух,— ответил мистер Тутс,— слова ваши грубы, а их смысл не ясен.

— Ну, так вот что я вам скажу, хозяин,— произнес Петух,— это гнусно!

— Что гнусно, Петух? — спросил мистер Тутс.

— Да, гнусно! — повторил Петух, устрашающим образом сморщив свой сломанный нос.— Хозяин! Что ж это такое? Вы можете немедленно пойти и донести о свадьбе этому надутому парню,— предполагалось, что это унизительное определение Бойцового Петуха относилось к

мистеру Домби,— вы можете нокаутировать победителя и всю эту компанию, а вместо этого вы сдаетесь? Сдаетесь! — презрительно повторил Петух.— Это, хозяин, гнусно!

— Петух,— строго сказал мистер Тутс,— вы настоящий коршун! Чувства у вас зверские.

— Хозяин,— возразил Петух,— у меня чувства смелые и благородные. Вот какие у меня чувства. Я не допущу гнусности. Я выступаю перед публикой, к моим словам прислушиваются в трактире «Маленький слон», и мой хозяин не должен поступать гнусно. Да, это гнусно,— повторил Петух еще более выразительно.— Вот именно. Гнусно!

— Петух,— сказал мистер Тутс,— вы мне противны.

— Хозяин,— ответил Петух, надевая шляпу,— и вы мне тоже. Послушайте! Вот что я вам предлагаю! Вы мне не раз говорили, чтобы я открыл торговлю выпивкой и закуской. Дайте мне завтра пятьдесят фунтов, и я уйду.

— Петух,— ответил мистер Тутс,— после того как вы выразили столь омерзительные чувства, я охотно расстанусь с вами на таких условиях.

— Значит, решено! Договор заключен! Ваше поведение, хозяин, мне не по вкусу. Оно гнусно! — сказал Петух, который, по-видимому, не мог с этим покончить.— Да, в том-то и дело! Оно гнусно!

Итак, мистер Тутс и Петух согласились расстаться по причине несходства моральных принципов. И мистер Тутс лег спать и сладко грезил о Флоренс, которая в последний вечер своей девичьей жизни думала о нем, как о друге, и просила передать ему уверение в искренней ее любви.

ГЛАВА LVII

Еще одна свадьба

Мистер Саундс, бидл, и миссис Миф, прислужница, рано заняли свои посты в нарядной церкви, где был заключен брак мистера Домби. Сегодня утром желтолицый старый джентльмен из Индии намерен сочетаться браком

с молоденькой особой; ожидаются шесть карет с гостями, и миссис Миф уведомлена о том, что желтолицый старый джентльмен может вымостить дорогу до церкви бриллиантами и вряд ли его состоянию будет нанесен большой ущерб.

Бракосочетание будет в высшей степени торжественное — обряд совершит сам его преподобие настоятель, а посаженым отцом, передающим невесту, словно драгоценный подарок, будет некое лицо из Главного штаба, прибывшее специально для этой цели.

Сегодня миссис Миф относится к простому люду еще более нетерпимо, чем обычно, а на этот счет у нее всегда были строгие правила, так как дело касается бесплатных мест. Миссис Миф отнюдь не знаток политической экономии (она полагает, что эта наука имеет отношение к сектантам: «к баптистам или методистам»,— говорит она), но она никак не может понять, зачем это простой люд тоже женится.

— Ах, чтоб тебе! — говорит миссис Миф.— Читают над ними то же самое, что и над другими, а вместо соверенов получают шестипенсовики!

Мистер Саундс, бидл, более либерален, но ведь он не состоит при скамьях.

— Это наш долг, сударыня,— говорит он.— Мы должны их женить. Мы должны пополнять наши народные школы и должны иметь армию. Мы должны их женить, сударыня,— говорит мистер Саундс,— чтобы страна процветала.

Мистер Саундс сидит на ступенях, а миссис Миф обметает пыль, когда появляется скромно одетая молодая пара. Увядший чепец миссис Миф резко поворачивается к этой паре, ибо такой ранний визит внушает ей мысль, что дело идет о вступлении в брак потихоньку от родных. Но молодые люди не намерены сочетаться браком: «Мы хотим только осмотреть церковь», — говорит джентльмен. И так как он сует в руку миссис Миф щедрую мзду, кислая ее физиономия проясняется, а увядший чепец и худая, высохшая фигура с шуршаньем приседают.

Миссис Миф снова принимается обметать пыль и взбивать подушки говорят, у желтолицего старого джентльмена нежные колени, — но ее тусклые глаза, при-

выкшие следить за платными местами, не отрываются от молодой пары, которая бродит по церкви.

— Кхм! — покашливает миссис Миф; кашель у нее такой же сухой, как сено в подушках, которые предназначены для коленопреклонения и поручены ее заботам.— Я не ошибусь, если скажу, что в один из ближайших дней вы еще придете к нам, дорогие мои!

Они смотрят на табличку, вделанную в стену в память об умершем. Они стоят далеко от миссис Миф, но миссис Миф видит уголком глаза, что девушка опирается на руку джентльмена, а тот наклоняется к ней.

— Ну-ну,— говорит миссис Миф,— могло быть и хуже. Из вас выйдет славная парочка!

Сердечное чувство не сквозит в замечании миссис Миф. Она говорит исключительно с деловой точки зрения. Вряд ли она интересуется парочками больше, чем гробами. Она такая тощая, прямая, высохшая старая леди,— скамья, а не женщина,— что легче встретить сочувствие у какой-нибудь щепки, чем у нее. Но мистер Саундс, дородный и облеченный в сюртук с алой обшивкой, отличается другим темпераментом. Пока они стоят на ступенях и смотрят вслед молодой паре, он говорит, что у девушки красивая фигура — не правда ли? — и, насколько он мог разглядеть (из церкви она вышла с опущенной головой), прехорошенькое личико.

— Право же, миссис Миф,— с удовольствием говорит мистер Саундс,— ее можно назвать настоящим розаном.

Миссис Миф в знак согласия лишний раз кивает своим увядшим чепцом, но в глубине души она отнюдь не одобряет этих слов и принимает решение не выходить замуж за мистера Саундса, какие бы деньги он ей ни сулил, хотя он и бидл.

А о чем говорит молодая пара, выйдя из церкви и направляясь к воротам?

— Дорогой Уолтер! Как я тебе благодарна! Теперь я уеду счастливая.

— А когда мы вернемся, Флоренс, мы придем сюда и опять навестим его могилу.

Флоренс смотрит сверкающими от слез глазами на его ласковое лицо и свободной рукой сжимает другую маленькую ручку, робко опирающуюся на его руку.

— Сейчас очень рано, Уолтер, и на улицах почти нет народу. Пойдем пешком.

— Ты устанешь, дорогая.

— О нет! Я очень устала в тот раз, когда мы впервые шли вместе, но сегодня я не устану.

И вот не очень изменившиеся — она такая же невинная и чистосердечная, он такой же честный, такой же бодрый, но еще больше гордящийся ею,— Флоренс и Уолтер в день своей свадьбы вместе идут по улицам.

Даже во время той детской прогулки много лет назад не были они так далеки от всего окружающего, как в этот день. Много лет назад детские ноги не ступали по такой волшебной земле, по какой они ступают теперь. Детское доверие и любовь могут быть обращены ко многим; но женское сердце Флоренс с его нетронутыми сокровищами может быть отдано только один раз, и от обиды или измены оно зачахнет и умрет.

Они выбирают самые тихие улицы и держатся вдали от той, где находится прежний ее дом. Утро ясное, теплое, летнее, и солнце светит, когда они идут по направлению к Сити, над которым нависла сероватая дымка. В магазинах выставляют дорогие товары; драгоценные камни, золото и серебро сверкают в солнечных витринах ювелиров, а высокие дома отбрасывают величественную тень на проходящих Флоренс и Уолтера. Но и в солнечном свете и в тени они идут, согретые любовью, не видя окружающего, не помышляя о богатстве и великолепных домах теперь, когда они все обрели друг в друге.

Наконец они сворачивают в более тесные и узкие улицы, где солнце — то желтое, то красное,— проглядывающее сквозь туман, можно увидеть только на углу или на маленьких площадях, на которых растет дерево, или высится одна из бесчисленных церквей, или начинается мощеный проход, или какая-нибудь лестница, или разбит забавный маленький садик, или находится кладбище с немногими склепами и могильными плитами, почерневшими от времени. По всем этим тесным дворам, переулкам и мрачным улицам Флоренс, опираясь на его руку, идет, любящая и доверчивая, чтобы стать его женой.

Сердце ее начинает биться быстрее, когда Уолтер говорит ей, что их церковь совсем близко. Они проходят

мимо больших торговых складов, где у дверей стоят подводы, а суетливые возчики загораживают им дорогу, но Флоренс не видит их и не слышит. И вот наступает тишина, дневной свет меркнет, и дрожащая Флоренс стоит в церкви, где какой-то странный запах напоминает о погребе.

Бедно одетый старичок, тот, который заунывно звонил в колокол, положил свою шляпу в купель; он пономарь и здесь — как у себя дома. Он ведет их в старую, обшитую коричневой панелью пыльную ризницу, напоминающую посудный шкаф, откуда вынуты полки. Там изъеденные червями книги распространяют слабый запах нюхательного табаку, который заставляет расчихаться плачущую Нипер.

Какой юной и какой прекрасной кажется молодая невеста в этой старой пыльной церкви, где нет ничего и никого ей под стать, кроме ее жениха! Вот пропыленный, старый клерк, который держит нечто вроде лавочки устарелых новостей в подворотне напротив церкви за целой изгородью из столбов. Вот пропыленная, старая прислужница, которая заботится только о самой себе и считает, что этого вполне достаточно. Вот пропыленный, старый бидл (этого бидла и эту прислужницу видел мистер Тутс в прошлое воскресенье), который имеет какое-то отношение к Благочестивому обществу, снимающему в соседнем дворе молитвенный зал с витражем; второго такого витража ни один из смертных никогда еще не видывал. Вот пропыленные деревянные выступы и карнизы над алтарем, над перегородкой, вокруг галереи и над словами надписи, возвещающей о том, что́ было сделано главою и попечителями Благочестивого общества в тысяча шестьсот девяносто четвертом году. Вот пропыленные, старые резонаторы над кафедрой и пюпитром, похожие на колпаки, которыми можно прикрыть совершающих богослужение священников в случае, если те оскорбят паству. Вот всяческие устройства для накопления пыли — везде, кроме церковного двора, где такого рода возможности весьма ограничены.

Появляются капитан, дядя Соль и мистер Тутс; священник надевает в ризнице стихарь, а клерк бродит вокруг, сдувая пыль. И вот жених и невеста стоят перед

алтарем. Нет ни одной подружки, если не считать Сьюзен Нипер; нет посаженого отца, кроме капитана Катля. Нищий с деревянной ногой и с синим мешком в руках, уплетая гнилое яблоко, входит в церковь посмотреть, что там делается, но, не найдя ничего интересного, ковыляет к выходу и стучит своей деревяшкой, пробуждая эхо.

Ни один милостивый луч не падает на Флоренс, опустившуюся на колени пред алтарем и робко склонившую голову. Солнце заслонено домами и здесь не светит. За окном — чахлое дерево, на нем тихо чирикают воробьи; на чердаке у красильщика, где прыгают солнечные зайчики,— черный дрозд, который громко свистит, пока совершается служба; и человек на деревяшке ковыляет к выходу. Амини пропыленного клерка словно застревают у него в горле, как у Макбета, * но капитан Катль приходит ему на помощь и делает это с такой охотою, что трижды вставляет аминь там, где это слово произносить при богослужении не полагается.

Они повенчаны, они расписались в одной из старых книг, запах которых щекочет ноздри, стихарь священника снова спрятан в пыльное местечко, и священник ушел домой. В темном углу темной церкви Флоренс поворачивается к Сьюзен Нипер и плачет в ее объятиях. У мистера Тутса красные глаза. Капитан полирует себе нос. Дядя Соль спустил очки со лба на нос и пошел к дверям.

— Да благословит вас бог, Сьюзен, дорогая моя Сьюзен! Если когда-нибудь вам случится рассказать другим о моей любви к Уолтеру и о том, почему я не могла его не полюбить, сделайте это ради него! Прощайте! Прощайте!

Было решено не возвращаться к Мичману, а расстаться здесь. Карета ждет поблизости.

Мисс Нипер не может вымолвить ни слова; она только всхлипывает, задыхается и обнимает свою хозяйку. Подходит мистер Тутс, утешает ее, ободряет и берет на свое попечение. Флоренс протягивает ему руку, от полноты сердца подставляет ему губы, целует дядю Соля и капитана Катля, и молодой муж уводит ее.

Но Сьюзен не может допустить, чтобы у Флоренс осталось такое печальное воспоминание о ней. Она намеревалась вести себя совсем иначе и теперь горько упрекает себя. Твердо решив сделать последнюю попытку и

исправить положение, она покидает мистера Тутса и бежит за каретой, чтобы на прощание появиться с улыбающимся лицом. Капитан, угадав ее намерение, бросается вслед за нею, ибо он почитает своим долгом проводить новобрачных веселыми возгласами. Дядя Соль и мистер Тутс остаются сзади и ждут перед церковью.

Карета отъехала, но улица, узкая, запруженная экипажами, круто идет под гору, и Сьюзен не сомневается в том, что видит карету, остановившуюся на некотором расстоянии. Капитан следует за Сьюзен и размахивает глянцевитой шляпой, подавая сигнал, который может быть замечен, а может и не быть замечен надлежащей каретой.

Сьюзен оставляет позади капитана и подбегает к карете. Она заглядывает в окно, видит Уолтера, а подле него кроткое лицо Флоренс и хлопает в ладоши, и восклицает:

— Мисс Флой, милочка! Посмотрите на меня! Теперь мы все так счастливы, дорогая! Еще раз до свидания, моя ненаглядная, до свидания!

Как ухитряется это сделать Сьюзен, она и сама не знает, но она просовывает голову в окно, целует Флоренс и обнимает ее за шею:

— Теперь мы все так... так счастливы, дорогая моя мисс Флой! — говорит Сьюзен, у которой подозрительно прерывается голос.— Теперь вы не будете на меня сердиться. Не будете?

— Сердиться, Сьюзен?

— Нет! Знаю, что не будете. Я и говорю, что не будете, милая моя, дорогая! — восклицает Сьюзен.— А вот и капитан... ваш друг капитан... он тоже хочет еще раз попрощаться!

— Ура, Отрада моего Сердца! — кричит во все горло капитан, чье лицо выражает глубокое волнение.— Ура, Уольр, мой мальчик! Ура! Ура!

Молодой муж высовывается из одного окна, молодая жена — из другого, капитан висит на одной дверце, Сьюзен Нипер цепляется за другую, карета, хочет она того или не хочет, принуждена подвигаться вперед: все прочие кареты и подводы негодуют, потому что она останавливает движение, и никогда еще не бывало такой суматохи на четырех колесах. Но Сьюзен Нипер доблестно доводит

дело до конца. Она улыбается своей хозяйке, улыбается сквозь слезы до последней минуты. Когда же Сьюзен остается, наконец, позади, капитан, у которого концы воротничка неистово развеваются, продолжает то появляться, то исчезать в окне, восклицая: «Ура, мой мальчик! Ура, Отрада Сердца!» — пока попытка угнаться за каретой не становится безнадежной. Наконец карета уезжает, Сьюзен Нипер, к которой присоединяется капитан, падает в обморок, и ее уносят в булочную, где приводят в чувство.

На церковном дворе дядя Соль и мистер Тутс, присев на каменный фундамент ограды, терпеливо ждут возвращения капитана Катля и Сьюзен. Так как никому не хочется говорить или выслушивать чужие речи, то они составляют превосходную компанию и очень довольны друг другом. Когда они все вместе возвращаются к Маленькому Мичману и садятся завтракать, никто не может проглотить ни кусочка. Капитан Катль с притворной жадностью набрасывается на гренок, но затем отказывается обманывать других. После завтрака мистер Тутс говорит, что придет вечером, и целый день бродит по городу, чувствуя себя так, как будто две недели не ложился спать.

Странные чары спускаются на дом и комнату, где они, бывало, сидели все вместе и которая так опустела. Это усиливает и в то же время смягчает горечь разлуки. Вернувшись вечером, мистер Тутс сообщает Сьюзен Нипер, что никогда еще ему не бывало так грустно и, однако, в этом есть что-то приятное. Он проникается к ней доверием и, оставшись с нею наедине, рассказывает, каково было у него на душе, когда она откровенно высказала ему свое мнение о том, может ли мисс Домби когда-нибудь его полюбить. В порыве доверия, рожденного этими воспоминаниями и слезами, мистер Тутс предлагает выйти вместе и купить чего-нибудь к ужину. Мисс Нипер соглашается, они покупают много вкусных вещей и с помощью миссис Ричардс сервируют прекрасный ужин к тому времени, когда старый Соль и капитан возвращаются домой.

Капитан и старый Соль побывали на борту корабля, отвели туда Ди и присмотрели за погрузкой сундуков.

У них есть что порассказать о популярности Уолтера, о том, как удобно он устроился на корабле, и о том, как обнаружилось, что он все время потихоньку трудился, чтобы сделать свою каюту «картинкой», по выражению капитана, и удивить свою маленькую жену.

— Заметьте,— говорит капитан,— даже адмиральскую каюту нельзя убрать наряднее.

Но больше всего радуется капитан тому, что большие часы, щипцы для сахара и чайные ложки находятся, как ему известно, на борту корабля, и он то и дело бормочет себе под нос:

— Эдуард Катль, приятель, тебе никогда еще не случалось взять более правильный курс, чем в тот день, когда ты передал это маленькое имущество в совместное владение. Эдуард, уж ты-то знаешь, где берег, и это делает тебе честь, приятель!

Старый мастер судовых инструментов озабочен и рассеян больше, чем когда бы то ни было, и очень близко к сердцу принимает свадьбу и разлуку. Но великое утешение ему доставляет присутствие старого его приятеля Нэда Катля, и он с признательным и довольным видом садится за ужин.

— Мой мальчик остался жив и преуспевает,— говорит старый Соль Джилс, потирая руки.— Имею ли я право не быть благодарным и счастливым?

Беспокойный капитан, который еще не сел к столу и только теперь подошел к своему стулу, нерешительно смотрит на мистера Джилса и говорит:

— Соль! Там внизу лежит последняя бутылка старой мадеры. Не хотите ли принести ее, старый приятель, оттуда и распить за здоровье Уольра и его жены?

Мастер судовых инструментов, задумчиво глядя на капитана, опускает руку в боковой карман сюртука кофейного цвета, достает бумажник и вынимает оттуда письмо.

— Мистеру Домби,— говорит старик.— От Уолтера. Послать через три недели.— Я прочту его.

— «Сэр! Я женился на вашей дочери. Она отправилась со мною в дальнее плавание. Быть преданным ей — значит не предъявлять никаких требований ни к ней, ни к вам, и богу известно, что я ей предан.

Почему, любя ее больше всего на свете, я тем не менее без всяких угрызений совести связал ее жизнь с моею, полной невзгод и опасностей,— об этом я не хочу вам говорить. Вы знаете почему, и вы ее отец.

Не упрекайте ее. Она никогда не упрекала вас.

Я не думаю и не надеюсь, что вы когда-нибудь меня простите. Меньше всего я на это рассчитываю. Но если настанет час, когда для вас утешительно будет знать, что подле Флоренс есть человек, главная цель жизни коего — стереть ее воспоминания о былой скорби, тогда (торжественно заверяю вас) вы можете быть твердо в этом уверены».

Соломон заботливо прячет письмо в бумажник, а бумажник прячет в карман сюртука.

— Нэд, сегодня мы еще не разопьем последнюю бутылку старой мадеры,— задумчиво говорит старик.— Рано.

— Рано еще,— соглашается капитан.— Да. Рано еще.

Сьюзен и мистер Тутс разделяют это мнение. Помолчав, все садятся ужинать и пьют другое вино за здоровье новобрачных; а последняя бутылка старой мадеры, покрытая пылью и заросшая паутиной, остается непотревоженной.

Прошло несколько дней, и величавый корабль плывет в открытом море, подставляя белые свои крылья попутному ветру.

На палубе — Флоренс, которая для самых грубых людей на борту является воплощением грации, красоты и невинности и чье присутствие на корабле доставляет радость и сулит благополучное плавание. Ночь, и они с Уолтером сидят вдвоем, следя за блестящей полосой света на море между ними и месяцем.

Но она уже не может разглядеть ее отчетливо, потому что слезы застилают ей глаза, и тогда она кладет голову ему на грудь, обнимает его за шею и говорит:

— О Уолтер, любимый, я так счастлива!

Муж прижимает ее к сердцу, и они сидят очень тихо, а величавый корабль безмятежно продолжает свой путь.

— Когда я слушаю море,— говорит Флоренс,— когда

я смотрю на него, оно пробуждает столько воспоминаний. Оно заставляет меня думать о...

— Поле, дорогая моя. Я это знаю.

О Поле и Уолтере. И голоса в неумолчно журчащих волнах всегда нашептывают Флоренс о любви — о любви вечной и безграничной, вне пространства и вне времени, уводящей за пределы моря, за пределы неба, в далекую, невидимую страну.

ГЛАВА LVIII

Спустя некоторое время

Приливы и отливы чередовались на море в течение целого года. В течение целого года ветры и облака налетали и исчезали; непрестанная работа времени совершалась в ненастье и в вёдро. В течение целого года чередовались приливы и отливы людских удач и перемен. В течение целого года прославленная фирма «Домби и Сын» сражалась не на жизнь, а на смерть с печальными неожиданностями, с недостоверными слухами, с рискованными сделками, неблагоприятными временами и, в первую очередь, с ослеплением своего хозяина, который ни на волос не хотел сократить ее операции и не слушал, когда его предостерегали, что судно, принуждаемое им идти навстречу шторму, недостаточно прочно и не может этого выдержать.

Год истек, и прославленная фирма рухнула.

В летний день, без малого через год после бракосочетания в старой, замшелой церкви, на бирже начали жужжать и шептаться о крупном крахе. Холодный, надменный человек, которого здесь хорошо знали, при этом не присутствовал, не было здесь и его представителя. На следующий день широко распространился слух, что Домби и Сын прекратили платежи, а вечером эта фирма возглавляла опубликованный список банкротов.

Теперь общество было, и в самом деле, очень занято ею и многое могло сказать по этому поводу. Это было наивно-доверчивое общество, с которым обошлись очень плохо. В этом обществе никогда не бывало банкротств.

Не было в нем видных особ, открыто торгующих подмоченными акциями религии, патриотизма, добродетели, чести. Не находились в обращении в нем ничего не стоящие бумаги, на которые кое-кто жил очень неплохо, суля уплатить большие деньги бог знает из каких источников. Оно не ведало никаких нужд — разве что в деньгах. Общество было не на шутку разгневано, а больше всего негодовали те, кто — живи они в худшем обществе — сами могли бы показаться банкротами, прикрывающимися маскою и мишурным плащом.

Новый повод для беспутной жизни появился у этой игрушки судьбы — мистера Перча, рассыльного! Видно, суждено было мистеру Перчу вечно просыпаться знаменитостью *. Можно сказать, не дальше чем вчера он вернулся к частной жизни после того, как побег и последовавшие за этим события создали ему славу; а теперь благодаря банкротству он стал особой более важной, чем когда бы то ни было. Достаточно было мистеру Перчу слезть со своей подставки в конторе, откуда он созерцал незнакомые физиономии счетоводов, которые заменили почти всех прежних клерков,— достаточно ему было слезть с нее и появиться во дворе или не дальше чем в трактире «Королевский герб», как его забрасывали множеством вопросов, в числе которых почти всегда бывал и такой интересный вопрос: чего он хочет выпить? Тогда начинал мистер Перч повествовать о часах жестокой тревоги, пережитых им и миссис Перч в Болс-Понд, когда они впервые заподозрили, что «дело неладно». Тогда начинал мистер Перч рассказывать развесившим уши слушателям, рассказывать тихим голосом, словно в соседней комнате лежал непогребенный труп почившей фирмы, о том, как у миссис Перч впервые мелькнула мысль, что дело неладно, когда она услышала, что он (Перч) стонет во сне: «Двенадцать шиллингов и девять пенсов в фунте, двенадцать шиллингов и девять пенсов в фунте!» * Это сомнамбулическое состояние он объяснял тем впечатлением, какое произвело на него изменившееся лицо мистера Домби. И он сообщал слушателям о том, как сказал однажды: «Осмелюсь спросить вас, сэр, нет ли у вас чего-нибудь тяжелого на душе?» И как мистер Домби ответил: «Мой верный Перч... но нет, этого не может быть!» —

и с этими словами хлопнул себя по лбу и сказал: «Оставьте меня одного, Перч!» Тут, короче говоря, начинал мистер Перч, жертва своего положения, рассказывать всевозможные небылицы, доводя самого себя до слез трогательными выдумками и искренне веря, что вчерашняя ложь, повторенная сегодня, уподобляется истине.

Мистер Перч всегда заканчивал эти собеседования смиренным замечанием, что, каковы бы ни были его подозрения (словно они могли у него зародиться!), ему не подобает быть предателем, не так ли? По мнению слушателей (среди которых никогда не бывало ни одного кредитора), такие чувства делали ему честь. Таким образом, он вызывал к себе общее расположение, возвращался с успокоенной совестью к своей подставке и снова созерцал незнакомые физиономии счетоводов, которые так небрежно обращались с великим тайнами — бухгалтерскими книгами, или шел на цыпочках в опустевший кабинет мистера Домби и помешивал угли в камине, или выходил подышать свежим воздухом и снова с грустью беседовал с каким-нибудь случайно заглянувшим знакомым, или оказывал различные мелкие услуги старшему бухгалтеру; с его помощью мистер Перч надеялся получить место рассыльного в Обществе страхования от огня, когда дела фирмы будут окончательно ликвидированы.

Для майора Бегстока это банкротство было подлинным бедствием. Майор был не из тех, кто умеет думать о ближнем — все его внимание сосредоточивалось на Дж. Б.,— не был он также и слишком чувствителен, если не считать чувствительности к одышке и удушью. Но он столько болтал в клубе о своем друге Домби, так превозносил его перед членами клуба, так унижал их, хвастаясь его богатством, что члены клуба — всего-навсего люди — были в восторге и мстили майору, притворяясь крайне озабоченными и спрашивая его, можно ли было предвидеть такое ужасное разорение и как это переносит его друг Домби. На такие вопросы майор, густо багровея, отвечал, что мы, сэр, живем в очень скверном мире, что Джой кое-что разумеет, но его надули, сэр, надули, как грудного младенца; что, если бы вы, сэр, предсказали это Дж. Бегстоку, когда он отправился с Домби за границу и гонялся за этим бродягой Каркером по всей Франции,

Дж. Бегсток высмеял бы вас — ей-богу, он бы вас высмеял, сэр! Что Джо был обманут, сэр, одурачен, застигнут врасплох и ослеплен, но теперь он бодрствует и снова смотрит в оба, и если бы отец Джо восстал завтра из могилы, он, Джо, не дал бы старику ни единого пенни в долг, а сказал бы ему, что его сын Джо — слишком старый вояка, чтобы его можно было еще раз надуть, сэр! Что он, Дж. Б., стал подозрительным, сварливым, капризным, усталым и ни во что не верит, сэр, и если бы совместимо было с достоинством грубого и непреклонного старого майора старой школы, который имел честь быть лично известным их королевским высочествам, покойным герцогам Кентскому и Йоркскому, и заслужить их похвалу,— если бы совместимо было с его достоинством искать уединения в бочке и жить в ней, ей-богу, он завтра же поселился бы в бочке на Пэлл-Мэлл *, чтобы заявить о своем презрении к человечеству!

Все эти речи в различных вариациях сопровождались такими апоплексическими симптомами, майор столь отчаянно вращал головой и столь энергически кряхтел, свидетельствуя о своем гневе и обиде, что младшие члены клуба предположили, будто он вложил деньги в фирму своего друга Домби и понес убытки. Но более старые вояки и более проницательные хитрецы, которые хорошо знали Джо, и слушать об этом не хотели. Злосчастный туземец, не высказывая никаких соображений, претерпевал ужасные страдания: страдали не только его чувства, которые майор ежедневно и ежечасно обстреливал и вконец изрешетил, но и тело, пребывавшее в постоянном напряжении от ударов и толчков. Целых шесть недель после банкротства этот несчастный чужестранец жил под градом щеток и колодок для снимания сапог.

У миссис Чик зародились три мысли касательно этой ужасной превратности судьбы. Первая сводилась к тому, что миссис Чик не может этого понять. Вторая — что ее брат «не сделал надлежащего усилия». Третья — что, если бы ее пригласили на обед в день празднования новоселья, этого никогда бы не случилось, о чем она тогда же и заявила.

Какие бы мнения ни высказывались по поводу катастрофы, они не могли ее предотвратить, усугубить ее

тяжесть или облегчить. Стало известно, что фирма ликвидирует свои дела с наибольшей выгодой для всех заинтересованных лиц, а мистер Домби добровольно отказывается от всего своего имущества и ни у кого не просит снисхождения. Стало известно, что ни о каком возобновлении торговых операций не может быть и речи, так как он уклонился от всяких дружеских переговоров, имевших целью прийти к такому компромиссу, а также отказался от всяких почетных и ответственных постов, какие занимал в качестве лица, пользующегося уважением в торговом мире; что, по одним слухам, он при смерти, а по другим — заболел черной меланхолией, но что, во всяком случае, он — человек конченный.

Клерки рассеялись кто куда после маленького обеда, устроенного ими в знак соболезнования, который оживлялся веселыми песнями и оказался весьма удачным. Одни получили место за границей, другие нашли службу на родине; некоторые, внезапно вспомнив о горячо любимых родственниках, проживающих в деревне, отправились к ним, а. кое-кто печатал объявления в газете. Из прежних служащих остался один мистер Перч, созерцавший со своей подставки счетоводов или соскакивавший с нее, чтобы завоевать расположение старшего бухгалтера, который мог устроить его в Общество страхования от огня. Контора вскоре стала грязной и заброшенной. Главный поставщик туфель и ошейников, торговавший в углу двора, усомнился бы в уместности поднимать указательный палец к полям шляпы, если бы здесь появился теперь мистер Домби, а посыльный, спрятав руки под белый фартук, произносил прекрасные нравоучительные речи на тему о честолюбии, которому, по его мнению, надлежало бы рифмоваться с погибелью.

Мистер Морфин. холостяк с карими глазами, с волосами и бакенбардами, тронутыми сединой, был, пожалуй, единственным человеком в фирме,— конечно за исключением ее главы,— который искренне и глубоко сокрушался о постигшем ее бедствии. На протяжении многих лет он относился к мистеру Домби с должным уважением и почтением, но никогда не лицемерил, не раболепствовал перед ним и не потакал слабостям хозяина для достижения своих личных целей. Поэтому ему не приходилось

мстить за самоуничижение, и не было в нем туго закрученной пружины, которая грозила распрямиться. Он работал с утра до ночи, чтобы распутать все, что казалось запутанным или сложным в отчетах об операциях фирмы; всегда был налицо, когда требовалось что-нибудь разъяснить; не раз случалось ему засиживаться у себя, в прежнем своем кабинете, до поздней ночи, чтобы избавить мистера Домби от необходимости давать лично мучительные объяснения, а затем он шел домой, в Излингтон, и прежде чем лечь спать, успокаивал свою душу безнадежно тоскливыми звуками, извлекаемыми из виолончели.

Однажды вечером он утешался с помощью этой мелодической ворчуньи и, находясь в мрачном расположении духа в результате событий истекшего дня, черпал утешение в самых низких нотах, когда его квартирная хозяйка (которая, к счастью, была глуха и эти музыкальные упражнения воспринимала только как ощущение зуда в костях) доложила ему, что пришла какая-то леди.

— Она в трауре,— сказала хозяйка.

Виолончель мгновенно замолкла, а музыкант, с величайшей нежностью и заботливостью положив ее на диван, дал знак, чтобы леди впустили. Затем он поспешил выйти из комнаты и на площадке лестницы встретил Хэриет Каркер.

— Вы одна? — воскликнул он.— А Джон был здесь сегодня утром! Что-нибудь неприятное случилось, дорогая моя? Впрочем,— добавил он,— ваше лицо говорит совсем о другом.

— Боюсь, что вы прочтете на моем лице эгоистические чувства,— ответила она.

— Во всяком случае, очень приятные,— сказал он,— а если эгоистические, то для вас они новы, и на это стоит посмотреть. Но я этому не верю.

Он подал ей стул и сам уселся напротив, а виолончель удобно устроилась на диване.

— Не удивляйтесь тому, что я пришла одна и Джон не предупредил вас о моем приходе. Вы все поймете, когда я вам объясню, почему я пришла,— сказала Хэриет.— Рассказать вам об этом сейчас?

— Это было бы лучше всего.

— Вы не работали, когда я пришла?

Он указал на виолончель, лежавшую на диване, и ответил:

— Я работал целый день. Вот свидетель. Ей я поверял все мои заботы. Хорошо, если бы, кроме моих собственных забот, мне нечего было больше поверять.

— Фирма потерпела банкротство? — очень серьезно спросила Хэриет.

— Полное банкротство.

— Ей уже не возродиться?

— Никогда.

Ясное лицо ее не омрачилось, когда она, беззвучно шевеля губами, повторила это слово. Казалось, он следил за ней с невольным изумлением, а затем повторил:

— Никогда. Вы помните, что я вам говорил? В течение всего этого времени немыслимо было убедить его; немыслимо было разговаривать с ним; немыслимо было даже подступиться к нему. Случилось самое худшее. Фирма обанкротилась, и ей уже не встать на ноги снова.

— А мистер Домби разорен?

— Разорен.

— У него не останется никакого личного имущества? Ничего?

Какое-то нетерпение, сквозившее в ее голосе, и чуть ли не радостное выражение лица, казалось, удивляли его все больше и больше, но вместе с тем вызывали в нем разочарование и резко противоречили его собственным чувствам. Задумчиво глядя на нее, он забарабанил пальцами по столу и, помолчав, сказал, покачивая головой:

— Каковы средства мистера Домби, мне точно неизвестно; несомненно они велики, но и обязательства у него огромные. Он человек честный и порядочный. Всякий другой на его месте мог бы спасти себя, заключив соглашение с кредиторами, благодаря которому потери тех, кто вел с ним дела, увеличились бы незначительно, почти неощутимо, а у него осталось бы на что жить, и многие так бы и поступили на его месте. Но он решил отдать все до последнего фартинга. Он сам сказал, что это покроет почти все долги фирмы и никто не понесет больших убытков. Ах, мисс Хэриет, нам не мешало бы почаще вспоминать, что иной раз порок есть только доведенная

до крайности добродетель! В этом решении его гордыня проявила себя с лучшей стороны.

Она слушала его все с тем же выражением лица и не очень внимательно, словно ее мысли бы заняты чем-то другим. Когда он замолчал, она быстро спросила его:

— Вы давно его видели?

— Никто его не видит. Когда в связи с этой катастрофой ему необходимо выйти из дому, он выходит, а затем возвращается, запирается в своих комнатах и никого не хочет видеть. Он написал мне письмо, благодаря меня за прошлую мою службу, которую, кстати сказать, он оценивает выше, чем она того заслуживает, и прощаясь со мной. Мне неловко надоедать ему теперь, тем более, что и в лучшие времена я редко имел с ним дело, но все же я пытался к нему проникнуть. Я писал, ходил туда, умолял. Все оказалось тщетным.

Он наблюдал за ней, словно надеясь, что она проявит больше участия, и говорил серьезно и с глубоким чувством, чтобы произвести на нее впечатление. Но никакой перемены в ней он не заметил.

– Ну что ж, мисс Хэриет,— сказал он с разочарованным видом,— об этом говорить не стоит. Вы сюда пришли не для того, чтобы это слушать. У вас есть какая-то другая и более приятная тема. Поделитесь своими мыслями со мной, и тогда мы будем беседовать более согласно. Итак?

— Нет, это та же самая тема,— с искренним изумлением быстро возразила Хэриет.— Может ли быть иначе? Разве не естественно, что последнее время мы с Джоном много думали и говорили об этих огромных переменах? Мистер Домби, которому он служил столько лет — вам известно, на каких условиях,— мистер Домби, говорите вы, разорен, а мы так богаты!

Ее доброе честное лицо понравилось ему, мистеру Морфину, холостяку с карими глазами, с той минуты, когда он впервые его увидел, но теперь это лицо, сиявшее радостью, нравилось ему меньше, чем когда бы то ни было.

— Мне незачем напоминать вам,— сказала Хэриет, бросив взгляд на свое черное платье,— каким образом изменилось наше положение. Вы не забыли, что наш

брат Джеймс, погибший такой ужасной смертью, не оставил завещания, а кроме нас у него не было родственников.

Теперь ее лицо больше ему нравилось, хотя оно было бледнее и печальнее, чем за минуту до этого. Казалось, он вздохнул с облегчением.

— Вам известна наша история,— продолжала она,— история обоих моих братьев, связанная с этим злополучным несчастным джентльменом, о котором вы говорили с такою преданностью. Вам известно, какие небольшие у нас потребности — у Джона и у меня — и как мало нам нужно денег после того, как мы в течение многих лет вели такой образ жизни; а теперь благодаря вашей доброте он зарабатывает достаточно для нас двоих. Вы догадываетесь, о какой услуге я пришла вас просить?

— Вряд ли. Минуту назад я как будто догадывался. Теперь мне кажется, что я ошибся.

— О моем умершем брате я не скажу ни слова. Если бы мертвые знали, что мы делаем... Но вы меня понимаете. О брате, оставшемся в живых, я могла бы сказать много. Но нужно ли добавлять что-нибудь к тому, что он хочет исполнить свой долг,— потому-то я и пришла к вам за помощью, без которой мы не можем обойтись,— и он не успокоится, пока этот долг не будет исполнен?

Она подняла глаза, и ее сиявшее радостью лицо показалось прекрасным тому, кто следил за ней пристальным взором.

— Дорогой сэр,— продолжала она,— это должно быть сделано осторожно и тайно. Вы с вашим опытом и знанием укажете надлежащий способ. Мистера Домби, быть может, удастся уверить, что, несмотря на банкротство, какие-то суммы уцелели, или что те, с кем он вел крупные дела, добровольно уплачивают дань его честности и благородству, или что это какой-то старый долг, до сей поры не уплаченный. Существует, должно быть, много различных способов. Я уверена, что вы изберете наилучший. Я пришла просить вас об этой услуге, которую, я надеюсь, вы окажете нам со свойственными вам добротой, великодушием и рассудительностью. Я прошу вас никогда не говорить об этом с Джоном: исполняя свой долг, он счастлив главным образом тем, что совершает это в тайне, ни от кого не слыша похвал. Я прошу вас,

чтобы нам была оставлена лишь незначительная часть наследства, а с остального капитала мистер Домби должен пожизненно получать проценты. Я прошу также строго хранить нашу тайну; впрочем, я уверена, что вы ее сохраните. И с этого дня даже мы с вами редко будем упоминать о ней; пусть она запечатлеется в моей памяти лишь как новый повод быть благодарной небу и гордиться моим братом.

Таким восторгом могут сиять лица ангелов, когда вместе с девяноста девятью праведниками вступает в рай один раскаявшийся грешник. Радостные слезы, застилавшие ей глаза, не омрачили и не затуманили этого сияния — оно стало еще ярче.

— Дорогая моя Хэриет,— помолчав, сказал мистер Морфин,— к этому я не был подготовлен. Следует ли понимать вас так, что на это доброе дело должна пойти ваша доля наследства, равно как и доля Джона?

— О да! — ответила она.— Ведь мы столько времени делились всем без изъятия, у нас были одни и те же заботы, надежды и упования, так могу ли я допустить, чтобы меня отстранили от участия в этом деле? Разве я не вправе остаться до самого конца товарищем и помощником брата?

— Избави бог, чтобы я стал это оспаривать! — ответил он.

— Значит, мы можем рассчитывать на вашу дружескую услугу? — спросила она.— Я уверена, что можем!

— Я был бы более дурным человеком, чем... чем осмеливаюсь себя считать, или чем хотел бы себя считать, если бы не мог искренне, от всей души уверить вас в этом. Да, вы можете всецело на меня рассчитывать. Клянусь честью, я сохраню вашу тайну! И если обнаружится, что мои опасения правильны и мистер Домби, действуя согласно своему решению, от которого, по-видимому, нельзя заставить его отказаться, будет доведен до нищеты, я помогу вам привести в исполнение план, задуманный вами и Джоном.

Она протянула ему руку и радостно, от всего сердца поблагодарила его.

— Хэриет,— сказал он, удерживая ее руку в своей,— бесцельно и самонадеянно было бы говорить о жертвах,

какие вы приносите,— тем более о жертве, ограничивающейся только деньгами. Не менее нелепо — я это чувствую — обращаться к вам с просьбой еще раз обдумать ваше решение или несколько ограничить его. Я не имею никакого права мешать достойному завершению этой величественной истории каким бы то ни было вмешательством моей собственной слабой особы. Но у меня есть все права склонить голову перед тем, что вы мне доверили, и радоваться тому, что это исходит из более возвышенного и чистого источника, чем моя жалкая житейская мудрость. Скажу вам только одно: я — ваш верный слуга, и больше всего на свете я хочу быть вашим слугой и близким другом, раз уж вами самою я стать не могу.

Она снова поблагодарила его от всей души и попрощалась с ним.

— Вы идете домой? — спросил он.— Позвольте мне проводить вас.

— Нет, не сегодня. Сейчас я не иду домой; сначала я должна одна навестить кое-кого. Завтра вы придете?

— Да, да! — сказал он.— Завтра я приду. Тем временем я подумаю о том, как надлежит нам действовать. Быть может, и вы, дорогая Хэриет, об этом подумаете и... и... подумайте немножко и обо мне в связи с этим.

Он проводил ее до кареты, которая ждала у подъезда, и не будь его квартирная хозяйка глуха, она бы услышала, как он бормотал, когда карета отъехала, а он поднимался по лестнице, что все мы рабы привычки и что это прискорбная привычка — оставаться старым холостяком.

Виолончель лежала на диване, подле которого стояли два стула, он взял ее, оставив на прежнем месте освободивший стул, и долго-долго играл, глядя на незанятый стул и медленно покачивая головой. Сначала звуки, извлекаемые из инструмента были удивительно патетическими и нежными, но они не выдерживали никакого сравнения с выражением его лица, когда он смотрел на незанятый стул: выражение это свидетельствовало о таком искреннем чувстве, что мистеру Морфину не раз пришлось прибегнуть к средству капитана Катля и тереть лицо рукавом. Но постепенно виолончель, в унисон с его душевным состоянием, перешла к мелодии «Гармонического кузнеца» *, которую он повторял снова и снова,

пока его румяная и безмятежная физиономия не засияла, как металл на наковальне доподлинного кузнеца. Короче говоря, виолончель и незанятый стул были спутниками его холостой жизни чуть ли не до полуночи; а когда он уселся за ужин, виолончель, поместившись в углу дивана и затаив в себе гармонии целого скопища гармонических кузнецов, казалось, таращила с глубоким пониманием свои косые глаза на незанятый стул.

Когда Хэриет села в наемную карету, кучер, отправляясь в путь, очевидно, хорошо ему знакомый, пересек эту часть предместья, выбирая дороги побезлюднее, и, наконец, выехал на открытое место, где было разбросано несколько скромных старых домиков, окруженных садами. У одной из калиток карета остановилась, и Хэриет вышла.

В ответ на ее тихий звонок появилась женщина с унылой бледной физиономией, со склоненной набок головой и с поднятыми бровями. Увидев Хэриет, она присела и повела ее через сад к дому.

— Ну, как себя чувствует сегодня ваша больная? — спросила Хэриет.

— Боюсь, что плохо, мисс. О, как она мне напоминает иной раз дочь моего дяди, Бетси Джейн! — с каким-то горестным восторгом воскликнула женщина с бледным лицом.

— В каком отношении? — спросила Хэриет.

— Во всех отношениях, мисс,— ответила та.— Разница только в том, что это взрослая женщина, а Бетси Джейн была ребенком, когда стояла на краю могилы.

— Но вы мне говорили, что она выздоровела,— кротко возразила Хэриет.— Тем больше, стало быть, оснований надеяться, миссис Уикем.

— Ах, мисс, надежда прекрасная вещь для тех, у кого хватает жизнерадостности питать ее! — сказала миссис Уикем, покачивая головой.— Моей жизнерадостности не хватает, но я на это не ропщу. Завидую тем, кому доступно такое счастье!

— Вы бы постарались быть бодрее,— заметила Хэриет.

— Очень вам признательна, мисс,— мрачно сказала миссис Уикем.— Будь я предрасположена к бодрости, одиночество, неизбежное в моем положении — простите,

что говорю так откровенно,— лишило бы меня этого качества ровно через сутки. Но я к ней отнюдь не предрасположена. И не сокрушаюсь об этом. Ту жизнерадостность, какая была у меня, я потеряла несколько лет назад в Брайтоне, и, кажется, от этого мне стало только лучше.

В самом деле, это была та самая миссис Уикем, которая, заменив миссис Ричардс, стала няней маленького Поля и почитала себя в выигрыше от упомянутой потери, происшедшей под кровом любезной Пипчин. Благодаря превосходной и глубоко продуманной старинной системе, освященной давним обычаем, по которому на должность наставников юношества, проповедников морали, надзирательниц, менторов, больничных сиделок назначают людей самых скучных и неприятных, каких только можно отыскать,— миссис Уикем получила прекрасное место сиделки, и ее солидные добродетели были горячо рекомендованы восхищенной и многочисленной клиентурой.

Миссис Уикем с поднятыми бровями и склоненной набок головой, держа свечу в руках, поднялась наверх, в чистую, опрятную комнату, смежную с другой, тускло освещенной комнатой, где стояла кровать. В первой комнате у открытого окна сидела старуха, тупо глядя в темноту. Во второй лежала простертая на кровати тень той, которая когда-то в зимний вечер шла по дороге, невзирая на ветер и дождь; теперь ее можно было узнать только по длинным черным волосам, черноту которых оттеняло бескровное лицо и белизна белья.

О, эти глаза, полные жизни, и бессильная плоть! Глаза, так нетерпеливо обратившиеся к двери, так ярко вспыхнувшие при виде входящей Хэриет! И ослабевшая голова, которая не могла приподняться и так медленно повернулась на подушке.

— Элис! — ласково сказала посетительница.— Я не опоздала сегодня?

— Мне всегда кажется, что вы опаздываете, хотя вы всегда приходите рано.

Хэриет присела у кровати и взяла исхудавшую руку в свою.

— Вам лучше?

Миссис Уикем, стоя, как безутешный призрак, в но-

гах постели, весьма решительно и энергически покачала головой, отрицая подобное предположение.

— Не все ль равно! — слабо улыбнувшись, ответила Элис.— Лучше мне сегодня или хуже — речь идет о нескольких днях. Может быть, и того меньше.

Миссис Уикем, оправдывая свою репутацию серьезной особы, выразила одобрение протяжным вздохом; похлопав холодной рукой по одеялу, словно желая ощупать ноги больной и убедиться, что они окоченели, она принялась переставлять на столе склянки с лекарствами с таким видом, будто хотела сказать: «Пока мы еще здесь, будем по-прежнему принимать микстуру».

— Да,— шепотом сказала Элис своей гостье,— пороки и угрызения совести, скитания, нужда и непогода, бури во мне и вокруг меня сократили мою жизнь. Мне долго не протянуть.

С этими словами она взяла руку Хэриет и прижалась к ней лицом.

— Иногда я лежу здесь и думаю: хорошо бы пожить еще немножко, чтобы у меня было время показать, как я вам благодарна! Но это слабость, и она скоро проходит. Пусть будет так, как есть! Это лучше для вас. Это лучше для меня!

Совсем иначе держала она эту руку в тот холодный, зимний вечер у камина! Гнев, ярость, негодование, безрассудство! И вот каков конец!

Миссис Уикем, вволю позвенев склянками, подала микстуру. Миссис Уикем зорко смотрела на свою больную, пока та пила, плотно сжала губы, сдвинула брови и покачала головой, как бы давая понять, что даже под угрозой пытки не скажет вслух, сколь безнадежен этот случай. Затем миссис Уикем побрызгала в комнате какою-то освежающей жидкостью, словно могильщик, посыпающий золу золой и прах прахом,— ибо она была особой серьезной,— и удалилась, чтобы угоститься внизу жареным мясом по случаю каких-то поминок.

— Сколько времени прошло с тех пор, как я прибежала к вам и рассказала, что я сделала,— спросила Элис,— а вас уверили, что уже поздно посылать кого-нибудь вслед?

— Прошло больше года,— сказала Хэриет.

— Больше года,— повторила Элис, задумчиво всматриваясь в ее лицо.— И уже много месяцев тому назад вы привезли меня сюда.

Хэриет отозвалась: «Да».

— Привезли меня сюда — по вашей кротости и вашей доброте! Меня! — воскликнула Элис, съежившись и закрыв лицо руками.— И благодаря вашему участию, вашим речам и ангельским поступкам я стала человеком!

Хэриет, наклонившись к ней, утешала ее и успокаивала. Наконец Элис, все еще прикрывая лицо руками, попросила, чтобы она позвала ее мать.

Хэриет окликнула старуху несколько раз, но та, сидя у открытого окна, так пристально всматривалась в темноту, что ничего не слышала. Лишь после того как Хэриет подошла и тихонько коснулась ее рукой, она поднялась и вошла в комнату дочери.

— Матушка,— сказала Элис, снова взяв за руку свою гостью и с любовью смотря на нее сияющими глазами, тогда как старуху она только поманила пальцем,— матушка, расскажите ей все, что вы знаете.

— Сегодня, милочка?

— Да, матушка,— тихим, торжественным голосом произнесла Элис,— сегодня!

Старуха, у которой как будто в голове помутилось от тревоги, раскаяния или горя, крадучись приблизилась к кровати со стороны, противоположной той, где сидела Хэриет, опустилась на колени, чтобы морщинистое ее лицо было на одном уровне с одеялом, и, протянув руку, чтобы коснуться руки дочери, начала:

— Моя красавица дочка...

Она запнулась и посмотрела на жалкое существо, лежавшее в постели,— и, боже, какой крик вырвался у нее в это мгновение!

— Она давным-давно изменилась, матушка! Давным-давно увяла,— не глядя на нее, сказала Элис.— Теперь не стоит горевать об этом.

— ...Моя дочь,— запинаясь, продолжала старуха,— моя дочка, которая скоро поправится и посрамит их всех своею красотой!

Элис грустно улыбнулась Хэриет, ласково притянула к себе ее руку, но не проронила ни слова.

— Которая, говорю я, скоро поправится,— повторила старуха, потрясая сморщенным кулаком,— и посрамит их всех своею красотой! Да! Так оно и будет! — Казалось, она вступила в страстный спор с каким-то невидимым противником, находившимся у кровати.— Моя дочь была отвергнута и покинута, но если бы она захотела, она могла бы похвалиться своим родством с гордецами. Да! С гордецами! Это родство не имеет никакого отношения к вашим священникам и обручальным кольцам — они могут на это ссылаться, но порвать связь они не в силах, и у моей дочери хорошее родство. Покажите мне миссис Домби, а я вам покажу мою Элис, ее двоюродную сестру!

Хэриет отвела взгляд от старухи, заглянула в сияющие глаза, не отрывавшиеся от ее лица, и прочла в них подтверждение.

— Да! — вскричала старуха, вскинув трясущуюся голову и одержимая каким-то страшным тщеславием.— Хотя я теперь стара и уродлива — состарили меня не столько годы, сколько тяжелая жизнь,— но когда-то и я была молодой. Да, и хорошенькой, не хуже многих. Когда-то я была свеженькой деревенской девушкой, и миловидной, дорогая моя,— добавила она, стараясь через кровать дотянуться рукою до Хэриет.— Там, в моей деревне, отец миссис Домби и его брат были самыми веселыми джентльменами, самыми желанными гостями, когда наезжали к нам из Лондона... оба давно уже умерли! Господи боже мой, как давно это было! Один из двух братьев, отец моей Эли, умер первым.

Она приподняла голову и заглянула в лицо Элис: вспомнив о своей молодости, она, казалось, воскресила в памяти молодость своей дочери. Потом она вдруг уткнулась лицом в одеяло и обхватила голову руками.

— Они были похожи друг на друга, как только могут быть похожи два брата, почти сверстники,— продолжала старуха, не поднимая головы.— Насколько я припоминаю, разница в возрасте была не больше года. И если бы вы видели мою дочку так, как я видела ее однажды, рядом с дочерью того, другого, вы бы заметили, что, несмотря на разницу в одежде, они похожи друг на друга. О, неужели сходство исчезло, и моей дочке — только моей дочке — суждено так измениться?!

— Все мы изменимся в свое время, матушка,— вставила Элис.

— В свое время! — вскричала старуха.— Но почему это время настало для моей дочки, а не для нее? Ее мать, конечно, изменилась — она состарилась так же, как и я, и казалась такою же морщинистой, несмотря на румяна, но *та* осталась красивой. Что же такое сделала я, в чем я провинилась больше, чем она, и почему только моя дочка лежит здесь и угасает?

Снова испустив дикий вопль, она выбежала в ту комнату, из которой пришла, но тут же вернулась и, подкравшись к Хэриет, продолжала:

— Вот о чем Элис просила рассказать вам, милочка. Я все сказала. Как-то летом в Уорикшире я об этом узнала, когда начала собирать о той всякие сведения. В ту пору мне нечего было ждать от таких родственников. Они бы меня не признали и ничего бы мне не дали. Пожалуй, спустя некоторое время я бы и попросила у них маленькую сумму денег, если бы не моя Элис. Мне кажется, она могла бы меня убить, если бы я это сделала. Она была по-своему такой же гордой, как и та — другая,— сказала старуха, боязливо прикоснувшись к лицу дочери и быстро отдернув руку,— хотя сейчас она лежит так спокойно. Но она еще посрамит их своею красотою! Ха-ха! Она их посрамит, моя красавица дочка!

Ее смех, когда она выходила из комнаты, был страшнее, чем плач; страшнее, чем взрыв безумных причитаний, которым он закончился; страшнее, чем тот растерянный вид, с каким она уселась на прежнее место и стала смотреть в темноту.

Все это время Элис не спускала глаз с Хэриет и держала ее за руку. Потом она сказала:

— Лежа здесь, я почувствовала, что мне было бы легче, если бы вы об этом узнали. Мне казалось, это объяснит вам, что способствовало моему ожесточению. В пору моей преступной жизни я наслушалась о долге, мною не выполненном, и тогда я пришла к убеждению, что прежде всего долг не был выполнен по отношению ко мне и, стало быть, что посеешь, то и пожнешь. Я узнала, что если у знатных леди бывают плохие

матери и безрадостный домашний очаг, то они тоже по-своему сбиваются с пути, но их путь не бывает таким дурным, каким был мой, и за это они должны благодарить бога. Все это прошло. Теперь это похоже на сон, который я плохо помню и не совсем понимаю. С каждым днем это все больше и больше походило на сон — с тех пор, как вы стали приходить сюда и читать мне. Я вам рассказываю то, что могу припомнить. Не почитаете ли вы мне еще немного?

Хэриет освободила руку, чтобы открыть книгу, но Элис удержала ее на мгновение.

— Вы не оставите моей матери? Я ей прощаю, если есть за что ее прощать. Я знаю, что она меня простила и в глубине души оплакивает меня. Вы ее не оставите?

— Я никогда не оставлю ее, Элис!

— Еще минутку, дорогая. Приподымите мне голову так, чтобы, когда вы будете читать, я могла угадывать слова по вашему милому лицу.

Хэриет исполнила просьбу и начала читать; она читала книгу, вечную для всех усталых и обремененных, для всех несчастных, падших и обиженных на земле; она читала священную повесть, в которой слепые, хромые, разбитые параличом, преступники, женщины, запятнавшие себя позором,— все отверженные получают свою долю, и до конца веков ее не могут отнять у них человеческая гордыня, равнодушие или хитроумные рассуждения, не могут ее уменьшить хотя бы на одну тысячную атома. Она читала о служении того, кто, пройдя весь круг человеческой жизни со всеми ее надеждами и скорбями, от колыбели до могилы, от младенчества до зрелого возраста, относился с глубоким состраданием и участием ко всем ее событиям, ко всем ее страданиям и печалям.

— Завтра я приду рано утром,— сказала Хэриет, закрыв книгу.

Сияющие глаза, не отрывавшиеся от ее лица, на мгновение сомкнулись, потом снова открылись; Элис поцеловала и благословила ее.

Эти глаза проводили ее до двери; в их сиянии и на спокойном лице больной была улыбка, когда дверь закрылась.

Глаза не отрывались от двери. Она положила руку на грудь, прошептала священное имя того, о ком ей читали, и жизнь угасла на ее лице, как будто погасили свечу.

И теперь здесь лежала только смертная оболочка, которую хлестал когда-то дождь, и черные волосы, когда-то развевавшиеся на зимнем ветру.

ГЛАВА LIX

Возмездие

Снова перемены в величественном доме на длинной, скучной улице, где протекли детство и одинокая юность Флоренс. Дом остается по-прежнему величественным, не боится ветра и непогоды, крыша не протекает, ставни не расшатаны, стены не обрушились. Но тем не менее дом стал развалиной, и крысы убегают из него.

Мистер Таулинсон и прочие слуги сначала относятся недоверчиво к туманным слухам. Кухарка говорит: «Слава богу, кредит нашего хозяина не очень-то легко подорвать»; а мистер Таулинсон не удивился бы, если бы ему сказали, что Английскому банку грозит крах или драгоценности, хранящиеся в Тауэре, будут проданы. Но затем является «Газета» * и с нею мистер Перч; мистер Перч привел с собою миссис Перч, чтобы потолковать об этом в кухне и провести приятный вечерок.

Когда больше уже не остается никаких сомнений, мистер Таулинсон беспокоится главным образом о том, чтобы банкротство было солидным — не меньше ста тысяч фунтов! Мистер Перч сомневается, хватит ли ста тысяч фунтов на покрытие долгов. Женщины во главе с миссис Перч и кухаркой несколько раз повторяют: «Сто ты-сяч фун-тов!» с величайшим удовлетворением, как будто произносить эти слова — то же, что держать в руках деньги; а горничная, которая неравнодушна к мистеру Таулинсону, хотела бы иметь хоть сотую часть этой суммы, чтобы поднести ее своему избраннику. Мистер Таулинсон, памятуя о старой обиде, высказывает предположение, что иностранец вряд ли знал бы, что ему де-

лать с такими деньгами, разве что потратил бы их на свои бакенбарды; такой ядовитый сарказм заставляет горничную расплакаться и уйти.

Но отсутствует она недолго, ибо кухарка, которая слывет особой чрезвычайно добросердечной, говорит, что как бы там ни было, но теперь они должны поддерживать друг друга, потому что, быть может, им придется скоро расстаться. В этом доме (говорит кухарка) они пережили похороны, свадьбу и побег, и пусть никто не скажет про них, будто в такое время, как теперь, они не могут жить в ладу. Миссис Перч очень растрогана этой умилительной речью и во всеуслышание называет кухарку ангелом. Мистер Таулинсон отвечает кухарке: он отнюдь не желает препятствовать этим добрым чувствам, которые может только приветствовать. Затем он идет разыскивать горничную и, вернувшись под руку с этой молодой леди, объявляет собравшимся в кухне, что об иностранцах он говорил в шутку, и что он вместе с Энн решили отныне делить радость и невзгоды и открыть на Оксфордском рынке зеленную лавку, где будут продаваться также лечебные травы и пиявки, для какового начинания он просит благосклонной поддержки присутствующих. Это заявление встречено радостными возгласами, и миссис Перч, прозревая грядущее, торжественно шепчет на ухо кухарке: «Девочки!»

Здесь, в подвальном этаже, всякое бедствие в доме неизменно сопровождается пиршеством. Поэтому кухарка готовит на скорую руку одно-два горячих блюда к ужину, а мистер Таулинсон заправляет салат из омаров, посвящая его все тому же священному гостеприимству. Даже миссис Пипчин, взволнованная происшествием, звонит в колокольчик и отдает распоряжение на кухню, чтобы ей разогрели к ужину оставшийся от обеда кусочек сладкого мяса и подали на подносе вместе со стаканчиком горячего хереса, так как она неважно себя чувствует.

Речь заходит и о мистере Домби, но о нем говорят очень мало. Рассуждают преимущественно о том, давно ли ему было известно, что это должно случиться. Кухарка говорит с проницательным видом: «О, боже мой, конечно, давно! Можете поклясться, что давно». А когда обращаются к мистеру Перчу, тот подтверждает ее предполо-

жение. Кто-то задает вопрос, каково же будет теперь мистеру Домби и удастся ли ему как-нибудь выпутаться. Мистер Таулинсон этого не думает и замечает, что можно найти пристанище в одной из лучших богаделен для благородных. «Ах! Там, знаете ли, у него будет свой собственный садик,— жалобно говорит кухарка,— и весной он может выращивать сладкий горошек».— «Совершенно верно,— говорит мистер Таулинсон,— и вступит в члены какого-нибудь братства».— «Все мы братья»,— говорит миссис Перч, оторвавшись от стакана. «За исключением сестер»,— говорит мистер Перч. «Таково падение великих людей!» — замечает кухарка. «Гордыня всегда приводит к падению. Всегда так было и будет»,— добавляет горничная.

Удивительно, какими добродетельными почитают они самих себя, когда делают эти замечания; и какое христианское единодушие они выказывают, безропотно перенося обрушившийся удар. Такое превосходное расположение духа нарушается только один раз по вине особы, занимающей весьма низкое положение,— молоденькой судомойки в черных чулках, которая долго сидит, разинув рот, и вдруг изрекает: «А что, если не заплатят жалованья?» На мгновение все лишаются дара речи; кухарка первая приходит в себя, поворачивается к молодой женщине и выражает пожелание узнать, как осмеливается та оскорблять такими бесчестными подозрениями семью, чей хлеб она ест, и неужели она думает, что человек, у которого осталась хоть крупица совести, может лишить бедных слуг их жалкого жалования? «Если у вас *такие* религиозные убеждения, Мэри Даус,— с жаром говорит кухарка,— я, право, не знаю, до чего вы дойдете!»

И мистер Таулинсон этого не знает, и никто этого не знает. А молоденькая судомойка, которая как будто и сама хорошенько этого не знает, окутана смущением, словно покрывалом.

Спустя несколько дней начинают появляться какие-то чужие люди и назначать друг другу свидания в столовой, словно они живут в этом доме. Особого внимания заслуживает джентльмен с иудейско-арабским обликом и очень массивной цепочкой от часов, который посвистывает в гостиной и, поджидая другого джентльмена, всегда нося-

щего в кармане перо и чернильницу, спрашивает мистера Таулинсона (непринужденно именуя его «приятелем»), не знает ли он случайно, сколько уплачено было за эти малиновые с золотом занавески. С каждым днем все чаще появляются эти гости, и все чаще назначаются деловые свидания в гостиной, и чудится, будто у каждого джентльмена имеются в кармане перо и чернила и каждому представляется случай воспользоваться ими. Наконец распространяется слух, будто аукцион уже назначен; появляются еще какие-то люди, с пером и чернильницей в кармане, командующие отрядом рабочих в кепи, которые немедленно принимаются снимать ковры, двигают мебель и оставляют в холле и на лестнице бесчисленные следы башмаков.

Компания в подвальном этаже заседает в полном составе и устраивает настоящие пиры, так как делать ей нечего. Наконец всех слуг призывают в комнату миссис Пипчин, и прекрасная перуанка обращается к ним с такими словами:

— Ваш хозяин находится в затруднительном положении,— резко говорит миссис Пипчин.— Полагаю, вам это известно?

Мистер Таулинсон, выступая от лица всех, признает, что это обстоятельство им известно.

— И я не сомневаюсь, все вы уже подыскиваете себе местечко,— говорит миссис Пипчин, качая головой.

Пронзительный голос восклицает в заднем ряду:

— Не больше, чем вы!

— Вы так думаете, бесстыдница? — говорит разгневанная Пипчин, глядя огненным взором поверх голов в передних рядах.

— Да, миссис Пипчин, я так думаю,— отвечает кухарка, выступая вперед.— Ну, а дальше что?

— А дальше то, что вы можете убираться, куда угодно,— говорит миссис Пипчин.— Чем скорее, тем лучше! И я надеюсь, что больше никогда не увижу вашей физиономии.

С этими словами доблестная Пипчин достает холщовый мешок, отсчитывает ее жалование по сегодняшний день, а также за месяц вперед и крепко сжимает в руке деньги, пока расписка в получении не написана по всем

правилам, после чего неохотно разжимает руку. Эту операцию миссис Пипчин проделывает с каждым из слуг, пока не расплачивается со всеми.

— А теперь кто хочет уйти, пусть уходит,— говорит миссис Пипчин,— а кто хочет остаться, пусть останется еще на недельку на прежних условиях и исполняет свои обязанности. Но эта дрянь, кухарка,— говорит, воспламенившись, миссис Пипчин,— пусть убирается немедленно.

— Она непременно так и сделает! — говорит кухарка.— Желаю вам всего хорошего, миссис Пипчин, и искренне сожалею о том, что не могу назвать ваш вид привлекательным.

— Убирайтесь вон! — говорит миссис Пипчин, топая ногой.

Кухарка выплывает из комнаты благодушно и с достоинством, что приводит в крайнее раздражение миссис Пипчин, и вскоре к ней присоединяются внизу остальные члены конфедерации.

Мистер Таулинсон полагает, что прежде всего надлежит немножко закусить, а за этой закуской ему хотелось бы сделать одно предложение, которое он считает весьма уместным при создавшихся обстоятельствах. Когда угощение подано, за него принимаются с большой охотой, и мистер Таулинсон, излагая свое предложение, говорит, что кухарка уходит, а если мы не будем верны друг другу, то и нам никто не будет верен. Мы ведь долго жили в этом доме и всегда старались сохранять дружеские отношения. (Тут кухарка с волнением восклицает: «Слушайте, слушайте!», а миссис Перч, которая снова здесь присутствует и сыта по горло, проливает слезы.) И в настоящее время он считает, что надлежит поступить так: уходит один — уходят все! Горничная глубоко растрогана этими благородными словами и горячо поддерживает предложение. Кухарка одобряет такое решение, но выражает надежду, что это делается не в угоду ей, а из чувства долга. Мистер Таулинсон подтверждает — да, из чувства долга; и теперь, раз уж его принудили высказать свое мнение, он говорит напрямик, что почитает не совсем приличным оставаться в доме, где предстоит продажа с торгов и всякое такое. Горничная не сомневается в этом и в подтверждение своих слов рассказывает,

как сегодня утром незнакомый человек в кепи хотел поцеловать ее на лестнице. Тут мистер Таулинсон срывается со стула с намерением отыскать и «прихлопнуть» обидчика, но дамы удерживают его и умоляют успокоиться и рассудить, что гораздо легче и благоразумнее будет немедленно покинуть дом, где происходят такие непристойные вещи. Миссис Перч, осветив вопрос с другой стороны, утверждает даже, что деликатность по отношению к мистеру Домби, сидящему взаперти в своих комнатах, настоятельно требует отбыть немедленно. «Что должен он почувствовать,— говорит эта добрая женщина,— если вдруг встретит кого-нибудь из бедных слуг, которых он обманул: мы-то ведь считали его ужасно богатым!» Кухарка столь поражена этим высоконравственным соображением, что миссис Перч считает нужным подкрепить его многочисленными благочестивыми аксиомами, как оригинальными, так и позаимствованными. Становится совершенно ясно, что уйти должны все. Сундуки уложены, кэбы наняты, и вечером того же дня никого из членов этой компании уже нет в доме.

Дом стоит на длинной скучной улице и не боится непогоды; но он стал развалиной, и крысы убегают из него.

Люди в кепи продолжают передвигать мебель, а джентльмены с перьями и чернильницами составляют опись имущества, присаживаются на такие предметы обстановки, на которых никогда не полагалось сидеть, раскладывают бутерброды с сыром, принесенные из трактира, на таких предметах, которые никогда для этого не предназначались, и как будто испытывают удовольствие, заставляя драгоценные вещи служить странным целям. Мебель расставлена в хаотическом беспорядке. Матрацы и постельное белье появляются в столовой; стеклянная и фарфоровая посуда проникает в оранжерею; парадный обеденный сервиз разложен на длинном диване в большой гостиной; металлические прутья, прикреплявшие ковры на лестнице, связаны в пучки и декорируют мраморные камины. И, наконец, с балкона вывешивается коврик с приклеенным к нему печатным объявлением, и такие же украшения висят по обе стороны парадной двери.

Затем в течение целого дня по улице тянется вереница старомодных двуколок и карет — и толпы оборванных

вампиров, евреев и христиан, наводняют дом, постукивают пальцами по зеркалам, берут нестройные аккорды на рояле, проводят мокрым указательным пальцем по картинам, дышат на лезвия лучших столовых ножей, бьют грязными кулаками по подушкам кресел и диванов, тормошат пуховики, открывают и закрывают все ящики, взвешивают на ладони серебряные ложки и вилки, разглядывают каждую ниточку драпировок и белья и хулят всё. В доме нет ни одного недоступного для них уголка. Небритые субъекты, пожелтевшие от нюхательного табака, рассматривают кухонную плиту с не меньшим любопытством, чем стенные шкафы в мансарде. Здоровенные парни в потертых шляпах выглядывают из окон спальни и перебрасываются шутками с приятелями на улице. Спокойные, расчетливые люди удаляются с каталогами в гостиные и огрызками карандаша делают пометки на полях. Два маклера атакуют даже пожарную лестницу и с крыши дома обозревают окрестности. Суета и шум не прекращаются несколько дней. Отличная модная мебель и прочие предметы домашнего обихода выставлены для осмотра.

Затем в самой роскошной гостиной выстраиваются столы, и на великолепных столах испанского красного дерева, крытых французским лаком, посреди бесконечного пространства столов с изогнутыми ножками водружается пюпитр аукционера. И толпы оборванных вампиров, евреев и христиан, незнакомцев, небритых и пожелтевших от нюхательного табака, и здоровенных парней в потертых шляпах собираются вокруг, усаживаются на что попало, вплоть до каминных полок, и начинают набавлять цену. В течение целого дня в комнатах жарко, шумно и пыльно, а над этой пылью, жарой и шумом не прекращают работы голова, плечи, голос и молоточек аукционера. Люди в кепи устали и раздражены возней с вещами, а вещи — сколько их ни выносят — все прибывают и прибывают. Иногда слышатся шутка и общий хохот. Так продолжается с утра до вечера на протяжении четырех дней. Отличная модная мебель и прочие предметы домашнего обихода продаются с молотка.

Затем снова подъезжают старомодные двуколки и кареты, а вместе с ними появляются рессорные фургоны и

подводы и армия носильщиков с веревками. С утра до вечера люди в кепи возятся с отвертками и блоками, гурьбой спускаются с лестницы, шатаясь под тяжестью ноши, грузят целые горы испанского красного дерева, лучшего розового дерева и зеркальных стекол в двуколки, кареты, фургоны и подводы. Все перевозочные средства налицо — от крытого фургона до тачки. Кроватка бедного Поля уезжает на тележке, запряженной ослом. Чуть ли не целую неделю вывозят отличную модную мебель и прочие предметы домашнего обихода.

Наконец все вывезено. Ничего не осталось в доме, кроме разбросанных листов каталога, клочков соломы и сена и целой батареи оловянных кружек за парадной дверью. Люди в ковровых кепи складывают свои отвертки и клещи в мешки, взваливают мешки на спину и уходят. Один из джентльменов, вооруженных пером и чернильницей, осматривает весь дом, в последний раз оказывая ему внимание, наклеивает на окна билетики, возвещающие о сдаче внаем прекрасного особняка, и закрывает ставни. Наконец и он уходит. Не остается никого из непрошеных гостей. Дом стал развалиной, и крысы убегают из него.

Апартаменты миссис Пипчин, а также те запертые на ключ комнаты в нижнем этаже, где спущены жалюзи, избегли опустошения. Пока длилась эта процедура, миссис Пипчин, суровая и неприступная, оставалась у себя в комнате, по временам появлялась на аукционе, чтобы узнать, сколько дают за вещи, а один раз — чтобы предложить цену за намеченное ею кресло. Миссис Пипчин предложила наивысшую цену за это кресло, и она восседает на своей собственности, когда миссис Чик приходит навестить ее.

— Как себя чувствует мой брат, миссис Пипчин? — спрашивает миссис Чик.

— Об этом мне известно не больше, чем черту,— говорит миссис Пипчин.— Он ни разу не снизошел до разговора со мной. Еду и питье приносят в комнату, смежную с его помещением, а он выходит и уносит кушанья к себе, когда никого там нет. Какой толк меня расспрашивать?! Я о нем знаю не больше, чем человек в жарких странах, который обжег себе рот холодной кашей с изюмом.

— Боже мой! — кротко восклицает миссис Чик.— Когда же этому конец? Миссис Пипчин, если мой брат не сделает усилия, что же с ним будет? Право же, я полагала, что теперь он знает, каковы бывают последствия, если человек не делает усилия! Теперь-то он не должен совершить этой роковой ошибки.

— Какой вздор! — говорит миссис Пипчин, потирая нос.— По моему мнению, слишком много шуму поднимают из-за этого. Вовсе это не такой замечательный случай! Людям и раньше случалось попадать в беду и поневоле расставаться со своей мебелью. Мне это, во всяком случае, выпало на долю!

— Мой брат,— глубокомысленно продолжает миссис Чик,— такой удивительный... такой странный человек. Это самый удивительный человек из всех, кого я знаю. Ну, кто поверит, что, узнав о замужестве и отъезде из Англии этой бессердечной дочери — сейчас мне утешительно вспомнить о том, что я всегда замечала что-то странное в этом ребенке, но к моим словам никогда не прислушиваются,— кто поверит, говорю я, что он вдруг обрушился на меня! Судя по моему тону,— заявил он,— есть основания предполагать, будто она поселилась у меня!! Ах, боже мой! И кто поверит, что, когда я сказала ему: «Поль, быть может, я очень глупа, и несомненно это так и есть, но я не могу понять, каким образом ваши дела пришли в такое расстройство?» — он буквально набросился на меня и запретил навещать его до тех пор, пока он сам меня не позовет. Ах, боже мой!

— Да! — говорит миссис Пипчин.— Жаль, что ему не приходилось иметь дело с копями. Они бы испытали его терпение.

— И чем же это все кончится? — продолжает миссис Чик, никакого внимания не обращая на замечание миссис Пипчин.— Вот что хотелось бы мне знать! Что намерен делать мой брат? Он должен что-то сделать. Не имеет никакого смысла сидеть взаперти у себя в комнате. Дело-то к нему не придет. Да. Он должен сам пойти. В таком случае, почему же он не идет? Полагаю, он знает, куда идти, раз он всю жизнь был дельцом. Прекрасно. В таком случае, почему же не пойти туда?

Миссис Чик, выковав эту цепь неопровержимых доводов, на минутку умолкает, чтобы полюбоваться ею.

— К тому же,— рассудительно продолжает эта благоразумная леди,— слыхивал ли кто-нибудь о таком упрямстве, об этом сидении взаперти, когда происходят все эти ужасные и неприятные события? Можно подумать, что ему некуда уйти. Конечно, он мог бы переехать к нам. Полагаю, ему известно, что у нас он может чувствовать себя как дома? Мистер Чик совсем удручен этим, и я сама сказала брату: «Поль, неужели вы думаете, что теперь, когда ваши дела пришли в расстройство, вы не будете чувствовать себя как дома, живя у нас, у своих близких родственников? Неужели вы думаете, будто мы похожи на всех других светских людей?» Нет, он не трогается с места, не выходит отсюда. Боже мой, дом могут сдать внаем! Что он будет делать тогда? Ведь он уже не сможет остаться здесь. Если бы он попытался остаться, началось бы дело об изъятии собственности и об этом Доу * и так далее, и тогда он должен был бы выехать. А в таком случае, почему не выехать сейчас? И вот я опять возвращаюсь к тому, что сказала, и задаю вопрос: чем же это все кончится?!

— Я знаю, чем это кончится, поскольку дело касается меня,— отвечает миссис Пипчин,— и с меня этого хватит. Я намерена отсюда улетучиться!

— Что, миссис Пипчин? — переспрашивает миссис Чик.

— Улетучиться,— резко повторяет миссис Пипчин.

— Ну что ж, я не могу упрекать вас, миссис Пипчин,— откровенно говорит миссис Чик.

— А мне все равно, можете вы или не можете,— отвечает язвительная Пипчин.— Как бы там ни было, а я ухожу. Я не могу здесь оставаться. Я бы через неделю умерла. Вчера я должна была сама поджарить себе свиную котлету, а я к этому не привыкла. Мое здоровье пострадает. Кроме того, у меня были прекрасные связи в Брайтоне, когда я оттуда уехала: одни только родные маленькой Пэнки платили мне восемьдесят фунтов в год. Таких связей я не могу терять. Я написала племяннице, и она уже ждет меня.

— Вы говорили с моим братом? — спрашивает миссис Чик.

— О да, вам легко спрашивать, говорила ли я с ним! — отвечает миссис Пипчин.— Как с ним поговорить? Вчера я ему крикнула, что я здесь больше не нужна и хотела бы послать за миссис Ричардс. Он что-то проворчал в знак согласия, и я послала за ней. Проворчал! Будь он мистером Пипчином, вот тогда бы у него были основания ворчать! Да! Это выводит меня из терпения.

Затем эта образцовая женщина, выкачавшая столько силы духа и добродетелей из глубин Перуанских копей, поднимается с приобретенного ею кресла, чтобы проводить миссис Чик до двери. До последней минуты сетуя на удивительный нрав своего брата, миссис Чик потихоньку уходит, занятая мыслями о своей собственной проницательности и о своем ясном уме.

В сумерках мистер Тудль, покончив со служебными обязанностями, является с Полли и сундуком и, звонко поцеловав Полли, оставляет ее и сундук в холле опустевшего дома; заброшенный вид этого дома сильно понижает жизнерадостность мистера Тудля.

— Вот что я тебе скажу, Полли, дорогая моя,— говорит мистер Тудль,— теперь я служу машинистом, зарабатываю хорошо и ни за что не отпустил бы тебя скучать здесь, если бы не помнил прежних милостей. Но прежних милостей, Полли, нельзя забывать. К тому же твое лицо — лучшее лекарство для тех, кто попал в беду. Дай же мне поцеловать его еще разок, дорогая моя. Знаю, что тебе больше всего хочется сделать доброе дело, и мне самому кажется, что остаться здесь будет делом и хорошим и справедливым. Спокойной ночи, Полли!

Тем временем миссис Пипчин маячит тенью в черных бомбазиновых юбках, черной шляпе и шали, укладывает свое имущество, ставит свое кресло (бывшее любимое кресло мистера Домби, пошедшее за бесценок) поближе к парадной двери и ждет фургона, который отправляется сегодня вечером в Брайтон по частному делу и должен заехать за ней по частному договору и отвезти ее домой.

Вскоре фургон подъезжает. В него вносят и размещают в нем имущество миссис Пипчин, затем вносят

кресло миссис Пипчин, которое ставят в удобный уголок и обкладывают сеном, ибо эта любезная женщина намерена сидеть в нем во время путешествия. Наконец в него вносят миссис Пипчин, и она мрачно опускается в кресло. В жестких серых глазах загораются змеиные огоньки, словно она уже смакует гренок с маслом, горячие отбивные котлеты, перспективу мучить и усмирять маленьких детей и есть поедом бедную Бери, равно как и прочие радости жизни в замке Людоедки. И миссис Пипчин почти улыбается, когда фургон трогается в путь; она разглаживает на коленях черные бомбазиновые юбки и поудобнее усаживается в кресле.

Дом стал такой развалиной, что все крысы разбежались, и не осталось ни одной.

Но Полли, одинокая в покинутом доме, ибо ее одиночества не может рассеять присутствие бывшего хозяина дома, скрывающегося в запертых комнатах, недолго остается одна. Она занимается шитьем в комнате экономки, стараясь забыть о том, какой это заброшенный дом и какова его история. Вдруг раздается стук в парадную дверь — такой громкий, каким только может быть стук, раздающийся в пустом доме. Отперев дверь, она идет обратно по гулкому холлу в сопровождении особы в черной шляпе. Это мисс Токс, и глаза у мисс Токс красные.

— О Полли! — говорит мисс Токс.— Когда я пришла к вам позаниматься с детьми, мне передали вашу записку. И я пошла сюда, как только немножко успокоилась. Здесь нет никого, кроме вас?

— Ни души,— говорит Полли.

— Вы его видели? — шепчет мисс Токс.

— Господь с вами! — отвечает Полли.— Его давно уже никто не видел. Мне сказали, что он никогда не выходит из своей комнаты.

— А не говорили, что он болен? — спрашивает мисс Токс.

— Нет, сударыня, об этом я ничего не слыхала,— отвечает Полли,— разве что душевно расстроен. Бедный джентльмен; должно быть, очень тяжело у него на душе!

Сочувствие мисс Токс столь велико, что она едва может говорить. Она отнюдь не младенец, но годы и безбрачие не сделали ее черствой. Сердце у нее очень неж-

ное, сострадание очень искреннее, уважение — неподдельное. Под медальоном с тусклым глазом в груди мисс Токс таятся более высокие качества, чем у многих людей с менее странной внешностью,— качества, которые на много веков переживут самую прекрасную внешность и самую красивую шелуху, падающую под серпом Великого Жнеца.

Не скоро уходит мисс Токс, а Полли, оставив свечу на лестнице, лишенной ковра, выглядывает на улицу, смотрит ей вслед и не чувствует ни малейшего желания возвращаться в мрачный дом, нарушать его тишину грохотом тяжелых болтов у парадной двери и ложиться спать. И тем не менее все это она проделывает; а утром она приносит в одну из этих комнат со спущенными жалюзи те кушания, какие ей посоветовали приготовить, потом уходит и возвращается сюда только на следующее утро в том же часу. Хотя есть здесь колокольчики, но они никогда не звонят; и хотя иной раз она слышит шаги — взад и вперед, взад и вперед,— но человек никогда не переступает через порог.

Назавтра мисс Токс приходит рано. С этого дня она начинает заниматься приготовлением лакомых блюд — во всяком случае, лакомых с ее точки зрения,— чтобы наутро их отнесли в те комнаты. Столько удовольствия доставляет ей это занятие, что она предается ему регулярно, и приносит ежедневно в маленькой корзинке всевозможные изысканные приправы, выбранные из скудных запасов покойного обладателя напудренного парика с косичкой. Затем она приносит себе на обед завернутый в бумагу для папильоток холодный ростбиф, бараний язык, полкурицы и, закусывая вместе с Полли, проводит большую часть дня в разоренном доме, откуда бежали крысы, пугливо прячется при малейшем шуме, приходит и уходит, крадучись как преступник, и хочет остаться верной своему павшему кумиру, о чем неведомо ему и неведомо никому в мире за исключением только одной бедной, простодушной женщины.

Но майор об этом знает, и хотя никому больше это не известно, однако майор очень забавляется. В припадке любопытства майор поручил туземцу наблюдать за этим домом и разузнать, что сталось с Домби. Туземец доложил о верности мисс Токс, и майор чуть не задохся от

смеха. С той поры он посинел еще больше и постоянно бурчит себе под нос, тараща рачьи глаза: «Черт возьми, сэр, эта женщина — идиотка с младенческих лет!»

А человек, чья жизнь разрушена? Как проводит он время в одиночестве?

«Ему суждено вспомнить об этом в той же самой комнате в грядущие годы!» Он вспомнил. Теперь это угнетало его больше, чем все остальное.

«Ему суждено вспомнить об этом в той же самой комнате в грядущие годы!» Дождь, бьющий по крыше, ветер, стонущий снаружи, быть может, предвещали это своим меланхолическим шумом. «Ему суждено вспомнить об этом в той же самой комнате в грядущие годы!»

Он вспомнил. Он думал об этом в тоскливую ночь, в печальный день, в мучительный час рассвета и в призрачных сумерках, пробуждающих воспоминания. Он вспомнил. В тоске, в скорби, в отчаянии, терзаемый раскаянием! «Папа! Папа! Поговорите со мной, дорогой папа!» Он снова слышал эти слова и видел ее лицо. Он видел, как дрожащие руки закрыли это лицо, и слышал тихий протяжный стон.

Он пал, чтобы больше никогда уже не подняться. Вслед за ночью, окутавшей его разорение, уже не наступит восход солнца; пятно на его имени уже не будет смыто; ничто, слава богу, не могло воскресить его умершего сына. Но то, что в прошлом он мог сделать совсем иным, что могло бы и это прошлое сделать совсем иным (хотя об этом он вряд ли теперь думал), то, что было делом его рук, то, что так легко могло стать для него благословением, а он с таким упорством в течение многих лет превращал в проклятье,— вот что было для него самой горькою мукой.

О, он вспомнил! Дождь, бивший по крыше, ветер, стонавший в ту ночь снаружи, предвещали это своим меланхолическим шумом. Теперь он знал, что он сделал. Теперь он понял, что́, по его вине, обрушилось на его голову и заставило ее опуститься ниже, чем могли бы ее склонить самые жестокие удары судьбы. Теперь он знал, что значит быть отвергнутым и покинутым, теперь, когда все цветы любви, засушенные им в невинном сердце дочери, осыпали его пеплом.

Он вспоминал, какою она была в тот вечер, когда он приехал с молодой женой. Он вспоминал, какою она была во время всевозможных событий, происходивших в покинутом доме. Он думал о том, что из всех, кто его окружал, она одна никогда не изменялась. Его сын в могиле, его надменная жена стала нечистой тварью, его льстивый друг оказался гнусным негодяем, его богатства растаяли, даже стены, в которых он искал убежища, смотрели на него как на чужого; она одна обращала на него все тот же кроткий, ласковый взгляд. Да, до самой последней минуты! Она не изменялась в своем отношении к нему так же, как и он в своем отношении к ней, и она была потеряна для него.

По мере того как одна за другою исчезали словно дым его надежды — надежды, возлагавшиеся на малютку-сына, на жену, друга, богатство,— о, как рассеивался туман, сквозь который он ее видел, и как вырисовывалось перед ним подлинное ее лицо! О, оно вырисовывалось перед ним гораздо яснее, чем мысль о том, что он любил ее так же, как и сына, потерял ее так же, как потерял сына, и похоронил их обоих в безвременной могиле!

В своей гордыне — гордым он все еще оставался — он спокойно наблюдал, как светское общество покинуло его. Когда это случилось, он сам отшатнулся от общества. Подмечал ли он в нем жалость к себе или равнодушие, все равно он его сторонился. Так или иначе, но общества следовало избегать. Он не знал ни единого человека, который был бы готов помочь ему в несчастье, кроме той, кого он выгнал. Что сказал бы он ей и какое утешение принесла бы она ему — об этом он никогда не задумывался. Но он знал всегда, что она осталась бы ему верна, если бы он разрешил. Он знал всегда, что теперь она любила бы его больше, чем когда бы то ни было. Он был уверен, что такова ее натура,— уверен не меньше, чем в том, что над ним — небо. И в своем одиночестве он думал об этом часами. День за днем внушал ему эти слова, ночь за ночью открывала ему это знание.

Несомненно начало было положено (как бы медленно ни созревали эти мысли первое время) письмом от ее молодого мужа и уверенностью, что она потеряна для него. И тем не менее — так был он горд в своем падении

или так сильна была уверенность в том, что она могла бы всецело принадлежать ему, если бы он окончательно ее не потерял,— доведись ему услышать ее голос в соседней комнате, он не вышел бы к ней. Если бы он увидел ее на улице и она посмотрела на него так, как смотрела в былые времена, он по-прежнему прошел бы мимо с холодным, неумолимым лицом и не заговорил бы с ней, не улыбнулся, хотя бы сразу после этого его сердце должно было разорваться. Какая бы буря ни разразилась в его душе и как бы ни был велик его гнев, вызванный известием о ее браке и направленный против ее мужа,— все это осталось в прошлом. Больше всего он думал о том, что могло быть и чего не было. То, что было, сводилось к следующему: она для него потеряна, а он согнулся под тяжестью горя и раскаяния.

Теперь он чувствовал: в этом доме родилось у него двое детей, и эти голые стены связали его узами мучительными, но прочными с двумя детьми и с двойной утратой. Он хотел покинуть дом,— зная, что уйти он должен, и не зная, куда идти,— вечером того дня, когда это чувство впервые в нем укрепилось. Но потом решил провести здесь еще одну ночь и ночью в последний раз побродить по комнатам.

В глухую полночь он вышел из своего убежища и со свечой в руке стал потихоньку подниматься по лестнице. Он подумал, что из всех следов, оставленных башмаками, истоптавшими эту лестницу, как уличный тротуар, не было ни одного, который бы, казалось, не вдавился ему в мозг, пока он сидел взаперти и прислушивался. Он смотрел на это множество следов,— один след стирал другой, они вели вверх и вниз, неслись наперегонки, отталкивали друг друга,— и с ужасом и изумлением подумал о том, сколько он должен был выстрадать во время этого испытания и как должен был измениться. Потом он подумал: о, есть ли еще в мире та легкая поступь, которая могла в одно мгновение стереть половину этих отпечатков? И тогда он опустил голову и заплакал, поднимаясь по лестнице.

Он почти видел ее — идущую впереди. Приостановившись, он посмотрел наверх, и казалось, снова появилась здесь фигурка девочки, которая несла на руках ребенка

и шла, напевая. А вот та же фигурка, но — одна; она на секунду приостановилась, затаив дыхание; блестящие волосы рассыпались, обрамляя заплаканное лицо, она оглядывалась, чтобы увидеть его.

Он блуждал по комнатам — совсем недавно они были такими роскошными, а теперь стали такими пустынными и унылыми; даже их форма и размер как будто изменились. И здесь повсюду были следы башмаков, и снова та же мысль о страданиях, которые он перенес, привела его в ужас и недоумение. Он начал опасаться, что вся эта путаница в мозгу сводит его с ума, что мысли его становятся беспорядочными, как следы на полу, и — такие же неверные, запутанные и неясные — сталкиваются одна с другой.

Он не знал, в какой из этих комнат она жила, когда оставалась одна. Он рад был уйти отсюда и подняться выше. С этими комнатами были связаны воспоминания о неверной жене, о неверном друге и слуге, о зыбком фундаменте, на котором зиждилась его гордыня; но сейчас он не захотел предаваться всем этим воспоминаниям и безнадежно, грустно, с любовью думал только о своих двух детях.

Всюду следы ног! Люди не пощадили старой комнаты наверху, где стояла маленькая кроватка; бедный, разбитый человек, он едва мог найти чистое местечко, чтобы броситься на пол у стены и дать волю слезам. Столько слез пролил он здесь много лет назад, что в этой комнате меньше стыдился своей слабости,— быть может, этим он и оправдывал свой приход сюда. Да, сюда он пришел, понурый, склонив голову на грудь. Здесь, одинокий, он плакал в глухой час ночи, лежа на голом полу,— гордый человек, все еще гордый. И если бы ласковая рука протянулась к нему, ласковые глаза на него посмотрели, он бы встал, отвернулся и ушел в свою темницу.

Когда рассвело, он снова заперся у себя. Он хотел уехать сегодня, но цеплялся за эти узы, привязывавшие его к дому,— последнее и единственное, что осталось у него. Он уедет завтра. Настало завтра. Он уедет завтра. Каждую ночь — об этом не ведало ни одно живое существо — он выходил из своей комнаты и бродил, как привидение, по разграбленному дому. По утрам, когда занимался день и свет едва проникал сквозь спущенные шторы

в его комнате, он сидел и размышлял об утрате своих двух детей. Теперь это уже не был один ребенок. Он соединил их мысленно, и они никогда не разлучались. О, если бы в прошлом они соединились в его любви... и в смерти. Он хотел бы их соединить, чтобы дочери не довелось испытать мук несравненно горших, нежели муки смерти.

Сильное душевное волнение было ему знакомо и раньше — еще до той поры, когда обрушилось это несчастье. Оно ведомо всем упрямым и мрачным людям, ибо эти люди мучительно стараются быть таковыми. Бывает нередко, что грунт, давно подрытый, оседает внезапно; то, что было здесь подрыто, осыпáлось мало-помалу, все больше и больше, по мере того как часовая стрелка обегала циферблат.

Наконец он начал подумывать о том, что ему незачем отсюда уходить. Он может отказаться от всего, оставленного ему кредиторами (они оставили бы ему больше, буде он этого пожелал), и разорвать узы, связывавшие его с разрушенным домом, оборвав другую нить...

Вот тогда-то в бывшей комнате экономки слышны были его шаги, когда он ходил взад и вперед, но непонятно было подлинное их значение,— иначе эти звуки показались бы ужасными.

Светское общество было чрезвычайно занято им. Он снова почувствовал это. Разговоры о нем и сплетни не прекращались. Общество не успокаивалось ни на минуту. Это обстоятельство, а также перепутанные и переплетенные следы башмаков мучительно терзали его. Все предметы представлялись ему расплывчатыми, в красноватых тонах. Домби и Сына больше не было, детей его больше не было. Об этом нужно было хорошенько подумать завтра.

Он подумал об этом завтра. И, сидя в своем кресле, вот что он видел время от времени в зеркале.

Призрачный, изможденный, исхудавший его двойник сидел в глубоком раздумье у холодного камина. Вот он поднял голову, разглядывая морщины и впадины на своем лице, снова опустил ее и снова погрузился в раздумье. Вот он встал, прошелся взад и вперед, вот он вышел в другую комнату и вернулся, пряча на груди какую-то вещь, взятую с туалетного столика. Вот он посмотрел на щель под дверью и задумался.

Тише! О чем он думал?

Он думал о том, что если кровь потечет в ту сторону, то пройдет немало времени, прежде чем она просочится в холл. Струйка будет подвигаться так медленно и осторожно, останавливаясь и образуя маленькие лужицы, что раненого найдут не раньше, чем он умрет или уже будет при смерти. Об этом он думал долго, потом встал и прошелся по комнате, пряча руку за пазухой. Мистер Домби изредка посматривал на него, с любопытством следя за его движениями, и заметил, что эта рука казалась преступной и злодейской.

Вот он снова задумался, его двойник. О чем он думал?

О том, вступят ли они в струйку крови, когда она прокрадется в холл, и разнесут ли следы по дому, среди стольких отпечатков ног, и за пределами дома, на улице.

Двойник сел, устремив взгляд на холодный камин, а когда он погрузился в размышления, в комнату проник луч света, солнечный луч. Он ничего не замечал и сидел в раздумье. Внезапно он вскочил, с искаженным лицом, и та преступная рука сжала что-то, спрятанное за пазухой. И тут его остановил крик — безумный, пронзительный, громкий, страстный, восторженный крик,— и мистер Домби увидел только собственное отражение в зеркале, а у своих ног — дочь.

Да. Свою дочь. Смотри на нее! Смотри! Она у его ног, прильнула к нему, зовет его, с мольбой простирает руки.

— Папа! Дорогой папа! Простите, простите меня! Я вернулась, чтобы на коленях молить о прощенье! Без него мне не быть счастливой.

Она не изменилась. Одна во всем мире не изменилась. Обратила к нему лицо так же, как в ту страшную ночь. *У него* просила прощения!

— О, не смотрите на меня так странно, дорогой папа! Я никогда не хотела покидать вас. Я никогда об этом не думала ни раньше, ни после. Я просто была испугана, когда ушла, и не могла думать. Папа, дорогой, я изменилась. Я раскаиваюсь! Я знаю свою вину. Теперь я лучше понимаю свой долг. Папа, не отталкивайте меня, иначе я умру!

Шатаясь, он добрался до своего кресла. Он почувствовал — она обвила его руки вокруг своей шеи; он почувствовал — она сама обвила руками его шею; он почувство-



вал на лице ее поцелуи; он почувствовал — ее влажная щека прижалась к его щеке; он понял — о, с какой ясностью! — все, что он сделал!

К той груди, которой он нанес удар, к сердцу, которое он почти разбил, она притянула его лицо, закрытое руками, и сказала сквозь рыдания:

— Папа, дорогой, я — мать! У меня есть ребенок, который скоро будет называть Уолтера так, как называю вас я. Когда он родился и я поняла, как он мне дорог, — тогда я поняла, что я сделала, покинув вас. Простите меня, дорогой папа! О, благословите меня и моего малютку!

Он бы это сделал, если бы мог. Он хотел воздеть руки и молить ее о прощении, но она быстро схватила его за руки и опустила их.

— Мой малютка родился на море, папа. Я молила бога сохранить мне жизнь, и Уолтер молился за меня, чтобы я могла вернуться на родину. Как только я сошла на берег, я вернулась к вам. Мы больше никогда не расстанемся, папа. Никогда не расстанемся!

Его голову, теперь седую, поддерживала ее рука, и он застонал, подумав о том, что никогда еще его голова не покоилась на этой руке.

— Вы поедете ко мне, папа, увидите моего малютку. Это мальчик, папа. Его зовут Поль. Я думаю... я надеюсь... он похож...

Слезы помешали ей договорить.

— Дорогой папа, ради ребенка, ради того, чье имя мы ему дали, ради меня простите Уолтера! Он так добр и ласков ко мне. Я так счастлива с ним. Он не был виноват в том, что мы поженились. Это была моя вина. Я так его любила.

Она теснее прижалась к нему и заговорила еще нежнее, еще более возбужденно:

— Я горячо люблю его, папа. Я готова умереть за него. Он будет любить и почитать вас так же, как и я. Мы научим нашего малютку любить и почитать вас; и мы скажем ему, когда он сможет это понять, что у вас был сын, которого звали Полем, что он умер и для вас это было тяжким горем, но что теперь он на небе, и все мы надеемся увидеться с ним, когда и для нас настанет время умереть. Поцелуйте меня, папа, в знак того, что вы по-

миритесь с Уолтером, с моим дорогим мужем, с отцом ребенка, с тем, кто научил меня вернуться к вам! Научил меня вернуться к вам!

Когда она, снова залившись слезами, еще теснее прижалась к нему, он поцеловал ее в губы и, подняв глаза к небу, сказал: «О, боже, прости меня, ибо прощение нужно мне больше всего!»

С этими словами он снова опустил голову и плакал над Флоренс и ласкал ее, и долго-долго в доме стояла глубокая тишина. Они обнимали друг друга в сиянии солнечного света, проникшего вместе с Флоренс.

Покорно уступая ее просьбе, он оделся; нетвердыми шагами, оглядываясь с трепетом на ту комнату, где он так долго сидел взаперти и где видел свое отражение в зеркале, он вышел с Флоренс в холл. Флоренс, не решаясь смотреть по сторонам из боязни напомнить ему о последней их разлуке — их ноги ступали по тем самым каменным плитам, где он, в безумии своем, нанес ей удар,— прижалась к нему, не спуская глаз с его лица, а он обнимал ее за плечи. Она повела его к карете, которая ждала у подъезда, и увезла с собой.

Тогда мисс Токс и Полли вышли из потайного уголка и возликовали, проливая слезы. А затем они заботливо уложили его одежду, книги и прочее и вечером передали их людям, которых прислала Флоренс. А затем они в последний раз уселись пить чай в заброшенном доме.

— Итак, Домби и Сын, как заметила я однажды по случаю одного печального события,— сказала мисс Токс, подводя итог воспоминаниям,— стал в конце концов Домби и Дочерью.

— И какой прекрасной дочерью! — воскликнула Полли.

— Вы правы,— сказала мисс Токс,— и вам делает честь, Полли, то обстоятельство, что вы были ее другом, когда она была маленькой девочкой. Вы стали ее другом гораздо раньше, чем я, Полли,— сказала мисс Токс,— вы добрая женщина. Робин!

Мисс Токс обращалась к круглоголовому юноше, который, по-видимому, отнюдь не преуспевал, находился в мрачном расположении духа и сидел в дальнем углу. Когда он встал, оказалось, что это Точильщик.

— Робин,— продолжала мисс Токс,— должно быть, вы слышали, как я сказала вашей матери, что она добрая женщина.

— И это сущая правда, мисс! — с чувством отозвался Точильщик.

— Прекрасно,— сказала мисс Токс,— рада слышать это от вас. А теперь, Робин, так как по вашей настоятельной просьбе я намерена, в виде опыта, взять вас к себе на службу с целью вернуть вам респектабельность, я воспользуюсь этим знаменательным моментом и сделаю следующее замечание: надеюсь, вы никогда не забудете, что у вас есть и всегда была добрая мать, и постараетесь вести себя так, чтобы служить для нее утешением.

— Честное слово, постараюсь, мисс,— ответил Точильщик.— Я много перенес на своем веку, и теперь, мисс, намерения у меня такие хорошие, какие только могут быть у парня.

— Я бы вам посоветовала, Робин, заменить это слово другим,— вежливо сказала мисс Токс.

— У молодца, мисс.

— Нет, Робин,— возразила мисс Токс.— Я бы предпочла слово индивидуум.

— У индивидва,— сказал Точильщик.

— Это значительно лучше,— удовлетворенно заметила мисс Токс,— гораздо выразительнее!

— Послушайте, мисс, и ты, матушка,— продолжал Роб,— если бы не сделали меня Точильщиком, а это было большим несчастием для пар... для индивидва...

— Очень хорошо,— одобрительно заметила мисс Токс.

— ...И если бы меня не сбили с пути птицы и если бы я не попал на службу к дурному хозяину,— продолжал Точильщик,— мне кажется, из меня бы мог выйти толк. Но никогда не поздно пар...

— Инди...— подсказала мисс Токс.

— ...видву исправиться,— продолжал Роб Точильщик.— И я надеюсь исправиться благодаря вашей доброте, мисс. А ты, матушка, передай эти мои слова отцу, братьям и сестрам и кланяйся им от меня.

— Очень рада это слышать,— заметила мисс Токс.— Робин, не хотите ли съесть хлеба с маслом и выпить чашку чаю перед тем, как мы отправимся в путь?

— Благодарю вас, мисс,— ответил Точильщик и тотчас заработал своими точильными камнями с таким усердием, как будто долгое время жил впроголодь.

Когда мисс Токс надела шляпу и шаль и то же самое сделала и Полли, Роб обнял мать и последовал за своей новой хозяйкой, пробудив столько восторженных надежд у Полли, что глаза у нее затуманились, и когда она смотрела ему вслед, ей казалось, будто газовые фонари окружены радужными кольцами. Затем Полли погасила свечу, заперла парадную дверь, отдала ключ жившему по соседству агенту и поспешила к себе домой, заранее радуясь тем ликующим воплям, какие вызовет ее неожиданное появление. Величественный дом, храня молчание обо всех пережитых в нем страданиях и всех переменах, свидетелем которых он был, стоял, мрачно нахмурившись, словно наемный плакальщик на похоронах, и предупреждал все вопросы бросающимся в глаза объявлением, извещавшим, что этот превосходный особняк сдается внаем.

ГЛАВА LX

Преимущественно о свадьбах

Примерно в это время состоялось по окончании полугодия торжественное празднество у доктора и миссис Блимбер, которые просили всех молодых джентльменов, обучающихся в этом благородном заведении, пожаловать на вечеринку, сообщая, что она назначена на половину восьмого и что будут танцевать кадриль; затем молодые джентльмены, отнюдь не выражая неуместной радости, разъехались по домам, начиненные по горло науками. Мистер Скетлс отбыл за границу, чтобы служить постоянным украшением родительского дома, так как сэру Барнету Скетлсу прославленные манеры доставили дипломатический пост, и теперь он вместе с леди Скетлс исполнял свои почетные обязанности к полному удовольствию даже своих собственных соотечественников и соотечественниц, что почиталось чуть ли не чудом. Мистер Тозер, ныне молодой человек высокого роста, в веллингтоновских

сапогах, был в такой мере насыщен классическими древностями, что в области английского языка обладал едва ли не меньшими сведениями, чем настоящий древний римлянин; эта победа глубоко растрогала его добрых родителей и заставила отца и мать мистера Бригса (чьи познания, подобно плохо размещенному багажу, были так тесно упакованы, что он никогда не мог достать то, что ему было нужно) скрывать свое унижение. В самом деле, плоды, старательно сорванные с древа науки сим последним молодым джентльменом, были спрессованы до последней степени и превратились в некое интеллектуальное норфолькское печеное яблоко *, окончательно утратив первоначальный аромат и форму. В значительно лучшем положении был мистер Байтерстон, на которого система насильственного выращивания оказала более благоприятное и довольно обычное действие, а именно: она не дала никаких результатов, что и обнаружилось, как только перестал работать форсирующий аппарат; находясь ныне на борту корабля, отправлявшегося в Бенгалию, он начал забывать все с такой поразительной быстротой, что казалось сомнительным, сохранятся ли у него в голове до конца путешествия склонения имен существительных.

Утром в день вечеринки, когда доктор Блимбер, следуя обычаю, должен был сказать молодым джентльменам: «Джентльмены, мы возобновим наши занятия двадцать пятого числа следующего месяца»,— он изменил этому обычаю и сказал:

— Джентльмены, когда наш друг Цинциннат * ушел от дел, уединившись в своем поместье, он не представил сенату ни одного римлянина, которого бы он пожелал назвать своим преемником. Но вот перед вами римлянин,— продолжал доктор Блимбер, положив руку на плечо мистера Фидера, бакалавра искусств,— adolescens imprimis gravis et doctus [1], джентльмены, которого я, уходящий от дел Цинциннат, желаю представить *моему* маленькому сенату в качестве будущего диктатора. Джентльмены, мы возобновим наши занятия двадцать пятого числа следующего месяца под руководством мистера Фидера, бакалавра искусств.

---

[1] Юноша весьма благоразумный и ученый *(лат.)*.

Тогда (доктор заблаговременно известил всех родителей и дал учтивые объяснения) молодые джентльмены разразились одобрительными возгласами, а мистер Тозер от имени всех учеников немедленно поднес доктору серебряную чернильницу и произнес речь, содержащую очень мало слов родного языка, но зато пятнадцать латинских и семь греческих цитат, чем вызвал у младших из молодых джентльменов недовольство и зависть; они говорили: «О! А! Старине Тозеру это выгодно, но ведь деньги собирали по подписке не для того, чтобы старина Тозер получил возможность показать себя, не так ли? Старина Тозер имеет к этому такое же отношение, как и все остальные. Ведь чернильница-то не его! Не мог он, что ли, оставить в покое общее имущество?» И, шепотом изливая свой гнев, они, казалось, испытывали небольшое облегчение, когда называли его «стариной Тозером».

Ни единого слова не было сказано молодым джентльменам, ни одного намека не было сделано на предстоящее бракосочетание мистера Фидера, бакалавра искусств, с прекрасной Корнелией Блимбер. В особенности доктор Блимбер старался иметь такой вид, как будто ничего не могло бы удивить его сильнее, чем это известие; тем не менее молодые джентльмены прекрасно все знали, и, отправляясь к своим родственникам и друзьям, с благоговейным ужасом прощались с мистером Фидером.

Самые романтические мечты мистера Фидера осуществились. Доктор решил покрасить дом снаружи, отремонтировать его целиком и передать заведение вместе с Корнелией в другие руки. Покраска и ремонт начались тотчас же после отъезда молодых джентльменов, и вот уже настал день свадьбы, и Корнелия в новых очках ждала, чтобы ее повели к алтарю Гименея.

Доктор и его ученые ноги, а также миссис Блимбер в сиреневом чепце, мистер Фидер, бакалавр искусств, с длинными пальцами и со щетиной на голове, и брат мистера Фидера, преподобный Альфред Фидер, магистр искусств, который должен был совершить обряд, собрались в гостиной, и Корнелия с флердоранжем и с подружками только что спустилась вниз — как и в былые времена, чересчур перетянутая, но прелестная,— как

вдруг распахнулась дверь, и подслеповатый молодой человек громким голосом провозгласил:

— *Мистер и миссис Тутс!*

А затем вошел мистер Тутс, сильно потолстевший, и под руку с ним леди с очень блестящими черными глазами, одетая изящно и со вкусом.

— Миссис Блимбер,— сказал мистер Тутс,— разрешите представить вам мою жену.

Миссис Блимбер была очень рада познакомиться с ней. Миссис Блимбер говорила несколько свысока, но крайне любезно.

— И так как вы меня давно знаете,— сказал мистер Тутс,— то разрешите вам сообщить, что это одна из самых замечательных женщин.

— Дорогой мой! — запротестовала миссис Тутс.

— Клянусь честью, это так,— сказал мистер Тутс.— Я... я уверяю вас, миссис Блимбер, что она — удивительная женщина.

Миссис Тутс весело рассмеялась, и миссис Блимбер повела ее к Корнелии. Мистер Тутс, засвидетельствовав свое почтение этой особе и приветствовав своего старого наставника, который сказал, намекая на его женитьбу: «Прекрасно, прекрасно, Тутс! Так, стало быть, и вы в нашей компании, Тутс?» — удалился с мистером Фидером, бакалавром искусств, в нишу у окна.

Мистер Фидер, бакалавр искусств, находясь в превосходном расположении духа, сделал боксерский выпад и ловко ударил мистера Тутса в грудь.

— Ну, старина! — смеясь, воскликнул мистер Фидер.— Здорово! Сказано — сделано. Верно?

— Фидер,— ответил мистер Тутс,— поздравляю вас. Если вы... вы... будете так же счастливы в супружеской жизни, как счастлив я, то больше вам ничего не останется желать.

— Я, знаете ли, не забываю *моих* старых друзей,— сказал мистер Фидер.— Я их приглашаю на *мою* свадьбу.

— Фидер,— серьезно ответил мистер Тутс,— дело в том, что различные обстоятельства помешали мне написать вам прежде, чем брак был заключен. Во-первых, я вел себя как скотина, когда говорил с вами о мисс Домби. Я понимал, что, если позвать вас на мою свадьбу,

вы, натурально, подумаете, что я женюсь на мисс Домби; это привело бы к объяснениям, которые в тот критический момент, клянусь честью, совершенно расстроили бы меня. Во-вторых, наша свадьба прошла очень тихо; на ней присутствовал только один наш друг, мой и миссис Тутс, капитан, который служит в... я хорошенько не знаю, где именно,— сказал мистер Тутс,— но это не имеет никакого значения. Надеюсь, Фидер, что, написав вам о совершившемся событии перед отъездом моим и миссис Тутс за границу, я исполнил долг дружбы.

— Тутс, приятель,— сказал мистер Фидер, пожимая ему руку,— я пошутил.

— А теперь, Фидер,— сказал мистер Тутс,— мне бы хотелось узнать ваше мнение о заключенном мною союзе.

— Одобряю! — ответил мистер Фидер.

— Значит, вы одобряете, не так ли, Фидер? — торжественно произнес мистер Тутс.— А подумайте, как я должен его одобрить! Ведь вам никогда не узнать, какая это удивительная женщина.

Мистер Фидер охотно признал ее таковой. Но мистер Тутс покачал головой и повторил, что этого он знать не может.

— Видите ли,— сказал мистер Тутс,— в жене *мне* нужен был ум. Деньги, Фидер, у меня были. Ума... ума, в сущности, у меня не было.

Мистер Фидер пробормотал:

— О нет, ум у вас был, Тутс!

Но мистер Тутс сказал:

— Нет, Фидер, не было. Зачем мне это скрывать? Не было. А там,— сказал мистер Тутс, указывая рукою в ту сторону, где сидела его жена,— ума хоть отбавляй. Мои родственники не могли возражать или негодовать по поводу неравенства положения, потому что никаких родственников у меня нет. У меня никогда никого не было, кроме опекуна, а его, Фидер, я всегда считал пиратом и корсаром. Стало быть,— сказал мистер Тутс, — к *нему* я бы не обратился за советом.

— Конечно,— сказал мистер Фидер.

— Итак, я поступил по-своему,— заключил мистер Тутс.— Благословен тот день, когда я это сделал! Фидер! Никто, кроме меня, не знает, какой великий ум у этой

женщины. Если отнесутся когда-нибудь с должным вниманием к правам женщины и тому подобным вещам, то исключительно благодаря ее могучему уму. Сьюзен, дорогая моя,— мистер Тутс внезапно выглянул из-за портьеры,— пожалуйста, не утомляйся!

— Дорогой мой,— сказала миссис Тутс,— я просто разговариваю.

— Но, милочка, прошу тебя, не утомляйся,— сказал мистер Тутс.— Право же, ты должна поберечь себя. Не утомляйся, дорогая моя Сьюзен. Ей ничего не стоит разволноваться,— обратился мистер Тутс к миссис Блимбер,— и тогда она совершенно забывает советы врача.

Миссис Блимбер говорила миссис Тутс о необходимости беречься, когда мистер Фидер, бакалавр искусств, предложил ей руку и повел к карете, чтобы ехать в церковь. Доктор Блимбер предложил руку миссис Тутс. Мистер Тутс предложил руку прекрасной невесте, вокруг сверкающих очков которой порхали, как мотыльки, две подружки в воздушных платьях. Брат мистера Фидера, мистер Альфред Фидер, магистр искусств, отправился в церковь заблаговременно, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей.

Церемония прошла превосходно. Корнелия, вся в мелких кудряшках, «держалась», как сказал бы Петух, с величайшим хладнокровием, а доктор Блимбер хранил вид человека, вполне примирившегося со своим положением посаженого отца. Воздушные маленькие подружки, казалось, страдали больше всех. Миссис Блимбер была растрогана, но спокойна и на обратном пути поведала преподобному Альфреду Фидеру, магистру искусств, что, если бы только посчастливилось ей увидеть Цицерона в его уединении в Тускуле, все ее желания были бы ныне исполнены.

Затем для той же маленькой компании был сервирован завтрак, за которым мистер Фидер, бакалавр искусств, пришел в превосходнейшее расположение духа, передавшееся миссис Тутс, и мистер Тутс несколько раз говорил ей через стол: «Дорогая моя Сьюзен, не утомляйся!» Но наиболее замечательным был тот момент, когда мистер Тутс счел своим долгом произнести речь и, невзирая на телеграфический код миссис Тутс, старав-

шейся отклонить его от этого намерения, впервые в своей жизни встал для провозглашения застольного тоста.

— В этом доме,— сказал мистер Тутс,— что бы ни было здесь сделано для... для помрачения моего рассудка... все это не имеет никакого значения, и я никому не ставлю это в вину, в этом доме со мною всегда обращались как с членом семейства доктора Блимбера и у меня в течение долгого времени был мой собственный пюпитр, и я... не могу... допустить, чтобы мой друг Фидер...

Миссис Тутс подсказала: «Сочетался браком».

— Быть может, в данном случае,— сказал мистер Тутс с просиявшей физиономией,— будет до известной степени уместно и небезынтересно отметить, что моя жена — удивительнейшая женщина, и с этой речью она бы справилась гораздо лучше, чем я... допустить, чтобы мой друг Фидер сочетался браком, в особенности же сочетался браком с...

Миссис Тутс подсказала: «С мисс Блимбер».

— Миссис Фидер, милочка! — понизив голос, возразил ей мистер Тутс.— «Кого бог соединил, того», как вы знаете, «ни один человек»... знаете ли... Я не могу допустить, чтобы мой друг Фидер сочетался браком... в особенности с миссис Фидер... без того, чтобы не провозгласить за них... за них тост. И пусть,— продолжал мистер Тутс, устремив взгляд на свою жену как бы с целью вдохновиться и воспарить,— и пусть факел Гименея будет для них маяком счастья, и пусть цветы, которыми мы усыпали сегодня их путь, будут... будут... гнать... уныние!

Доктор Блимбер, питавший пристрастие к метафоре, остался доволен и заметил: «Очень хорошо, Тутс! Прекрасно сказано, Тутс!» — потом кивнул головой и потер руки. Мистер Фидер произнес в ответ речь юмористическую, однако проникнутую чувством. Затем мистер Альфред Фидер, магистр искусств, пожелал самого большого счастья доктору и миссис Блимбер, а мистер Фидер, бакалавр искусств, пожелал не меньшего счастья воздушным маленьким подружкам. После этого доктор Блимбер звучным голосом высказал несколько мыслей в пасторальном стиле, повествуя о камышах, в коих он намеревался поселиться вместе с миссис Блимбер, и о пчеле, которая будет жужжать вокруг их шалаша. Так как глаза док-

тора удивительно заблестели, а его зять сообщил, что время создано для рабов, и пожелал узнать, поет ли миссис Тутс, то вскоре после этого благоразумная миссис Блимбер распустила собрание и усадила в почтовую карету Корнелию, очень хладнокровную и невозмутимую, вместе с избранником ее сердца.

Мистер и миссис Тутс отправились в гостиницу Бедфорда (миссис Тутс бывала там еще в те времена, когда носила девичью фамилию Нипер) и нашли там письмо, которое мистер Тутс читал бесконечно долго, и миссис Тутс испугалась.

— Дорогая моя Сьюзен,— сказал мистер Тутс,— испуг еще хуже, чем утомление. Пожалуйста, успокойся!

— От кого это письмо? — спросила миссис Тутс.

— Милочка,— сказал мистер Тутс,— это от капитана Джилса. Не волнуйся. В скором времени ждут возвращения домой Уолтерса и мисс Домби.

— Дорогой мой,— сказала миссис Тутс, сильно побледнев и вскакивая с дивана,— не пытайся обмануть меня, потому что это все равно ни к чему не приведет! Они приехали, я это вижу по твоему лицу!

— Какая удивительная женщина! — воскликнул мистер Тутс, вне себя от восторга.— Ты совершенно права, милочка, они приехали. Мисс Домби видела своего отца, и они помирились.

— Помирились! — вскричала миссис Тутс, захлопав в ладоши.

— Дорогая моя,— сказал мистер Тутс,— пожалуйста, не утомляйся. Помни о советах врача! Капитан Джилс пишет — собственно говоря, он этого не пишет, но, кажется, именно это он имеет в виду,— пишет, что мисс Домби перевезла несчастного своего отца из его старого дома туда, где она живет сейчас с Уолтерсом; что он очень болен, чуть ли не при смерти, а она день и ночь ухаживает за ним.

Миссис Тутс горько заплакала.

— Милая моя Сьюзен,— сказал мистер Тутс,— очень, очень прошу тебя, помни, если только ты можешь, советы врача! А если не можешь, это не имеет никакого значения, но ты все-таки постарайся!

Его жена внезапно превратилась в прежнюю Сьюзен,—

так трогательно умоляла она его отвезти ее к ненаглядной ее милочке, к маленькой ее хозяйке, к ее любимице и прочее и прочее, что мистер Тутс, преисполненный глубоким сочувствием и восхищением, от всей души согласился. И они решили ехать немедленно и предстать перед капитаном в ответ на его письмо.

В тот день в силу каких-то тайных связей между вещами или, быть может, случайного совпадения капитан (к которому собирались ехать мистер и миссис Тутс) и сам принял участие в блестящем супружеском празднестве — не в качестве главного действующего лица, но как лицо второстепенное. Это произошло совершенно неожиданно и следующим образом.

Капитан, с безграничным восхищением поглядев на Флоренс и ее малютку и вдосталь потолковав с Уолтером, вышел прогуляться, полагая, что следует поразмыслить в одиночестве о превратностях человеческой судьбы, и задумчиво покачивал глянцевитой шляпой, сокрушаясь о мистере Домби, которому он в силу своего великодушия и доброты глубоко сочувствовал. Да, капитан мог впасть в самое глубокое уныние при мысли об этом несчастном джентльмене, если бы не вспоминал о малютке. Но как только всплывало это воспоминание, он приходил в такой восторг, что, идя по улице, начинал громко смеяться и, вне себя от радости, подбрасывал вверх и ловил на лету свою глянцевитую шляпу к великому изумлению прохожих. Быстрое чередование света и тени, вызванное этими противоречивыми чувствами, оказалось столь мучительным для его душевного состояния, что он счел необходимым предпринять ради успокоения длительную прогулку. Так как приятные ассоциации оказывают благотворное воздействие, то он решил прогуляться в окрестностях своего прежнего обиталища, где жили мастера, изготовлявшие мачты, весла и блоки, пекари, поставлявшие корабельные сухари, грузчики угля, матросы; там можно было увидеть смоляные котлы, канавы, доки, разводные мосты и тому подобные успокоительно действующие предметы.

Этот тихий пейзаж, а в особенности Лаймхауз-Хоул * столь умиротворяюще повлияли на капитана, что он обрел спокойствие духа и даже услаждал себя, напевая поти-

хоньку балладу о «Красотке Пэг», как вдруг, завернув за угол, остолбенел и лишился дара речи при виде торжественной процессии, направлявшейся навстречу.

Во главе грозной колонны шествовала сия энергическая особа, миссис Мак-Стинджер! Сохраняя все тот же неумолимо-решительный вид и выставляя напоказ красующиеся на непреклонной ее груди часы с брелоками, каковые капитан сразу признал собственностью Бансби, она шествовала рука об руку не с кем иным, как с этим прозорливым моряком. Тот с растерянным и меланхолическим видом пленника, влекомого в чужие страны, смиренно подчинялся ее воле. За ними шли толпой ликующие юные Мак-Стинджеры. За ними следовали две леди, имевшие вид грозный и неумолимый, сопровождавшие низкорослого джентльмена в цилиндре и также ликовавшие. В кильватере находился юнга Бансби, нагруженный зонтиками. Компания двигалась стройными рядами, и, не говоря уже о неустрашимых физиономиях дам, удивительный порядок, отличавший эту процессию, в достаточной степени свидетельствовал о том, что готовилось жертвоприношение и что жертвой был Бансби.

Первым побуждением капитана было удрать. По-видимому, таково же было и первое побуждение Бансби, сколь ни безнадежной казалась эта попытка. Но поскольку компания встретила капитана приветственными возгласами, а Александр Мак-Стинджер бросился к нему с распростертыми объятиями, капитан не мог двинуться с места.

— Капитан Катль! — воскликнула миссис Мак-Стинджер.— Вот так встреча! Теперь я не питаю к вам злобы. Капитан Катль, не бойтесь, я не стану осыпать вас упреками. Надеюсь, я пойду к алтарю совсем в другом расположении духа.— Миссис Мак-Стинджер приумолкла, выпрямилась и глубоко вздохнула, выпятив грудь, после чего сказала, указывая на свою жертву: — Это мой жених, капитан Катль!

Злосчастный Бансби не смотрел ни направо, ни налево, ни на свою невесту, ни на своего друга, но устремил взор вперед, в пространство. Когда капитан протянул ему руку, Бансби также протянул свою, но на приветствие капитана не ответил ни слова.


FRENCH PLAYS
ST JAMES
LA MARRIAGE
FORCÉ
WANTED
SOME FINE
YOUNG MEN
HECTOR
AMAZON
SALE
AUCTION
CITY
THEATRE
BLACK EYED
SUSAN
TOLLS

— Капитан Катль,— сказала миссис Мак-Стинджер,— если вы не прочь покончить с враждой и в последний раз увидеть своего друга — моего жениха — холостяком, мы рады пригласить вас в часовню. Вот эта леди,— сказала миссис Мак-Стинджер, поворачиваясь к более неустрашимой из двух особ,— моя подружка, будет счастлива, если вы возьмете ее под свое покровительство, капитан Катль.

Низкорослый джентльмен в цилиндре, который, по-видимому, был супругом другой леди и явно радовался тому, что ближний низведен до его уровня, отступил и передал леди на попечение капитана Катля. Та немедленно уцепилась за него и, заявив, что времени терять нельзя, громким голосом приказала шествовать дальше.

Капитан даже вспотел от тревоги за друга, к которой сначала примешивалась и тревога за самого себя, ибо им овладел безотчетный страх, как бы его не женили насильно; но на помощь ему пришло знание церковной службы, и, памятуя о том, какие обязательства налагает слово «да», он почитал себя в безопасности, приняв решение, в случае если ему зададут какой-нибудь вопрос, громко ответить «нет». Под влиянием этой тревоги он в течение некоторого времени не замечал продвижения процессии, в которой и сам принимал теперь участие, и не внимал речам своей прекрасной спутницы. Но когда его волнение немножко улеглось, он узнал от этой леди, что она вдова, а ее покойный муж, некий мистер Бокем, служил в таможне; узнал он также, что она ближайшая подруга миссис Мак-Стинджер, которую считает образцовой женщиной; она часто слышала о капитане и полагает, что он теперь раскаялся в своей прошлой жизни; она надеялась, что мистеру Бансби известно, какое счастье выпало ему на долю, но опасалась, что мужчины редко могут оценить такое счастье, пока не утратят его,— и так далее, в том же духе.

В это время капитан не мог не заметить, что миссис Бокем не сводит глаз с жениха, и всякий раз, когда они проходили мимо какого-нибудь двора или переулка, казавшегося удобным для бегства, она настораживалась, чтобы отрезать путь Бансби, если он попытается улиз-

нуть. Другая леди, а также ее супруг, низкорослый джентльмен в цилиндре, в свою очередь были наготове, следуя заранее намеченному плану. И миссис Мак-Стинджер так охраняла злополучного моряка, что любая попытка спастись бегством была обречена на неудачу. Это бросалось в глаза даже прохожим, которые выражали свои чувства криками и насмешками, к чему страшная Мак-Стинджер относилась с непоколебимым равнодушием, тогда как Бансби, казалось, находился в бессознательном состоянии.

Капитан много раз пытался вступить в общение с философом хотя бы с помощью односложного восклицания или сигнала, но терпел неудачу вследствие бдительности стража и присущего Бансби свойства не обращать внимания ни на какие знаки. Так дошли они до часовни, чистенького белого здания, недавно арендованного преподобным Мельхиседеком Хаулером, который после настоятельных просьб согласился отсрочить светопреставление на два года, но уведомил своих приверженцев, что тогда-то уж оно непременно настанет.

Пока преподобный Мельхиседек читал какие-то импровизированные молитвы, капитан, улучив минутку, проворчал на ухо жениху:

— Как поживаете, приятель, как поживаете?

На это Бансби ответил, совершенно забыв о преподобном Мельхиседеке, что можно было извинить только отчаянным его положением:

— Чертовски скверно.

— Джек Бансби,— прошептал капитан,— вы это делаете по доброй воле?

Мистер Бансби ответил:

— Нет.

— Так зачем же вы это делаете, приятель? — задал капитан довольно естественный вопрос.

Бансби, по-прежнему глядя с невозмутимой физиономией в беспредельную даль, не дал никакого ответа.

— Почему бы не отчалить? — сказал капитан.

— А! — шепнул Бансби, увидев проблеск надежды.

— Почему бы не отчалить? — повторил капитан.

— Что толку? — возразил несчастный мудрец.— Она меня опять поймает.

— Попытайтесь,— сказал капитан.— Не падайте духом! Ну! Момент удобный. Отчаливайте, Джек Бансби!

Но вместо того чтобы последовать этому совету, Джек Бансби горестно прошептал:

— Все началось с вашего сундука. И зачем только я вызвался конвоировать ее тогда вечером в порт?

— Приятель,— запинаясь, проговорил капитан,— я думал, что вы ее одолели, а не она — вас. Вас, человека такого ума!

Мистер Бансби не сказал ни слова и только испустил глухой стон.

— Живее! — сказал капитан, подталкивая его локтем.— Момент удобный! Отчаливайте! Я прикрою ваше отступление. Сейчас самое время бежать, Бансби. Вы подумайте — свобода! Решайтесь! Раз!

Бансби не шевельнулся.

— Бансби,— шепнул капитан,— решайтесь! Два!

Бансби и во второй раз не решился.

— Бансби,— настаивал капитан,— на карту поставлена ваша свобода. Три! Теперь или никогда!

Бансби не сделал этого теперь, и не сделал никогда, потому что немедленно вслед за этим миссис Мак-Стинджер вышла за него замуж.

Во время церемонии капитана больше всего устрашил чрезвычайный интерес к совершающемуся обряду со стороны Джулианы Мак-Стинджер и зловещая сосредоточенность, с какою это многообещающее дитя, уже теперь являющееся копией матери, наблюдало за происходившим. Капитан усмотрел в этом беспрерывную цепь ловушек для мужчин, простирающуюся в бесконечность, и целые века угнетения и насилия, на которые обречены моряки. Это производило более глубокое впечатление, чем непоколебимая стойкость миссис Бокем и второй леди, чем ликование низкорослого джентльмена в цилиндре и даже суровая непреклонность миссис Мак-Стинджер. Юные Мак-Стинджеры мужского пола мало что понимали в происходящем и еще меньше им интересовались; во время церемонии они были заняты преимущественно тем, что старались наступить друг другу на ноги, но поведение этих злополучных младенцев служило лишь фоном, на котором во всей своей красе выступала

скороспелая женщина, обнаружившаяся в Джулиане. «Еще годик-другой,— подумал капитан,— и поселиться в одном доме с этим ребенком было бы гибелью».

По окончании церемонии все юные отпрыски набросились на мистера Бансби, приветствуя его нежным именем отца и выпрашивая полупенсовики. Когда волна горячих чувств схлынула и процессия готова была снова тронуться в путь, ее ненадолго задержал неожиданный припадок, случившийся с Александром Мак-Стинджером. Повидимому, это милое дитя твердо связывало свое представление о часовне с надгробными плитами, если в храм божий входили с иными намерениями, кроме обычной молитвы, и потому оно было совершенно уверено, что его мать похоронена и потеряна для него навеки. Потрясенный этой мыслью, Александр Мак-Стинджер завизжал с удивительной силой и весь почернел. Но как ни было трогательно такое доказательство нежной его привязанности к матери, эта замечательная женщина не могла допустить, чтобы ее любовь к сыну выродилась в слабость. Поэтому после тщетных попыток образумить его встряской, тычками, окриками и другими средствами, она вывела его на свежий воздух и испробовала другой метод: участники свадебной процессии услышали быстро следовавшие один за другим резкие звуки, напоминавшие аплодисменты, а вслед за этим увидели Александра, сидевшего на самой холодной каменной плите во дворе, очень разгоряченного и громко плакавшего.

Процессия, получив возможность снова выстроиться и отправиться на Бриг-Плейс, где было приготовлено свадебное пиршество, двинулось обратно в прежнем порядке, причем на долю Бансби выпало немало насмешливых поздравлений от прохожих со счастливым браком, только что заключенным. Капитан следовал до дверей дома. Но его обеспокоило более ласковое обращение миссис Бокем, которая, освободившись от обязанностей, поглощавших все ее внимание (бдительность и настороженность этих леди значительно ослабели, после того как Бансби благополучно женился), воспользовалась досугом, чтобы проявить интерес к его особе; посему он покинул и процессию и пленника, слабым голосом сославшись на деловое свидание и обещая в скором времени вернуться.

У капитана были сугубые основания чувствовать себя неловко, ибо он с раскаянием размышлял о том, что весьма способствовал пленению Бансби, разумеется, нимало об этом не помышляя, а просто вследствие беспредельной своей веры в изобретательность этого философа.

Капитану и в голову не приходило вернуться к старому Солю Джилсу, не зайдя предварительно узнать, как здоровье мистера Домби, хотя дом, где лежал больной, находился за городской чертой, там, где начинались луга. Когда капитан уставал, он просил кого-нибудь подвезти его, и таким образом путешествие прошло весело.

Шторы были спущены, и в доме стояла такая тишина, что капитан не решался постучать. Но, прислушавшись у двери, он различил приглушенные голоса, тихонько постучал и был впущен мистером Тутсом. Мистер Тутс с женой только что приехали сюда, побывав сначала во владениях Мичмана, чтобы повидать капитана, и узнав там адрес.

Но хотя они и приехали совсем недавно, миссис Тутс уже завладела младенцем, взяла его на руки и, присев на ступеньку лестницы, обнимала его и ласкала. Флоренс стояла тут же, наклонившись к ней, и никто не мог бы сказать, кого нежнее обнимала и ласкала миссис Тутс — мать или ребенка — и кто к кому относился с большею нежностью: Флоренс к миссис Тутс, или миссис Тутс к ней, или они обе к младенцу — столько было здесь любви и волнения.

— А ваш папаша очень болен, ненаглядная моя мисс Флой? — спросила Сьюзен.

— Он очень, очень болен,— ответила Флоренс.— Сьюзен, милая, больше не называйте меня так, как называли раньше. Но что это значит? — с удивлением спросила она, коснувшись ее платья.— Ваше прежнее платье? Прежняя шляпка и локоны, все по-старому?

Сьюзен залилась слезами и осыпала поцелуями маленькую ручку, с таким недоумением прикоснувшуюся к ней.

— Дорогая мисс Домби,— выступив вперед, сказал мистер Тутс,— я объясню. Это удивительнейшая женщина. Мало кто может с ней сравниться! Она всегда говорила — говорила еще до нашей свадьбы и повторяет

по сей день,— что, когда бы вы ни вернулись, она придет к вам в том самом платье, какое носила прежде, когда служила у вас, потому что боится — вдруг она покажется вам чужой и вы будете меньше любить ее. Я лично восхищаюсь этим платьем,— сказал мистер Тутс.— Я обожаю ее в нем! Дорогая мисс Домби, она опять будет вашей горничной, няней, всем, чем была раньше. Она совсем не изменилась. Но, Сьюзен, дорогая моя,— сказал мистер Тутс, который говорил с восторгом и глубоким чувством,— я прошу только одного: ты должна помнить советы врача и не переутомляться!

ГЛАВА LXI

Она уступает

Флоренс нуждалась в помощи. Крайне нуждался в помощи ее отец, и услуги старой ее приятельницы были неоценимы. Смерть стояла у его изголовья. От человека, каким он был раньше, осталась только тень. Потрясенный духом и опасно больной, он опустил измученную голову на подушки постели, приготовленной для него руками дочери, и с тех пор ни разу не приподнял ее.

Флоренс всегда была с ним. Обычно он ее узнавал, но в бреду часто отодвигал в прошлое то, что происходило вокруг. Иногда он говорил так, словно его сын только что умер; и хотя, по его уверениям, он ни слова ей не сказал о том, как она бодрствовала у маленькой кроватки, однако он это видел — он это видел. И он прятал лицо в подушку, рыдал и протягивал исхудавшую руку. Иногда он спрашивал ее: «Где Флоренс?» — «Я здесь, папа, здесь».— «Я не узнаю ее! — восклицал он.— Мы так долго были разлучены, что я не узнаю ее». И тогда его охватывал ужас, пока она не успокаивала его смятения и не вызывала у него слез, которые иной раз с таким трудом старалась осушить.

По временам он бредил о своих торговых операциях, и часто Флоренс, слушая его, теряла нить — иногда на несколько часов. Он повторял тот знакомый детский вопрос: «Что такое деньги?» — и задумывался, размышлял,

рассуждал сам с собою более или менее связно, стараясь дать наилучший ответ, словно этот вопрос был задан ему впервые. Десятки тысяч раз он задумчиво повторял название своей прежней фирмы и каждый раз пытался приподнять голову с подушки. Он принимался считать своих детей: один... двое... и снова начинал сначала.

Но это бывало с ним в бреду. В другие периоды болезни, периоды наиболее длительные, он неизменно думал о Флоренс. Чаще всего бывало так: он воскрешал в памяти ту ночь, которую так недавно вспоминал,— ночь, когда она пришла к нему в комнату, и ему грезилось, будто сердце у него заныло и он вышел вслед за нею и в поисках ее стал подниматься по лестнице. Затем, смешивая давно прошедшее с недавними днями, он видел следы башмаков, удивлялся их количеству и начинал их считать, поднимаясь за Флоренс. Вдруг среди них появлялся кровавый след, а потом он замечал раскрытые настежь двери и за ними в зеркалах видел страшные отражения обезумевших людей, прятавших что-то у себя на груди. Но все время среди бесчисленных следов, среди кровавых следов он различал следы Флоренс. Все время она была впереди. Все время, не находя покоя, он шел за нею все дальше, считая следы, поднимался все выше, словно к вершине величественной башни, до которой нужно взбираться годы.

Однажды он осведомился, не послышался ли ему голос Сьюзен.

Флоренс ответила: «Да, милый папа»,— и спросила, не хочет ли он ее видеть.

Он сказал: «Очень хочу». И Сьюзен не без трепета подошла к его кровати.

Казалось, это доставило ему большое облегчение. Он просил ее не уходить, прощал ей все, что она когда-то ему говорила; пусть она здесь останется. Теперь у него с Флоренс совсем другие отношения,— сказал он,— и они очень счастливы. Пусть она посмотрит! Он притянул к себе кроткую головку и заставил ее опуститься на свою подушку.

В таком положении он находился в течение многих дней и недель. Наконец он стал спокойнее: лежал в постели — жалкая тень человека —и говорил так тихо, что,

только наклонившись к самым его губам, можно было услышать его. Теперь ему доставляло какое-то удовольствие лежать у открытого окна, смотреть на летнее небо и деревья, а по вечерам — на заходящее солнце; следить за тенями облаков и листвы, словно чувствуя какую-то симпатию к теням. Это было естественно. Для него жизнь и мир были только тенью.

Теперь он беспокоился о том, что Флоренс утомлена, и часто преодолевал свою слабость, чтобы прошептать, обращаясь к дочери: «Пойди погуляй, дорогая, подыши свежим воздухом. Пойди к своему мужу!» Однажды, когда у него в комнате был Уолтер, он поманил его к себе, попросил нагнуться и, пожав ему руку, прошептал, что, умирая, он может доверить Уолтеру свою дочь — он это знает.

Однажды вечером, перед заходом солнца, когда Флоренс с Уолтером сидели у него в комнате — он любил видеть их вместе,— Флоренс, держа в руках своего малютку, потихоньку начала напевать ему ту старую песенку, которую так часто певала умершему мальчику. Мистер Домби не мог этого вынести. Он поднял дрожащую руку, умоляя ее перестать, но на следующий день он попросил ее спеть эту песню еще раз. И с тех пор по вечерам часто повторял свою просьбу, и она пела. Он слушал, отвернувшись к стене.

Как-то раз Флоренс с Сьюзен сидели у окна в его комнате, а между нею и бывшей ее горничной, которая по-прежнему была ее верной помощницей, помещалась корзинка с рукоделием. Он задремал. Был чудесный вечер, еще часа два оставалось до сумерек, и тишина навеяла на Флоренс глубокую задумчивость. На минуту она забылась, вспоминая тот день, когда человек, который лежал сейчас здесь, такой изменившийся, познакомил ее с новой мамой. Она вздрогнула, когда Уолтер, облокотившись на спинку стула, коснулся ее плеча.

— Дорогая моя,— сказал Уолтер,— внизу тебя ждет один джентльмен, который хотел бы с тобою поговорить.

Ей показалось, что Уолтер смотрит серьезно и озабоченно, и она спросила, не случилось ли что-нибудь.

— Нет, нет, дорогая! — сказал Уолтер.— Я видел этого джентльмена и поговорил с ним.

Флоренс взяла его под руку и, оставив отца на попечении черноглазой миссис Тутс, занимавшейся шитьем с таким рвением, на какое только способны черноглазые женщины, сошла вниз вместе с мужем. В уютной маленькой гостиной, выходившей окнами в сад, сидел джентльмен, который при виде Флоренс встал, чтобы пойти ей навстречу, но, подчиняясь своеобразному устройству ног, свернул в сторону и остановился, лишь наткнувшись на стол.

Тогда Флоренс припомнила кузена Финикса, которого сначала не узнала, так как деревья перед окнами отбрасывали густую тень. Кузен Финикс пожал ей руку и поздравил со вступлением в брак.

— Я очень сожалею о том, что ранее не имел возможности принести вам свои поздравления,— сказал кузен Финикс, усаживаясь после того, как села Флоренс,— но, собственно говоря, случилось столько мучительных происшествий, следовавших, если можно так выразиться, по пятам друг за другом, что я сам находился в чертовски скверном состоянии и решительно не мог появляться в обществе. Я довольствовался своим собственным обществом, и, право же, не очень-то приятно человеку, бывшему высокого мнения о своих возможностях, узнать, что он способен надоесть самому себе, собственно говоря, до последней крайности.

Какое-то замешательство и тревога, отражавшиеся в манерах этого джентльмена, который всегда оставался джентльменом, несмотря на свойственные ему маленькие безобидные странности, а также вид Уолтера навели Флоренс на мысль, что за этим следует нечто более непосредственно связанное с целью визита.

— Я говорил моему другу мистеру Гэю, если он разрешит мне называть его этим именем,— сказал кузен Финикс,— с какою радостью я узнал о полном выздоровлении своего друга Домби. Надеюсь, мой друг Домби не допустит, чтобы потеря состояния подействовала на него угнетающе. Не могу сказать, чтобы мне самому случилось потерять большое состояние: большого состояния у меня, собственно говоря, никогда не было. Но то, что я мог потерять, я потерял и не замечаю, чтобы меня это очень беспокоило. Мой друг Домби чертовски честный человек,— таково общее мнение,— и полагаю, ему весьма

утешительно будет об этом узнать. Даже Томи Скрюзер — человек в высшей степени желчный, с которым мой друг Гэй, вероятно, знаком,— ничего не может сказать в опровержение этого факта.

Флоренс еще живее, чем прежде, почувствовала, что за этим должно последовать какое-то сообщение, и с нетерпением ждала его — с таким нетерпением, что кузен Финикс сказал, как бы отвечая на вопрос:

— Видите ли, мы с моим другом Гэем рассуждали о том, прилично ли будет просить вас об одном одолжении, и мой друг Гэй, который с величайшей сердечностью и искренностью пошел мне навстречу, за что я ему весьма признателен, разрешил мне обратиться к вам с этой просьбой. Я знаю, что такую милую леди, как прелестная и безупречная дочь моего друга Домби, не придется долго упрашивать, но я счастлив, что заручился поддержкой и одобрением моего друга Гэя. Так, например, в те времена, когда я заседал в парламенте, если кто-нибудь хотел внести предложение — что случалось редко, так как нас держали в руках и лидеры обеих партий требовали строжайшей дисциплины, а это было чертовски хорошо для рядовых вроде меня, потому что нам не позволяли постоянно выставлять себя напоказ, чего многие из нас страстно добивались,— так вот, говорю я, в те времена, когда я заседал в парламенте, если кому-нибудь разрешалось выступить со своим крохотным пустым предложеньицем, он всегда считал долгом заявить о своей приятной уверенности в том, что его чувства встретят отклик в сердце мистера Питта *, этого, собственно говоря, кормчего, благополучно выдержавшего шторм. Вслед за этим чертовски много парней немедленно разражалось восторженными возгласами, и это вдохновляло оратора. Но, собственно говоря, эти парни, получив приказ выражать величайший восторг при упоминании о мистере Питте, стали такими знатоками своего дела, что это имя всегда их будило. В сущности, они понятия не имели, о чем идет речь, и Разговорчивый Браун — Браун из министерства финансов, который выпивал сразу четыре бутылки,— с ним, возможно, был знаком отец моего друга Гэя, ибо в то время моего друга Гэя еще не было на свете,— так вот этот Браун говаривал, что если бы кто-

нибудь встал и с прискорбием сообщил палате, что в кулуарах корчится в предсмертных судорогах какой-нибудь достопочтенный член парламента и фамилия этого достопочтенного члена парламента — Питт, обязательно раздались бы восторженные крики.

Это упорное нежелание изложить цель визита привело в смятение Флоренс, и, волнуясь все больше и больше, она переводила взгляд с кузена Финикса на Уолтера.

— Право же, дорогая моя, ничего плохого не случилось,— сказал Уолтер.

— Клянусь честью, ничего плохого не случилось,— подтвердил кузен Финикс, и я глубоко огорчен тем, что вызвал у вас хотя бы минутную тревогу. Смею вас уверить, ничего плохого не случилось. Одолжение, о котором я хочу вас просить, заключается всего-навсего в том... но, право же, это кажется таким необычайным, что я был бы бесконечно признателен моему другу Гэю, если бы он потрудился сломать... собственно говоря, сломать лед.

Услыхав такую мольбу, а также видя обращенный к нему умоляющий взгляд Флоренс, Уолтер сказал:

— Дорогая моя, дело очень простое: не согласишься ли ты поехать в Лондон с этим джентльменом, которого ты хорошо знаешь?

— Прошу прощения — и с моим другом Гэем! — перебил кузен Финикс.

— И со мною. Навестить одну особу.

— Кого? — спросила Флоренс, переводя взгляд с одного на другого.

— Если бы мне разрешено было просить, чтобы вы не требовали ответа на этот вопрос,— сказал кузен Финикс,— я взял бы на себя смелость обратиться к вам с такой просьбой.

— А *ты* знаешь, Уолтер? — спросила Флоренс.

— Да.

— И считаешь, что я должна ехать?

— Да. Я уверен, что таково было бы и твое мнение. Хотя, по некоторым причинам, мне хорошо понятным, пожалуй, лучше сейчас ничего больше не говорить.

— Если папа еще спит или если он проснулся, но может обойтись без меня, я сейчас же поеду,— сказала Флоренс.

Спокойно поднявшись и бросив на них слегка встревоженный, но доверчивый взгляд, она вышла из комнаты.

Когда она вернулась, чтобы ехать с ними, они беседовали о чем-то у окна, и Флоренс могла только удивляться, что именно побудило их сойтись так близко за такой короткий срок. Но ее не удивил взгляд, полный гордости и любви, какой бросил на нее муж, оборвав разговор, когда она вошла; так смотрел он на нее всегда.

— Я оставлю моему другу Домби свою визитную карточку,— сказал кузен Финикс,— от всей души уповая, что с каждым днем к нему будут возвращаться здоровье и силы. И надеюсь, мой друг Домби окажет мне честь, считая меня человеком, который, собственно говоря, чертовски восхищается той репутацией, какою он пользуется как британский купец и чертовски порядочный человек. Мое поместье пришло в полный упадок, но если мой друг Домби будет нуждаться в перемене климата и пожелает поселиться там, он увидит, что это в высшей степени здоровая местность,— да иначе и быть не может, потому что скука там невыносимая. Если мой друг Домби страдает упадком сил и разрешит порекомендовать ему средство, которое мне часто помогало — мне случалось иногда чувствовать ужасную дурноту, ибо я вел довольно беспутный образ жизни в те времена, когда люди жили беспутно,— я бы, собственно говоря, посоветовал яичный желток, взбитый с сахаром и мускатным орехом в стакане хереса; выпивать по утрам с сухариком. Джонсон, державший зал для бокса на Бонд-стрит, человек весьма сведущий, о котором мой друг Гэй несомненно слышал, говорил, бывало, что, тренируясь перед выступлением на ринге, они заменяли херес ромом. В данном случае я бы рекомендовал херес, так как мой друг Домби еще не оправился от болезни, вследствие чего ром может броситься ему... собственно говоря, в голову и привести его в чертовски скверное положение.

Произнеся эту речь, кузен Финикс явно пребывал в нервическом состоянии и тревоге. Затем, предложив руку Флоренс и по мере сил удерживая в повиновении свои непокорные ноги, казалось, твердо решившие идти в сад, он повел ее к двери и усадил в карету, которая ждала у подъезда.

Затем в карету сел Уолтер, и они тронулись в путь.

Проехали они миль шесть или восемь. Стало смеркаться, когда они проезжали по скучным благопристойным улицам в западной части Лондона. Флоренс вложила свою руку в руку Уолтера и очень внимательно, с возрастающей тревогой присматривалась к каждой новой улице, в которую они сворачивали.

Когда карета остановилась, наконец, на Брук-стрит, перед тем самым домом, где была отпразднована злополучная свадьба мистера Домби, Флоренс спросила:

— Уолтер, что же это значит? Кого я здесь увижу?

Уолтер успокоил ее, но ничего не ответил, тогда она окинула взглядом фасад и увидела, что все окна закрыты, как будто дом необитаем. Кузен Финикс уже вышел из кареты и предложил ей руку.

— Разве ты не пойдешь со мной, Уолтер?

— Нет, я останусь здесь. Не дрожи так, дорогая Флоренс! Тебе нечего бояться.

— Я это знаю, Уолтер, раз ты здесь, так близко от меня. Я в этом уверена, но...

Дверь бесшумно распахнулась, хотя никто не стучал, и Флоренс, только что вдыхавшая летний вечерний воздух, вошла с кузеном Финиксом в душный, скучный дом. Более угрюмый и хмурый, чем когда бы то ни было, он, казалось, стоял запертым со дня свадьбы и с той поры накапливал в своих стенах уныние и мрак.

Флоренс с трепетом поднялась по темной лестнице и остановилась вместе со своим провожатым у двери в гостиную. Кузен Финикс молча открыл дверь и жестом попросил ее пройти в следующую комнату, тогда как сам он был намерен остаться здесь. После минутного колебания Флоренс повиновалась.

За столом у окна сидела леди, которая, казалось, что-то писала или рисовала; повернувшись лицом к угасающему дневному свету, она опиралась головой на руку. Флоренс, нерешительно сделав несколько шагов, внезапно застыла на месте, словно потеряв способность двигаться. Леди оглянулась.

— Боже мой! — вскричала она.— Что же это значит?

— Нет, нет! — воскликнула Флоренс, отшатнувшись, когда та встала, и вытянув перед собой руки, чтобы отстранить ее.— Мама!

Они стояли и смотрели друг на друга. Страсти и гордыня наложили свою печать на лицо Эдит, но оно осталось прекрасным и величественным. А лицо Флоренс, несмотря на весь ее ужас, говорило о жалости, скорби и благодарных нежных воспоминаниях. Лица обеих выражали изумление и страх. Обе, такие неподвижные и молчаливые, смотрели друг на друга, разделенные черной бездной неизгладимого прошлого.

Флоренс первая прервала молчание. Разрыдавшись, она воскликнула, потрясенная до глубины души:

— О мама, мама! Зачем пришлось нам встретиться вот так? Зачем вы были так добры ко мне, когда больше никого у меня не было, если нам предстояла вот такая встреча?

Эдит стояла перед ней безмолвная и словно оцепеневшая. Она не спускала с нее глаз.

— Я не смею об этом думать,— продолжала Флоренс.— Я только что была с папой. Он болен. Теперь мы всегда вместе, больше мы никогда не расстанемся. Если вы хотите, чтобы я попросила его простить вас, я это сделаю, мама. Я почти уверена, что теперь он простит, если я его попрошу. И пусть бог простит вас и пошлет вам утешение!

Та не ответила ни слова.

— Уолтер — я вышла за него замуж, и у нас родился сын,— робко сказал Флоренс,— Уолтер здесь, у подъезда, он привез меня сюда. Я скажу ему, что вы раскаиваетесь, что вы стали другой,— Флоренс с грустью смотрела на нее.— Я знаю, он вместе со мной будет просить папу. Что же еще могу я сделать?

Эдит, все такая же неподвижная, с остановившимся взглядом, нарушила молчание и медленно проговорила:

— Пятно на вашем имени, на имени вашего мужа, вашего ребенка. Подумайте, можно ли это когда-нибудь простить, Флоренс?

— Можно ли простить, мама? Вам это уже простили! От всей души, и Уолтер и я. Вы можете быть совершенно уверены, если такая уверенность даст вам утешение. Вы... вы...— замялась Флоренс,— вы не говорите о папе, но, конечно, вы хотите, чтобы я вымолила у него прощение для вас. Я уверена.

Она не ответила ни слова.

— Я сделаю это! — продолжала Флоренс.— Если вы мне позволите, я принесу вам его прощение, и тогда нам можно будет расстаться иначе — так, как расстались бы мы в былое время. Я попятилась, мама,— кротко сказала Флоренс, подходя ближе,— я отступила от вас не из боязни, и я не считаю, что вы можете меня запятнать. Я хочу только исполнить свой долг по отношению к папе. Я ему очень дорога, и он мне очень дорог. Но мне никогда не забыть, как вы были добры ко мне! О, молите бога, мама,— воскликнула Флоренс, бросаясь в ее объятия,— молите бога, чтобы он простил вам этот грех и позор и простил мне то, что я сейчас делаю (если это грешно) и не могу не делать, помня, чем вы для меня были!

Эдит, словно сломленная этими объятиями, упала на колени и обняла руками ее шею.

— Флоренс! — вскричала она.— Мой светлый ангел! Прежде чем мною снова овладеет безумие, прежде чем вернется мое упорство и поразит меня немотою, верьте мне — я не виновна.

— Мама!

— Виновна во многом! Виновна в том, что разверзла между нами пропасть. Виновна в том, что должно отделять меня до конца моей жизни от целомудрия и чистоты — прежде всего от вас! Виновна в слепой и страстной ненависти, в которой даже теперь я не раскаиваюсь, не могу и не хочу раскаиваться! Но я не согрешила с тем — умершим! Клянусь богом!

Все еще не поднимаясь с колен, она воздела обе руки и поклялась в этом.

— Флоренс! — продолжала она.— Флоренс, самая чистая и непорочная из всех, кого я знаю, Флоренс, которую я люблю и которая много лет назад могла бы сделать меня другим человеком и заставила на время измениться даже такую женщину, как я, верьте мне, в этом я не повинна, и позвольте мне снова, в последний раз, прижать эту милую головку к моему разбитому сердцу!

Она была растрогана и плакала. Если бы в прежние годы это случалось с ней чаще, она бы не была теперь так несчастна.

— Ничто в мире,— воскликнула она,— не могло бы вырвать у меня признание в том, что я не виновна! Ни любовь, ни ненависть, ни надежда, ни угрозы! Я сказала, что скорее умру, но не пророню ни слова. Я могла бы это сделать, и я бы это сделала, если бы мы не встретились, Флоренс!

— Надеюсь,— послышался голос кузена Финикса, который появился в дверях и стал топтаться на пороге,— надеюсь, моя прелестная и безупречная родственница простит мне, что я, прибегнув к маленькой хитрости, устроил это свидание. Не стану утверждать, будто раньше мне не приходило в голову, что моя прелестная и безупречная родственница имела несчастье опозорить себя связью с этим белозубым человеком, ныне покойным, ибо, собственно говоря, приходится наблюдать весьма странные союзы такого рода, заключенные в этом мире, который поражает нас чертовски непонятными сочетаниями и является самой непостижимой вещью из всех нам известных. Но, как я уже сообщал моему другу Домби, я не мог признать виновность моей прелестной и безупречной родственницы, пока преступление ее не будет окончательно доказано. Когда же этого человека, ныне покойного, настигла, собственно говоря, чертовски ужасная смерть, я понял, что ее положение должно быть крайне затруднительным. Сознавая также, что наша семья, оказывавшая ей слишком мало внимания, заслуживает некоторого порицания и что семья эта — беззаботная, а моя тетка, хотя и чертовски жизнерадостная женщина, была, пожалуй, не самой лучшею из матерей, я взял на себя смелость разыскать ее во Франции и предложить помощь, поскольку может оказать помощь человек, не имеющий почти никаких средств... По этому случаю моя прелестная и безупречная родственница удостоила заявить, что, по ее мнению, я — чертовски славный парень в своем роде, и поэтому она принимает мою поддержку. Собственно говоря, я принял это как любезность со стороны моей прелестной и безупречной родственницы, потому что я становлюсь немощным, а ее заботливость доставляет мне величайшее утешение.

Эдит, усадив Флоренс на диван, махнула рукой, как будто просила его ничего больше не говорить.

— Моя прелестная и безупречная родственница,— продолжал кузен Финикс, не переставая топтаться в дверях,— извинит меня, если ради ее блага, и ради себя самого, и ради моего друга Домби, чья прелестная и безупречная дочь приводит нас в такое восхищение, я разверну до конца нить своих замечаний. Она, вероятно, не забыла, что с самого начала мы с ней никогда не упоминали о ее побеге. Мое мнение всегда было таково, что тут кроется какая-то тайна, которую она при желании могла бы осветить. Но так как моя прелестная и безупречная родственница — женщина чертовски решительная, я знал, что с ней, собственно говоря, шутки плохи, а потому и избегал всяких споров. Однако не так давно я нашел уязвимую точку — нежную привязанность к дочери моего друга Домби,— и тогда я сообразил, что, если мне удастся устроить свидание, неожиданное для обеих сторон, оно может привести к благодетельным результатам. И вот, находясь частным образом в Лондоне и собираясь отправиться на юг Италии, где мы, собственно говоря, намерены обосноваться, пока не переселимся в иной, вечный дом — чертовски неприятная мысль для всякого человека,— я принялся разузнавать о местожительстве моего друга Гэя, прекрасного и удивительно чистосердечного человека, которого, должно быть, знает моя прелестная и безупречная родственница, и мне посчастливилось привезти сюда его милую жену. А теперь,— заключил кузен Финикс с неподдельным, искренним чувством, прорывавшимся сквозь легкомысленный и небрежный тон,— я заклинаю мою родственницу не останавливаться на полпути, но по мере сил загладить то зло, в совершении которого она повинна,— не ради семейной чести, не ради ее собственной репутации, не ради тех соображений, которые она, в силу неблагоприятно сложившихся обстоятельств, стала почитать мелкими, а только потому, что это не добро, а зло.

После этого ноги кузена Финикса согласились его увести. Оставив Эдит наедине с Флоренс, он притворил за собой дверь.

Эдит, сидевшая рядом с Флоренс, несколько минут молчала. Потом она вынула из-за корсажа небольшой пакет.

— Я долго спорила с собой,— тихо сказала она,—

нужно ли это записать на случай скоропостижной смерти или какой-нибудь катастрофы, но я не могла иначе. С тех пор я не переставала думать о том, когда и как уничтожить эту бумагу. Возьмите ее, Флоренс. Здесь написана чистая правда.

— Передать папе? — спросила Флоренс.

— Кому хотите,— ответила Эдит.— Она дана вам и получена вами. Он никогда не мог бы получить ее из других рук.

И снова они сидели молча в сгущавшихся сумерках.

— Мама,— сказала Флоренс,— он лишился всего своего имущества. Он был при смерти. Опасность и теперь еще не миновала. Могу ли я передать ему что-нибудь от вас?

— Вы мне сказали, что теперь вы ему очень дороги? — спросила Эдит.

— Да! — дрожащим голосом ответила Флоренс.

— Скажите ему — я жалею о том, что нам суждено было встретиться.

— Больше ничего? — спросила Флоренс после недолгого молчания.

— Если он спросит, скажите ему: я не раскаиваюсь в том, что сделала... еще не раскаиваюсь... потому что, если бы завтра пришлось снова это сделать, я бы это сделала снова. Но если он стал другим человеком...

Она запнулась: Флоренс молча прикоснулась к ее руке, и в этом прикосновении было что-то, заставившее ее запнуться.

— ...Но так как он стал другим человеком, он знает, что теперь это не могло бы случиться. Скажите ему — я бы хотела, чтобы этого никогда не было.

— Могу я сказать,— спросила Флоренс,— что вы с огорчением услышали о перенесенных им страданиях?

— Нет,— возразила она,— если благодаря им он узнал, что его дочь очень дорога ему. Он сам не будет сожалеть об этом, Флоренс, если они послужили ему уроком.

— Вы желаете ему добра и хотели бы видеть его счастливым! Я в этом уверена! — воскликнула Флоренс.— О, позвольте мне когда-нибудь, если представится удобный случай, передать ему это!

Темные глаза Эдит пристально смотрели в простран-

ство, и она ничего не ответила, пока Флоренс не повторила своей мольбы; тогда Эдит продела ее руку под свою и сказала, не отводя задумчивого взгляда от окна, за которым сгущалась тьма:

— Скажите ему, что, если теперь у него найдутся основания отнестись с сочувствием к моему прошлому, я прошу его об этом сочувствии. Скажите ему, что, если теперь у него найдутся основания вспоминать обо мне с меньшей горечью, я прошу его об этом. Скажите ему, что, хотя мы умерли друг для друга и никогда не встретимся по сю сторону вечности, у нас есть теперь одно общее чувство, которого не было прежде.

Стойкость, казалось, изменила ей, и темные глаза затуманились слезами.

— Я говорю это, веря, что он будет лучшего мнения обо мне, а я о нем,— сказала она.— Чем больше он будет любить свою Флоренс, тем меньше он будет ненавидеть меня. Чем больше он будет гордиться и радоваться при виде ее и ее детей, тем больше он будет раскаиваться, вспоминая свою роль в этом страшном сновидении — нашей супружеской жизни. Тогда и я раскаюсь — пусть он об этом узнает,— тогда и я задумаюсь над тем, что слишком много мыслей уделяла причинам, сделавшим меня такою, какою я была. А мне следовало бы подумать также и о том, почему он стал таким, каков он был. Тогда я постараюсь простить ему его вину. И пусть он постарается простить мне мою!

— О мама! — воскликнула Флоренс.— Теперь, когда я услышала эти слова, мне стало легче на сердце — несмотря на такую встречу и разлуку!

— Да, эти слова звучат странно и в моих ушах,— сказала Эдит,— и никогда мои губы не произносили ничего подобного им. Но даже если бы я была тем гнусным созданием, каким я дала ему повод почитать меня,— мне кажется, я все-таки произнесла бы эти слова, услышав, что вы стали дороги друг другу. Пусть же он — когда вы будете ему дороже всего — со всем снисхождением отнесется ко мне, тогда и я в мыслях своих отнесусь к нему со всем снисхождением! Вот последние мои слова, какие я могу передать ему! А теперь прощайте, жизнь моя!

Она крепко обняла ее и, казалось, излила на нее всю любовь и нежность, скопившиеся в ее душе.

— Этот поцелуй передайте вашему малютке! А эти поцелуи — вам вместо благословения! Милая, дорогая моя Флоренс, ненаглядная моя девочка, прощайте!

— Мы еще встретимся! — воскликнула Флоренс.

— Никогда! Никогда! Когда вы оставите меня здесь, в этой темной комнате, думайте, что вы оставили меня в могиле. Помните только — когда-то я жила на свете и любила вас!

И Флоренс, не видя больше ее лица, но до последней минуты ощущая ее поцелуи и ласки, рассталась с ней.

Кузен Финикс встретил ее у двери и проводил вниз, в сумрачную столовую, и она, заливаясь слезами, опустила голову на плечо Уолтера.

— Мне чертовски жаль,— сказал кузен Финикс, с самым простодушным видом и без всякого смущения утирая слезы манжетами,— чертовски жаль, что чувствительная натура прелестной и безупречной дочери моего друга Домби и очаровательной жены моего друга Гэя столь опечалена и потрясена только что закончившимся свиданием. Но — верю и надеюсь — мною руководили наилучшие намерения, и мой почтенный друг Домби успокоится, узнав о том, что здесь открылось. Я чрезвычайно сожалею, что мой друг Домби попал, собственно говоря, в чертовски скверное положение, заключив союз с одним из членов нашей семьи, но я твердо придерживаюсь того мнения, что, не будь этого проклятого негодяя Баркера, этого белозубого человека, все обошлось бы сравнительно благополучно. Что касается моей родственницы, которая оказала мне честь, составив обо мне исключительно хорошее мнение, то я могу уверить очаровательную жену моего друга Гэя, что моя родственница, собственно говоря, может положиться на меня, как на отца. А что касается превратностей человеческой жизни и удивительнейших поступков, которые мы постоянно совершаем, то я могу только сказать вместе с моим другом Шекспиром — человеком, прославившим себя в веках, с которым мой друг Гэй, без сомнения, знаком,— что жизнь есть лишь тень сновидения *.

ГЛАВА LXII

Заключительная

Бутылка, уже давно не видевшая дня и поседевшая от пыли и паутины, извлечена на солнечный свет, и золотистое вино в ней бросает отблески на стол.

Это последняя бутылка старой мадеры.

— Вы совершенно правы, мистер Джилс,— говорил мистер Домби,— это редчайшее и восхитительное вино.

Капитан, который при этом присутствует, сияет от радости. Его рдеющее чело поистине окружено нимбом восторга.

— Мы дали друг другу слово, сэр,— замечает мистер Джилс,— я говорю о Нэде и себе самом...

Мистер Домби кивает капитану, который в немом блаженстве сияет все больше и больше...

— ...Что разопьем эту бутылку вскоре после благополучного возвращения Уолтера домой. Хотя о *таком* возвращении мы и не мечтали. Если вы не возражаете против нашей давнишней причуды, сэр, выпьем этот первый бокал за здоровье Уолтера и его жены!

— За здоровье Уолтера и его жены! — говорит мистер Домби.— Флоренс, дитя мое! — И он поворачивается, чтобы поцеловать ее.

— За здоровье Уолтера и его жены! — говорит мистер Тутс.

— За здоровье Уолтера и его жены! — восклицает капитан.— Ура! — И так как капитан не скрывает неудержимого желания с кем-то чокнуться, мистер Домби с большой охотой протягивает свой бокал. Остальные следуют его примеру, и раздается веселый, радостный звон, живо напоминающий о свадебных колоколах.

Другие вина, спрятанные в погребах, стареют так же, как старела в далекие дни эта мадера; и пыль и паутина покрывают бутылки.

Мистер Домби — седой джентльмен; заботы и страдания оставили глубокий след на его лице, но это лишь отражение пронесшейся бури, за которой последовал ясный вечер.

Честолюбивые замыслы больше его не смущают.

Единственная его гордость — это дочь и ее муж. Он стал молчаливым, задумчивым, тихим и не расстается с дочерью. Мисс Токс изредка появляется в кругу семьи, предана ей всей душой и пользуется всеобщим расположением. Ее восхищение патроном — некогда величественным — чисто платоническое; таким оно стало с тех пор, как ей был нанесен удар на площади Принцессы, но оно нимало не поколебалось.

У мистера Домби после краха не осталось ничего, кроме некоторой суммы, которая поступает ежегодно — он не знает от кого — и сопровождается настойчивой просьбой не разыскивать отправителя, ибо эти деньги — старый долг, выплачиваемый человеком, который хочет возместить прежние убытки. По этому поводу мистер Домби советовался с одним из своих прежних служащих; тот считает возможным принимать эти деньги и не сомневается в том, что некогда фирма действительно заключила какую-то сделку, которая была забыта.

Этот холостяк с карими глазами — он уже не холостяк — женат теперь, женат на сестре седого Каркера-младшего. Он навещает своего прежнего патрона, но навещает редко. У седого Каркера-младшего есть причины,— связанные с его историей и, в особенности, с его фамилией,— по которым ему лучше держаться вдали от своего прежнего хозяина. И так как он живет с сестрой и ее мужем, то и они стараются держаться вдали. Уолтер, а также и Флоренс иногда навещают их, и в уютном доме прочувствованно звучат дуэты для фортепьяно и виолончели с участием «гармонических кузнецов».

А что поделывает Деревянный Мичман после всех этих перемен? О, он по-прежнему на своем посту! Выставив вперед правую ногу, он зорко следит за наемными каретами; заново выкрашенный, начиная с треуголки и кончая пряжками на туфлях, он бдителен больше чем когда бы то ни было; а над ним ослепительно сверкают два имени, начертанные золотыми буквами: ДЖИЛС И КАТЛЬ.

Никаких новых дел Мичман не ведет, по-прежнему занимаясь своей торговлей. Но ходят слухи, распространяясь на полмили вокруг синего зонта на Леднхоллском рынке, что мистер Джилс весьма удачно распорядился в

былые времена своим капиталом и не только не отстал от века, как он сам полагал, но, в сущности, немножко опередил его, и ему оставалось лишь подождать истечения сроков. Поговаривают о том, что деньги мистера Джилса начали оборачиваться и оборачиваются довольно быстро. Несомненно лишь одно: он стоит у двери лавки, в своем костюме кофейного цвета, с хронометром в кармане и очками на лбу, и как будто не сокрушается об отсутствии покупателей, но имеет вид веселый и довольный, хотя рассеян так же, как и в былые времена.

Что касается его компаньона, капитана Катля, то представление о торговом предприятии «Джилс и Катль», сложившееся в голове капитана, превосходит любую действительность. Капитан не мог бы гордиться больше значением Мичмана для коммерции и навигации страны, даже если бы ни одно судно не покидало лондонский порт без помощи этого деревянного моряка. Он не перестает восторгаться при виде своего имени, красующегося над дверью. Раз двадцать в день он переходит через улицу, чтобы посмотреть на него с противоположного тротуара, и в таких случаях неизменно говорит: «Эдуард Катль, приятель, если бы твоей матери стало известно, что ты сделаешься человеком науки, как удивилась бы добрая старушка!»

Но вот к Мичману стремительно подъезжает мистер Тутс, и когда мистер Тутс врывается в маленькую гостиную, лицо у него очень красное.

— Капитан Джилс и мистер Солс,— говорит мистер Тутс,— имею счастье сообщить вам, что миссис Тутс подарила нам еще одного члена семейства.

— И это делает ей честь! — восклицает капитан.

— Поздравляю вас, мистер Тутс! — говорит старый Соль.

— Благодарю вас,— хихикает мистер Тутс,— я вам очень признателен. Я знал, что вы обрадуетесь, а потому и заглянул к вам сам. Мы, знаете ли, преуспеваем. У нас есть Флоренс, есть Сьюзен, а теперь еще один младенец.

— Женского пола? — осведомляется капитан.

— Да, капитан Джилс,— говорит мистер Тутс,— и я этому рад. Чем чаще мы будем воспроизводить эту удивительную женщину, тем, по моему мнению, лучше!

— Держись крепче! — говорит капитан, берясь за старинную четырехугольную бутылку без горлышка, ибо сейчас вечер и скромный запас трубок и стаканов, имеющийся у Мичмана, красуется на столе.— Выпьем за ее здоровье и пожелаем ей произвести на свет еще столько же!

— Благодарю вас, капитан Джилс,— говорит обрадованный мистер Тутс,— я присоединяюсь к этому тосту. Если вы мне разрешите, полагаю это никого не обеспокоит, я, пожалуй, закурю трубку.

Мистер Тутс начинает курить и от избытка чувств становится очень болтливым.

— Капитан Джилс и мистер Солс,— говорит Тутс,— эта превосходная женщина не раз проявляла свой исключительный ум, но больше всего я поражен тем, что она прекрасно поняла мою преданность мисс Домби.

Оба слушателя соглашаются с ним.

— Потому что мои чувства по отношению к мисс Домби,— говорит мистер Тутс,— остались неизменными. Они те же, что и раньше. И сейчас она остается для меня тем же светлым видением, каким была до моего знакомства с Уолтерсом. Когда между миссис Тутс и мною впервые зашла речь о... короче говоря, о нежной страсти, вы понимаете, капитан Джилс...

— Да, да, приятель,— говорит капитан,— о страсти, которая играет всеми нами... вы перелистайте книгу и найдете это место...

— Я непременно это сделаю, капитан Джилс,— с величайшей серьезностью отвечает мистер Тутс.— Когда мы впервые заговорили о таких предметах, я объяснил, что меня, знаете ли, можно назвать увядшим цветком.

Капитан весьма одобряет эту метафору и шепчет, что лучше розы нет цветка.

— Боже мой! — продолжает мистер Тутс.— Мои чувства были ей известны ничуть не хуже, чем мне самому. *Ей* мне нечего было говорить. Она была единственным человеком, который мог встать между мной и безмолвной могилой, и она это сделала наилучшим образом, заслужив вечное мое восхищение. Она знает, что никого я не почитаю так, как мисс Домби. Она знает, что нет такой вещи, которой бы я не сделал для мисс Домби. Она знает, что я считаю ее самой красивой, самой очаровательной,

самой божественной женщиной. Каково же ее мнение по этому поводу? В высшей степени разумное! «Дорогой мой, ты прав. Я и сама так думаю».

— И я так думаю! — сказал капитан.

— И я,— говорит Соль Джилс.

— А какая наблюдательная женщина моя жена! — продолжает мистер Тутс, помолчав и затянувшись трубкой с великим удовольствием, отразившимся на его физиономии.— Какая у нее проницательность! Какие замечачания она делает! Вчера вечером, например, когда мы сидели, вкушая радости семейного очага... клянусь честью, эти слова плохо выражают то чувство, какое я испытываю в обществе моей жены,— вчера вечером она сказала, что отрадно подумать о теперешнем положении нашего друга Уолтерса. «Теперь,— заметила она,— он избавлен от необходимости плавать по морям, после того первого большого путешествия с молодой женой». Как вам известно, он и в самом деле избавлен от этой необходимости, мистер Солс!

— Совершенно верно,— соглашается старый мастер, потирая руки.

— «Теперь,— говорит моя жена,— та же фирма доверяет ему чрезвычайно ответственный пост на родине; снова он может себя проявить с лучшей стороны; он стремительно поднимается по ступенькам лестницы; все его любят. В эту счастливую пору его жизни дядя оказывает ему поддержку» ...полагаю, это так и есть, мистер Солс? Моя жена никогда не ошибается.

— Да, да... несколько наших кораблей, нагруженных золотом и пропавших без вести, действительно вернулись на родину,— смеясь, отвечает старый Соль.— Суденышки маленькие, мистер Тутс, но моему мальчику они пригодятся!

— Вот именно! — говорит мистер Тутс.— Никогда вам не уличить мою жену в ошибке! «Вот какое положение он теперь занимает,— говорит эта замечательнейшая женщина,— а что же дальше? Что будет дальше?» — спрашивает миссис Тутс. Теперь, капитан Джилс и мистер Солс, прошу обратить внимание на глубокую проницательность моей жены. «Да ведь на глазах у мистера Домби закладывается фундамент, и на этом фундаменте

постепенно вырастает э... э... сооружение» ...да, именно так выразилась миссис Тутс,— с восторгом говорит мистер Тутс,— «постепенно вырастает сооружение, быть может, не хуже, а лучше того, которое он возглавлял и скромное зарождение которого изгладилось в его памяти (серьезная ошибка, хотя и не редкая, по словам миссис Тутс). Так, благодаря его дочери»,— сказала моя жена,— «взойдет», нет, «восстанет» — именно так выразилась моя жена — «восстанет во славе новый Домби и Сын».

Мистер Тутс с помощью своей трубки, которую он с радостью применяет в интересах ораторского искусства, ибо надлежащее пользование ею вызывает у него весьма неприятные ощущения, столь энергически воздает должное пророческим словам жены, что капитан, в величайшем возбуждении подбросив вверх глянцевитую шляпу, кричит:

— Соль Джилс, вы человек науки и мой старый компаньон, что посоветовал я перечитать Уольру в тот вечер, когда он поступил на службу? Вот эта цитата: «Вернись, Виттингтон, лондонский лорд-мэр, и когда ты состаришься, ты не покинешь его». Так ли было дело, Соль Джилс?

— Конечно, Нэд,— отвечает старый мастер судовых инструментов.— Я прекрасно помню.

— Так вот что я вам скажу,— говорит капитан, откинувшись на спинку стула и выпячивая грудь с намерением разразиться оглушительным ревом.— Я вам спою от первого до последнего слова «Красотку Пэг», а вы оба держитесь крепче и подпевайте!

Вина, спрятанные в погребах, стареют так же, как в далекие времена — та старая мадера, и пыль и паутина покрывают бутылки.

Стоят ясные осенние дни, и на морском берегу часто прогуливаются молодая леди и седой джентльмен. С ними, или где-нибудь поблизости, двое детей — мальчик и девочка. И старая собака обычно трусит следом.

Старый джентльмен идет с мальчиком, разговаривает с ним, участвует в его играх, присматривает за ним, не спускает с него глаз, словно в нем вся его жизнь. Если он задумчив — задумчив и седой джентльмен; а иной раз, когда ребенок сидит рядом с ним, заглядывает ему в лицо

КОММЕНТАРИИ

Стр. 20. *...в другом месте!* — то есть в другой палате, палате лордов.

Стр. 32. *Из Иова...* — Капитан Катль имеет в виду библейскую книгу «Иова», гл. I, но, по своему обыкновению, переиначивает цитату.

Стр. 46. *Доктор Уотс* — доктор богословия Исаак Уотс (1671—1748), автор нескольких сборников псалмов и гимнов.

Стр. 91. *...восточных магнатов...* — то есть богатых купцов, которые вели торговые дела на Востоке (в Индии и других британских владениях).

Стр. 94. *Старая леди с Трэднидл-стрит.* — Так называют в шутку Английский банк, находящийся на улице Трэднидл; (thread — нитка, needle — игла); улица носит это название потому, что старинная Торговая Компания Портных выстроила здесь свой дом (в XIV веке).

Земля Тома Тидлера. — Так называется полоса земли, никому не принадлежащая, в частности — нейтральная зона между двумя государствами; все, что может быть найдено на этой полосе, теоретически поступает в собственность нашедшего; отсюда детская игра «Земля Тома Тидлера»: цель играющих — помешать противникам перебежать на площадку, где «разбросано» золото и серебро.

Стр. 95. *Боро* — город, посылающий депутата в парламент. Нередко этим словом обозначался в XIX веке избирательный округ, где выборы фактически находились под контролем одного лица.

...Постельная грелка (warning pan)... — так называли человека, временно замещающего лицо, не достигшее совершеннолетия.

Гессенские сапоги — сапоги, не доходившие до колен и надевавшиеся на туго натянутые брюки.

Стр. 96. *«Шир»* (shire) — в прошлом так называлось графство (county).

Стр. 106. *Змея древнего Нила* — намек на Клеопатру, царицу египетскую (I век до н. э.), которая, по преданию, покончила с собой, положив себе на грудь ядовитую змею.

Стр. 132. *...божественную проповедь... произнесенную на горе...* — Имеется в виду так называемая Нагорная проповедь Иисуса Христа, в которой изложены принципы христианского вероучения и христианской морали.

Стр. 145. *Ост-Индские доки* — доки, принадлежавшие Ост-Индской компании и входившие в состав гигантских доков лондонского порта.

Стр. 174. *Собака из Монтаржи* — собака, принадлежавшая французскому рыцарю Обри де Мондидье (XIV век), убитому, как рассказывает легенда, Ричардом де Макер в лесу близ Монтаржи. Это преступление долгое время оставалось нераскрытым, и преступник был обнаружен только благодаря упорным преследованиям собаки, принадлежавшей убитому. По приказу короля Карла V между собакой и Макером был устроен поединок; убийца был побежден, признался в своем преступлении и предан казни.

Стр. 176. *Туги* — члены индусской религиозной секты «душителей», приносившие удушенных ими людей в жертву богам.

Стр. 184. *...завсегдатай Уайта.* — Кофейня Уайта — одна из самых популярных лондонских кофеен, известная еще в конце XVII века.

Стр. 216. *Мафусаил* — библейский патриарх, проживший, по преданию, 969 лет.

...мученик Фокса... — то есть один из христианских мучеников, жития которых пересказал английский богослов Джон Фокс (1516—1587) в «Книге мучеников».

Стр. 218. *...я, быть может, не павлин, но у меня есть глаза...* — намек на «глазки», которыми украшен хвост павлина.

Стр. 256. *...рука хромого беса в романе...* — Имеется в виду роман французского писателя А. Лесажа (1668—1747) «Хромой бес», где бес Асмодей приподымает крыши домов и показывает студенту Клеофасу частную жизнь обитателей большого города.

Стр. 263. *...золотые брелоки... осудила как предрассудок.*— Такие брелоки носили «на счастье».

Стр. 299. *...опекаемой Канцлерским судом...*— В компетенцию Канцлерского суда входит, между прочим, назначение опекунов несовершеннолетним.

Стр. 301. *Негус* — см. комментарии к 13-му тому наст. изд., стр. 534.

Стр. 315. *Коронер.*— Так в Англии называется чиновник, производящий следствие в случае скоропостижной или насильственной смерти.

Стр. 317. *«Певчая птичка»* — название песенника.

Стр. 343. *...ничем не примечательная и отнюдь не яркая звезда...* — перефразированное шекспировское:

Ах, точно то же было б,
Когда бы я влюбилася в звезду,
Блестящую на небе.
(«Конец венчает дело»,
акт I, сц. 1-я. *Перевод П. И. Вейнберга.)*

Стр. 412. *Я... не обрастаю мхом...*— намек на английскую поговорку «катящийся камень мхом не обрастает»; источник этой поговорки — одно из «Изречений» Публилия Сира, римского поэта I века до н. э.

Стр. 417. *Суперкарго* — служащий на корабле, ведающий погрузкой товаров; обычно суперкарго был вторым помощником капитана.

Стр. 427. *...как бык в песенке про Петушка Робина...*— намек на детскую песенку, где упоминается бык, который вызвался дернуть за веревку и позвонить в колокол.

Стр. 433. *Вот женщина, обольщающая всех мужчин!* — цитата из Джона Гэя, английского поэта и драматурга XVIII века. Но капитан Катль отсылает Тутса к библии, а именно — к эпизоду соблазнения Адама Евой.

Демерара — часть Британской Гвианы (в Южной Америке).

Стр. 445. *Амини... застревают у него в горле, как у Макбета...*— ср. Шекспир, «Макбет», акт II, сц. 2-я:

А я, услышав: «Господи помилуй»,
За ними вслед не мог сказать «аминь».

Стр. 451. *...вечно просыпаться знаменитостью...*— намек на слова, якобы сказанные Байроном после выхода в свет «Палом-

ничества Чайльд-Гарольда»: «Однажды утром я проснулся и узнал, что я — знаменитость».

...двенадцать шиллингов и девять пенсов в фунте! — явная нелепица, так как в фунте — 20 шиллингов.

Стр. 453. *...искать уединения в бочке... на Пэлл-Мэлл...*— Майор намекает на греческого философа-киника Диогена из Синопа (V—IV века до н. э.), жившего в бочке; Пэлл-Мэлл — одна из центральных фешенебельных улиц Лондона.

Стр. 460. *«Гармонический кузнец* (или «Гармоническая наковальня») — название части одной из сюит Г. Генделя (1685—1759).

Стр. 468. *«Газета»* — официальный орган английского правительства; в «Газете» печатаются все правительственные распоряжения, назначения правительственных чиновников, сообщения о банкротствах и т. д.

Стр. 477. *...об этом Доу...*— Речь идет об одной формальности английской юрисдикции. Иск об изъятии земельной собственности подавался в особой, условной форме. Истец указывал, что участок земли, на который он претендует, был арендован у него когда-то некиим Джоном Доу, а у последнего мистер Ричард Роу (подразумевается ответчик) незаконно отнял землю. Действительные обстоятельства дела излагались уже после этой условной преамбулы. Эта юридическая комедия, лишний раз утверждавшая схоластический характер английского права, была отменена только в 1852 году.

Стр. 492. *...норфолькское печеное яблоко...*— Так назывались спресованные печеные яблоки. Их приготовляли главным образом в графстве Норфольк.

Цинциннат — римский государственный деятель и полководец V века до н. э. У древних считался образцом скромности и простоты нравов.

Стр. 499. *Лаймхауз-Хоул* — здание, где отбеливают известью паруса.

Стр. 511. *Мистер Питт* — см. комментарии к 13-му тому наст. изд., стр. 529.

Стр. 521. *...жизнь есть лишь тень сновидения* — слегка перефразированные слова Гильденстерна из «Гамлета» (акт II, сц. 2-я).

ЕВГЕНИЙ ЛАНН

СОДЕРЖАНИЕ

Глава XXXI. Свадьба 5
Глава XXXII. Деревянный Мичман разбивается вдребезги 25
Глава XXXIII. Контрасты 46
Глава XXXIV. Другие мать и дочь 61
Глава XXXV. Счастливая чета 76
Глава XXXVI. Празднование новоселья 90
Глава XXXVII. Несколько предостережений . . . 106
Глава XXXVIII. Мисс Токс возобновляет старое знакомство 119
Глава XXXIX. Дальнейшие приключения капитана Эдуарда Катля, моряка 130
Глава XL. Семейные отношения 152
Глава XLI. Новые голоса в волнах 172
Глава XLII, повествующая о доверительном разговоре и о несчастном случае 185
Глава XLIII. Бдение в ночи 205
Глава XLIV. Разлука 215
Глава XLV. Доверенное лицо 228
Глава XLVI. Опознание и размышления 237
Глава XLVII. Грянул гром 254
Глава XLVIII. Бегство Флоренс 278
Глава XLIX. Мичман делает открытие 292
Глава L. Сетования мистера Тутса 314
Глава LI. Мистер Домби и светское общество . . . 334
Глава LII. Секретные сведения 345
Глава LIII. Новые сведения 364
Глава LIV. Беглецы 383

Глава LV. Роб Точильщик лишается места 397
Глава LVI. Многие довольны, а Бойцовый Петух возмущен 412
Глава LVII. Еще одна свадьба 440
Глава LVIII. Спустя некоторое время 450
Глава LIX. Возмездие 468
Глава LX. Преимущественно о свадьбах 491
Глава LXI. Она уступает 507
Глава LXII. Заключительная 522
Комментарии *Евгения Ланна* 531

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС
Собр. соч., т. 14

Редактор С. Маркиш
Художник Н. Семпер
Худож. редактор Л. Калитовская
Технич. редактор Г. Каунин
Корректор В. Седова

Сдано в набор 16/I 1959 г. Подписано к печати 2/III 1959 г. Бумага 84 × 108¹/₃₂ — 16,75 печ. л. = 27,47 усл. печ. л. 27,07 уч.-изд. л. Тираж 525 000 (1—150 000) экз. Заказ № 57. Цена 10 руб.

Гослитиздат. Москва, Б-66, Н.-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.